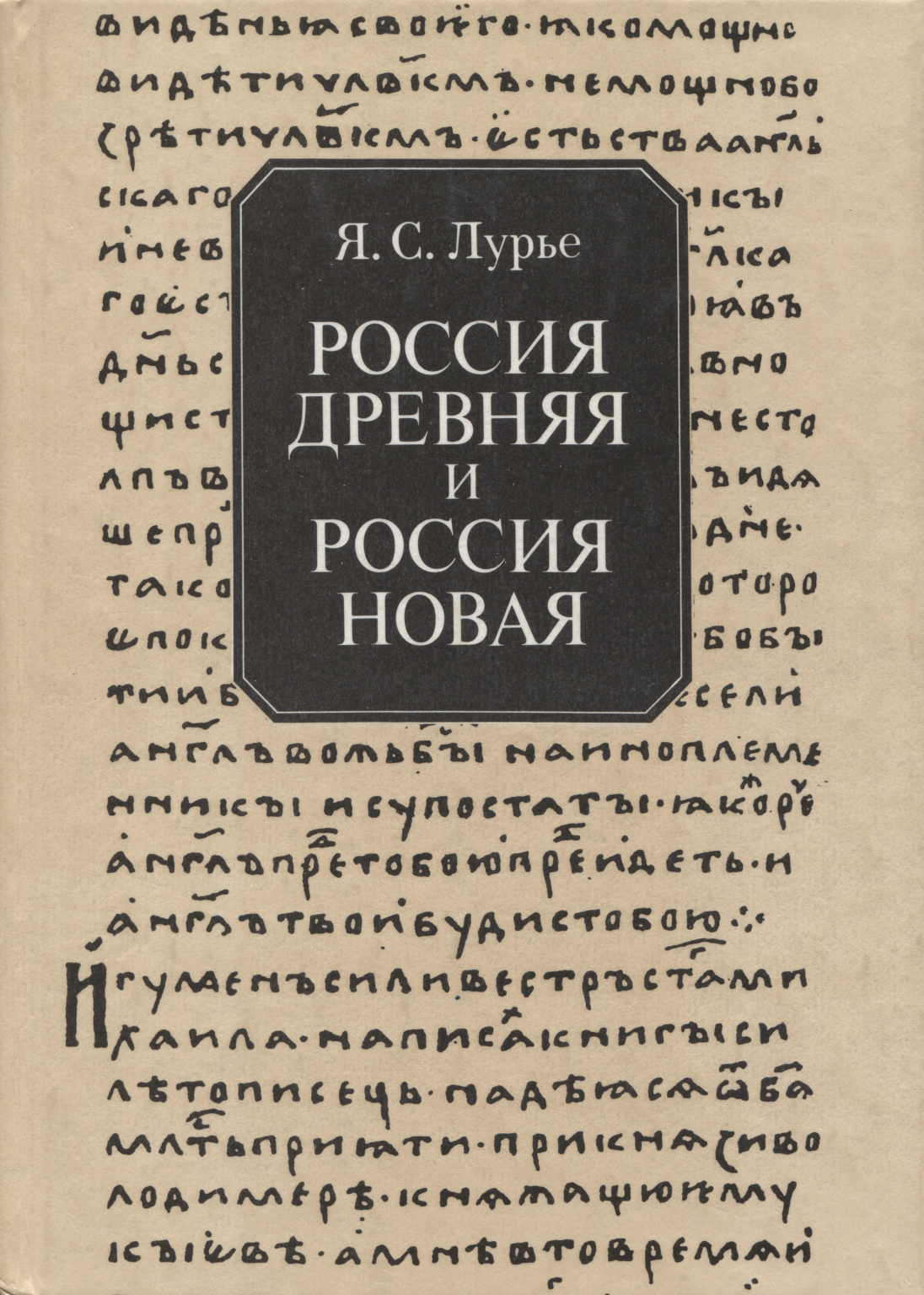
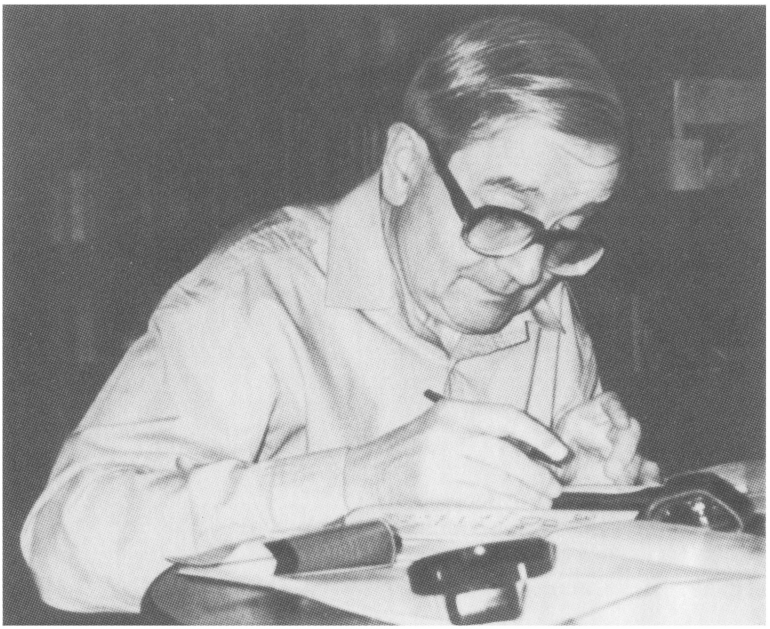


Я. С. Лурье

РОССИЯ ДРЕВНЯЯ И РОССИЯ НОВАЯ



Яков Соломонович Лурье

Я. С. Лурье

РОССИЯ ДРЕВНЯЯ И РОССИЯ НОВАЯ

(Избранное)

С.-ПЕТЕРБУРГ
1997

Под наблюдением
И. Е. Ганелиной

Подготовка текста
С. А. Батюто

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда согласно проекту № 96-01-16283

© Я. С. Лурье, 1997, с дополнениями
© Я. С. Лурье (А. А. Курдюмов) «В краю непуганых идиотов», Edition de «La Presse Libre» (Paris), 1983
© «Дмитрий Буланин», 1997

ISBN 5-86007-092-6

К ЧИТАТЕЛЮ

18 марта 1996 г. умер один из известнейших исследователей истории Древней Руси, филолог и публицист, Яков Соломонович Лурье.

Я. С. Лурье родился 20 мая 1921 г. в Петрограде в семье одного из крупнейших в XX в. специалистов по истории античности С. Я. Лурье. Мать Якова Соломоновича, Софья Исааковна, врач, умерла в 1932 г.

С. Я. Лурье выделялся в кругу ленинградской интеллигенции не только своими разносторонними талантами, но и политическими воззрениями. В отличие от своих учителей и старших коллег, людей умеренно монархических взглядов, с трудом приспосабливавшихся к новой советской действительности, ренегатов, под тем или иным предлогом верой-правдой служивших за академический паек, пламенных комсомольцев, все больше заполнявших университетские кафедры, Соломон Яковлевич был представителем той демократической российской интеллигенции, которая сочувствовала социализму, восторженно встретила Февраль и никогда не принимала Октябрь. Сын перенял у отца материалистическое мировоззрение, ненависть к имперской идеологии, произволу и беззаконию, народолюбие. В семье обсуждались и осуждались коллективизация, советский бюрократизм, презрение власти к гражданину. Ненависть к деспотизму, гуманистическое светское мировоззрение, идеология либерального марксизма (отец до революции принадлежал к энесам — партии В. Г. Короленко, сын был скорее сторонником левого меньшевизма — Р. Люксембург и Ю. Мартова), противление злу любыми средствами — эти черты и определяли политическую позицию Якова Соломоновича и его мировоззрение. От отца Яков Соломонович унаследовал и интерес к гуманитарным наукам, прежде всего к истории.

В 1937 г. Яков Соломонович поступает на исторический факультет ЛГУ, переживавший в то время недолгий, но блестящий расцвет. После известного постановления «О преподавании гражданской истории» к лекционной работе в университете были возвращены побывавшие на Соловках, в ссылке или в опале «буржуазный спецы» — И. М. Гревс, Е. В. Тарле, М. Д. Приселков, С. Н. Валк, С. Я. Лурье. В своей книге об отце Я. С. назвал главу об истфаке 1937 г. «Афины и апокалипсис». Общегосударственный террор парадоксальным образом сочетался на Стрелке Васильевского острова с определенной академической свободой.

В начале своей академической карьеры Я. С. Лурье собирался заниматься западной историей. Особенно интересовали его Англия и США. Но на первом курсе он попал на практические занятия крупнейшего специалиста по истории русского летописания М. Д. Приселкова, и изучение русского средневековья стало с тех пор его основной научной специальностью. Помимо влияния учителя (его памяти Яков Соломонович посвятил свою монографию «Общерусские летописи XIV—XV веков») на выбор специальности повлияла и атмосфера тех лет. Прежде всего становление сталинского «министерства правды». Искусство чтения между строк «Правды», стенограмм больших процессов, меняющихся официальных учебников истории было методологически схоже с отысканием истинного хода событий по их отражению в русском летописании. Составитель летописных сводов, как считал Я. С. Лурье, тенденциозно изменял дошедшие до него источники, на которые он опирался: предки правящих князей «обелялись», их противникам приписывались все новые и новые пороки. Задним числом уменьшалось значение одних лиц и событий, преувеличивалась роль других. От историка требовалась необычайно скрупулезная источниковедческая работа, приводившая в случае успеха к двум важным результатам: во-первых, историк приближался по мере возможностей к пониманию того, «как это было на самом деле», во-вторых, сам характер изменений поздних источников по отношению к первоначальным помогал реконструировать меняющуюся политическую ситуацию.

Для становления взглядов Якова Соломоновича не меньшее значение, чем занятия наукой, имело в это время дружеское общение. Ближайшими друзьями Якова Соломоновича стали чуть более старшие его ученики — И. Д. Амусин, Л. М. Глускина, Л. С. Поляк и, прежде всего, Марк Наумович Ботвинник, успевший отсидеть полтора года в лагере и выпущенный в «бериевском потоке». С конца 1939 г. и вплоть до

смерти Марка Наумовича в 1994 г. он оставался ближайшим другом Якова Соломоновича, а его семья — жена Ирина Павловна Суздальская, дочери Наталья и Наэми были для Якова Соломоновича второй семьей. При всем своем интересе к политике и к людям Яков Соломонович все же был прежде всего ученым и большую часть жизни проводил за письменным столом. В отличие от него Марк Наумович — при том, что он был сведущим античником и превосходным читателем чужих научных работ — оставался любителем жизни во всех ее проявлениях, обладал огромным кругом знакомых. Яков Соломонович и Марк Наумович замечательно дополняли друг друга.

Другим другом Якова Соломоновича был его однокурсник Ю. Ф. Поляков. Вместе с ним Яков Соломонович в начале 1940 г. составил и распространил в четырех экземплярах рукописную листовку: «Товарищи! Четыре месяца длится война с финским народом. Тысячами гибнут от пуль и мороза наши отцы, сыновья и братья. В тылу начинается голод. Финское правительство готово пойти на мирные переговоры, но наше правительство их не хочет: оно стремится завоевать Финляндию и посадить там своего ставленника Куусинена. Долой эту империалистическую войну!».

Перед войной окончательно определился и круг эстетических пристрастий Якова Соломоновича. В русской литературе это — Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Островский, Сухово-Кобылин, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Чехов (драматургию его он, впрочем, не любил), Булгаков, Зощенко, Ильф и Петров, ранний Катаев, Маяковский, Е. Шварц. Французской и немецкой литературе он решительно предпочитал англосаксонскую от Шекспира до Фолкнера и прочитанного уже после войны в спецхране Дж. Оруэлла. Марка Твена считал великим писателем. Любил чехов, причем равно почитал Кафку и Гашека. С детства он был фанатичным театралом. Из сильнейших театральных впечатлений раннего возраста — «Дни Турбиных» и «Горячее сердце» в МХАТ, концерты В. Яхонтова, Горина-Горяйнова в Александринке и особенно акимовский Театр Комедии, где он бывал не только на представлениях, но и на репетициях. Тогда же началось и страстное увлечение кинематографом. Величайшим актером и режиссером он всегда считал Чаплина, любил французский поэтический реализм, итальянцев от неореалистов до Феллини, а также Бергмана, Фонда, Вайду.

Первая научная работа Якова Соломоновича, опубликованная в 1939 г., была посвящена анализу исторической песни о Щелкане Дуденьевиче как источнику по истории знамени-

того антитатарского восстания в Твери 1327 г. С этого времени эпоха Ивана III, его сына и внука становится основной темой научных интересов Якова Соломоновича.

Выпускные экзамены в университете совпали с началом войны. У Якова Соломоновича была сильнейшая близорукость и белый билет. Его не взяли даже в народное ополчение, и он остался в тылу преподавателем пединститута в Енисейске. В двадцать один год в Томске он защитил кандидатскую диссертацию по истории русско-английских отношений в эпоху Ивана Грозного. После войны он с большим успехом преподавал русскую историю в Академии художеств и в Герценовском институте. Вообще наибольшее удовольствие он получал от преподавания и считал его своим настоящим призванием. Между тем началась великая послевоенная чистка.

В 1949 г. в ходе «борьбы с космополитизмом» Я. С. Лурье был уволен и четыре года жил без постоянной работы. К этому времени у него уже была семья. В 1948 г. он женился на И. Е. Ганелиной, враче-кардиологе, ставшей позже доктором наук, основателем первого в стране специализированного инфарктного отделения. В 1950 г. у них родился сын. Угнетенное состояние от безработицы (тогда же из ЛГУ был выгнан и С. Я. Лурье) дополнялось угрозой ареста. Якова Соломоновича не раз вызывали на допрос в Большой дом. Ему были предъявлены показания его бывшего университетского приятеля о «симпатии к англосаксонским державам» и «критиканстве». По совету М. Н. Ботвинника он, не дожидаясь новых допросов, уехал в Мурманск, потом жил в Харькове и в Москве. В 1951 г. по предложению Д. С. Лихачева он принял участие в академическом издании «Посланий Ивана Грозного».

В 1953 г. Я. С. устраивается на работу в Музей истории религии и атеизма, где занимается исследованием так называемой московско-новгородской ереси времен Ивана III. Результатом этой работы стала его совместная с Н. А. Казаковой монография «Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века». Близкая тематика привлекала его и тогда, когда он устроился на работу в Секторе древнерусской литературы Пушкинского дома (1957—1982).

Борьба деспотической и гуманистической традиций в общественной мысли Руси на рубеже XV—XVI вв. стала темой докторской диссертации Я. С. Лурье. Трудности исследования этой темы заключались прежде всего в том, что концепции русских «предгуманистов» дошли до нас чаще всего в недобросовестном изложении победивших их противников, поэтому реконструкция взглядов сторонников независимости Новгоро-

да, еретиков, деятелей, связанных с периодом вечевой вольности, требовала специальных методов источниковедческого анализа, основанных прежде всего на реконструкции наиболее ранних летописных известий. В работе по такой реконструкции Я. С. Лурье следовал прежде всего традициям, заложенным А. А. Шахматовым, А. Е. Пресняковым и М. Д. Приселковым. Изучению истории России от Ивана III до Ивана Грозного посвящены 5 монографий и вышедшие отдельными книгами комментированные им издания сочинений Иосифа Волоцкого, Афанасия Никитина, Федора Курицына, Ивана Грозного, Андрея Курбского, Ивана Пересветова.

В научной работе Я. С. Лурье был яростным полемистом. Его гнев вызывало прежде всего то, что М. Д. Приселков называл «потребительским отношением к источнику». Это — распространенная в мировой и особенно советской историографической традиции манера выдергивания исторических известий, которые подходят под заранее сочиненную автором концепцию. Известия эти при ближайшем рассмотрении часто оказываются ложными. Так, Я. С. Лурье отрицал вошедшие в учебники «азбучные» положения, как, например, сознательный выбор Александром Невским союза с татарами для борьбы с католическим Западом. Опираясь каждый раз на наиболее достоверные и ранние, по его мнению, источники, Я. С. Лурье рассматривал как легендарные, придуманные задним числом многие общеизвестные эпизоды Невской и Куликовской битв, стояния на Угре, он не считал серьезным противостояние Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Наибольшие сомнения вызывали у него известия Никоновской летописи, которую он сравнивал из-за ее разрушительного влияния на историческую науку с Кратким курсом истории ВКП(б). Являясь одним из крупнейших специалистов по русскому летописанию, Яков Соломонович посвятил летописям несколько сот печатных работ и участвовал в издании нескольких томов из Полного собрания русских летописей. Он ставил перед исторической наукой задачи «восстановить, по возможности, права источника и факта» (А. Е. Пресняков).

Различия в научных воззрениях не означали для Якова Соломоновича разрыва личных отношений; наоборот, способность к честному, аргументированному спору была для него необходимым условием дружбы. На этом, в частности, строились его взаимоотношения с ближайшим другом — А. А. Зиминым. Они спорили в печати, в личной переписке (сохранилось около 800 их писем друг другу), при встречах (Зимин останавливался у Якова Соломоновича в Ленинграде, а тот у него — в Москве). Спорил он и со своими зарубежными

друзьями-коллегами — Джоном Феннеллом, Верой Лилиенфельд. Диаметральная противоположность взглядов на подлинность переписки Грозного и Курбского не мешала дружеским связям Якова Соломоновича с американцем Э. Киннаном. Условием развития науки он считал свободную академическую критику. Поэтому, когда в 1964 г. началась открытая полемика между А. А. Зиминым и другими его коллегами о времени написания «Слова о полку Игореве», Яков Соломонович отстаивал необходимость честного, равного спора (вообще-то он считал аргументы Зимина не слишком доказательными).

Но терпим Яков Соломонович был только к тем оппонентам, которые соглашались считать источник основой для всякой исторической дискуссии. Тех же, кто относился к источникам потребительски, передергивал их содержание в угоду теории, он откровенно презирал. Его раздражало всякое празднословие, было ли оно освящено марксизмом, евразийством, структурализмом или православной духовностью. При этом он был начисто лишен ревности к успехам коллег, склонности к научному карьеризму. Эта серьезность в исполнении научного долга, отказ от кастовых приличий и общеинтеллигентской моды иногда превращала его в белую ворону среди коллег.

Яков Соломонович всегда страстно интересовался политикой. С конца 1940-х гг. он был постоянным слушателем Би-би-си (сначала по-английски). С конца 1960-х гг. в меру возможностей он принимал участие в помощи диссидентскому движению. Его литературным секретарем числился редактор и издатель сборников «Память» и «Минувшее» А. Б. Рогинский. После ареста Рогинского Я. С. Лурье вместе с профессорами В. В. Пугачевым и Б. Ф. Егоровым выступал свидетелем защиты на его процессе. Квартира Лурье подверглась обыску. Параллельно обострились уже давно непростые отношения с сотрудниками и дирекцией Пушкинского Дома.

В результате в расцвете творческих сил в 1982 г. Я. С. Лурье был уволен из Пушкинского Дома «в связи с сокращением численности штата». Однако это не изменило его образа жизни (9 часов в день за рабочим столом, Публичка, квартира Ботвинника, кинотеатр «Спартак», «Глядя из Лондона»). Лишившись постоянной службы, Яков Соломонович не только не оставил занятий историей летописания, но и обратился к другим научным темам.

Они касались прежде всего четырех его любимых писателей — Льва Толстого, Михаила Булгакова, Ильфа и Петрова. В 1983 г. во Франции под псевдонимом А. А. Курдюмов вы-

ходит его книга «В краю непуганых идиотов», посвященная Ильфу и Петрову. К этому времени Ильф и Петров оценивались либеральной общественностью как писатели-коллаборационисты, неглубокие комики, верой и правдой служившие советской власти. Используя в значительной степени те текстологические приемы, которые он применял в работе над средневековыми текстами, Я. С. Лурье показал, что если у Ильфа и Петрова (как и у Булгакова) были в 1920-е гг. представления о том, что большевики несут в Россию в какой-то степени цивилизацию, то со времен сталинской «революции» 1929 г. эти иллюзии развеиваются, и сатирики выступают в качестве прозорливых и бескомпромиссных критиков режима.

Исследование творчества Булгакова Я. С. Лурье начал едва ли не раньше всех в отечественной филологии, опубликовав в 1963 г. совместно с И. З. Серманом статью о текстологии «Дней Турбиных». В дальнейшем он принимал участие в комментированном переиздании булгаковских текстов и составил описание той части архива Булгакова, которая хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома.

В 1993 г. вышла монография Я. С. Лурье «После Льва Толстого», в которой он исследует философию истории великого русского писателя, и прежде всего его отношение к народу и государству.

В 1987 г. под псевдонимом Б. Я. Копржива-Лурье в Париже выходит книга Я. С. Лурье, посвященная его отцу, — «История одной жизни». В рассказе о биографии историка античности, находящегося в вечной опале из-за нежелания следовать официальной идеологии и моде, чувствуется сильный автобиографический подтекст. В сущности, это «История моего современника», посвященная столь же отцу, сколько и сыну.

В конце 1980-х г. Яков Соломонович начинает много и свободно печататься на Западе, читать лекции в европейских и американских университетах. Особенную радость принесло ему посещение Англии, о котором он мечтал с детства.

В последние годы Я. С. Лурье работал особенно плодотворно и много. Смерть прервала его жизненный путь незадолго до 75-летнего юбилея. И здесь сын опять повторил судьбу отца, который тоже умер в 74 года.

Я. С. Лурье не был ни профессором, ни академиком, ни заслуженным деятелем науки. Он лишен был возможности преподавать — т. е. того, к чему всегда был особенно склонен. Если бы не неожиданная возможность получать гранты и зарплата жены, он жил бы последние годы на пенсию, т. е. в сущности в нищете. Однако после многих десятилетий противо-

естественного отбора, практиковавшегося в российской науке, особенно в Петербурге, Я. С. Лурье был одним из немногих российских ученых мирового уровня. Он автор около 300 научных работ (из них 11 монографий).

Я. С. Лурье не верил в загробное существование, но говорил, что единственное, чего бы он хотел после смерти, — чтобы и в загробный мир проникала нецензурованная информация о судьбе его страны и всего мира.

ИСТОРИЯ РОССИИ В ЛЕТОПИСАНИИ И В ВОСПРИЯТИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ВВЕДЕНИЕ

Задача пересмотра истории Древней Руси на основе нового и углубленного исследования летописания встала перед русской исторической наукой довольно давно — уже в первые десятилетия XX в. В монографии «Образование Великорусского государства» (1918) и в речи перед защитой этой работы в качестве докторской диссертации А. Е. Пресняков заявил о необходимости «восстановить, по возможности, права источника и факта» в исторической науке. Он писал, что ранняя история Руси «стала в нашей историографии жертвой теоретического подхода к матерьялу, который обратил данные первоисточников в ряд иллюстраций готовой, не из них выведенной схемы». В результате, как указывал исследователь, летописные своды «при безразличном пользовании разными их типами и редакциями, без учета создавших эти типы и редакции тенденций книжнических точек зрения, не дают всего, что могут дать, и, что существеннее, позволяют предпочесть позднюю и нарочитую переделку текста подлинному, первоначальному историческому свидетельству; так часто и бывало, потому что Никоновская летопись и зависимый от нее текст Татищевской „Истории“ лучше иллюстрировали принятую схему».[1] Под принятой схемой Пресняков имел в виду «главные направления нашей историографии» XIX в (от С. М. Соловьева до В. О. Ключевского), для которого «данные первоисточников стали, собственно, не основой построения, а запасом иллюстраций к положениям защищаемой историко-социологической доктрины».[2]

«Научный реализм», провозглашенный А. Е. Пресняковым, в значительной степени был связан с традициями петербургской исторической школы В. Г. Васильевского и С. Ф. Платонова,

---

[1] *Пресняков А. Е.* Образование Великорусского государства. Пг., 1918. С. V—VI.

[2] *Пресняков А. Е.* Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великорусского государства». Пг., 1920. С. 5.

представители которой придавали особое значение источниковедению в противовес московской школе, представленной «строителями научных систем» (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский). В еще большей степени на взглядах А. Е. Преснякова отразились труды А. А. Шахматова, давшие возможность построить генеалогию русского летописания на основе сравнительно-текстологического исследования всей совокупности летописей, включая целый ряд вновь открытых ученым. На труды А. А. Шахматова опирался не только А. Е. Пресняков, но и ряд других ученых, вошедших в науку в предреволюционные и первые послереволюционные годы, — М. Д. Приселков, Н. Ф. Лавров, А. Н. Насонов.

Однако стремление восстановить «права источника и факта» при изучении истории Древней Руси натолкнулись на препятствия, лежавшие вне науки. С конца 1920-х гг. власть начала планомерное преследование всех историков, которые не принадлежали к официальному направлению и считались чуждыми и враждебными марксистской идеологии. Жертвами «дела историков» 1929—1930 гг. оказались почти все видные представители исторической науки. А. Е. Пресняков умер в 1929 г. и избежал преследований, но С. Ф. Платонов, М. Д. Приселков и многие другие стали жертвами репрессий. Официальная историография, которую возглавлял М. Н. Покровский, была еще более привержена к «теоретическому подходу к матерьялу», чем историография XIX в., и отнюдь не склонна была к «непосредственному отношению к источнику и факту». Еще в 1910 г. в предисловии к «Русской истории с древнейших времен» ее авторы — М. Н. Покровский и Н. М. Никольский заявили, что намереваются «брать целиком у других, у исследователей первоисточников, их материал», обрабатывая его «с материалистической точки зрения».[3] В 1930 г. преподавание истории в школе и в большинстве высших учебных заведений было отменено; ученым предписывалось заниматься прежде всего историей социальных процессов и классовой борьбы, а не политической историей. Вся история была втиснута в рамки разработанной в 1930-х гг. «теории формаций»; источниковедению отводилась чисто служебная и второстепенная роль. Издание «Полного собрания русских летописей», продолжавшееся после революции вплоть до 1920-х гг., было прекращено, и глава организованного в 1931 г. Историко-археографического института С. Г. Томсинский[4] за-

---

[3] *Покровский М. Н.* (при участии Н. М. Никольского и В. Н. Сторожева). Русская история с древнейших времен. М., 1910. Т. 1, кн. 1. С. 5—6.

[4] *Томсинский С. Г.* Проблемы источниковедения // Проблемы источниковедения: Сб. 1. М.; Л., 1933. С. 9. (Тр. Историко-археографического института АН СССР. Т. 9).

являл, что институт «порвал с тематикой старой Археографической комиссии», и в частности с изданием летописей.

Положение несколько изменилось с середины 1930-х гг. Преподавание «гражданской истории» в школах и вузах было восстановлено. Хотя изложение истории теперь всецело было подчинено теории формаций (Древняя Русь рассматривалась как Русь феодальная), в рамках этой схемы допускались частные источниковедческие исследования. Ученые, занимавшиеся летописанием (М. Д. Приселков, А. Н. Насонов и др.), вновь получили возможность работать.

Но перед «восстановлением прав источника и факта» в исторической науке возникло новое препятствие. Уже в предвоенные и особенно в военные годы историю стали трактовать как своеобразный учебник патриотического воспитания; важнейшую роль при этом сыграло известное сталинское выступление 7 ноября 1941 г. о «великих предках», начиная с Александра Невского и Дмитрия Донского.[5] Были решительно осуждены любые исследования, подрывавшие каноническую трактовку истории отечества, содержавшие даже намеки на поддержку «норманизма» — указание на какую-либо роль норманнов в древнейшей истории Руси, и т. д. Историческая наука еще в большей степени, чем раньше, стала, употребляя выражение А. Е. Преснякова, «жертвой теоретического подхода к матерьялу, который обратил данные первоисточников в ряд иллюстраций готовой, не из них выведенной схемы».

Годы кризиса советской системы были ознаменованы новыми явлениями в исторической науке. Господствующая схема исторических формаций еще сохраняла монопольное положение, но конкретные исследования во многом подрывали эту схему.

Сегодня в нашей науке нет какой-либо единой схемы исторического процесса. Казалось бы, историк может работать не стесняемый никакими запретами. Но существует мода, трудно преодолимое общее мнение. Болотникова, Разина и Пугачева сменили в исторической публицистике другие герои — митрополит Иларион, Александр Невский, Сергий Радонежский.

Каковы же были изменения, произошедшие в исторической науке? «Источник и факт» в исследованиях постепенно обретали свои законные права. Работы 1960—1980-х гг. в значительной степени стали носить источниковедческий характер. Традиционное деление русских историков на петербургских «эрудитов» и московских «строителей систем» потеряло свое значение. Москвич С. Б. Веселовский, чьи наиболее яркие ра-

---

[5] *Сталин И.* О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1946. С. 36.

боты были опубликованы посмертно, выступал в них скорее как источниковед, нежели как историк-теоретик. Именно он, опираясь на источники, опроверг весьма остроумное, но грешившее «теоретическим подходом к матерьялу» объяснение опричнины, данное таким корифеем петербургской исторической школы, каким был С. Ф. Платонов. Работы С. Б. Веселовского по истории опричнины были продолжены А. А. Зиминым и В. Б. Кобриным. А. А. Зимин создал серию монографий, охватывающую почти всю русскую историю с первой четверти XV в. по начало XVII в., однако ценность этой серии была не в единой концепции, а прежде всего в скрупулезном анализе источников. Лучшие работы последних лет также носят скорее источниковедческий, нежели теоретический характер.

Однако новые данные по истории летописания в далеко не достаточной степени сказались на исторических изысканиях. Работы таких исследователей, как М. Д. Приселков и А. Н. Насонов, во многом дополнили и видоизменили схемы летописной генеалогии, предложенные А. А. Шахматовым; найден ряд новых летописных текстов. Но в исследованиях по политической истории эти новые данные учтены в недостаточной мере. По-прежнему летописи используются независимо от их происхождения и времени составления лежащих в их основе сводов и привлекаются для иллюстрации общих построений историков.

В 1994 г. автор этой книги выпустил в свет монографию «Две истории Руси XV в.», в которой пытался пересмотреть традиционные взгляды на историю этого столетия, опираясь на наиболее ранние и наименее тенденциозные летописные памятники. В настоящей работе такому же пересмотру будут подвергнуты основные события политической истории предшествовавших веков — первые века истории Руси, начало монгольского ига и деятельность Александра Невского, церковно-политические отношения во время Куликовской битвы; данные летописей сопоставляются с построениями историков XX столетия. Речь будет идти именно о летописных известиях, а не о истории соответствующих периодов в целом: о сравнении первоначальных известий с более поздними и с восприятием их в историографии нового времени.

Здесь, очевидно, нужно сделать важную оговорку. Говоря о современном восприятии истории прошлого, историки и литературоведы часто противопоставляют ментальность людей древности и средневековья мышлению современных людей. Автор отнюдь не склонен к такому противопоставлению. Несомненно, что сведения о мире и воззрения людей давно прошедшего времени отличаются от тех, которые свойственны

нам. Люди средневековья не всегда различали предания и действительные факты. Они с доверием принимали легенды. Однако их основной понятийный аппарат, судя по всем источникам, принципиально не отличался от нашего. «Основные черты мыслительной деятельности человека и его способности чувствовать остаются неизменными в различные эпохи его исторического существования, не завися в то же время ни от расы, ни от географического положения, ни от степени культуры, — писал И. М. Сеченов. — Только при этом становится... для нас возможным понимать мысли, чувства и поступки наших предков в отдаленные эпохи».[6] Антропологи также приходят к выводу, что человек (homo sapiens) «всегда думал одинаково хорошо: улучшения заключаются не в предполагаемых процессах в человеческом уме, но в открытии новых областей, к которым прилагаются его не изменившиеся и не меняющиеся силы».[7] Исследователь, который предполагал бы существование у людей прошлого «особого мышления», в сущности, закрыл бы для себя возможность понимания сочинений средневековых авторов: ведь сам такой исследователь живет в наше время.

Обращаясь к летописным памятникам, мы встречаемся в них не столько с примитивным мышлением и наивностью древних летописцев, сколько с их пристрастием к определенным политическим силам, с их явной тенденциозностью. Мнение А. А. Шахматова, что рукой летописца «управляли политические страсти и мирские интересы»,[8] не было опровергнуто авторами, писавшими после него. Мнение это основывалось на анализе летописных сводов, на явных расхождениях между ними. Более поздние летописцы систематически переделывали рассказы своих предшественников. Пристрастие летописцев нарастало с течением времени: наиболее тенденциозными оказываются обычно летописи времени создания самодержавного Русского государства в конце XV и в XVI вв.

Сопоставляя известия различных летописных сводов с их изложением в трудах историков нашего времени, автор этой книги не ставил своей целью дать обзор историографии XX в. Речь идет лишь об интерпретации летописных известий в сочинениях авторов, писавших после А. А. Шахматова и А. Е. Преснякова. Предметом рассмотрения оказались не только чисто научные труды, но и работы, выходящие за рамки академической историографии. Популярность таких работ,

---

[6] *Сеченов И. М.* Избранные философские и психологические произведения. М., 1947. С. 223.

[7] См.: *Levi-Strauss C.* Structural anthropology. New York, 1976. P. 230.

[8] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. XVI.

появление у них поклонников и подражателей, претензии авторов на высказывание новых «историософских» концепций делают особенно настоятельной проверку их научной доказательности. Критика этих работ привела, возможно, к известной публицистичности изложения. Но такая публицистичность не была целью автора этой книги, а определялась характером разбираемых им сочинений.

Глава I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Летопись служит для исследователя Древней Руси важным историческим источником, в ряде случаев — единственным. Обращаясь к летописанию, ученый неизбежно должен поставить перед собой теоретические вопросы источниковедения. Вопрос о критериях и методах критики источников редко бывает предметом специального рассмотрения. Такие вопросы чаще всего излагаются в учебниках исторической методологии или во введениях в историческую науку.[1] При этом обычно разграничивается «внешняя и внутренняя критика источника» (критика происхождения и критика достоверности), отмечается его роль как памятника истории («остатка») и как свидетельства об историческом событии. Вместе с тем с критикой источника связан ряд весьма сложных и важных проблем: принципы доказательства в исторической науке, вопрос соотношения синтеза и анализа и т. д. Каковы критерии, позволяющие или не позволяющие использовать конкретный источник? Может ли ученый, признав источник в целом недостоверным, привлекать его отдельные показания, и в каких случаях?

Необходимость критического отношения к источникам осознавалась русскими историками уже давно. Однако для Н. М. Карамзина это была прежде всего внешняя критика — стремление использовать подлинные, наиболее древние (по возможности «харатейные» — пергаментные) и близкие к описываемому времени источники.

---

[1] *Bernheim E.* Lehrbuch der historischen Methode. Leipzig, 1894. S. 397—403; *Ланглуа Ш., Сеньобос Ш.* Введение в изучение истории. СПб., 1899; *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. СПб., 1913. Вып. 2. С. 618—746.

Постановка вопросов внутренней критики источника часто связывается в историографии с так называемой «скептической школой» первой половины XIX в.[2] Именно этому направлению и его наиболее известному представителю М. Т. Каченовскому официальный идеолог «православия, самодержавия и народности» С. С. Уваров ставил в вину «потрясение наших летописцев», предосудительное «для нашего народного чувства»; «скептицизм» Каченовского был причиной его отстранения от профессорской кафедры в 1835 г. С. М. Соловьев вспоминал в своих «Записках» о «начальническом выговоре», полученном им от другого министра просвещения, Ширинского-Шихматова, за «скептическое направление и следование Каченовскому: „Правительство этого не хочет! Правительство этого не хочет!“», — кричал Шихматов молодому профессору. Тогда же, по словам Соловьева, «запрещено было подвергать критике вопрос о *годе основания* Русского государства, ибо-де 862 г. назначен „преподобным Нестором“».[3]

Однако следует иметь в виду, что критицизм «скептической школы», столь смущавший официальных лиц при Николае I, был по существу весьма ограниченным. Внешней критике свидетельств и «манускриптов» ее представители не придавали главного значения и были в этом вопросе менее «скептичны», чем Карамзин. В центре же интересов была «высшая критика», понимаемая не как установление «достоверности свидетельств» (т. е. источников), а как сопоставление показаний источника с «характером времени», т. е. с некоей общей, установленной a priori системой исторического развития. «Всякие открытия в рукописях старины, слишком иногда простодушной, зато уж и черезвычайно затейливой, надобно испытывать в горниле высшей критики, т. е. соображать с историческим ходом происшествий, с духом времени, с обстоятельствами», — писал Каченовский. Еще дальше развил эту мысль Н. И. Надеждин, настаивавший на том, что из «внутренних условий жизни» можно выводить не только «отрицательную», но и «положительную возможность факта». «Только история народа русского», по мнению Н. И. Надеждина, «могла открыться повествованием о добровольном предании великой богатой земли под спасительную власть самодержавия». Соответствие с «законами исторического условия жизни» «вну-

---

[2] *Бестужев-Рюмин К. Н.* Современное состояние истории как науки // Московское обозрение. 1859. № 1. С. 35; *Иконников В. С.* Опыт русской историографии. Киев, 1891. Т. I, кн. 1. С. 78—81; *Милюков П. Н.* Главные течения русской исторической мысли. М., 1898. Т. 1. С. 271—283.

[3] Записки С. М. Соловьева. Пг., 1915. С. 139. Ср.: *Милюков П. Н.* Главные течения русской исторической мысли. Т. 1. С. 285.

шает доверие к факту, хотя бы он опирался на предания, не удовлетворяющие требованиям нынешней критики».[4]

Такой взгляд на внутреннюю критику источника был усвоен и виднейшим русским историком XIX в., во многом находившимся под влиянием «скептической школы», — С. М. Соловьевым. Особенно ясно обнаруживается сходство источниковедческих принципов С. М. Соловьева и Н. И. Надеждина из высказываний первого в полемике с Н. И. Костомаровым о подвиге Ивана Сусанина. Костомаров обратил внимание на то, что источником для всех рассказов о Сусанине служил единственный памятник — грамота зятю Сусанина, Богдану Собинину 1619 г. об освобождении его от уплаты налогов, но ни один из современных источников о подвиге Сусанина не сообщает; рассказ о том, что он заманил поляков (которые вообще не доходили в 1613 г. до Костромы) в лес, появился лишь в сочинениях и учебниках XIX в. Соловьев согласился с тем, что пытать Сусанина могли не поляки, а какие-нибудь «воровские казаки», но настаивал на достоверности самого подвига. Упрекая своего оппонента в «приемах мелкой исторической критики» при анализе преданий о Сусанине, Соловьев указывал, что при описании войн Богдана Хмельницкого Костомаров не проявлял такого гиперкритицизма; он с доверием повествовал об аналогичном сусанинскому подвиге украинского крестьянина Галагана, о котором «знает только источник мутный, и ничего не знает источник первостепенный». На первый взгляд, здесь простое указание на непоследовательность оппонента, нередкий в полемике argumentum ad hominem. Однако для Соловьева это замечание имело принципиальное значение. Он осуждал Костомарова не за излишнее доверие к сомнительным украинским источникам, а за его скептицизм в оценке источников о подвиге Сусанина. При решении вопросов о важных исторических событиях недопустимы, по Соловьеву, «приемы мелкой исторической критики»: «для подобных явлений есть высшая критика. Встречаясь с подобными явлениями, историк углубляется в состояние духа народного»; если описываемое явление соответствует состоянию «народного духа», то оно не подлежит сомнению, даже если о нем сообщает «мутный источник».[5] К сходной аргументации

---

[4] *Каченовский М. Т.* Исторические справки об Иоанне Екзархе Болгарском // Вестник Европы. 1826. № 13. С. 199; *Надеждин Н.* Об исторической истине и достоверности // Библиотека для чтения. СПб., 1837. Т. 20. С. 153—154, 162.

[5] *Костомаров Н. И.* Иван Сусанин // Исторические монографии и исследования. СПб., 1872. Т. 1. С. 431—453; *Соловьев С. М.* Соч. М., 1995. Кн. 5, т. 9—10. С. 383—391.

прибег Соловьев и в споре о призвании варягов. Д. И. Иловайский сомневался в достоверности летописного рассказа о призвании; возражая ему, Соловьев указывал, что в этом рассказе «существуют внутренние условия силы, обязательности», вытекающие из «хода народной жизни».[6]

Очевидна опасность такого априорного подхода к критике источников. Она легко может завести автора в порочный круг, когда исследователь заранее устанавливает некую систему представлений, соответствующую «ходу народной жизни» или «духу времени», а затем отыскивает соответствующие факты в источниках (хотя бы и «мутных»), отвергая остальные как противоречащие этому «духу».

Уместно здесь вспомнить слова Фауста у Гете:

...А то, что духом времени зовут,
Есть дух профессоров и их понятий,
Который эти господа некстати
За подлинную древность выдают...[7]

В начале XX в., как мы уже упоминали, в русской исторической науке чересчур «теоретическому подходу к материалу» было противопоставлено восстановление «прав источника и факта» (А. Е. Пресняков). Обязательным условием научного исследования стал принцип предварительного изучения всякого памятника, привлекаемого в качестве исторического источника. Настоятельно необходимо соблюдение этого принципа, в частности, при изучении летописных памятников. В «Истории русского летописания» М. Д. Приселков выступил против такого подхода к летописи, когда историк, «не углубляясь в изучение летописных текстов, произвольно выбирает из летописных сводов нужные ему записи, как бы из нарочно для него заготовленного фонда...».[8] Подобный подход получил в 1930-х гг. наименование «потребительского отношения к источнику» (упрек этот был обращен, в частности, к Б. Д. Грекову).[9]

Теоретической предпосылкой «потребительского отношения к источнику» могут, очевидно, служить два соображения: 1) необходимость сочетания индукции с дедукцией — право исследователя идти в критике источника от общего (от логики

---

[6] *Соловьев С. М.* Начало русской земли, II // Сборник государственных знаний. СПб., 1879. Т. 7. С. 7.

[7] *Гете И. В.* Фауст. М., 1960. С. 64 (пер. Б. Пастернака) (см. также: М., 1986. С. 29).

[8] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940. С. 6 (см. также: СПб., 1996. С. 36).

[9] Ср.: замечание С. Н. Чернова (Изв. Гос. Академии материальной культуры. М.; Л., 1934. Вып. 86. С. 111—112).

развития исторических событий) к частному (к конкретным фактам, сообщаемым в источнике); 2) связь аналитической работы историка с его синтетическим построением и учет данных синтеза при анализе.

Наиболее последовательно такое отношение к источниковедению было высказано автором, чьи сочинения обычно не разбирались историками Древней Руси, поскольку их автор не был специалистом в этой области, но которые за последние годы обрели широкую популярность и уже поэтому заслуживают рассмотрения, — Л. Н. Гумилевым.

Л. Н. Гумилев начисто отвергал всяческое источниковедение, объявляя его «мелочеведением», при котором «теряется сам предмет исследования»: «Для нашей постановки проблемы, — писал он, — источниковедение — это лучший способ отвлечься настолько, чтобы никогда не вернуться к поставленной задаче — осмыслению исторического процесса». Анализу источников, показания которых он презрительно именовал «словами» и «цитатами», Гумилев противопоставлял «факты». Он предлагал «гимназическую методику», заключающуюся в том, чтобы взять из источников «то, что там бесспорно — голые, немые факты» и наложить их на «канву времени и пространства». Но где основание считать какие-то из показаний источников «бесспорными» и «немыми фактами»? «...Данные летописей, будучи сведены в солидные исторические труды, не вызывали никаких сомнений за последние полтораста лет», — писал Гумилев.[10] Так ли это? При всем уважении к своим предшественникам, авторам «солидных исторических трудов», все серьезные историки постоянно вновь и вновь критически проверяли конкретные данные летописей и других источников, на которые опирались их предшественники. Ряд положений, которые высказывает Гумилев, действительно принадлежат к числу фактов, традиционно воспроизводимых в учебниках и общих курсах (дата призвания Рюрика, восстание Вадима против него, изгнание Иваном III послов Ахмата и т. п.), но далеко не бесспорных. Однако ряд не менее «общепризнанных» положений Гумилев не затрудняется отрицать. Сам он выступает в своих сочинениях отнюдь не как доверчивый и почтительный последователь авторитетов, а, скорее, как их ниспровергатель. Он отрицает, как мы увидим, существование ордынского ига в XIII—XV вв., значение петровской реформы и т. д. Откуда же такое «гимназическое почтение» к одним фактам и

---

[10] *Гумилев Л. Н.* 1) Поиски вымышленного царства: (Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна»). М., 1970. С. 19; 2) Этногенез и биосфера земли. Л., 1989. С. 160; 3) Может ли произведение литературы быть историческим источником? // РЛ. 1972. № 1. С. 81.

отвержение других? Исключительно от концепции, от того, что сам Гумилев называл «моментами озарения», возникавшими у него «где-то посредине, ближе к началу» работы.[11]

Возможны ли выводы от общего к частному, обратные умозаключения при конкретном исследовании источника? Общие соображения допускают иногда отрицательные заключения такого рода. Встретив в источнике сообщение, находящееся в явном противоречии с логикой или законами естествознания, мы вправе в нем усомниться, даже если источник в целом, употребляя выражение Н. Надеждина, выдерживает «всю пытку обыкновенной критики».

Допустимы ли, однако, в исторической науке положительные дедуктивные построения, не подкрепленные данными достоверных источников? Имеем ли мы право, например, основываясь на общей картине русской истории IX в., признавать достоверность рассказа о приглашении норманнских князей или, исходя из общей картины народных движений XVII в. на Украине, сделать вывод о реальности подвига Галагана? Теоретические посылки указывают на возможность тех или иных фактов, но такая возможность не означает еще, что определенные факты действительно имели место. Закономерность в истории — не математическая закономерность; индукция здесь настолько неполна, что и обратные дедуктивные выводы имеют лишь ограниченный и приблизительный характер.

История — эмпирическая наука; она строится на наблюдениях над фактами. Откуда мы узнаем эти факты? Там, где историк обращается к далекому прошлому, он не может использовать живых свидетелей и пользуется показаниями, зафиксированными в источниках. На что еще он может опираться? В нашем распоряжении нет «машины времени»; даже самый отъявленный противник источниковедения не склонен, как будто, прибегать к спиритическому общению с людьми прошлого. То, что называют иногда «внеисточниковым знанием»,[12] есть знание, которое получает историк, извлекая его

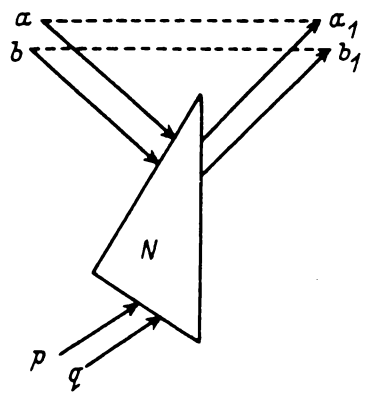
---

[11] *Гумилев Л. Н.* Поиски вымышленного царства. С. 403.

[12] «Внеисточниковое знание» — термин, предложенный польским философом Е. Топольским для определения «системы утверждений и директив», на которые должен опираться историк в процессе исследования: *Topolski Jerzy.* Metodologia historii. Warszawa, 1968. S. 275—276, 287. Ср.: *Терешко М. Н.* Соотношение источниковой и внеисточниковой информации в историческом исследовании // Учен. зап. Томского гос. ун-та им. В. В. Куйбышева. 1975. № 90. (Проблемы методологии и логики науки. Вып. 8). С. 78—79; *Moszczeńska W.* Metodologii historii zarys krytyczny. Warszawa, 1968. S. 179; *Maternicki J.* Niektóre problemy teorii i metodologii historii // Studia zrodłoznawcze. Warszawa; Poznań, 1971. T. 15. S. 159, 161—162.

из работ своих предшественников, т. е., в конечном счете, — знание, также почерпнутое из источников.

Но если конкретные факты в исторической науке могут быть извлечены только из источников, то, следовательно, при оценке показания источника важнейшее значение имеет его общая характеристика — датировка памятника, определение его происхождения, состава, назначения, степени тенденциозности и осведомленности и т. д. Конечно, разбор отдельных показаний источника, проверка их возможности, сопоставление с показаниями других памятников — важнейшие операции при анализе источников. Более того, общая характеристика памятника вообще невозможна без анализа отдельных известий: на основе внешних данных мы можем в лучшем случае судить о подлинности памятника и о времени его написания (и то не всегда), но уже для решения вопроса осведомленности и степени пристрастности мы обязаны обратиться к его содержанию, т. е. конкретным известиям. Чаще всего анализ известий и исследование памятника идут параллельно и объединяются в окончательном выводе. Но иногда выводы, полученные из этих аналитических операций, приходят в противоречие друг с другом. В этих-то спорных случаях перед исследователем и встает вопрос о соотношении отдельных этапов источниковедческой критики — о том, что именно служит основой для окончательного вывода: анализ конкретного известия или общая характеристика источника. Намечающиеся при этом два пути критики источника могут быть изображены в виде следующей простой схемы:



Общая характеристика источника (*N*) складывается из двух элементов: из данных, относящихся к самому памятнику — к его структуре, истории текста и т. д. (*p, q*...), и из наблюдений над его отдельными показаниями (*a, b*...). Суммируя обе группы наблюдений, исследователь может на этом основании строить характеристику источника (*N*), а уже от нее переходить к выводам о достоверности отдельных фактов (a_1, b_1...). Но он может идти по иному, гораздо более легкому пути: от анализа отдельных известий прямо переходить к заключению о вероятности факта (*a a* a_1, *b a* b_1 и т. д.).

Опасность такого «короткого замыкания» особенно очевидна в тех случаях, когда авторы извлекают «вероятные» и «закономерные» известия из источников, сама подлинность которых вызывает законные сомнения. Таковы сочинения фальсификатора начала XIX в. А. И. Сулакадзева, из которых историк техники В. В. Данилевский извлекал «вполне закономерные» известия об изобретении воздушного шара в 1731 г. «подьячим нерехтцем Крякутным» (Сулакадзев сперва назвал этого изобретателя «немцом крещеным», а затем, в той же рукописи, переправил «немца» на «нерехтца», а «крещеного» на «Крякутного»).[13] Такова довольно популярная в наше время «Влесова книга», сочиненная в 1953—1954 гг. Ю. Миролюбовым.[14]

Сходная тенденция обнаруживается и в исследованиях, основанных на материале древнерусских житий святых. Особенно опасными становятся житийные рассказы, когда они вводятся (с традиционными ссылками на очевидцев) внутрь летописного повествования. Привлекая такие рассказы в качестве исторических источников, историки часто исключают из них все то, что противоречит естествознанию и логике, и оставляют остальное. Но где гарантии, что граница между правдой и вымыслом пролегала именно там, где предполагают исследователи, не верящие в чудеса? Как справедливо заметил историк и агиолог Г. П. Федотов, «стремление очистить легенды от „чудесного“ — порок, в который нередко впадает историк „от избытка пиетета к преданию“. Но легенда сама является фактом духовной культуры».[15]

Оценка показаний источника зависит от его общей характеристики — и как памятника, и как носителя информации. То, что именуют «скептическим направлением» в исторической науке, вытекает обычно не из излишне осторожного отношения к показаниям источников, а из полного пренебрежения ими — из общих внеисточниковых соображений. Таковы, например, теория Н. А. Морозова о легендарности античной истории и утверждение его последователей — Г. В. Носовского и А. Т. Фоменко о недостоверности всех источников «допечатной эпохи» и всей русской истории до Романовых.[16] Эти авторы не анализируют источники, а заявляют, что все памят-

---

[13] *Данилевский В. В.* Русская техника. 2-е изд. Л., 1948. С. 405. Ср.: *Покровская В. Ф.* Еще об одной рукописи А. И. Сулакадзева: (К вопросу о поправках в рукописных текстах) // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 634—636.

[14] *Творогов О. В.* Влесова книга // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. С. 244.

[15] *Федотов Г. П.* Православие и историческая критика // Россия, Европа и мы. Париж, [1973]. Т. 2. С. 205.

[16] *Морозов Н. А.* Христос. М., 1929—1932. Кн. 1—7; *Носовский Г. В., Фоменко А. Т.* Новая хронология и концепции древней истории Руси, Англии и Рима: Факты; Статистика; Гипотезы. [В 2 т.]. М., 1995.

ники (в том числе и вещественные и добытые археологами при раскопках) — плод фальсификации более позднего времени. Подлинная историческая критика, как отмечал тот же Г. П. Федотов, основывается «на показаниях источников, на сличении их, на усмотрении их противоречий, на восхождении к источникам более древним и объективным». Он указывал, что «есть лишь одна логика, одна методика — в вещах, постигаемых опытом, — для христианина, иудея и атеиста. Критика есть чувство меры, аскетическое нахождение среднего пути между легкомысленным утверждением и легким отрицанием. Вот почему не может быть „гиперкритики", то есть избытка меры, излишней рассудительности».[17]

Работа историка не ограничивается анализом отдельных источников; от такого анализа он переходит к синтетическому построению, основанному на их совокупности (для такого построения, очевидно, необходимо наличие не одного, а нескольких источников). Не оказывает ли этот синтез обратного влияния на анализ — не предопределяет ли он решение вопроса о достоверности отдельных показаний конкретного источника? Едва ли это так. При оценке отдельных показаний источника (*a, b*...) учитывается, естественно, их соответствие показаниям других источников (при независимости текстов), но их совокупный анализ строится на сочетании тех схем, о которых шла речь выше. Схема не отменяется, а как бы соединяется с другими аналогичными схемами (см. с. 28).

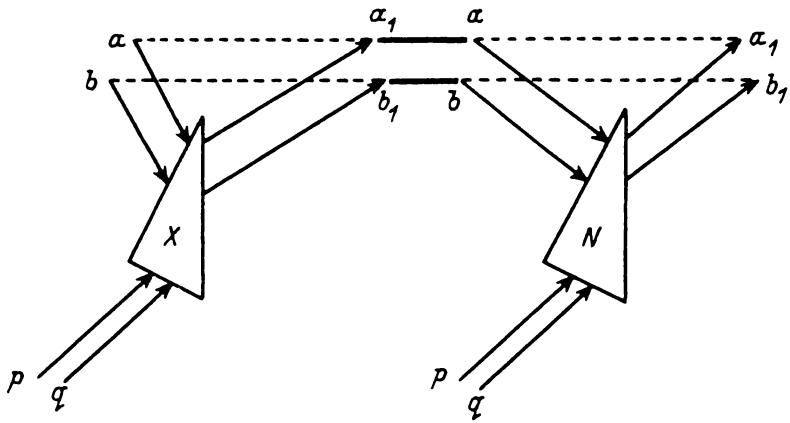
Синтетическое построение не должно предрешать выводов из анализа отдельного памятника (*N*); напротив, оно имеет ценность только тогда, когда опирается на такой анализ.

Какие обстоятельства могут свидетельствовать о достоверности показаний заведомо пристрастного и тенденциозного источника? Общее правило критики тенденциозных источников, очевидно, может строиться на следующем принципе: имея дело с таким источником, исследователь не должен извлекать из него такие показания, которые непосредственно отражают его тенденцию, но должен искать такие случаи, когда источник «проговаривается» — сообщает известия, противоречащие основной тенденции.[18] Наличие доброкачественных известий следует обосновать, а не прокламировать: оно должно быть подтверждено специальным исследованием памятника.

История — эмпирическая наука, но, в отличие от биологии,— не экспериментальная: мы не можем воспроизвести тот или иной исторический факт и проверить наши соображения о нем. Конечно, за показаниями источников могли стоять и

---

[17] *Федотов Г. П.* Православие и историческая критика. С. 202—204.
[18] *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. Вып. 2. С. 642.



часто действительно стояли реальные факты, но до нас дошли только эти показания, и нам надлежит прийти к какому-то заключению о достоверности таких показаний. Любые исторические построения имеют поэтому вероятностный характер.

Вероятностный характер данных исторической науки делает особенно настоятельной необходимость четкого разграничения прямых показаний источников, гипотез, дающих наиболее убедительные объяснения используемым показаниям, и, наконец, простых догадок. Научной гипотезой именуется «предположение о существовании — в настоящем или в прошлом — такого закономерного порядка или такой причины, которые при данном состоянии науки или вследствие прекращения их в прошлом — не могут быть предметом непосредственного наблюдения, но которые, раз только мы предположим их существование, объясняют определенную совокупность явлений...».[19]

Историк прошлого имеет дело с явлениями, которые он не в состоянии непосредственно наблюдать. Гипотезой в исторической науке следует именовать такое предположение, которое может объяснить данные источников. Необходимость гипотезы вытекает из совокупности эмпирических наблюдений, основанных на реальных данных и требующих объяснения. Именно поэтому ученый, отвергающий какую-либо гипотезу, не может ограничиться простым ее отрицанием, а обязан предложить альтернативную гипотезу, которая объяснила бы со-

[19] *Асмус В. Ф.* Логика. М., 1947. С. 315—316. Ср.: *Навиль Э.* Логика гипотезы. СПб., 1882. С. 235—237.

ответствующие данные лучше или, по крайней мере, не хуже, чем отвергаемая гипотеза. Вытекая из эмпирической необходимости, источниковедческая гипотеза подчиняется определенным логическим условиям состоятельности, о которых обычно идет речь при оценке научной гипотезы: она должна находиться в полном соответствии с фактическим материалом и охватывать своим объяснением весь этот материал, должна удовлетворять условию максимальной простоты объяснения, ограничиваясь лишь необходимыми логическими звеньями и не вводя излишних.[20]

Таковы характерные особенности гипотезы. Чем же отличается от нее догадка? Догадкой в логике именуется любое, ничем не ограниченное предположение о факте, который м о г происходить. В точных и экспериментальных науках догадка, в сущности, лежит вне научной аргументации: если у исследователя умозрительным путем возникает какое-либо предположение, то предположение это подвергается эмпирической и экспериментальной проверке и либо сохраняется в качестве гипотезы (или даже доказанного положения), либо просто отбрасывается. Но в гуманитарных науках невозможность эксперимента и малая осуществимость целенаправленного эмпирического поиска делают такую модификацию догадки в гипотезу необязательным и даже редким явлением. Догадки и гипотезы существуют здесь независимо друг от друга, хотя нередко смешиваются в научных работах.[21] Конечно, и в гуманитарных науках догадки обычно возникают не по произволу исследователей, а в результате какой-то научной потребности. Источники, дошедшие до нас, дают ответы не на все вопросы, возникающие у исследователя; о многих лицах, событиях и памятниках мы хотели бы узнать больше, чем сообщают источники. Отсюда желание заполнить эти пробелы предположениями о том, что могло происходить. В отличие от гипотезы, вытекающей из какой-то совокупности явлений, требующих объяснений, догадка возникает из недостатка прямых данных по какому-либо вопросу; гипотеза строится на необходимости (хотя и неоднозначной), догадка — на возможности. Для опровержения гипотезы необходимо поэтому альтернативное объяснение тех же явлений, для отказа от догадки — простое указание на отсутствие данных по поставленному вопросу. До-

---

[20] *Баженов Л. Б.* Основные вопросы теории гипотезы. М., 1961. С. 7—32; *Навиль Э.* Логика гипотезы. С. 171—186.

[21] О необходимости различения гипотез и догадок в исторической науке см.: *Лурье Я. С.* О гипотезах и догадках в источниковедении // Источниковедение отечественной истории. 1976. М., 1977. С. 26—41. Сходное разграничение предлагал и А. А. Зимин (*Зимин А.* Существовал ли «невидимка» XVI в.? // Знание — сила. 1971. № 8. С. 46).

гадка — это именно умозаключение по формуле $a — a_1$, предположение о возможности того или иного факта, сделанное без анализа источника, в котором они упоминаются.

Необходимость обоснования всякого положительного утверждения, давно уже признанная логической основой юридического вердикта («бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает»), встречала сопротивление — как в жизненной практике, так и в теории. До судебной реформы 1863 г. принцип этот не соблюдался в русской судебной процедуре: иногда подследственный оставался «под подозрением», а пристрастные чиновники, не имея возможности доказать его вину, объявляли ее «неневероятной».[22] Нормальная юриспруденция отказалась от «неневероятных» утверждений; пора отказаться от них и источниковедению.

Возражая против «сомнительной истории», бельгийский исследователь Ж. Стенжер утверждал, что «наилучшая манера писать историю заключается в том, чтобы подчеркнуть пробелы в наших знаниях, и подчеркнуть решительно... Это приведет, конечно, к „созданию пустоты", которой так боится историк. Но существует поразительный прецедент: уже в XVIII в. ученые стали оставлять белые пятна в географических картах — в этих прекрасных произведениях искусства, которые картографы прежде так стремились украсить, считая делом чести заполнить их от края до края. Из картографии убрали не только все воображаемое, но и все сомнительное. И это было огромным прогрессом. Я верю в такой же прогресс в исторической науке. Он заслуживает, как мне кажется, названия прогресса, ибо соответствует самому высокому и строгому требованию — требованию истины. Не является ли это требование в конечном счете тем великим и единственным делом, для которого существует историческая наука?».[23]

---

[22] Ср.: *Сухово-Кобылин А. В.* Трилогия. М., 1949. С. 115—116.

[23] *Stengers J.* Unité ou diversité de la critique historique // Raisonement et demarches de l'historien // Revue de l'Institute de Sociologie (Bruxelles). 1963. № 4. P. 750, 762—764.

Глава II

ОБЩАЯ СХЕМА ЛЕТОПИСАНИЯ XI—XVI вв.

Привлекая летописи в качестве исторических источников, историки в значительной степени опираются на труды А. А. Шахматова.

Однако учет и использование исследований А. А. Шахматова и его последователей связаны с определенными трудностями, на которые не всегда обращают внимание ученые.

Как и большинство построений в гуманитарных науках, выводы, сделанные Шахматовым из сопоставления многочисленных летописных сводов, в значительной части имели предположительный характер. Но предположительные суждения, как мы уже упоминали, имеют разную степень убедительности. Сравнивая между собой различные летописи, Шахматов устанавливал, что на определенном протяжении они совпадают, а далее расходятся; он делал отсюда вывод, что в основе дошедших до нас летописей лежали общие источники — своды-протографы. Вывод этого рода может быть определен как гипотеза, т. е. такое предположение, которое должно объяснить определенную совокупность фактов (в данном случае совпадение между собою текстов разных летописей). Признав существование подобных протографов, Шахматов конкретизировал свои суждения: он старался уточнить объем предполагаемого свода-протографа, вероятное место и время его составления, давал ему условное наименование, высказывал предположение о тех сводах, которые могли лежать в его основе. Степень доказанности таких построений была уже иной, чем степень доказанности основного вывода о своде-протографе дошедших до нас летописей; здесь следует говорить скорее не о гипотезах, а о догадках.[1] Именно поэтому

[1] О гипотезах и догадках см. предыдущую главу.

Шахматов нередко отказывался от первоначальных определений и датировок, заменяя их другими.[2]

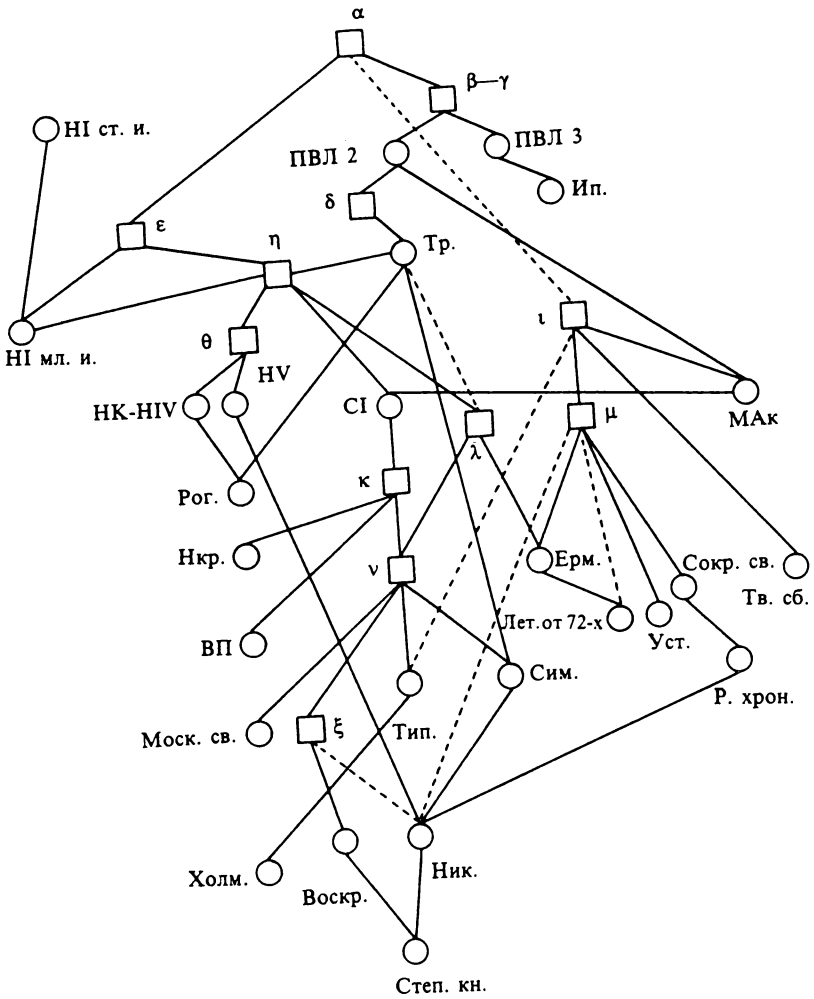
Историку чрезвычайно важно оценить степень доказательности тех или иных шахматовских построений. Еще во время защиты своей магистерской диссертации М. Д. Приселков отмечал, что «для Шахматова текст — цель, для него же самого цель — история».[3] Как исследователь литературного памятника Шахматов стремился как можно глубже проникнуть в его историю: ученого интересовал не только непосредственный протограф исследуемых летописей, но и предки этого протографа — более ранние своды, следы которых могут быть с большей или меньшей вероятностью найдены в его тексте. Для историка же летописный текст — прежде всего источник, на основании которого он может строить выводы об исторических фактах. Он имеет дело в первую очередь с реальными летописными текстами в той степени, в какой она позволяет установить близость памятника ко времени, о котором он сообщает.

К сожалению, историк, не занимающийся специально летописями, не может предварять любую статью или книгу, посвященную Древней Руси, исследованием и сравнением летописных памятников. В лучшем случае он обращается к трудам ученых, производивших эту сложнейшую работу, но их построения обычно очень трудны для восприятия (понять их по-настоящему можно, лишь имея в руках соответствующие летописные тексты) и посвящены далеко не всем летописям, с которыми приходится иметь дело автору конкретного иссле-

---

[2] Этот отказ от первоначальных догадок об объеме и характере сводов-протографов нередко смущал авторов, далеких от исследовательских методов Шахматова, и казался им признаком слабости этих методов. В 1927 г. М. Д. Приселков в письме к А. Н. Насонову просил его на заседании памяти Шахматова (на котором сам Приселков не мог присутствовать) объяснить слушателям «пресловутую изменчивость» выводов Шахматова, вытекавшую «из огромности материала и трудности методов» (см.: *Станиславский А. Л.* Личный фонд А. Н. Насонова в архиве АН СССР // Археографический ежегодник за 1974 г. М., 1975. С. 244). Впоследствии Приселков писал, что важнейшей особенностью шахматовского метода было привлечение «всех имеющихся летописных списков и построение гипотез, захватывающих своим объяснением весь этот материал»; именно вовлечение этого колоссального материала принуждало Шахматова первоначально определять и датировать сугубо предположительно — «это вносило некоторую видимую неустойчивость в выводы, сменявшиеся на новые, более взвешенные, что вызывало неодобрение тех исследователей, которые привыкли и умели оперировать только над простым и легко читаемым текстом» (*Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940. С. 13).

[3] Научный исторический журнал. СПб., 1914. Т. 2, вып. 1 (№ 3). С. 138 (текст протокольного отчета, приводящего слова М. Д. Приселкова в третьем лице).



Общая стемма

дования. Обобщающие труды по летописям — это чаще всего обзоры истории летописания, где читатель имеет дело скорее с гипотетическими сводами XI—XV вв., чем с дошедшими до нас летописями.

Для облегчения понимания дальнейшего текста, а также других работ, основанных на материале летописей, мы предлагаем генеалогическую схему (стемму) летописей XII—XVI вв., к которым будем обращаться в дальнейшем изложении. Речь идет именно о тех летописях, на которых основаны разбираемые далее темы: древнейшая история Руси до 946 г., ордынское иго и Александр Невский, борьба с Ордой и церковно-политические отношения на Руси в конце XIV в. Летописи, в которых эти сюжеты не отражены или отражены в незначительной степени (в частности, летописи южнорусской традиции, восходящие к Ипатьевской летописи, Тверской летописный свод конца XIV в., Псковские летописи, ряд летописей конца XV—нач. XVI в.), в предлагаемую схему не включены [4] (некоторые из них будут отражены в схемах к отдельным главам).

В стемму входят следующие летописи:

1. Повесть временных лет (ПВЛ) начала XII в. второй редакции (Лаврентьевская и сходные с нею летописи).[5]
2. ПВЛ третьей редакции (Ипатьевская и сходные с нею летописи).[6]
3. Новгородская I летопись старшего извода (НI ст. и.) XIII—XIV вв.[7]
4. Ипатьевская летопись (Ип.) конца XIII в. (списки не ранее XV в.).[8]
5. Лаврентьевская летопись (Лавр.) нач. XIV в. (список 1377 г.).[9]
6. Троицкая летопись (Тр.) нач. XV в. (список не сохранился).[10]

---

[4] Опыт построения общей схемы русского летописания см. в статье: *Лурье Я. С.* Генеалогическая схема летописей XI—XVI вв., включенных в Словарь книжников и книжности Древней Руси // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 40. С. 190—205.

[5] Повесть временных лет // ПСРЛ. Л., 1926. 2-е изд. Т. 1, вып. 1. (Фототип. воспроизведение: М., 1961); Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 1, 2. (Сер. «Лит. памятники»).

[6] ПСРЛ. Пг., 1923. 2-е изд. Т. 2, вып. 1. (Фототип. воспроизведение: М., 1961).

[7] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 13—100.

[8] Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1843. Т. 3; СПб., 1871; ПСРЛ. СПб., 1908. 2-е изд. Т. 2. (Фототип. воспроизведение: М., 1962).

[9] Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 1—464; ПСРЛ. Л., 1926—1927. 2-е изд. Т. 1, вып. 1—2. (Фототип. воспроизведение: М., 1961).

[10] *Приселков М. Д.* Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950.

7. Новгородская I летопись младшего извода (НI мл. и.) XV в.[11]

8. Московская Академическая летопись (МАк) XV в.[12]

9. Рогожский летописец (Рог.) XV в.[13]

10. Софийская I летопись (СI) XV в.[14]

11. Новгородская Карамзинская летопись (НК) XV в.[15]

12. Новгородская IV летопись (Н IV) XV в.[16]

13. Новгородская V летопись (Новгородская Хронографическая) (НV) XV в.[17]

14. Никаноровская летопись (Нкр.) XV в. (рукописи не ранее XVII в.).[18]

15. Ермолинская летопись (Ерм.) XV в.[19]

16. Московский свод (Моск.) конца XV в. по Эрмитажному (XVIII в.) и Уваровскому (XVI в.) спискам, а также по так называемой Ростовской (Архивской) летописи XVII в.[20]

17. Сокращенный свод (Сокр. св.) конца XV в.[21]

18. Типографская летопись (Тип.) конца XV в. (рукописи не ранее XVI в.).[22]

19. Симеоновская летопись (Сим.) конца XV в. (рукопись XVI в.).[23]

20. Летописец от 72-х язык (Лет. от 72) конца XV—нач. XVI в.[24]

21. Вологодско-Пермская летопись (ВП) конца XV—XVI в.[25]

---

[11] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 101—427.

[12] Летопись по Лаврентьевскому списку. С. 465—512; ПСРЛ. Л., 1928. 2-е изд. Т. 1, вып. 3.

[13] ПСРЛ. Пг., 1922. 2-е изд. Т. 15, вып. 1. (Фототип. воспроизведение: М., 1965).

[14] ПСРЛ. СПб., 1851. Т. 5. С. 81—275; 2-е изд. (изд. не завершено). Л., 1925. Т. 5, вып. 1; Т. 6. С. 11—111.

[15] В настоящее время готовится к печати: ПСРЛ. Т. 40.

[16] ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 1—137; Пг., 1915; Л., 1925. 2-е изд. Ч. 1, вып. 1—2. С. 321—470.

[17] ПСРЛ. Т. 4. С. 138—165 (фрагменты); Пг., 1917. 2-е изд. Ч. 2, вып. 1. (изд. не завешено).

[18] ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 27. С. 17—162.

[19] ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 23.

[20] ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. Ср.: *Шахматов А. А.* О так называемой Ростовской летописи. М., 1904. С. 67—162.

[21] ПСРЛ. Т. 27. С. 163—298 («Сокращенный летописный свод 1493 г.»), 299—367 («Сокращенный летописный свод 1495 г.»).

[22] ПСРЛ. Пг., 1921. Т. 24.

[23] ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18.

[24] ПСРЛ. М.; Л., 1963. Т. 28. С. 11—163 («Летописный свод 1497 г.»), 165—357 («Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись)»).

[25] ПСРЛ. М.; Л., 1959. Т. 26.

22. Тверская летопись, или Тверской сборник (Тв. сб.) XVI в. (списки XVII в.).[26]

23. Русский хронограф (Р. хрон.) XVI в.[27]

24. Никоновская летопись (Ник.) XVI в.[28]

25. Воскресенская летопись (Воскр.) XVI в.[29]

26. Холмогорская летопись (Холм.) XVI в. (списки XVII в.).[30]

27. Устюжская летопись (Уст.) или Устюжский летописец (Устюжский свод) XVI в. (списки не ранее XVI в.).[31]

28. Степенная книга (Степ. кн.) XVI в.[32]

Генеалогическая схема указывает на основные взаимоотношения (предполагаемые связи отмечены пунктиром) названных летописей, на существование у них общих протографов. Но гипотетических определений, датировок и названий этих сводов-протографов мы в стемме не даем, ибо определения эти, как мы уже отмечали, предположительны, часто условны и в ряде случаев могут быть пересмотрены. Убедительно установленными можно считать лишь сами связи между разбираемыми летописями: исследователь, который захочет объяснить эти связи иначе (влиянием через какие-либо посредствующие звенья, прямой зависимостью одной летописи от другой и т. п.), не может просто игнорировать их, а обязан предложить альтернативную схему, которая способна объяснить взаимоотношения между ними не менее убедительно.

Связующие звенья между летописями (протографы) мы обозначили в схеме буквами греческого алфавита. Ниже мы предлагаем определения этих гипотетических звеньев, кратко отмечая их вероятную датировку и ссылаясь на обоснование этих определений, данных в научной литературе.

α) Протограф ПВЛ, НІ мл. и. (текст старшего извода до 1016 г. не дошел, но возможно, что и здесь в начальной части был отражен тот же протограф) и Новгородско-Софийской группы летописей (см. ниже звенья ε и η), обозначенный А. А. Шахматовым как Начальный свод 1093 г.

β—γ) Протограф второй и третьей редакции ПВЛ — ее первая редакция 1113 г. А. А. Шахматов и М. Д. Приселков

---

[26] ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15.

[27] ПСРЛ. СПб., 1911; Пг., 1914. Т. 22, ч. 1—2.

[28] ПСРЛ. СПб., 1862—1901. Т. 9—12; СПб., 1904. Т. 13, перв. пол. (Фототип. воспроизведение: М., 1965).

[29] ПСРЛ. СПб., 1856—1859. Т. 7—8.

[30] ПСРЛ. Л., 1977. Т. 33. С. 10—147; *Лаврентьев А. В.* Ранний список Холмогорской летописи из собр. А. И. Мусина-Пушкина // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 40. С. 321—334.

[31] ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37. С. 17—103.

[32] ПСРЛ. СПб., 1908—1913. Т. 21. Пол. перв. — пол. вторая. Ч. 1 и 2.

предполагали взаимное влияние этих двух редакций друг на друга.[33]

δ) Общий протограф Лавр. и Тр. — свод, доведенный до 1305 г. Ему несомненно предшествовали более ранние своды, составленные во Владимире и Ростове, но летописи, отразившие эти своды (Радзивиловская и др.), не содержат дополнительных материалов, относящихся к темам данного исследования.

ε) Свод, восходивший к Начальному своду (α) и отразившийся в Н I мл. и., в общем протографе СІ, Н IV и сходных с ними летописей. А. А. Шахматов именовал этот свод по названию, сохранившемуся в начальной части Н IV и СІ, «Софийским временником» и датировал его 1421 г. Он полагал, что именно составитель «Софийского временника» заменил текст ПВЛ в начале новгородской летописи текстом Начального свода, но, возможно, что это сделал уже составитель более раннего летописного свода XII и XIII в.[34]

η) Протограф СІ, НК, Н IV, НУ. А. А. Шахматов определял его как свод 1448 г. или как Новгородско-Софийский свод 30-х гг. XV в. Мы будем именовать его Новгородско-Софийским сводом (НСС). А. А. Шахматов считал этот свод новгородским, составленным на основе новгородского («Софийский временник», ε) и общерусского источника («Владимирский полихрон Фотия» 1421 г.), однако по своим тенденциям свод ε может рассматриваться скорее как общерусский свод, сочувствующий митрополиту и великому князю в их спорах с новгородцами. Свод η был составлен во всяком случае после 1425 г. (последнее совпадающее известие СІ и НК) — вероятнее всего, в конце 30-х—нач. 40-х гг. XV в.[35]

θ) Оригинал НК, Н IV и других новгородских летописей, связанных с Н IV. В первоначальном виде оригинал этот, по-видимому, отразился в НК, обнаруживающей наибольшую

---

[33] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. V—VI; *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. С. 16—17, 42—45 (стемма).

[34] *Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938. С. 155—366. О проникновении Начального свода в новгородское летописание ср.: *Лихачев Д. С.* «Софийский временник» и новгородский политический переворот 1136 г. // ИЗ. 1948. № 25. С. 240—265; *Клосс Б. М.* Летопись Новгородская первая // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI—перв. пол. XIV в. Л., 1987. С. 247.

[35] *Шахматов А. А.* 1) Общерусские летописные своды XIV и XV вв. // ЖМНП. 1900. № 9. С. 90—176; 2) Обозрение русских летописных сводов XI—XVI вв. С. 144—145, 151—160, 366; *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. С. 150; *Лурье Я. С.* Две истории Руси XV в.: Ранние и поздние независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. С. 108—116.

близость к Н I. Краткая версия θ или Н IV была использована в ряде неновгородских памятников, например в Рог.; раннее происхождение рукописи Рог. (сер. XV в.) свидетельствует о том, что свод θ (как и η) был составлен не позже сер. XV в.[36]

ι) Свод, отразившийся в третьей части МАк с 1237 по 1419 г. (первая ее часть, до 1206 г., восходила к общему с Радзивиловской протографу; вторая ее часть с 1205 по 1237 г. совпадает с СІ), в общем протографе СІ, Н IV (η) и в протографе Ерм., Сокр. св. и других летописей (μ), возможно также и в Тип. А. А. Шахматов определял ι как ростовский владычный свод, восходящий к древнейшему летописанию.[37]

κ) Протограф московского великокняжеского летописания, лежащий в основе Нкр., ВП и последующих московских летописных сводов (см. ν, ξ). Источником его была СІ, последовательно переработанная в духе официальной великокняжеской идеологии.

λ) Общий протограф московского свода 1479 г. и Ерм. Существование этого протографа было установлено А. Н. Насоновым. Насонов определял λ как «Свод Феодосия Филиппа», составленный между 1464 и 1472 гг. Составитель, взяв за основу СІ или ее протограф — НСС (η), значительно пополнил его по общерусскому своду кон. XIV—нач. XV в. — протографу Тр. или по самой Тр., по южнорусскому своду типа Ип. и владимирскому своду первых десятилетий XIII в. Однако характер обработки источников свода (удаление пространных религиозных сентенций) говорит скорее о том, что перед нами светская великокняжеская обработка НСС. Время составления этой компиляции — до конца 70-х гг. XV в., когда она была

---

[36] А. А. Шахматов считал источником Рог. и ряда других памятников «краткое извлечение из свода 1448 г.» (*Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XI—XVI вв. С. 231—255, 302—310, 312—321), но сравнение с СІ и Н IV позволяет видеть в этом источнике выборки из Н IV (*Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976. С. 87—91). О происхождении НК ср.: *Прохоров Г. М.* Летописные подборки рукописи ГПБ, F. IV. 603 и проблема сводного общерусского летописания // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 165—198; *Лурье Я. С.* Еще раз о своде 1448 г. и Новгородской Карамзинской летописи // Там же. С. 199—218. Первую редакцию Н IV, оканчивающуюся 1437 г., я склонен был датировать этим годом в связи с читающейся в конце летописи записью, относящейся ко княжескому наместнику Григорию Васильевичу Заболотскому; из этого, как будто, вытекала дата ante quem для датировки НСС в целом (*Лурье Я. С.* Две истории Руси XV в. С. 74—75, 113), но В. Л. Янин установил, что Г. В. Заболотский был княжеским наместником в Новгороде после Яжелбицкого мира 1456 г. (*Янин В. Л.* Новгородские акты XII—XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991. С. 183—186). Поэтому составление НСС может быть отнесено не только к концу 30-х, но и к началу 40-х гг. XV в.

[37] *Шахматов А. А.* Ермолинская летопись и ростовский владычный свод. СПб., 1904.

использована Московским великокняжеским сводом 1479 г. (μ).[38]

μ) Протограф Ерм., Сокр. св., Лет. от 72, Уст., Р. хрон. и Тв. сб. В Ерм. значительная часть этого протографа, начиная с ПВЛ и до 1418 г., была заменена сокращенным текстом общего с Моск. источника (λ), но отдельные известия в древнейшей части Ерм. отражают текст μ. А. А. Шахматов возводил все эти летописи к ростовскому летописанию (ι), но известия Ерм., Сокр. св. и близких им летописей за XV в. связывают их скорее с Кирилло-Белозерским монастырем и дают основание видеть в μ независимый свод, опиравшийся, возможно, на ростовское летописание.

ν) Протограф Московского свода 1579 г., существование которого было предположено А. А. Шахматовым на основе анализа так называемой Ростовской (Архивской) летописи, где он сохранился в соединении с Новгородским сводом 1539 г. и который был затем найден Шахматовым в списке XVIII в. (РНБ, Эрм., № 416б). Более поздняя редакция этого свода (доведенная до 1492 г.) дошла в списке XVI (ГИМ, Увар., № 1366), изданном М. Н. Тихомировым в т. 25 ПСРЛ. Отразился также в Сим. и был одним из источников Тип.[39]

ξ) Протограф (прямой или через посредствующие звенья) московских великокняжеских сводов XVI в — Ник., Воскр. и др.[40]

Взаимоотношения между перечисленными летописями необходимо учитывать при использовании их как исторических источников. Особенно важны такие звенья, как «Софийский временник» (ε), отразивший Начальный свод, и НСС (η), опиравшийся на многочисленные летописные источники и ставший основой последующего общерусского летописания. Однако относить все сведения этого памятника к предшествующим летописным источникам едва ли правильно. НСС, вероятно, отражал также и устные предания, дошедшие до сводчика

---

[38] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века: Очерки и исследования. М., 1969. С. 272—274; *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV в. С. 150—161.

[39] *Шахматов А. А.* 1) Общерусские летописные своды XIV и XV вв. С. 152—159; 2) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 286; 3) Обозрение русских летописных сводов XI—XVI вв. С. 256—283; *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 300—302; *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 161—167.

[40] *Лавров Н. Ф.* Заметки о Никоновской летописи // Летопись занятий Археографической комиссии. Л., 1927. Вып. 1 (31). С. 66—70; *Левин С. А.* К изучению Воскресенской летописи. По поводу статьи В. В. Лаптева «Воскресенская летопись» (Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1955. Т. 102. С. 165—239) // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 689—705; *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 100—102.

XV в. (сказание о Гостомысле, о былинном богатыре Алеше Поповиче как участнике битвы на Калке), соединял летописные известия со сказаниями житийных памятников (жития Александра Невского, Михаила Черниговского, Михаила Ярославича Тверского).

Еще большей осторожности требует привлечение Ник. в качестве источника по истории IX—XIV вв. Основные источники Ник. установлены: это Сим., HV, Р. хрон., Иоасафовская летопись, возможно, Кирилло-Белозерский свод XV в. Кроме того, составителями Ник. были привлечены внелетописные источники: Житие Сергия, Сказание о Мамаевом побоище и др. Опиралась ли Ник. на какие-либо неизвестные нам летописные памятники? Вполне вероятно, что Ник. пользовалась каким-то тверским летописным источником, откуда были заимствованы известия конца XIII—начала XV вв.;[41] возможно использование и других источников. Однако у нас еще больше оснований связывать уникальные известия Ник. с редакторской и авторской работой составителей этого свода. Явно отразились в Ник. тенденции ее составителя, митрополита Даниила. В 20-х гг. XVI в. Даниил организовал судебную расправу над Максимом Греком, упрекавшим русских в «гордости» за то, что они ставят своих митрополитов без «грамоты», не «по правилу»: как известно, с середины XV в. московские митрополиты действительно ставились без санкций константинопольского патриарха. Отвечая на эти упреки, составитель Ник. вставил в рассказ о поставлении Ярославом Мудрым в XI в. митрополита Илариона упоминание о том, что Иларион был поставлен «по правилу», а не «гордящеся»; упоминание о патриаршей «грамоте» было вставлено и в рассказ о поставлении митрополита XV в. Ионы. Максим Грек говорил, что монастыри не должны владеть селами — в ответ на это Ник. на всем протяжении была дополнена указаниями, что тот или иной святитель (например, Сергий Радонежский), основавший монастырь, владел селами. Решение церковного собора, осудившего Максима Грека быть «в темнице затворену», дабы он покаялся в своей хуле на «церковные чины... и законы» и «пришел в разум истинный и исправления», отразилось в неизвестных более древним летописям рассказах о еретиках XI—XII вв. Андриане и Дмитрии, затворенных «в темнице» за укорение «церковных законов» и пришедших «в покаяние и познание истины». Наконец, политика самого Даниила, активно помогавшего великокняжеской власти, нашла отражение в дополнениях Ник. к известиям о легендарном пер-

[41] См.: *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. М., 1980. С. 147—148.

вом русском митрополите Михаиле, который был якобы «всегда в любви и совете» с князем Владимиром.[42] Приписывала Ник. Владимиру и постоянные связи с константинопольским патриархом Фотием,[43] хотя Фотий был константинопольским патриархом за сто лет до Владимира. Отразилась в Ник. также борьба московских князей с Казанским царством и симпатии Даниила к Рязани, откуда он сам был родом.[44] Используя известия предшествующих сводов, Ник. вносила в них многочисленные дополнения, иногда совершенно фантастические. Уже Сокращенные своды ввели Алешу (Александра Поповича) в число участников битвы не только на Калке, но и на Липице. В Ник. Алеша Попович действует и в обеих битвах и, кроме того, в 6508 (1000), 6509 (1001) и 6512 (1004) гг. — вместе с юношей Кожемякой, победившим при Владимире Святославиче могучего печенега. О юноше Кожемяке рассказывала уже ПВЛ, но Ник. дала ему имя — Ян Усмошвец, присоединила к нему еще и Алешу Поповича, придав его деятельности поистине эпическую длительность — два с половиной века. С явными интерполяциями в тексте Ник. в различные периоды истории мы еще не раз встретимся в дальнейшем изложении.[45]

Но наиболее бесцеремонным по отношению к предшествующей летописной традиции можно считать поведение составителей Степ. кн. середины XVI в. Воспроизведя все интерполяции Ник., Степ. кн. добавила к ним еще множество новых. Совершенно исказила она, например, историю борьбы Василия II с соперниками в середине XV в., историю московско-новгородской войны 1471 г., освобождения от татарского ига в 1480 г. и борьбы за престол в последние годы княжения Ивана III.[46]

---

[42] Там же. С. 96—102.

[43] ПСРЛ. Т. 9. С. 57—64.

[44] См.: *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. С. 96—103.

[45] См. ниже, с. 65—68. Ср.: *Лурье Я. С.* Две истории Руси XV в. С. 48—56.

[46] *Лурье Я. С.* Две истории Руси XV в. С. 85—86, 135, 208—209.

Глава III

ЛЕТОПИСНЫЕ ИЗВЕСТИЯ В НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ XVII—XVIII вв.

Вопрос о памятниках исторического повествования XVII—XVIII вв. служит предметом рассмотрения в настоящей книге только в той степени, в какой памятники эти отражают летописную традицию XI—XVI вв.

С этой точки зрения несущественно, именовать ли исторические компиляции XVII в. летописями или не именовать. Спор об этом [1] в значительной степени является спором о терминах. Если летописи можно называть произведениями древней историографии, то и исторические труды XVII—XVIII вв. можно рассматривать как памятники русского летописания. Вопрос лишь в том, изменился ли после 60-х гг. XVI в. характер исторических сводов. Даже А. Н. Насонов, посвятивший заключительную главу своей «Истории русского летописания» сводам XVII—начала XVIII в., признавал, что «в какой-то мере правы составители общих обзоров летописания нашего времени, на страницах которых, при изложении событий XVII и XVIII в., о летописании не говорится ничего», ибо с XVII в. «в истории летописания начинается перелом, упадок» и даже новонайденные памятники представляют лишь попытки «составления официальных летописных сводов».[2]

Нас интересует сейчас лишь то, насколько в исторических компиляциях XVII—XVIII вв. сохранились фрагменты пред-

---

[1] См.: *Корецкий В. И.* История русского летописания второй половины XVI—начала XVII в. М., 1986. 269 с.

[2] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века: Очерки и исследования. М., 1969. С. 478.

шествующего летописания и в какой степени они отражали не дошедшие до нас более ранние источники.

В XVII в. хронографический жанр получил преобладание над летописным. За Р. хрон. редакции 1512 г. последовали Пространная редакция 1599—1601 гг. и Хронографы 1617 и 1620 гг.,[3] а также хронографические компиляции конца XVII в., отразившиеся в летописном своде, составленном при патриархе Никоне в 1652—1658 гг., Хронографе 1679 г., Новгородской III летописи, в Мазуринском летописце, составленном Исидором Сназиным, а также в Новгородской Забелинской и Погодинской летописях и, по-видимому, в Новгородской Степенной книге, которую получил от П. Н. Крекшина В. Н. Татищев.[4]

Легендарные известия о Словене, Русе и других предках славян, читающиеся в начальной части этих летописей, были сходны с известиями Иоакимовской летописи, не дошедшей до нас, но привлеченной и пересказанной В. Н. Татищевым во второй редакции его «Истории Российской» (I, 107—114). Известия древнейшей истории Руси, содержавшиеся в Иоакимовской летописи, привлекались и до сих пор привлекаются некоторыми историками; однако преобладающим можно считать взгляд на нее как на памятник легендарного сочинительства, созданный в XVII в.[5]

Независимыми от легендарной традиции хронографических компиляций были Пискаревский летописец и Вологодская летопись XVII в.[6]

Украинская летописная традиция XVII в. была представлена Густынской летописью[7] и «Синопсисом» — первым печатным трудом по русской истории, изданным в Киево-Пе-

---

[3] *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 208—231; Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции / Собрал и издал А. Попов. М., 1869. С. 131—149.

[4] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 483—489; Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. С. 442—447; ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 270—279; ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 11—179. Ср.: *Яковлев В. В.* 1) Летопись Новгородская Забелинская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. И—О. СПб., 1993. С. 289—290; 2) Летопись Новгородская Погодинская // Там же. С. 291—292; *Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 124, 310—311; М.; Л., 1964. Т. 4. С. 48, 84. Далее в этой и следующих главах ссылки на это издание в тексте с указанием тома римской цифрой, страницы — арабской. (Репринт: М.: Ладомир, 1994—1996. Т. 1—8).

[5] *Шамбинаго С. К.* Иоакимовская летопись // Исторические записки. М.; Л., 1947. Т. 21. С. 254—270; *Тихомиров М. Н.* О русских источниках «Истории Российской» // *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 1. С. 50—52.

[6] ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 31—220; Т. 37. С. 160—193.

[7] ПСРЛ. СПб., 1843. Т. 2. С. 233—373.

черской лавре в 1674 г. при архимандрите Иннокентии Гизеле.[8]

Одним из наиболее спорных вопросов русской историографии был вопрос о летописных источниках, привлеченных историком первой половины XVIII в. В. Н. Татищевым и о так называемых «татищевских известиях» — известиях, читающихся только в его «Истории Российской» и неизвестных по другим источникам.

Спор о «татищевских известиях» длится уже долго, во всяком случае со времен Карамзина. Были ли известия, читающиеся в «Истории Российской», заимствованы из не дошедших до нас летописей, или они были «изобретениями» историографа?

Несколько лет тому назад Б. А. Рыбаков, отстаивая аутентичность этих известий и их восхождение к не дошедшим до нас памятникам, предложил ответить на пять вопросов, решающих, по его мнению, эту дилемму:

«1. Был ли у Татищева фонд источников, не сохранившихся до нашего времени?

2. Не отыскивается ли что-либо из татищевских известий в новонайденных учеными рукописях?

3. Равномерно ли хронологически распределяется то, что считают вымыслом Татищева? Не восполняет ли он своей фантазией бедность сведений об определенных периодах русской истории?

4. Не проводится ли в дополнительных материалах какая-либо система взглядов самого Татищева, и все ли татищевские известия подчинены этой системе?

5. Соответствует ли дух татищевских дополнений основным тенденциям летописей или отдельных летописцев или не соответствует и находится с ними в полном противоречии?»[9]

Ответ на первый вопрос, конечно, должен быть положительным. «История Российская» В. Н. Татищева дошла до нас в двух редакциях — первой (доведенной до нашествия Батыя), написанной в 1741—1746 гг., и второй, начатой в 1747 г. и подготовлявшейся историком вплоть до его смерти в 1750 г. В главе «О списках или манускрыптах», предваряющей первую редакцию, Татищев перечисляет 10 летописей; в аналогичной главе второй редакции их перечислено 11 (IV, 47—49; I, 123—125). Трудами исследователей (главным образом А. А. Шах-

---

[8] Синопсис, или Краткое собрание от разных летописцев, о начале славянороссийского народа и первоначальных князей богоспасаемого града Киева... Киев, 1674. С 1678 по 1810 г. переиздавался 10 раз.

[9] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 184—185.

матова, А. Е. Преснякова, С. Л. Пештича, А. И. Копанева) определено 8 летописей, названных историком: «Манускрыпт кабинетный» (очевидно, Лицевой свод),[10] «Радзивиловский» (Радзивиловская летопись), «Кириловский» (Львовская летопись),[11] «Новгородский Иоаннов» (Н I мл. и.), «Псковский» (Псковская 1-я), «Новгородский Крекшина» (летопись, соединенная с «Новгородским баснословцем» — Хронографической компиляцией XVII в.), «Никоновский» (Ник.), «Нижегородский» (Алатырский список Воскр.) (IV, 47—49; I, 123—125).

Раскольничья летопись, на которую ссылался Татищев, до нас не дошла. Она была, очевидно, копией, снятой для Татищева с пергаментного («харатейного») оригинала неким сибирским раскольником, подновившим ее текст. Вероятно, летопись эта была близка к Ипатьевской, ибо она доходит примерно до того же года, что и Ипатьевская.

Второй летописью, бывшей в распоряжении Татищева, которую считают пропавшей, является Голицынская летопись. Относительно характера этой летописи существуют разные точки зрения. С. Л. Пештич предполагал, что эта летопись была Ермолаевским списком Ипатьевской летописи (РНБ, F.IV.231); это же предположение, по-видимому, поддержал Б. М. Клосс.[12] С другой стороны Б. А. Рыбаков и В. А. Куч-

---

[10] Отождествление «Кабинетной летописи» с Голицынским и Лаптевским списками Лицевого свода было предложено В. А. Петровым (см.: *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч. 1. С. 252); сомнения по поводу такого отождествления см.: *Клосс Б. М., Корецкий В. И.* В. Н. Татищев и начало изучения русских летописей // Летописи и хроники, 1980. М., 1981.

[11] *Копанев А. И.* Об одной рукописи, принадлежавшей В. Н. Татищеву // Тр. БАН СССР и ФБОН АН СССР. М.; Л., 1955. Т. 2. С. 233—240.

[12] *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 1. С. 256—257. Примеч. 134: «Принадлежность летописи Голицыным удостоверяет надпись середины XVIII в., сделанная на переплете». В настоящее время начало ярлыка, приклеенного в F.IV.231 к корешку переплета, оборвано; сохранился только «...№ 23»; но на л. 321 об. читается: «1769-го июня 10 дня продал я, Матвей Гаврилов... сию книгу Летописец зачисто Ивану Кузьмину... В уверении сего подписуюсь дому сему его сиятельства князя Василия Алексеевича Голицина служитель Василий Финогениов порукою подписуюсь». В. А. Голицын (1694—1732) — дальний родственник Д. М. Голицына, внук фаворита Софии В. В. Голицына (ср.: *Голицын В. В.* Материалы для полной росписи князей Голицыных. Киев, 1888. С. 59). Работа Б. М. Клосса еще не опубликована; цит. по приложению к книге: *Феннел Дж.* Кризис средневековой Руси. 1200—1304. М., 1989. С. 228, 234, написанному А. И. Плигузовым. В статье, написанной Б. М. Клоссом совместно с В. И. Корецким (*Клосс Б. М., Корецкий В. И.* В. Н. Татищев и начало изучения русских летописей. С. 5—13) отмечалось, что описание Голицынской летописи сохранилось в описи рукописей, конфискованных у Д. М. Голицына, составленной в 1737—1738 гг., под № 102. Ср.: *Градова Б. А., Клосс Б. М., Корецкий В. И.* К истории Архангельской библиотеки Д. М. Голицына // Археографический ежегодник за 1978 г. М., 1979. С. 243. Но в приложение II к этой статье, где устанавливается соответствие рукописей, упомянутых

кин отрицают это тождество, доказывая, что в Голицынской летописи, судя по сообщениям Татищева, содержались известия, которых нет в Ермолаевском списке.[13] Однако и текст Раскольничьей и текст Голицынского списка доходят до конца XII в. Откуда взяты те известия, которые выходят за пределы Ипатьевской летописи?

Среди источников Татищева исследователи [14] упоминают еще «Симонову летопись», но Татищев не перечисляет ее среди «списков и манускрыптов», которые он имел в своем распоряжении. Симон упоминается им (I, 122. Ср.: V, 215) лишь среди предполагаемых «летописателей» (Нестор, Сильвестр, «поп Иоанн»); а в примечаниях Татищева отмечается близость Симона к князю Юрию Всеволодовичу и его враждебность старшему брату Юрия — Константину, выразившаяся в умолчании о битве на Липице, в которой Константин, опираясь на новгородцев, победил Юрия; вместе с тем Татищев сообщает, что панегирический некролог Константина цитируется им из «летописца Симонова» (III, 260—262). Но такая двойственность отношения к Константину присуща летописям, основывавшимся на лаврентьевско-троицкой традиции, и свидетельствует она о существовании «Симонова летописца» как особого источника, хотя и не бывшего в распоряжении Татищева (среди названных им «манускрыптов» не было ни Лаврентьевской, ни Троицкой), но виденного им. Он писал о том, что видел эту рукопись у казненного Артемия Волынского (I, 122).

Особое место среди источников Татищева занимает уже упомянутая Иоакимовская летопись. Летопись эту он получил в 1748 г. от архимандрита Бизюкова монастыря Мелхиседека Борщова в виде тетрадок, написанных «письмом новым, но худым». Как уже отмечалось, начальная часть Иоакимовской летописи включала известия, сходные с теми, которые Татищев знал по хронографической компиляции, полученной от Крекшина, и которые он сам именовал «баснями» «некоего враля». Но Иоакимовскую летопись он признал древним памятником, предшествующим летописи Нестора, которую, по его мнению, неизвестный «враль» «не разумея хотел пополнить и темноту оного разъяснить» (I, 310—313; IV, 84). Та-

---

в описи, сохранившимся рукописям РНБ и других собраний, рукопись № 102 не включена.

[13] *Рыбаков Б. А.* 1) В. Н. Татищев и летописи XII в. // История СССР. 1971. № 1. С. 91—101; 2) Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 185—188. Ср.: *Кучкин В. А.* К спорам о В. Н. Татищеве // Проблемы общественного движения и историографии. М., 1971. С. 260—262.

[14] *Клыш М. А.* К вопросу о Симоновой летописи // Вестник МГУ. 1978. Сер. истории. № 1. С. 28—42; *Милов Л. В.* Татищевские портреты-характеристики и «Симонова летопись» // История СССР. 1978. № 6. С. 76—94.

тищев привлек Иоакимовскую летопись в томе I второй редакции «Истории» для пополнения известий о происхождении Руси (I, 107—119).

Что касается «татищевских известий», подтвержденных рукописями, новонайденными учеными, то это предположение основывается у Б. А. Рыбакова только на одном примере, и при этом неудачном. Б. А. Рыбаков заметил, что речь Игоря Ольговича с упоминанием тиунов Радши и Тудора, читающаяся у Татищева под 1146 г. (IV, 201), совпадает с известием Московского свода 1479 г. А между тем этот свод, открытый А. А. Шахматовым в 1900—1904 гг., не был известен Татищеву, и, следовательно, указанное известие «перешло из разряда подозреваемых татищевских вымыслов» в число известий не дошедших до нас источников Татищева. Это наблюдение позволило Б. А. Рыбакову возвести упомянутое известие к Раскольничьей летописи, которая основывалась, согласно предположению исследователя, на своде боярина Петра Бориславича конца XII в. Но цитируемая Б. А. Рыбаковым реплика о Радше и Тудоре читается не только в Московском своде 1479 г., но и в зависимой от него Воскресенской летописи, которой Татищев пользовался.[15] Так что это известие не принадлежит ни к числу «подозреваемых татищевских вымыслов», ни к Раскольничьей летописи и своду Петра Бориславича.

Нам удалось отыскать в «Истории» Татищева одно известие, отсутствующее в бесспорно знакомых Татищеву летописях, повествующих о событиях XV в. Сообщив о взятии Иоанном III Твери и переходе к нему тверских бояр, Татищев под 6995 (1487) г. повествовал: «Тоя ж зимы поима князь великий князя Михаила Холмскаго и в заточение на Вологду посла за то, что отступил князя своего Михаила тферскаго и, целовав ему крест, изменил, а великому князю на него лгал, рекучи: „Недобре верити тому, кто Богу лжет“» (VI, 74). Аналогичное известие отыскивается в Типографской Академической летописи, но слова Иоанна III, обосновывающие «поимание» Михаила Холмского, там отсутствуют.[16] Откуда Татищев извлек известие о Михаиле Тверском? Его, естественно, не могло быть в Голицынской и Раскольничьей летописях, но среди источников, упомянутых Татищевым, была еще одна, найденная историком после написания первой части его труда и упомянутая в перечне использованных «списков и манускрыптов» лишь во второй редакции его труда (известие о заточении Холмского читалось как раз среди известий, использованных

---

[15] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 186—187. Ср.: ПСРЛ. СПб., 1856. Т. 7. С. 35.

[16] ПСРЛ. Пг., 1921. Т. 24. С. 236.

только в окончательной редакции «Истории») (I, 399, примеч. 9—9 и 10—10). Татищев указывал, что эта летопись была куплена им у «носясчего на плосчади»; она была подписана «рукою Ярославского монастыря архимандрита Иосифа» и передана «Англинскому королевскому собранию, а точная копия в Академию наук» (I, 125). А. А. Шахматов предполагал, что это была «Ростовская летопись» в Ярославском списке XVII в.,[17] но Типографская летопись была как раз ростовской летописью.

«Татищевские известия», возможно, помещены в «Истории Российской» неравномерно, но распределение этих известий вовсе не должно объясняться стремлением восполнить бедность сведений об определенных периодах русской истории. Диаграммы распределения «татищевских известий», помещенные в книге Б. А. Рыбакова, показывают, что большое количество «татищевских известий» относится к 40—50-м гг. XII в. Но из этого вовсе не следует, что Татищев восполнял своими известиями периоды, мало освещенные в источниках. Напротив, Б. А. Рыбаков признает, что в Ипатьевской летописи и в близких к ней летописях эти годы изложены наиболее подробно.[18] Обилие известий за 40—50-е гг. XII в. свидетельствует лишь об особом интересе Татищева к этому периоду; были ли у него дополнительные источники, освещающие это время помимо известных нам, остается под вопросом.

Сосредоточив свое внимание на «татищевских известиях» XII в., Б. А. Рыбаков совсем не разбирал аналогичные известия за другие периоды. А между тем известия, отсутствующие в доступных нам летописях, читаются в «Истории» Татищева на всем протяжении — и до и после XII в. Часто эти известия были внесены в качестве интерполяции вместо зачеркнутых текстов, восходивших в более ранних рукописях В. Н. Татищева к рукописным источникам. Примеры «татищевских известий», относящиеся к древнейшему периоду истории Руси, подробно рассмотрены в работах С. Л. Пештича, Е. М. Добрушкина и Л. И. Сазоновой,[19] и нам нет необходимости

---

[17] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. I, примеч. 2. Более точное определение Ярославского списка Татищева требует еще специального исследования. В той же рукописи, где была помещена эта летопись, содержался также список Русской правды краткой редакции (Правда русская. М.; Л., 1947. Т. 2. С. 827—828. Ср.: *Кросс Б. М., Корецкий В. И.* В. Н. Татищев и начало изучения русских летописей. С. 11).

[18] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 191.

[19] *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 1. С. 237—243; Л., 1965. Ч. 2. С. 156—161; *Добрушкин Е. М.* 1) О двух известиях «Истории Российской» под 1113 г. // ВИД. М., 1970. Т. 3. С. 280—290; 2) К вопросу о происхождении сообщений «Истории Российской» В. Н. Татищева // ИЗ. 1976. Т. 97.

вновь перечислять их. Остановимся на известиях XII—XV вв. По 6724 (1216) г. рассказ о битве на Липице, основанный у Татищева на Ник., дополнен рядом подробностей — так, известие о требовании Мстислава Мстиславича после победы, чтобы Ярослав отослал к нему его дочь, на которой Ярослав был женат, дополнено уже в первой редакции пояснением: «Не годе ти, сыну, ины жены держати возле княгини, но годе княгиню чтити, яко еси ей ротился у церкви. А иж не сотвори тако, ино не достоит ти ю имети» (IV, 351). Во второй редакции это пояснение расширено — Мстислав еще до битвы заступается за дочь: «А если ему не любо, то б, не обидя ее для наложниц, отпустил к нему» (III, 192), а после победы заявляет: «...ты, забыв к ней в церкви данное при браке обесчание, имел ея не яко жену, но яко рабу, и наложницы ею ругаются» (III, 199). К рассказу о битве на Липице, заимствованному из Ник., у Татищева добавлены подробности, рисующие благородство законного наследника владимирского престола Константина: речи к братьям, призывы к своим воинам не «подъяти руки» во время служения ни на одного из своих братьев (IV, 350; еще подробнее III, 196—197). К рассказу о нашествии Батыя в 1237 г. добавлены речи и рассуждения рязанских князей (IV, 374; III, 232), отсутствующие в известных нам летописях и не могшие читаться в Раскольничьей и Голицынской летописях, доведенных до конца XII в.[20]

В третьей части «Истории Российской», дошедшей до нас только в окончательной редакции (т. V), также читается ряд известий, не находящих соответствия в известных нам летописях. К известиям Татищева об Александре Невском, добавленным к доступным нам летописным рассказам, мы еще обратимся. Приводя летописное известие о том, что рязанский князь Роман Ольгович был оклеветан в Орде в 6778 (1270) г., Татищев уточнил, что оклеветан он был «от баскака рязанского» (V, 49). Под 1338 г. к известию о пребывании преследуемого ханом тверского князя Александра Михайловича в Литве добавлено, что немцы и литовцы обещали Александру Михайловичу «многи дары и обеты, прирекаюсче ему помогати, но ничто полезно ему сотвориша», а когда он вернул княжение,

---

С. 200—236; *Сазонова Л. И.* Летописный рассказ о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 году в обработке В. Н. Татищева // ТОДРЛ. М.; Л., 1970. Т. 25. С. 29—46.

[20] А. Г. Кузьмин, по-видимому, связывает эти тексты с Муромской летописью, упоминаемой Татищевым (*Кузьмин А. Г.* Рязанское летописание: Сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI в. М., 1965. С. 181). Но Татищев не упоминал эту летопись среди своих источников. Он лишь назвал (в «Предъизвесчении» ко второй редакции «Истории») «Муромскую топографию» со «многими баснями, и не весьма пристойными» (I, 84).

«токмо Божескою помосчию и своею мудрою кротостию, тогда тии немцы и литовстии вельможи прошаху от него обетов» (V, 89). В рассказе о вокняжении юного Дмитрия Донского приводится речь хана: «Невинен Димитрий московский, яко мал остася по отце... имат иныи князи подручныи, и бояре да те правят, доколе же возрастет» (V, 113). Ниже будут приведены известия о Куликовской битве и Дмитрии Донском, вписанные Татищевым в его рукопись «Истории». В рассказе о сношениях с Тохтамышем после низвержения им Мамая упоминается среди послов «ростовский посол Василий Татисча» (V, 151). В рассказе о нашествии Тохтамыша у Татищева читаются речи Дмитрия и бояр: «И асче побеждени будем, то погубим всю землю Рускую и не можем к тому милости испросити» и возражение тысяцкого: «Идем, княже, на броды, и станем сожидати воинства» (V, 152). Изгнание Дмитрием Донским Киприана объяснено у Татищева тем, что «князь Михаил Тверский иде во Орду просити великаго княжения и что митрополит Киприан о сем советова ему...» (V, 157). Под 1448 г. зачеркнуто краткое летописное известие о том, что Василий Темный, сосланный Дмитрием Шемякой в Вологду, покинул ее, ибо нельзя такому государю «в такой дальней пустыни заточену быти», и вписан обширный текст о том, что Василий послал в Литву к своим сторонникам «костромскаго боярина Андрона Татисчева», и о том, что «име во уме, никто о том от бояр его веде, бояся бо, яко и первее сольсчен бысть верными любовники» (V, 265, 311, примеч. 288—288); «Андрону Татисчеву» историк намеревался отвести также важную роль в борьбе за возвращение Василием II престола, но приписку об этом он потом зачеркнул (V, 311, примеч. 291).

Такие же известия, отсутствующие в других источниках, обнаруживаются и в четвертой части (т. VI) «Истории». К их числу относится известие о заговоре в Новгороде в 6987 (1479) г., уже после окончательного присоединения Новгорода к Московскому государству, — о заговоре, в котором тайно участвовал архиепископ Феофил, польский король, хан Большой Орды и римский папа; Иван III пресек его неожиданным (даже для собственного сына) походом (VI, 67—68). В рассказе о соборе на «богохульников, лжеучителей и ругателей святых икон» в 6999 (1491) г. у Татищева читается уникальное известие, что провозвестник ереси «жидовин, именем Схарина... с инными казнен бысть от великаго князя Ивана Васильевича...». В этом рассказе утверждается, будто митрополит Зосима, тайный сторонник еретиков, выступил против смертной казни, заявляя, что «мы от Бога не поставленни на смерть осуждати, но грешныя обращати к покаянию» (VI, 77). На от-

дельном листочке, предназначенном для помещения под 7000 (1492) г., Татищев написал речь Ивана III в оправдание заточения своего брата Андрея (VI, 79).

В какой степени в «татищевских известиях» отражается система взглядов Татищева? Б. А. Рыбаков сводит его взгляды к сочувствию «монархическому правлению» и считает, что использование Татищевым источников, противоречивших этой тенденции, «позволяет отвести тяжкие обвинения в подлогах, вымыслах и сознательной фальсификации исторических источников, брошенные В. Н. Татищеву...».[21] Конечно, Татищев не был вульгарным «фальсификатором» источников, подобным Бардину, Сулакадзеву или автору популярной ныне «Влесовой книги».[22] В отличие от современных историков, Татищев излагал исторические события в летописной манере и не отделял при этом данные, заимствованные из источников, от собственных гипотез и догадок. Он считал допустимым влагать в уста исторических деятелей речи, которые они могли произносить, защищая свои позиции.

В научной литературе уже отмечалось, что Татищев своими дополнениями пытался воссоздать причинно-следственную связь между событиями. Этим, видимо, предопределялось дополнение, сделанное Татищевым к известию ПВЛ о походе князя Игоря на греков в 6449 (941) г. Летопись не давала никакого объяснения этого похода; Татищев объяснял этот поход тем, что «греки не хотяху уложенного со Ольгом платити» (IV, 119; II, 40). Повествуя о присылке ко Владимиру епископов от патриарха Фотия в 6498 (990) г. и даже приписав патриарху особое послание против «латин» (ср.: IV, 138; II, 64), Татищев отмечал в примечании, что в источнике Ник. относительно Фотия «ошибенось, ибо Фотий задолго прежде умер», но предположил, что правивший в то время патриарх Сергий именовался Фотием «по фамилии» (II, примеч. 194). Под следующим 6499 (991) г. он привел легендарное обвинение «римской веры» в том, что «баба была Анна папою», опираясь на известие французских историков Блонделя и Ланфана о папессе Иоанне (IV, примеч. 143; II, примеч. 195), но вложив это обвинение в уста константинопольского патриарха (IV, 138; II, 64). Известие о еврейском погроме в Киеве приводилось в Ип. и близких к ней летописях под 6621 (1113) г. без всякого объяснения.[23] Татищев уже в первой редакции «Истории» объяснил это тем, что «жиды... многу тщету и смуту лю-

---

[21] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 196.

[22] *Творогов О. В.* Влесова книга // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. С. 170—254.

[23] ПСРЛ. Пг., 1923. Т. 2. (Фототип. воспроизведение: М., 1962. Стб. 275—276).

дем творяху», и рассказал, что Мономах созвал особое совещание князей, на котором «уложиша из всея Руския земли изгнати жиды» (IV, 179—180); во второй редакции оба этих пояснения были еще значительно расширены (II, 129).[24]

Стремлением объяснить причинную связь между событиями обусловлены и многие «татищевские известия» в третьей и четвертой частях «Истории». Чем было вызвано изменение политики хана по отношению к брату Александра Невского Андрею Ярославичу? Татищев объяснил эту перемену тем, что Александр «жаловался» хану на нелояльное поведение брата по отношению к Орде (V, 40). Гипотезу эту можно считать правдоподобной, но Татищев изложил ее не как свое предположение, а как исторический факт. Таким же предположением, но изложенным как факт, было утверждение, вписанное Татищевым вместо летописного текста, будто Киприан советовал Михаилу Александровичу Тверскому «просити великаго княжения» в Орде (V, 157, 292, примеч. 11—11) в соперничестве с Дмитрием Донским, и утверждение, что Василий Темный скрыл свои намерения от бояр во время бегства из Вологды. Ни в одном источнике ничего не сообщалось о судьбе «жидовина Схарина», объявленного Иосифом Волоцким провозвестником ереси «жидовствующих», — Татищев восполнил этот пробел, сообщив, что «Схарина» был казнен великим князем (V, 77).

Было бы неправильно полагать, что все дополнения к известиям источников, обнаруживаемые у Татищева, были подчинены его политическим тенденциям. Татищев не считал историю «политикой, опрокинутой в прошлое», но, как и у многих историков, его политические взгляды в той или иной степени отражались на его построениях. Однако, в отличие от историков нового времени, он выражал эти воззрения не столько в собственных рассуждениях, сколько в предполагаемых словах и поступках исторических лиц. Сторонник самодержавной власти, Татищев с явной враждебностью относился к новгородским вольностям. Под 6680 (1172) г. он поместил (IV, 279; III, 96) резко отрицательную характеристику новгородцев, заимствованную из Радзивиловской летописи, где она помещена под 6678 г., или из Никоновской летописи (6679 г.). Повествуя о битве на Липице, он в особом примечании ко второй редакции специально оговаривался (III, 261, примеч. 592), что в новгородских летописях «преимущество» в битве дано предводителю новгородских войск Мстиславу Удалому, «чему быть не должно по месту и родству», ибо, с его точки зрения,

[24] Ср.: *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 2. С. 159.

«старейшинство» должно было быть за законным наследником владимирского престола Константином. Враждебность Новгороду выразилась в уникальном известии Татищева о новгородском заговоре 1479 г., о котором не сообщалось ни в одной из современных этому мифическому событию летописей (VI, 67—68). Сочувствие Татищева единовластию побудило его, по всей видимости, к сочинению речи Иоанна III 7000 (1492) г. в оправдание заточения брата его Андрея Васильевича: «Жаль ми добре брата моего и не хосчу изгубити его, а на себе порока положити, а свободити не могу про то, что ниединою зло на мя замышлял и братию свободил, а потом каялся. И ныне паки начал зло замышляти и люди моя к себе притягати. Да то бы и ничто, а когда я умру, то ему доставати великое княжение. А внук мой, кому великим князем быти, а он, коли собою того не достанет, то смутит дети моя, и будут воеватися межи собою, и татара, пришед, видя в нестроении, будут землю Рускую губить, жечи, и пленить, и дань возложат паки, и кровь христианская будет литися, яко бе прежде. А что аз толико потрудися, и то будет все ни во что, и вы будите раби татаром» (VI, 79). Ни в одной из летописей эта речь не читается, но она вполне соответствует взглядам Татищева — современника борьбы за престол в XVIII в.

«Татищевские известия» отражали не только политические воззрения автора. Татищев несомненно считал, что история должна быть учителем жизни и служить нравственному воспитанию людей. Недаром он уже в первой редакции своего труда счел необходимым заменить известные слова Святослава «Хощу на вы ити» на: «Хощите ли умиритися, слите ко мне или хощу на вы ити» и ответ Владимира мусульманам: «Руси есть веселие пити» на «руссом есть в веселие и здравие от пития, с разумом пиемаго» (IV, 133; ср.: II, 58).

Отсюда и особое внимание к нарушениям нравственности. Если в первой редакции «Истории» он дал Святополку Изяславичу довольно положительную характеристику, отметив его любовь к жене: «Княгиню свою толико любляше, яко не можаше без плача отлучитися», то во второй редакции на особой вклейке написал: «Наложницу, которую потом в жену взял, ...много ея слушая, сам терпел от князей поношение...» (IV, 179; II, 287, примеч. 171—171). Уже в первой редакции появилась неизвестная летописям характеристика Всеволода Ольговича, где сообщалось между прочим, что «многии наложницы любяй» (IV, 201). Во второй редакции эта характеристика была значительно расширена: «Чрез сие киевляном тягость от него была великая. И как умер, то едва кто по нем, кроме баб любимых, заплакал, а более были ради» (II, 162).

Вместо краткой характеристики Юрия Долгорукого в первой редакции, во второй появляется развернутая отрицательная, где сообщается, в частности, что этот князь был «любитель жен, сладких писч и пития» (IV, 250; ср.: III, 60). В прелюбодеянии обвинялся Ярослав Всеволодович в рассказе о битве на Липице в 6724 (1216) г. (IV, 351; III, 192, 194, 199).

Безнравственному поведению отрицательных персонажей противопоставлялось трогательно-сентиментальное поведение персонажей положительных. Так, после бегства Игоря Святославича Новгород-Северского из плена «княгиня же, не моги часа терпети, нощию иде к нему... И егда приидоша... объястася со князем и от радости надолзе, друг на друга зря, слезы испущаху» (IV, 305).[25] Моральные воззрения В. Н. Татищева отразились и в реплике, добавленной к рассказу о «поимании» в 1487 г. Михаила Холмского: «Недобре верити тому, кто Богу лжет».

Просветительские взгляды Татищева отразились в двухкратной вставке им во второй редакции отсутствовавших в первой редакции известий об учреждении князьям «училисч» (III, 123, 206; ср.: IV, 295, 356).

Не обошел Татищев вниманием и представителей своей фамилии. Введенные им в «Историю» Василий Татисча и Андрон Татисчев не упоминались ни в каких летописях; вероятно, источником в этих случаях были какие-то родословные предания; однако в родословных книгах Андрона Татисчева нет совсем, а предок Татищевых Василий Юрьевич Татища упоминается не как посол от Дмитрия Донского, а как наместник его сына, Василия Дмитриевича, в Новгороде, раскрывший новгородский заговор.[26]

Примеры «татищевских известий», подобные тем, которые приводились выше, обнаруживаются на всем протяжении труда — и в первой редакции «Истории», и во второй,[27] хотя в последней редакции (и в третьей, и в четвертой книгах, дошед-

---

[25] Ср.: *Сазонова Л. И.* Летописный рассказ о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 году в обработке В. Н. Татищева. С. 40.

[26] *Татищев С. С.* Род Татищевых. СПб., 1900. С. 1, 323—324, 331.

[27] А. А. Шахматов (К вопросу о критическом издании «Истории Российской» В. Н. Татищева // Дела и дни. Пг., 1920. С. 94—95) высказывал предположение, что «ничего изобретенного самим В. Н. Татищевым не найдется в 1-й редакции», и лишь во 2-й редакции появились его «изобретения». Б. А. Рыбаков приписал почему-то эту точку зрения С. Л. Пештичу (*Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 197, примеч. 25). В действительности С. Л. Пештич доказывал, что и 1-я редакция содержала многочисленные дополнительные рассуждения и версии В. Н. Татищева (*Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 1. С. 237—239).

ших до нас только в одной окончательной версии) они выражены особенно отчетливо.

Если даже предположить, что какие-то дополнения Татищева к известным нам летописям были извлечены им из летописей Ипатьевской традиции или из летописей, сходных с Лаврентьевской и Типографской Академической, то несомненным остается тот факт, что большинство сделанных им дополнений однотипно по своему характеру.

«Система взглядов» Татищева (не сводимая только к политическим тенденциям) обнаруживается в дополнениях к летописным известиям на всем протяжении его труда. Но основная масса «татищевских известий» отражала его собственные историографические построения. Вставляя эти дополнительные тексты, Татищев никого не собирался обманывать. Он исходил из воззрений, не чуждых и нашему времени. А. А. Шахматов называл историков, использующих «татищевские известия», «исследователями, основывающимися на вероятиях».[28] Таким же историком, «основывающимся на вероятиях», был и сам В. Н. Татищев, однако, как правило, он не считал необходимым сопровождать свои гипотезы и догадки указаниями на их предположительный характер и ссылками на источники (как делал впоследствии Н. М. Карамзин). Это справедливо отмечал С. Л. Пештич: «Развенчивая „Историю Российскую“ как источник, мы тем самым не преуменьшаем, а возвеличиваем заслуги Татищева как историка. Противоречивость формы и содержания его труда, написанного в виде летописного свода, но являющегося уже не летописью, а историческим произведением, только составленным в виде летописи, свидетельствует о самостоятельном истолковании источников Татищевым в духе его общественно-политических взглядов и в соответствии с общим уровнем развития исторической мысли в России».[29]

---

[28] *Шахматов А. А.* К вопросу о критическом издании «Истории Российской» В. Н. Татищева. С. 95.

[29] *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 1. С. 261.

Глава IV

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУСИ В ЛЕТОПИСЯХ И В ИСТОРИОГРАФИИ XX в.

Для изучения летописной традиции, отражающей древнейший период истории Руси (до 946 г.), наибольшее значение имеет вывод, неопровержимо доказанный А. А. Шахматовым: летописью, предшествовавшей ПВЛ (вторая редакция — в Лавр., Тр., Радзивиловской, МАк, а также в Летописце Переяславля-Суздальского; третья редакция — в Ип.), был свод, дошедший в начальной части НІ мл. и.[1]

Текст, сохранившийся в НІ мл. и.[2] и определенный Шахматовым как текст Начального свода, имеет заголовок: «Временьник, иже нарицаеться Летописания Русьскых кънязь и земля Русьскыя..., и гради почаша бывати по местомъ, преже Новъгородьская волость и по томь Кыевская, и о поставлении Кыева, како въименовася Кыев». Тут же указано, что «град великый Кыев» был назван «во имя Кия, егоже нарицають тако перевозника бывша; инеи же ловы деяша около града своего».

Далее следует введение, в котором летописец осуждает порядки в современной ему русской земле и оплакивает нашествие «поганых» на Русь.

Под 6362 (954) г. в Н I мл. и. помещены следующие известия: о Кии, Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди; о нашествии Руси на Царьград при царе Михаиле и матери его Ирине, предотвращенном бурей, которая возникла тогда, когда греки

---

[1] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 5—13.

[2] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 103—113.

омочили в море ризу Богородицы; о хазарской дани на полян; о приходе двух варягов — Аскольда и Дира и вокняжении их в Киеве; о славянских племенах во времена Кия, Щека и Хорива; об изгнании варягов и призвании их в Новгород, о приходе Рюрика, севшего в Новгороде, Синеуса, севшего на Белоозере, и Трувора, севшего в Изборске, давших имя Руси; о смерти Синеуса и Трувора, вокняжении Рюрика и рождении у него сына Игоря, о походе Игоря и его воеводы Олега по Днепру, завоевании ими Киева и убийстве Аскольда и Дира; об установлении дани варягам в 300 гривен с добавлением: «еже не дають», о княжении Игоря в Киеве, установлении им даней, женитьбе его на Ольге и рождении сына Святослава.

После этого под датой 6428 (920) г. — поход Игоря на греков, «зло», учиненное русскими, и уничтожение русских кораблей «огненным строем». 6429 (921) г. — сбор кораблей и войск Игорем с Олегом. 6430 (922) г. — приход Олега к Царьграду, попытка преградить ему путь и поход под парусами по суше, возвращение руси и словен под различными парусами; смерть Олега от уксуса змеи и погребение его в Ладоге; княжение Игоря в Киеве, война его с древлянами и уличами; воевода Свенельд; неудачная осада Пересечена. Заканчивается эта статья фразой: «по сем скажем о приключившихся летях сих».

Далее после ряда пустых годов (дат без известий) читается под 6448 (940) г. и 6450 (942) г. известие о войнах с уличами, взятии Пересечена и дани, переданной Свенельду.

Под 6453 (945) г. — пространный рассказ о сборе Игорем дани с древлян, о его убийстве и о троекратной мести Ольги древлянам. Следующая статья озаглавлена «Начало княженья Святославля» и повествует о победе Ольги над древлянами.

В ПВЛ рассказ о древнейшем периоде истории Руси был значительно расширен.[3] Источники этих дополнений были с большой убедительностью установлены А. А. Шахматовым. Если Начальный свод при изложении событий византийской истории опирался только на относительно краткую хронографическую компиляцию («Хронограф по великому изложению», по определению В. М. Истрина), то ПВЛ широко привлекала Хронику Амартола, продолженную до 948 г.[4] О. В. Творогов убедительно показал, что источники Начального свода и ПВЛ были разными: Начальный свод опирался только на Хронограф по великому изложению, ПВЛ — только на Амартола (привлекая только те цитаты из Хронографа, ко-

---

[3] Повесть временных лет. Ч. 1—2: Текст и перевод. М.; Л., 1950. С. 9—43. (Сер. «Лит. памятники»).

[4] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 41—61.

торые читались в Начальном своде).[5] Кроме того, в распоряжении составителя ПВЛ оказались договоры Олега, Игоря и Святослава с греками, что побудило летописца внести существенные поправки в изложение истории конца IX—нач. X в. Как и в Начальном своде, в ПВЛ даты были проставлены произвольно с целью внести порядок в недатированный материал древнейшей истории — отсюда серьезные расхождения между датами в обеих летописях.

В ПВЛ нет ни введения, читающегося в Н I мл. и., ни суммарной статьи 6362 г. Начинается ПВЛ с библейского рассказа о разделении земли между сыновьями Ноя (заимствованного из Амартола) и с рассказа о расселении славян. После этого повествуется о приходе апостола Андрея к киевским горам, о Кии, Щеке и Хориве — автор спорит с утверждением о том, что Кий был перевозчиком: «Аще бо бы перевозникъ Кий, то не бы ходилъ к Царюгороду...». Затем рассказывается о расселении восточнославянских племен и о хазарской дани. Далее перечисляем (опуская пустые года) следующие наиболее важные известия, отличающие ПВЛ от Н I мл. и. и так или иначе отразившиеся в последующем летописании. Датированный текст начинается с 6360 (852) г., причем исходной датой служит ошибочно датируемое (вместо 842 г.) воцарение византийского императора Михаила, при котором Русь приходила к Царьграду, и расчет лет от Адама до конца ПВЛ, которая должна была быть доведена «до смерти Святопълча», т. е. до смерти князя Святополка Изяславича в 1113 г. Под 6367 (859) г. — рассказ о дани, взимавшейся варягами с северных славянских племен, а хазарами — с южных. 6370 (862) г. — изгнание варягов и их обратное призвание. Приход Рюрика (город, в котором он сел, в Лавр. не назван, в Тр. было приписано сверху: «В Новгороде», а по Радзивиловской, МАк, Летописцу Переяславля-Суздальского и Ип. — в Ладоге), Синеуса и Трувора. Смерть Синеуса и Трувора и единовластие Рюрика; отправление «2 мужей, не племени его, но (в другом списке — «ни») боярина», Аскольда и Дира к Царьграду и их приход в Киев, где некогда были Кий, Щек и Хорив. 6374 (866) г. — поход на греков, который в Н I мл. и. излагался под 6362 г.; в ПВЛ он приписывается Аскольду и Диру. 6387 (879) г. — смерть Рюрика, передавшего свое княжение Олегу, «от рода ему суща», и отдавшего ему своего сына Игоря «на руце», ибо Игорь был «детеск вельми». 6390 (882) г. — поход Олега на юг и убийство им Аскольда и Дира — рассказ сходен с известием Начального свода (Н I мл. и.) под 6362 г., но Олег здесь выступает в роли князя, несущего на руках младенца Иго-

[5] *Творогов О. В.* Повесть временных лет и Начальный свод: (Текстологический комментарий) // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 3—26.

ря; в связи с этим он говорит: «Вы неста князя, ...но аз есмь роду княжа», а Игорь «есть сын Рюриков». Рассказ этот явно вторичен по отношению к Начальному своду, отразившемуся в Н I мл. и. В Начальном своде, где Игорь выступает как взрослый князь, а Олег — его воевода, об их действиях говорится в двойственном числе: Игорь и Олег «начаста..., налезоста..., поидоста..., узреста..., потаистася...». В ПВЛ ходит и действует один Олег — соответственно двойственное число заменяется единственным: «поиде..., приде..., уведа..., похоронив вои...». Однако, как это часто бывает при редактировании, составитель ПВЛ не сумел устранить полностью прежний вариант — двойственное число сохранилось в словах: «придоста к горам х киевьским». Очевидно, текст, сохранившийся в Н I мл. и., лучше отразил первоначальный вариант — тот, который читался в составе Начального свода. Рассказ оканчивается тем, что Олег объявляет Киев матерью городов русских и устанавливает дань варягам от Новгорода, «еже до смерти Ярославле даяше варягам». 6391 (883), 6392 (884) и 6393 (885) гг. — завоевание Олегом древлян, северян и радимичей и присвоение им дани, которую уплачивали хазарам: «аз им противен, а вам нечему». 6406 (898) г. — войны с уграми и создание славянской грамоты. 6410 (902) г. — византийский цесарь Леон посылает угров против болгар. 6411 (903) г. — «Игореви же възрастьшю... и приведоша ему жену от Пьскова именем Олгу». 6415 (907) г. — рассказ о походе Олега на греков, помещенный в Н I мл. и. под 6430 г., заканчивающийся известием о мире с греками, представляющий собою, по мнению А. А. Шахматова и ряда других исследователей, фрагмент из помещенного в ПВЛ далее договора Олега с греками 6420 г. 6420 (912) г. — договор Олега с греками и развернутый рассказ о смерти Олега от коня, предсказанной ему волхвами; следует особое пояснение (со ссылкой на греческий источник), что иногда «от волхвованиа собывается чародѣйство». 6421 (913) г. — начало княжения Игоря. 6422 (914) г. — поход Игоря на древлян. 6423 (915) г. — первый приход печенегов на русскую землю. 6449 (941) г. — поход Игоря на греков, греческий огонь, подготовка к новому походу. 6452 (944) г. — второй поход Игоря на Царьград, предложение мира. 6453 (945) г. — договор Игоря с греками. Вторичная дата 6453 (945) г. — поход Игоря на древлян, убийство Игоря; три мести Ольги. 6454 (945) г. — княжение Святослава, три мести Ольги. 6454 (946) г. — княжение Святослава, четвертая месть Ольги, отсутствующая в Н I мл. и. После 6454 г. даты в Н I мл. и. и в ПВЛ начинают совпадать.

Известие ПВЛ за 6454 г. явно вторично по отношению к Н I мл. и. В Н I мл. и. о мести Ольги древлянам сообщается

только под 6453 г.; в следующем, 6454 г., Ольга идет на Искоростень, «и победиша древляны и возложиша на них дань тяжку». В ПВЛ под 6454 г. читается та же фраза: «И победиша древляны...»; после этого Ольга требует у древлян дань птицами, привязывает к ним горящий трут, и птицы сжигают город. После этого читаются слова: «И възложиша на них дань тяжку». Очевидно, в Начальном своде не было четвертой мести, а составитель ПВЛ добавил ее, разрубив единую фразу и вставив довольно неуклюже между ее началом и концом рассказ о ее четвертой мести (после сожжения Искоростеня и обращения в рабство древлян едва ли можно было на них возлагать «дань тяжку»).

Следующий по времени памятник «Летописец въскоре патриарха Никифора» в редакции XIII в. заключал в себе краткое известие о событиях этого времени, близкое к ПВЛ. С ПВЛ совпадают даты призвания варягов (6370 г.), крещения болгар; остальные даты указываются по годам правления византийских императоров.[6]

Псковские летописи не были столь древними, как «Летописец вскоре», но и они были относительно независимы от традиции, сложившейся после Начального свода и ПВЛ. Из псковских летописей события IX—X вв. отражают лишь Псковская 2-я и Псковская 3-я. В Псковской 2-й текст, как и в Н I мл. и., начинается с 6362 г. и содержит упоминание царей Михаила и Ирины. Дальнейший текст перечисляет русских князей в несколько странном порядке: первый — Скальд, второй — Дир, третий — Рюрик, четвертый — Синеус, пятый — Трувол, шестой — Олег, седьмой — Игорь и далее до Владимира, «иже крести всю русскую землю». После статьи «Начало княжения Володимирова» Псковская 2-я летопись переходит к житию Александра Невского. Псковская 3-я летопись воспроизводит вкратце версию ПВЛ (начало с 6360 г., Олег — князь, Игорь — младенец, краткое сообщение 6419 г. о смерти Олега от коня и змеи). Обе летописи придают важное значение жене Игоря Ольге как «псковке».[7]

В НСС, отразившемся в СІ, Н IV, НК, Новгородской Хронографической (HV),[8] содержится своеобразная комбинация известий из рассказов Н I начала XV в. и ПВЛ. Начинается изложение с рассказа о потомках Ноя и о расселении славян,

---

[6] *Тихомиров М. Н.* Забытые и неизвестные произведения русской письменности // Археографический ежегодник за 1960 г. М., 1962. С. 238.

[7] Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2. С. 9—10, 70—74.

[8] ПСРЛ. Л., 1925. 2-е изд. Т. 5, вып. 1. С. 3—34; ПСРЛ. Пг., 1915. Т. 4. Ч. 1, вып. 1. С. 1—41; Пг., 1917. Ч. 2, вып. 1. С. 1—38. Новгородская Карамзинская летопись — ПСРЛ. Т. 40 (в печати).

причем, в отличие от более ранних летописей, упоминается о том, что словене в Новгороде «посадиша старейшину Гостомысла». Далее читается вводная статья из Н I с заголовком «Софейскый временник, еже нарицается летописец русских князь...». Следующий после этого рассказ начинается, как и ПВЛ, с 6360 г., но затем под 6362 г. помещена первая датированныя статья Н I мл. и. — 6362 г. «начало земли Рустей». Остальной текст НСС близок к ПВЛ, но в нем читаются также отдельные статьи, совпадающие с Н I мл. и., а иногда и не имеющие соответствия в других летописях. Под 6370 г. сообщается, что Рюрик и его братья были избраны «от немець». 6374 г. — упоминается, как и в Н I мл. и., Михаил и мать его Ирина. 6375 г. — из неизвестного источника: «Тишина бысть». 6384 г. — «Михайлова царства лет 24». Как и в ПВЛ, Олег с самого начала выступает как князь, Игорь — как младенец, но при описании похода к югу в 6390 г. в НСС Игорь упоминается как взрослый: «Игорь же и Олег творящася мимоидуща», о дани сообщается так же, как и в ПВЛ, — «давали варягом до смерти Ярослава». 6395 г. — статья, отсутствующая во всех предшествующих сводах: «Вкупе же си лета збираются», где дается подсчет лет от «первого лета Олгова» до Владимира Ярославича (сына Ярослава Мудрого) и всех последующих русских князей вплоть до московских (Н IV — до Дмитрия Донского, далее следует пробел; СI — до детей Василия II) и перечисляются митрополии православной церкви. В 6422 г. — как и в Н I мл. и. упоминается осада Игорем и Свенельдом города Пересечена; завершается статья словами из Начального свода: «По семь же скажем о приключьшихся [в] летех сих». 6429 г. — текст, совпадающий с Н I мл. и., но без имени Олега: «Игорь пристрои вои многы и карабля бесчислены». Существенно расходится со всеми предшествующими летописями статья 6449 г. о походе Игоря на греков — здесь читается дополнение, восходящее, очевидно, к «Хронографу по великому изложению».[9]

Вопрос о происхождении этих своеобразных известий и дополнений в НСС достаточно сложен, но и Н I мл. и. и НСС могут быть возведены к некоему новгородскому своду начала XV в. (Шахматов обозначил его как «Софийский временник»), опиравшемуся на Начальный свод. Как мы увидим в дальнейшем изложении, дошедшие до нас списки Н I мл. и. иногда в свою очередь заимствовали некоторые статьи из НСС, но в тексте за IX—X вв. такие заимствования не обнаруживаются.

---

[9] *Творогов О. В.* Повесть временных лет и Хронограф по великому изложению // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 99—113.

Текст НСС отразился в ряде следующих памятников летописания XV и XVI вв. Воспроизведен он был в великокняжеском своде начала 70-х гг. XV в. (Нкр. и ВП).[10] Через НIV он оказал, возможно, влияние также на Рогожский летописец, Белорусско-Литовские летописи и Владимирский летописец.[11]

Не внес существенных изменений в рассказ НСС и Московско-Софийский свод (МСС), дошедший до нас в Московском своде конца XV в. и в Ермолинской летописи.[12] В рассказе о расселении славян в МСС, как и в НСС, упоминается новгородский старейшина Гостомысл, но введения к «Софийскому временнику» и статьи 6362 г. «начало земли Рустей» здесь, судя по Архивскому списку Московского свода (так называемой Ростовской летописи) и Ерм. (в Эрмитажном списке Московского свода здесь лакуна, в Уваровском списке того же свода нет всего начала до XI в.), не было. Под 6374 г. упоминались «царь Михаил и мать его Ирина». Статей 6375 г. о «тишине» и 6385 г. о 24 годах царствования Михаила нет; нету и статьи 6395 г. «Вкупе же си лета збираются».

Ерм. кроме МСС опиралась еще на один источник; он отразился в известиях 6415 г. о том, что греки во время похода Олега «перепяша чепи» через «Суд» (залив), и 6420 г., что Олег погиб, «уяден скорпиею из главы мертваго коня своего». Известия эти восходили, по-видимому, к своду, отразившемуся во второй части Ерм. — с 6933 (1425) г. до конца. Свод этот, как предполагал Шахматов, мог быть ростовским по происхождению, но, судя по его второй части, непосредственно восходил к летописи Кирилло-Белозерского монастыря.[13] Известие о царе Михаиле и матери его Ирине здесь отсутствовало.

С Ерм. до 6925 г. была сходна летописная компиляция, которая носила название Летописец от 72-х язык и дошла до нас в трех видах — Прилуцком (изданном под названием «Свод 1498 г.»), Уваровском (изданном под названием «Свод 1518 г.») и Лихачевском (неизданном).[14] Известие о царе Михаиле и матери его Ирине здесь отсутствовало. Кроме известий, читающихся в Ерм. под 6415 г. («чепь») и 6420 г. (о гибели Олега от «скорпии»), здесь обнаруживается также своеобразное чтение, завершающее более раннюю летописную статью

---

[10] ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 27. С. 17—162; М.; Л., 1959. Т. 26. С. 9—18.

[11] ПСРЛ. 2-е изд. Пг., 1922. Т. 15, вып. 1; СПб., 1907. Т. 17; М., 1980. Т. 35. С. 19—21; М., 1965. Т. 30. С. 7—146.

[12] ПСРЛ. М., 1949. Т. 25. С. 337—351; СПб., 1910. Т. 23. С. 1—7. Ср. выше, с. 37—38.

[13] *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976. С. 172—209.

[14] ПСРЛ. М.; Л., 1963. Т. 28. С. 13—15, 167—169.

6390 г. о дани варягам, установленной Олегом после убийства Аскольда и Дира, — по 300 гривен — «иже и доныне дают».

Текст Тип. следует тексту МСС (под 6374 г. здесь упоминались Михаил и мать его Ирина), но под 6411 г. читается дополнение: «Нецыи же глаголют яко Олгова дчи бе Олга»; это дополнение было воспроизведено более поздними летописями — Холмогорской и Пискаревским летописцем.[15]

Довольно своеобразно изложение событий IX—перв. пол. X в. и в Устюжской летописи начала XVI в. Как и в НСС, и в МСС, известия в Уст. частью совпадают с Н I мл. и., частью — с ПВЛ, но даты в ряде случаев отличаются от других летописей. Изложение начинается с той же даты, что и в Н I мл. и., — с 6360 г., упоминаются царствовавшие «в Грецех... Михаил и мати его Ирина», но призвание варягов отнесено с 6371 г. (в ПВЛ — 6370 г.), и дается объяснение того, почему Трувор сидел в Изборске — «а то ныне пригородок Пъсковский, а тогда был в кривичех больший город». Про Аскольда и Дира в Уст. сообщается, что они не были «ни племени княжа, ни боярска, и не даст им Рюрик ни града, ни села»; испросив у Рюрика разрешение идти к Царьграду, они шли «мимо Смоленьск, и не явистася к Смоленьску, зане град велик и мног людьми», и приплыли к Киеву, сообщив киевлянам, что они «князи варяжские». Под тем же годом сообщается о рождении у Рюрика сына Игоря — «и храбр и мудр бысть»; Олег именуется воеводой Игоря. Поход Аскольда и Дира на греков датируется, как и в ПВЛ и в НСС, 6374 г., но в статье о смерти Рюрика в 6387 г., вопреки предыдущему, утверждается, что Игорь в это время был «мал велми». Как младенец Игорь упоминается в статье 6389 г. о походе Олега по Днепру: «Уведавши смольняне, и изыдоша старейшины их и спросиша единаго человека: кто сей прииде, царь ли или князь в единой славе?». Олег вынес на руках Игоря и сказал: «Сей есть Игорь, князь Рюрикович русский». Однако Аскольду и Диру Олег заявляет, что именно ему «достоит княжить» (хотя опять ссылается на права Игоря), «и седе Олг, княжа в Киеве». Поход Олега на греков отнесен в Уст. к 6408 г., но упоминается «огненное строение» греков, которое в предшествующих летописях связывалось с неудачным походом Игоря (ПВЛ — 6449 г., Н I мл. и. — 6428 г.); после слов «возвратишася Русь во свояси» добавлено: «без успеха, потом же лете перепустя, и на третье лето приидоша в Киев». Под 6430 г. описывается совместный поход «Игоря и Олга» с подробностями, упоминаемыми в предшест-

[15] ПСРЛ. Пг., 1921. Т. 24. С. 1—22; Л., 1977. Т. 33. С. 10—20; М., 1978. Т. 34. С. 31—42.

вующих летописях в связи с походом Олега (ПВЛ — 6415 г., Н I мл. и. — 6430 г.). Под этим же годом повествуется о смерти Олега, но после этого известия упоминается начало княжения Игоря, датированное 6420 г. В пределах той же статьи упоминается также и о том, что Игорь «оженился во Пскове, понят за себя Ольгу 10-ти лет, бе бо красна вельми и мудра» и что у Игоря был «воевода, в Олга место, именем Свиндел», которому Игорь дал дань с древлян, вызвав недовольство бояр. Наконец, осада города Пересечен, как и в Н I мл. и., излагается в Уст. под двумя датами — 6430 и 6448 гг. Под 6453 г., описывая убийство Игоря древлянами, Уст. сообщает, что «княжил Игорь князь Рюрикович лет 34, жил с Ольгою 43», и что «воевода Свинъдел тож отец Метишин и Лютов» (в другом списке — «Мастичин Лютов»). О том, что Свенельд был «отец Мистишин», сообщалось в ПВЛ под 6453 г.; «Свенальдич именем Лют» упоминается в ПВЛ в другом месте под 6483 г. Наконец, статья 6454 г. воспроизводит в Уст. текст Н I мл. и. — четвертая месть Ольги здесь отсутствует.

Какого происхождения рассказ о событиях IX—перв. пол. X в. в Уст.? М. Н. Тихомиров высказывал предположение, что текст Уст. «предшествовал Начальному своду 1093 г. и, возможно, отразил какой-то летописный свод 60—70-х гг. XI в.»,[16] ибо в Уст. «мы находим явно более древние чтения, чем в Новгородской Первой летописи...». Однако в подтверждение этого историк ссылался только на отличие хронологии Уст. от хронологии Н I мл. и. и ПВЛ и на то, что в Уст. говорится о передаче Рюриком княжения Олегу, потому что «Игорь был мал еще». Но хронология Уст. представляла собой смешение хронологии ПВЛ и Н I мл. и. и явно была запутана: об одних и тех же событиях сообщалось под противоречащими друг другу датами. А. А. Шахматов, высказавший в одной из своих ранних работ предположение о древнем происхождении Уст. (Архангелогородского летописца), отказался затем от использования Уст. для реконструкции древнейшего летописания. В «Разысканиях о древнейших русских летописных сводах» он сослался на пояснение Уст., почему Трувор сел в Изборске, как на комментарий «книжника XVI в.».[17] Такой же работой книжника XVI в. было, на наш взгляд, и все изложение истории Киевской Руси в Уст. — ни одно из дополнитель-

---

[16] *Тихомиров М. Н.* Начало русской историографии // ВИ. 1960. № 5. С. 43—47; *Сербина К. Н.* Устюжское летописание XVI—XVIII вв. Л., 1985. С. 53.

[17] *Шахматов А. А.* 1) О Начальном киевском летописном своде // ЧОИДР. 1897. Кн. 3. С. 52—57; 2) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 291. Ср.: *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. М., 1969. С. 221.

ных известий этой летописи не обнаруживает черт первичности по отношению к ПВЛ и Н I мл. и.; они представляются лишь попытками пояснить и дополнить ранние тексты.

Если дополнения к рассказу о древнейшей истории Руси, читающиеся в Уст., могут быть объяснены стремлением автора расцветить изложение, то в других памятниках кон. XV—нач. XVI в. обнаруживаются следы влияния дополнительных источников. Это относится, в частности, к Сокращенному своду кон. XV в. — летописному памятнику, дошедшему до нас в трех видах — Соловецком, Мазуринском (Свод 1495 г.) и Погодинском (Свод 1493 г.). В Соловецком виде начало, общее для двух остальных видов, не сохранилось, но в Мазуринском и Погодинском видах оно более или менее идентично. Как и МСС, здесь упоминается Гостомысл, но введения к «Софийскому временнику» здесь нет. Летописному тексту предшествует хронографическая статья «Царие, царствовавшие в Константинеграде, православнии же и еретицы»,[18] и этот памятник, очевидно, дал основание составителям Сокращенного свода исправить текст статьи 6370 г., с которой начинается летописное изложение в своде, — заменить ошибочное упоминание матери царя Михаила, Ирины, которое читалось в Начальном своде, НСС и МСС. Имя Ирины было не только устранено, как в Ерм., — в одном из списков Мазуринского вида оно было выскоблено, а в одном из списков Погодинского заменено исторически правильным именем Феодоры.[19] Олег в Сокращенном своде назван (под 6387 г.) «племенником» Рюрика; о смерти его (6420 г.) сказано только, что он был «уяден скорпиею из главы коня своего» — это чтение сближало Сокращенный свод с Ерм. и, очевидно, было присуще их общему источнику — ростовскому (или кирилло-белозерскому) своду.

Известия Сокращенного свода оказали влияние на своеобразный памятник — Русский хронограф 1512 г. и восходивший к нему Хронограф западнорусской редакции. Хронограф соединил известия из Сокращенного свода с извлечениями из своих греческих источников. Под 6374 г. здесь упоминалась царица Феодора и приводился рассказ о нашествии Руси на Царьград, восходивший к Хронике Амартола и совпадающий с текстом Начального свода и ПВЛ (нападение Руси и спасение Царьграда с помощью ризы Богородицы).[20] В главе 169 Хронографа «Царство Василия Македонина» читается известие, также начинающееся с описания неудачного похода русских князей на Царьград: «Роди же нарицаемии Руси, иже и

[18] *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 28—29, 191.
[19] ПСРЛ. СПб., 1907. Т. 17. С. 176, 310. Примеч. «в».
[20] ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22, ч. 1. С. 345—358; Пг., 1914. Ч. 2. С. 150—160.

Кумани, живяху в Екьсинопонте и начаша пленовати страну римляньскую и хотяху поити и в Коньстянтин град. Но возбрани сим вышний Промысл, паче же и приключися им гнев Божий, и тогда же возвратишася тщи князя их Оскалд и Дир». Далее упоминается о войне Василия Македонянина с «агаряны» и об обращении в христианство русов, которых убедило чудо — брошенное в огонь Евангелие осталось невредимым. Рассказ этот, как убедительно показал О. В. Творогов, представляет собою произвольное соединение трех фрагментов из Хроники Иоанна Зонары с включением в этот текст имен Аскольда и Дира.[21] В статье «О войне Олгове на Царьград» иначе, чем в Сокращенном своде, описывается поход Олега на греков; рассказывается, что греки «замъкоша суды веригами железными и град затвориша». Источником в данном случае был, очевидно, хронографический памятник XV в. — Еллинский летописец, в свою очередь опиравшийся на НСС. Составитель Хронографа ссылался на то, что «сие пишется о нем в Греческом летописце».

Наиболее значительные дополнения к известиям предшествующих летописей о древнейшей истории Руси обнаруживаются в Никоновской летописи.[22] Ник. несомненно опиралась на рассказ НСС—МСС (известие о Гостомысле) и обращалась также к традиции Сокращенного свода и Хронографа. Как и в Сокращенном своде, в Ник. была включена статья «Царие...» и упоминалось «царьство Михаила царя и матери его Феодоры». Со временем Михаила и Феодоры Ник. в известиях недатированной части связывала первое упоминание о князьях Оскольде (так он именуется здесь, хотя в некоторых местах встречается и написание «Аскольд») и Дире. В статье «О пришествии Руси на Царьград» упоминается, что в царство Михаила и матери его Феодоры «приидоша из Киева Русскии князи Осколд и Дир... и много убийства сотвориша», и рассказывается о гибели русских воинов после вынесения ризы Богородицы — весь этот рассказ заимствован в Ник. из Русского хронографа. В той же недатированной части о войне Аскольда и Дира с греками сообщается еще раз: «Множество съвокупишеся Агарян прихождаху на Царьград... Слышавше же Киевстии князи Асколд и Дир, идоша на Царьград и много зла створиша». Статья о варяжской дани в Ник. также не датирована; датированная часть начинается со статьи 6367 г. о восстании против варягов (в ПВЛ и НСС — 6370; в Н I л. и. —

---

[21] *Творогов О. В.* Сколько раз ходили на Константинополь Аскольд и Дир? // Славяноведение. М., 1992. № 2. С. 54—59.

[22] ПСРЛ. СПб., 1862—1901. Т. 9—12; СПб., 1904. Т. 13, перв. пол. (Фототип. воспроизведение: М., 1965).

одно из известий 6362 г.). В Ник. рассказывается, что после освобождения начались у славян «рати и плениениа», и они стали искать князя «или от нас, или от Казар, или от Полян, или от Дунайчев, или от Варяг» и обратились к варягам. Это обращение, согласно Ник., произошло в 6369 г. при царях Михаиле и Василии; варяги, по словам летописца, «бояхуся звериного их обычая и нрава, и едва збрашася три браты». Под 6372 г. сообщается, что «убит был от Болгар Осколдов сын. Того же лета оскорбишася Новогородцы, глаголюще: Яко быти нам рабом, и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Вадима Храбраго, и иных многих изби Новогородцев съветников его». Под 6373 г. Ник. приводила известие о рождении Игоря, восходящее к НСС (HV), но помещенное без даты, а также сообщала: «Воеваша Аскольд и Дир полочан и много зла сътвориша». Под 6374 г. вновь рассказывается о походе Аскольда и Дира на греков — с рядом подробностей, содержавшихся в рассказе, помещенном выше, в недатированной части (риза Богородицы, потопление «безбожной Руси»), но в более коротком изложении. Наряду с царем Михаилом здесь упоминается и царь Василий, в действительности вступивший на престол годом позже, в 6375 (867) г.; говоря о Василии как о царе под 6369 и 6374 гг. — ранее подлинной даты его воцарения, составитель Ник., как убедительно показал О. В. Творогов,[23] опирался на текст Русского хронографа, цитата из которого была помещена им в Ник. в конце недатированной части еще до рассказа о приходе агарян на Царьград и восстании Руси против варягов. Под 6375 г. — возвращение Аскольда и Дира в Киев «в мале дружине» и «плаче велием», о избиении ими печенегов и о бегстве «от Рюрика из Новогорода в Киев» множества «новогодцкых мужей». После 6384 г. в Ник. вновь читается большое заимствование из Русского хронографа, где после ряда статей, посвященных истории Византии, под заголовком «О князи Рустем Осколде» читается текст, в котором в четвертый раз повествуется о походе Аскольда и Дира на Константинополь, а также о крещении русов — рассказ, восходящий к Русскому хронографу, где он в свою очередь был заимствован из Паралипомена Зонары. Под 6395 г. читается статья, посвященная царствованию византийского императора Льва, а затем изложение возвращается снова к 6385—6387 гг. и следует известие о смерти Рюрика, а потом под 6388—6389 гг. — рассказ о походе Олега на Киев содержит ряд подробностей, отсутствующих в более ранних летописях: «И неким дружине своей повеле

[23] *Творогов О. В.* Сколько раз ходили на Константинополь Аскольд и Дир? С. 56—57.

изыти на брег, сказав им дела тайная, а сам творяшеся болезнуа, и ляже в лодии. И посла ко Асколду и Диру, глаголя: Гость есмь Подугорский и иду в Греки от Олга князя и Игоря княжича, и ныне в болезни есмь, и имам много великаго и драгаго бисера и всякого узорочиа. Еще же имам и усты ко устом речи глаголати ваша к вам; да без коснения приидите к нам. Пришедшим же им скоро в мале зело дружине, и в лодию влезшим видети болнаго гостя и рече им: Аз есмь Олег князь, а се есть Рюриков Игорь княжичь. И в той час убиша Асколда и Дира...». Установив власть над Русской землей, Олег дал «от Новгорода триста гривен» в год варягам, «еже и ныне дают». Рассказ 6415 г. о походе Олега на греков заканчивается упоминанием о его возвращении «к своему князю Игорю». Начиная с 6420 г. текст Ник. в значительной степени восходит к Русскому хронографу. Из этого источника взято большинство известий об Игоре и его смерти; из Русского хронографа Ник. заимствовала даже сербскую огласовку имени сына Игоря Святослава — «Цветослав».

Обилие дополнительных, часто уникальных известий по древнейшей истории Руси, содержащихся в Ник., не раз вызывало у исследователей предположение о существовании у нее древних источников, до нас не дошедших. Б. А. Рыбаков считал источник Ник. «давно забытым, затерянным еще в эпоху Киевской Руси, древним листом (может быть, неизвестным даже Нестору), всплывшим на свет из глубин московских архивов». Этот «лист», по мнению автора, каким-то образом отразил «Осколдову летопись», древлянскую летопись Ярополка Святославича и летопись церковно-княжеских кругов конца X в. Известие Ник. о походе Аскольда на греков свидетельствует, согласно Б. А. Рыбакову, что таких походов было по крайней мере три — в 860, 866 и 874 гг.[24]

Однако, предполагая существование затерянных источников Ник. IX—X вв., Б. А. Рыбаков и другие исследователи оставили без внимания иные, достаточно известные в науке источники. Б. М. Клосс и О. В. Творогов с несомненностью доказали, что Ник. восходила к ряду хронографических компиляций, известных древней русской письменности, — к Русскому хронографу, Еллинскому летописцу, Паралипомену Зонары.[25] Упоминание о четырех походах Аскольда на Царьград в Ник. — следствие механического соединения известий этих источников.

---

[24] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания; Былины; Летописи. [М., 1963]. С. 161, 166—169, 172—173, 187—191.

[25] *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. С. 165—170; *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. М., 1980. С. 169—177.

Несколько позже Ник. в 1534 г. в Ростове был составлен летописный свод, который обычно именуется Тверской летописью или Тверским сборником. Начальная часть этого памятника никак не была связана с Тверью. В основном она отражала традиции НСС: здесь читалось вступление к «Софийскому временнику», статья 6375 г. о «тишине» и под 6384 г. известие о 24 годах Михайлова царства и окончании миротворного круга, но не было статьи 6395 г. — «вкупе же лета собираются». Под 6415 г., описывая поход Олега на греков, Тв. сб. упоминает, что греки для защиты Царьграда «замкнуша Съсуд, сиречь пропяша чепь, протяженую от Галаты до Лахернския церкви и град затвориша». Это известие (читающееся и в Львовской летописи XVI в.) обнаруживает сходство с известием Ерм. и восходит, очевидно, к дополнительному (по отношению к МСС) источнику Ерм. Под 6360 г. имя царицы Ирины, матери Михаила, заменено на имя Феодоры.

Наиболее обширным летописным сводом XVI в. была после Ник. Воскресенская летопись. Воскр. в основном следовала МСС. Знакомство с хронографической традицией отразилось в ней (как и во Владимирском летописце начала XVI в.) только на исправлении под 6374 г. имени «Ирина» на «Феодора»; как и в Эрмитажном списке Моск. (но в отличие от так называемой Ростовской летописи), здесь не было под 6394 г. статьи «Вкупе же лета собираются». Важнейшим добавлением к тексту предшествовавшего летописания была вставка под 6367 г. легенды о происхождении Рюрика «от рода суща Августа» через брата Августа Пруса и о приглашении Рюрика в Новгород по совету старейшины Гостомысла. Легенда эта была заимствована из публицистических памятников начала XVI в. — «Послания о Мономаховом венце» и «Сказания о князьях Владимирских»,[26] но ни в Ник., ни в других летописях этой легенды не было.

В 60-х гг. XVI в. легенды Ник. и Воскр. были объединены в Степ. кн.[27] Там была помещена и история о нашествии русов при Василии Македонянине из «Ексипонта» и их согласии креститься после чуда с Евангелием, и легенды о Прусе, от «семени» которого произошел Рюрик. Рассказ о Вадиме из Ник. был истолкован в духе прославления рода Рюрика: «Тогда бо Рюрик уби некоего храбра новогородца именем Вадима и иных многих новгородец, советников его. Аще тогда и нечестиви бяху новгородцы, но обаче по пророчению их, паче же благоволением Божиим и до ныне непременно царствуют

---

[26] *Дмитриева Р. П.* Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955. С. 129, 175, 188—189.

[27] ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21, перв. пол. С. 60—62.

ими от Рюрикова семени благородное изращение». В заслугу Рюрику были поставлены даже походы Аскольда и Дира на Царьград: «Вышереченный же Рюрик, Владимиров прадед, не токмо сам в Русстей земли приименит бе властию, но и мужие его, в них же беста два — Аскольд и Дир, и тии воева Римлянскую страну, иже и Киев населиста многими варяги и сами седоста с нем. Их же уби Олег князь...».

В XVII в. изложение древнейшей истории Руси строится в основном на хронографической традиции, соединявшей изложение мировой и русской истории. Уже Хронограф 1617 г., опираясь на польскую Хронику Мартина Бельского, предварял историю Руси известиями об истории славянских народов. Рассказ о Руси начинался со статьи «О пришествии Руси на Царьград», которое, однако, не связывалось здесь с Аскольдом и Диром. Под 6370 г. упоминалась «брань Словяном тогда бо нарицахуся Кумане; во времена бо древняя обладающу в Новеграде Словяны некоему мужу имянем Гостомыслу, егда же ему умирающу рече: „Да не будет владыка от своея страны, но от Варяг некоего призовите“. И тако по нем много время препроводиша, посадниками Новаграда страна та управляшася, дондеже во Кривичах и Древлянех по некоем их князе имянем Кия, от него же и град создан бысть Киев, обладаху племянники его Осколд и Дир, и насиловаху Словяном, иже в Великом Новеграде». Новгородцы призвали варягов. Смерть Рюрика отнесена к 6387 г.; Олег, который именуется воеводой Игоря, «Осколда и Дира, Киевых племянников, убил, а в Киеве великого князя Игоря посадил». Этот рассказ, возможно, был связан с польской историографической традицией, ибо Аскольда и Дира как наследников Кия еще в конце XV в. упоминал Длугош в «Истории Польши»; ту же версию излагал и в «Хронике польской» XVI в. М. Стрыйковский. Чудо святого Евангелия, приведшее к крещению славян, не связывалось в Хронографе с военным походом Аскольда и Дира. Рассказы о походе Олега на греков, о его смерти, об Игоре и его гибели были сходны в этом памятнике с летописными, но упомянута была только четвертая месть Ольги (голуби).[28]

В хронографической компиляции, помещенной в ряде памятников второй половины XVII в. (Летописный свод 1652—1658 гг., Хронограф 1679 г., Новгородская III летопись, Новгородская Погодинская летопись, Мазуринский летописец Исидора Сназина, Новгородская Степенная, которую упоми-

[28] Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции / Собрал и издал А. Попов. М., 1869. С. 136—139; ср.: *Бестужев-Рюмин К.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. С. 68.

нал В. Н. Татищев, и ряд отдельных списков),[29] происхождение славян отнесено к глубокой древности. Родоначальниками скифов были, согласно этому рассказу, правнуки Афета — Скиф и Зардан; скифские князья Словен и Рус в 3099 (т. е. в 2409 г. до н. э.) «с роды своими отлучишася от Евксинопонта» и пришли к озеру «Илмер», где Словен основал город Словенск Великий, впоследствии названный Новгородом. Следует целый ряд топонимических легенд: все географические названия новгородских и северных земель возводятся к именам потомков Словена. Далее повествуется «О князех Русских бывших при Александре Македоньском» и приводится «Послание Александра Македонского к Русским князем», упоминаются князья Халох и Лахерн (имя последнего, очевидно, заимствовано из рассказа об осаде русскими Константинополя). После статьи «О запустении Великого Словенска и о поставлении и зачале Великого Новагорода» автор компиляции переходит к княжению Гостомысла и его совету пригласить самодержца от рода Кесаря Августа из Прусской земли — и им оказывается «курфистр или князь великий именем Рюрик».[30] В Мазуринском летописце и в одном из списков свода 1652 г. (ГИМ, Муз. № 3658) к сказаниям о первых русских князьях добавлено еще: «А инии летописцы пишут еще: в лето 6463 по Игоре великом князе в Великом Новеграде княжил Ольг. И в то время в Великом Новеграде быша три брата разбойницы, имена же им Кий, Щок, Хорив и имеяша же и сестру именем Лыбядь. И великую новгородцам пакость творяху. Некогда же их новгородцы переимаша со всею дружиною их, числом тритцать душ, всии же бяху храбрии и силни зело, и осудиша их повесити. Они же моляша князя Ольга со слезами, дабы их отпустил, и обещашася идти, иде же несть вотчины, ни державы князя Ольга. Он же отпусти их... И вселися на той горе, яже и ныне зоветца Киевец...».[31]

Сходная традиция отразилась и в Иоакимовской летописи. Здесь также выступают братья Славен и Скиф; Славен основывает Великий град Славенск. Но преемником Славена оказывается здесь князь Вандал, а его потомком — Буривой, победивший многих варягов. Сын Вандала Гостомысл «варяги бывшие овы изби, овы изгна и дань варягом отрече». У Гостомысла не оставалось наследников мужского пола, и перед

---

[29] См. выше, с. 42, примеч. 4. Ср. также: дополнительные статьи, помещенные в одном из списков Никаноровской (ПСРЛ. Т. 27. С. 137—141) и в Холмогорской (ПСРЛ. Т. 33. С. 139—142) летописях.

[30] Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. С. 442—447.

[31] ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 39.

смертью он приказал наследникам послать «в варяги просити князя»; следует рассказ о приходе Рюрика, переселившегося из старого в Новый град Великий. Рюрик «посажа по всем градом князи от варяг и славян, сам же проименова князь великий, еже гречески архикратор и василевс...». Он дал славянам, жившим по Днепру, князя Аскольда. Листы, повествовавшие о крещении Аскольда после похода на Царьград, были, по словам Татищева, вырваны в доставшемся ему списке Иоакимовской летописи. Далее рассказывалось, как Рюрик перед смертью передал свое княжение и сына Ингоря «шурину своему Ольгу, варягу сусчу, князю Урманскому». Олег убил Аскольда, преданного недовольными им киевлянами, «блаженный Осколд» был погребен на горе, «иде же стояла церковь святого Николая, но Святослав разрушил ю...». Олег овладел страной и, когда Игорь возмужал, взял ему в жены «рода Гостомыслова, иже Прекраса нарицашася... и нариче в свое имя Ольга». О гибели Игоря и об отмщении Ольги древлянам в Иоакимовской летописи рассказывалось кратко (см.: Татищев, I, 107—111).

Наряду с русской летописной традицией в круг внимания книжников XVII в. вошла традиция украинская. В южнорусской Густынской летописи излагалась версия ПВЛ, согласно которой Аскольд и Дир были посланы на юг Рюриком, хотя само призвание Рюрика в соответствии с версией, восходящей, во-видимому, к «Сказанию о князьях Владимирских» или к Воскр., приписывалось здесь завету Гостомысла.[32] В «Синопсисе» слиты были уже различные исторические традиции. Здесь упоминалась, вслед за хронографическими компиляциями XVII в., грамота, данная славянам Александром Македонским, Аскольд и Дир объявлялись потомками Кия, но вместе с тем утверждалось, что они пришли на юг с севера с согласия Рюрика.[33]

Когда В. Н. Татищев в середине XVIII в. обратился к летописным источникам по древнейшей истории Руси, ему пришлось встретиться со многими противоречивыми версиями. В основном он следовал Ник., но в ряде случаев отступал от нее и вводил дополнения из других источников. Из Ник. он взял известие о Вадиме, о его противостоянии варягам и убийстве его Рюриком, о походе Аскольда и Дира на печенегов (IV, 113). Но о походах Аскольда и Дира на греков он сообщал, в отличие от Ник., только один раз под 6374 г.; упоминания о

---

[32] ПСРЛ. СПб., 1843. Т. 2. С. 233—253.

[33] Синопсис, или Краткое собрание от разных летописцев и о начале славянорусского народа и первоначальных князей богоспасаемого града Киева... Киев, 1674.

походе 6384 г. у него нет. Критически отнесся он и к известию Ник., заимствованному из ПВЛ, о Кии как князе, ходившем к Царьграду, и, цитируя Ип. (в ПВЛ по Лавр. этих слов нет), указал, что мы «токмо о сем вемы, яко же сказуют, яко велику честь приял есть от царя, которого не вемы и при котором царе приходи» (IV, 110). В одном отношении он дополнил текст Ник., сообщив, что «Нестор преподобный сказует, что по смерти Гостомысла, славенского князя по повелению или завещанию его призвали из варяг руссов князя себе Рюрика з братиею» (IV, 81; ср.: IV, 102). В Ник., как и ПВЛ, этого известия нет; оно, по всей видимости, было заимствовано из Воскр., изложение которой тоже начиналось Повестью временных лет. Однако связанный с этим известием рассказ Воскр. о предке Рюрика Прусе Татищев отвергал, ибо, по его словам, славяне в те времена «никакого письма не имели и спустя близ 1000 лет по преданиям внести безсумненно не могли...» (IV, 78, ср.: I, 287).

Не обошелся В. Н. Татищев без весьма характерных для него смелых предположений и реконструкций фактов, вводимых в исторический рассказ. Так, в предпосланной им основному изложению «Летописи краткой великих государей русских» он назвал Аскольда «пасынком» Рюрика; объяснил поход Игоря в 941 г. на греков тем, что Игорь видел «иж греки не хотяху уложенного с Ольгом платити»; добавил к описанию мести Ольги древлянам ее заявление третьим древлянским послам, что предшествующие послы, убитые ею, якобы «идут ко мне с дружиной мужа моего». Но к домыслам авторов XVII в. (воспринятым и западными историками), содержавшимся в рукописи П. Н. Крекшина, бывшей в его распоряжении, он отнесся сугубо критически. Рассказы о князьях Скифе, Славене, Русе и других, о городе Славенске и рассказ о грамоте, данной славянам Александром Македонским, он характеризовал как «басни новгородцев»: «Колико сей сказатель, или паче враль, вероятия достоин, я толковать оставляю, но довольно того, что он никакого древняго свидетельства на то не покажет; и в самом начале глупость его явна...» (I, 310—311). Он писал, что Нестор «не столько был счедр на сочинение имян, как другие сие умели чинить» (IV, 394).

Критическая позиция Татищева, особенно ярко выраженная в первой редакции его «Истории», была поколеблена в период написания ее второй редакции находкой Иоакимовской летописи. Летопись эту он счел сочинением Иоакима Корсунянина, первого новгородского епископа, «совершенно древняго писателя, более, чем Нестор, сведусчего». Однако Иоакимовская летопись была не менее щедра «на сочинение

имян», чем другие баснословья XVII в.: здесь фигурировали и Славен, и Скиф, были и новые имена — Вандал, Буривой и его сын Гостомысл, чья жизнь и смерть описана с особой подробностью. Опираясь на Иоакимовскую летопись, Татищев включил в свое изложение и Великий град, предшествовавший Новгороду, и «завесчание Гостомысла». В. Н. Татищев отмечал, что про Гостомысла и его завещание повествовали и отвергнутые им источники, но писал, что «о сем Иоаким не токмо полняе, но и порядочнее написал и нескольких словенских князей по именам внес, по которому видим, что Нестор Иоакимовой Истории не видал» (I, 107—108; II, 32—33, 203).

Таким образом, уже В. Н. Татищев, обращаясь к древнейшей истории Руси, сталкивался с основным вопросом, встающим перед историками, — с вопросом об источниках и степени их достоверности. Вопросы эти, которые он решал на уровне историографии своего времени, достались в наследство историкам последующих веков и сохранили свою важность и в наше время.

* * *

История Руси IX—перв. пол. X в. была одной из популярнейших тем у историков XIX в. В XX в. тема эта могла быть пересмотрена на основе трудов А. А. Шахматова по истории древнейшего летописания.

А. А. Шахматов, по-видимому, не сразу пришел к решению строить изложение древнейшей истории Руси на наиболее ранних источниках. В «Разысканиях о древнейших русских летописных сводах» он возводил, например, известие в начале текста НСС о новгородском старейшине Гостомысле к гипотетическому Новгородскому своду 1050—1079 гг.[34] Однако пути проникновения этого известия в НСС в его изложении оставались непонятными. Если источником НСС был Начальный свод, то при реконструкции Начального свода Шахматов должен был включить в него известие о Гостомысле, но он этого не сделал. Непосредственное влияние Новгородского свода 1050—1079 гг. на НСС он в схеме не предусмотрел. Откуда же известие о Гостомысле могло проникнуть в НСС? Можно предполагать, что оно, как и ряд известий последующего текста НСС (например, известие о гибели богатыря Александра Поповича и «десяти храбрых» в битве на Калке),[35]

---

[34] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 611. Ср. стемму, помещенную после с. 536. Ср. также: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. 361—364.

[35] *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 73—74.

могло быть заимствовано из устных преданий. Восходящим к Начальному своду Шахматов склонен был считать чтение Уваровской летописи (Уваровского вида «Летописца от 72-х язык», еще не известного Шахматову по всем его спискам) и Ник. (она читается также и в Уст.) о дани варягам, возложенной Олегом на новгородцев, «еже и доныне дають» (в НСС: «еже и ныне дають»). Шахматов считал, что этого чтение было заимствовано из Начального свода ростовским источником Уваровской и Ник. (следует отметить, что в Ерм., отражающей, по мнению Шахматова, тот же ростовский источник, этого чтения нет).[36] Странно было бы, кроме того, чтобы такое чтение содержалось в Начальном своде 1095 г., поскольку ПВЛ сообщает, что дань варягам выплачивалась лишь «до съмрьти Ярославле», т. е. до 1054 г. Не следует ли предположить, что в протографе «Летописца от 72-х язык», Ник. и Уст. до нас дошло ошибочное чтение их общего источника: вместо «еже ныне не дають» — «еже ныне дають»?

Свою концепцию древнейшей истории Руси А. А. Шахматов изложил в лекциях, посвященных «Историческому процессу образования русских племен и наречий» (во «Введении в курс истории русского языка») и в статье «Древнейшие судьбы русского племени». Ввиду относительного позднего происхождения двух наиболее древних летописных рассказов о событиях IX—перв. пол. X в. — Начального свода конца XI в. и ПВЛ нач. XII в. — и особенно датировки древнейших событий в этих памятниках, А. А. Шахматов, а вслед за ним и А. Е. Пресняков стремились опираться на более ранние источники — договоры Олега и Игоря с греками и современные иноземные источники. Из числа иноземных источников Шахматов использовал хронику Сен-Бертинского монастыря, повествующую о том, как в 833—839 гг. послы народа, называвшего себя Русью и оказавшиеся шведами, прибыли к франкскому императору Людовику Благочестивому, а также письмо хазарского еврея, найденное и опубликованное в

---

[36] Мнение А. А. Шахматова о древнем происхождении известия о Гостомысле, как и чтение «еже и доныне дают», было связано с его предположением о существовании между древнейшим летописанием и летописями XV—XVI вв. дополнительных промежуточных звеньев — Новгородского свода 1050—1079 гг. и восходящего к нему Новгородского свода 1167 г. Именно к этим сводам он возводил оба указанных чтения (*Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 370; ср.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 213, 329—330). Однако сам исследователь отмечал сугубую предположительность этого построения, и в стемме, завершающей исследование, он никак не связал Новгородский свод XI в. со сводом 1167 г. и с последующим летописанием (Там же. С. 212, стемма после с. 536).

1912 г. и повествующее о войне хазар с царем Русии Хельгу, который может быть отождествлен с летописным Олегом. Шахматов отвергал версию ПВЛ об Аскольде и Дире как о «боярах» Рюрика, но считал, что летописец, возможно, «не ошибся, когда в рассказанный ниже по хронике продолжателя Амартола русский поход на Царьград он вставил имена Аскольда и Дира. Ввиду предшествующих соображений можно считать, что Аскольд и Дир отправили свои полчища прямо к Черному морю для морского набега на Царьград». А. А. Шахматов приводил рассказ продолжателя Амартола, утверждавшего, что этот поход «был гибельным для русских», но упоминал известия других источников, согласно которым он «окончился почетным для русских миром». Он писал: «У нас нет оснований считать Рюрика легендарной личностью, но понятно, что данные о его родстве с Синеусом и Труворо, варяжскими князьями, севшими на Белоозере и в Изборске, равно и об его отношении к Игорю, обязаны догадке летописца или находчивости народного предания». Поход Олега на Киев Шахматов считал исторически достоверным, но датировку его 882 г. — не имеющей «под собой фактической почвы». Шахматов убедительно показал, что текст соглашения с греками, помещенный в ПВЛ под 907 г., не является самостоятельным памятником, а представляет собой лишь фрагмент договора, читающегося там же под 912 г. «Упорная летописная традиция, — замечал он, — заставляет признать Игоря преемником Олега. Но отношения Игоря к Олегу не ясны». Противоречивость версий Начального свода (Н I мл. и.) и ПВЛ «дает основание думать, что Игорь связан с Олегом только хронологически. Возможно, что Игорь был действительно сыном Рюрика, князя новгородского. Но в таком случае становится вероятным, что Олег был таким же независимым и самозванным князем, каким летопись представляет Аскольда и Дира; он встал на севере во главе народного движения на Царьград и порвал с Рюриком так же, как до него порвали с новгородским севером первые варяжские князья — Аскольд и Дир. Смерть Олега, а может быть, и борьба с ним, привела Игоря на киевский стол... Водворение Игоря в Киеве относится ко времени около 940 г., ибо поход Игорев на Царьград падает на 941 г. по определенному указанию продолжателя Амартола. Наша летопись полагает, что Олег умер в 912 г. и что с этого года правил Игорь, но такая ранняя смерть Олега опровергается... еврейским документом, где Олег упомянут как современник Романа. Роман же венчан на царство только в 920. Ошибочная хронология летописи произошла от того, что она определяла продолжительность цар-

ствования Олега и Игоря эпическим числом, заимствованным, очевидно, из песни или былины — числом 33».[37]

А. Е. Пресняков отметил, что древнейший киевский летописец начинал «свои исторические и хронологические выкладки „от первого лета Олгова, понеже седе в Киеве“ — „Олега князя русского“». Этому предшествовало лишь «глухое представление, что были в Киеве князья Аскольд и Дир, чьи имена, по-видимому, уцелели в киевских преданиях только в связи со сказаниями об Олеге. Лишь позднейшая книжная работа обогатила память о них, приурочив эти имена к вычитанному из византийского источника рассказу о набеге Руси на Византию». А. Е. Пресняков указал, что обе версии о взаимоотношениях Олега и Игоря — и в Начальном своде, и в ПВЛ — «одинаково плод книжнической работы, которая по-своему кроила и перестраивала комбинации из преданий о древних князьях, примиряя и сглаживая, как умела, их противоречия и разногласия». Договор Олега с греками, согласно Преснякову, остается единственным источником о походе Олега на Византию. А. Е. Пресняков соглашался, что «если исходить из стремления во что бы то ни стало привести в порядок отрывочные и сбивчивые данные летописи», можно признать предположение Шахматова об отсутствии связи между Олегом и Игорем «разрешающим ряд недоумений. Можно добавить, что сходство в действиях Олега и Игоря, тождество их общей схемы, могло дать психологический толчок к их смешению и слиянию в народном предании... Но историческим выводом такую догадку все же нельзя считать. Она не может претендовать на большее, чем значение остроумного соображения, иллюстрирующего состояние наших источников».[38]

Значение трудов А. А. Шахматова было неоднократно отмечено М. Д. Приселковым. Уже в 1914 г. в рецензии на работу В. Пархоменко, использовавшего для реконструкции древнейших источников Руси «Никоновский свод» и Иоакимовскую летопись, он писал, что после работ Шахматова «возвращаться к старому комбинированию подходящих под задуманное построение вариантов летописного текста не научно, так как несогласие с выводами А. А. Шахматова налагает на исследователя (и перед самим собой и перед читателем) обязанность обосновать

---

[37] *Шахматов А. А.* 1) Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916. Ч. 1. С. 71—74; 2) Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919. С. 60—61. Ср. также: *Шахматов А. А.* Несколько замечаний о договорах с греками Олега и Игоря // Зап. неофилологического общества при императорском Петроградском университете. Вып. 8: Сб. в честь проф. Ф. А. Брауна. Пг., 1915. С. 385—407.

[38] *Пресняков А. Е.* Лекции по русской истории. Т. 1. Киевская Русь. М., 1938. С. 68—73. (Лекции читались в 1908—1916 гг.).

свое понимание истории исследуемых источников».[39] Чтобы привлечь тот или иной летописный источник, необходимо исследовать его историю и место в летописной генеалогии. Исследования Шахматова требуют осторожности и в подходе к наиболее ранним летописным источникам: «Можно не соглашаться и даже пытаться видоизменить те или другие выводы Шахматова по истории текста „Повести", но нельзя не признать вместе с А. А. Шахматовым, что киевское летописание лишь с 1061 г. вырабатывает тот прием записи текущих событий современниками с точными датами (месяца и числа), который становится усвоенною манерою наших летописей... Располагая весьма незначительным количеством письменных источников, опираясь главным образом на устную традицию, извлекая оттуда факты для повествования о IX и X вв., летописатели пускались в перетолковывание этих фактов... Все это делает теперь невозможным для историка строить историю Киевского государства X в. по данным „Повести временных лет" и вынуждает искать иные источники, и более надежные и более современные изучаемым событиям». Такими источниками М. Д. Приселков считал договоры с греками, включенные Нестором в ПВЛ, и сочинения Константина Багрянородного и других византийских авторов — «источники эти, к сожалению, совершенно незаслуженно привлекались только в д о п о л н е н и е к данным „Повести" и, так сказать, проверялись „Повестью", тогда как надлежит их теперь положить в основу изложения, проверяя факты и построения „Повести" их данными», — писал М. Д. Приселков четверть века спустя.[40]

Изложению истории событий конца IX—начала X в. был посвящен за предшествующие десятилетия ряд работ. Изучались греческие памятники, освещающие историю древнейшей Руси, и источники Начального свода и ПВЛ (Хронограф по великому изложению и Хроника Амартола).[41] Ряд работ был посвящен договорам Руси с греками.[42]

---

[39] *Приселков М. Д.* [Рец. на кн. Вл. Пархоменко «Начало христианства Руси: Очерк из истории Руси IX—X вв.». Полтава, 1913] // ИОРЯС. СПб., 1914. Т. 19, кн. 1. С. 358—369.

[40] *Приселков М. Д.* Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам // Учен. зап. ЛГУ. 1940. № 73. С. 215—217.

[41] Там же. С. 217—246; *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг.; Л., 1920—1930. Т. 1—3; *Творогов О. В.* 1) Повесть временных лет и Хронограф по великому изложению. С. 9—113; 2) Древнерусские хронографы. С. 46—159.

[42] Литературу вопроса см.: *Сахаров А. Н.* Дипломатия Древней Руси IX—перв. пол. X в. М., 1980. С. 84—89, 152—156, 214—222. Договор 907 г. А. Н. Сахаров, в противоположность А. А. Шахматову, считает исторически достоверным (см.: Там же. С. 117—146).

В изложении политической истории Руси IX—перв. пол. X в. советская историография существенно разошлась с зарубежной. До середины 1930-х гг. советские историки вообще уделяли мало внимания истории древнейшей Руси. С конца 1930-х гг. важнейшее значение стало придаваться так называемой борьбе с «буржуазным норманизмом», понимаемым необычайно широко.[43] Под этим термином понимались и признание достоверности легенды о «призвании варягов», и преувеличение роли норманнов в первоначальной истории образования Русского государства, и даже допущение норманнского происхождения термина «Русь». Чрезвычайно характерны в связи с этим изменения, которые внес наиболее влиятельный представитель советской исторической науки Б. Д. Греков в свои высказывания по этому вопросу. В издании 1939 г. книги «Киевская Русь» он писал, что о приглашении новгородскими славянами Рюрика, «быть может не без основания», говорит летопись; «едва ли необходимо отвергать целиком это призвание». В факте «призвания» «во всяком случае нет ничего невероятного». В 1953 г. Греков переделал весь этот текст, выпустив слова «быть может не без основания», «едва ли необходимо отвергать целиком это призвание... нет ничего невероятного» и заменив ссылку на «известные факты» указанием на «легендарные предания» и оговорив, что приход викингов — «случайное явление», а сообщение летописи — «тенденциозно».[44] Еще решительнее счел нужным высказаться В. В. Мавродин в 1949 г.: «Политический вред „норманнской теории“ состоит в том, что она... отрицает способность славянских народов создать собственными силами самостоятельное государство» и льет «воду на мельницу реакционных космополитических идей „теоретиков“ из антидемократического империалистического лагеря».[45] Высказывания против «антинаучной норманнской теории» (которая противопоставлялась «марксистско-ленинской теории исторического развития») вставлялись (иногда задним числом) в издания летописей.[46]

Идеологические запреты предопределили и различие между советскими и зарубежными историками при изучении другой темы, относящейся к истории древнейшей Руси, — темы русско-хазарских отношений.

---

[43] *Яковлев Н.* О преподавании отечественной истории // Большевик. 1947. № 22. С. 27.

[44] *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1949. С. 228—229; М., 1953. С. 452—453.

[45] *Мавродин В. В.* Борьба с норманизмом в русской исторической науке: Стенограмма публичной лекции. Л., 1949. С. 32.

[46] *Приселков М. Д.* Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 4; Устюжский летописный свод. М.; Л., 1950. С. 4.

Хазария — тюркская держава, расположенная между Волгой и Доном и принявшая в VIII в. иудаизм как господствующую религию, привлекала внимание историков уже в XVIII—XIX вв. Исследователи не раз обращались к переписке хазарского царя Иосифа с его единоверцами в далекой Испании. В 1912 г. был опубликован так называемый кембриджский документ — письмо анонима из Хазарии к своему «господину», пребывавшему, по-видимому, в Испании. Об этом памятнике писали А. А. Шахматов и А. Е. Пресняков. Наибольшее внимание исследователей вызывало упоминание в нем «царя Руси» Х-л-гу (Хельгу и Хельга), потерпевшего поражение сперва от византийского императора Романа Лакапина, а затем от хазар. Описание поражения, понесенного Хельгу от греков, напоминает описание в ПВЛ поражения Игоря в 941 г., происходившего как раз при императоре Романе Лакапине, упоминается и в «кембриджском документе». Однако почему в этом памятнике упоминается Хельгу-Олег, а не Игорь? Некоторые исследователи считали Хельгу-Олега, современника Игоря, норманнским викингом, правившим не в Киеве, а в причерноморской Тмутаракани; высказывалась даже мысль о том, что Игорь мог именоваться также Олегом («Ингвар-Хельгу» = «младший Олег»).[47]

В 1932 г. П. П. Коковцев опубликовал текст, перевод и исследование еврейско-хазарской переписки. Он считал более аутентичным памятником не «кембриджский документ», а послание хазарского царя Иосифа, где говорится о роли Хазарии как сдерживающей силы между русскими и мусульманами, но не упоминается о столкновении с Хельгу и его поражении. «Кембриджский документ» Коковцев считал более поздним памятником XII—XIII вв., автор которого был знаком с письмом царя Иосифа, но внес в свой рассказ легендарные мотивы — поражение Хельгу и подчинение Руси хазарам.

После 1951 г. хазарская тема перестала рассматриваться в советской исторической науке как чисто академическая. В «Правде» появилась статья никому не известного П. Иванова, где осуждались работы историков, проявляющих «непонятное любование хазарской культурой».[48] Статью эту прокомменти-

---

[47] *Пархоменко В. А.* К вопросу о хронологии и обстоятельствах жизни летописного Олега // ИОРЯС. СПб., 1914. Т. 19, кн. 1. С. 220—236; *Брунс Ю. Д.* Письмо хазарского еврея от X в. Берлин, 1924. С. 30—31; *Якубовский А.* Ибн-Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 332 г. = 943/4 г. // Византийский временник. 1923—1926. Вып. 24. С. 63—92; *Mošin V.* Les Khazars et les Byzantins d'après l'Anonyme de Cambridge // Byzantion. 1931. Vol. 6. P. 309—325. Ср.: *Zuckerman C.* On the Date of the Khazars' Conversion to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus Oleg and Igor // Revue des Études Byzantines. 1995. № 53. P. 259—270.

[48] *Иванов П.* Об одной ошибочной концепции // Правда. 1951. 25 дек. С. 3.

ровал Б. А. Рыбаков, заявивший, что Хазария была «паразитарным государством» с «низким уровнем производительных сил».[49] В 1954 г. М. И. Артамонов, специально занимавшийся Хазарией, признал, что «выступление „Правды" сыграло положительную роль: оно обратило внимание на бесспорную идеализацию хазар в буржуазной науке и на преувеличение их значения в образовании русского государства». Он утверждал, однако, что роль Хазарии в истории была двойственной: до принятия иудаизма она «была прогрессивной», но «принятие иудейской религии было для нее роковым шагом».[50]

Лишь в последние годы русские историки получили возможность вновь обратиться к этой теме.[51]

Но еще до этого времени были сделаны важные наблюдения над еврейско-хазарской перепиской, и в частности над «кембриджским документом». Изучение этого памятника подтвердило его аутентичность и датировку X в.[52] Но остается неразрешенным ряд вопросов: о соотношении летописного Олега и Игоря в свете этого памятника, о личности Хельгу, его отношении к летописному Олегу, о причинах умолчания царя Иосифа в дошедших до нас его письмах о подчинении хазарам «русов». Неясно также, в каком отношении находятся события, описанные в «кембриджском документе», с восточными известиями о походе русских на прикаспийскую крепость Бердаа.

Привлечение иноземных источников по истории древнейшей Руси несомненно обогащает наше представление о ней. Но в каком отношении находятся сведения, извлекаемые из этих источников, с известиями русских летописей? К сожалению, историки, опиравшиеся на иноземные источники, делали это чаще всего без учета летописной генеалогии и анализа привлекаемых ими сводов.

Очень характерна в этом отношении многотомная «История России» Г. Вернадского, первый том которой был посвящен «Древней Руси» («Ancient Russia»), а второй — «Киевской Руси» («Kievan Russia»). Трудно сказать, можно ли причислять Г. Вернадского к категории «норманнистов» — термин «Русь» он склонен был возводить не к финскому наименованию шведов (как полагали многие исследователи, включая А. А. Шахмато-

---

[49] *Рыбаков Б. А.* 1) Русь и Хазария // Академику Б. Д. Грекову ко дню 75-летия. М., 1952. С. 77, 88; 2) К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси // Советская археология. М., 1953. Т. 18. С. 150.

[50] *Артамонов М. И.* История хазар. 2-е изд. Л., 1962. С. 457—458.

[51] *Новосельцев А. П.* Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990.

[52] *Golb N., Pritsak O.* Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. Ithaca; London, 1982. Ср.: *Zuckerman C.* On the Date of the Khazars' Conversion to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus Oleg and Igor. P. 237—270.

ва), а к названию иранского племени Рухс-Асов («Rukhs-As»), полагая, что термин «Русь» появился первоначально в южной Руси, а затем уже был усвоен шведами.[53] Рюрика он считал реальным историческим лицом и следовал гипотезе, высказанной еще в XIX в. дерптским профессором Крузе и вновь выдвинутой в 1929 г. Н. Т. Беляевым, о тождестве летописного Рюрика с датским (ютландским) викингом Рориком (Roricus, Hroerik), хотя Н. Т. Беляеву не удалось обнаружить никаких свидетельств о пребывании Рорика на Руси и тождестве с Рюриком из Н I мл. и. и ПВЛ. Он ссылался лишь на рассказ скандинавского агиографа IX в. Римберта, повествовавшего о том, как «даны» по совету изгнанного шведского короля напали на город, находящийся на границе славянских земель (in finibus Slavonum), разграбили его и вернулись восвояси. Н. Т. Беляев усмотрел в этом рассказе отзвук того же события, о котором говорится в летописи: «имаху дань варязи из заморья на чюди и на словенех» и «изъгнаша варяги за море». Однако речь в обоих источниках шла о совершенно разных сюжетах — летопись повествует о дани, постоянно взимаемой со славян, об изгнании варягов и новом их приглашении, а рассказ Римберта — об однократном набеге «данов» и об их возвращении домой. Кроме того, в этом рассказе ни одним словом не упоминается Рорик, и, как признает Н. Т. Беляев, «мы не можем сказать, был ли он среди „данов", которые участвовали в этой экспедиции».[54]

Приход Рюрика на Русь Г. Вернадский относил к 855—856 гг. (исходя из данных биографии Рорика Ютландского). Одним из центров древнейшей Руси историк считал южнорусский каганат (Азовскую и Тмутараканскую Русь). Аскольд и Дир, по его мнению, отправляясь из Новгорода на юг, стремились установить связь с южнорусским каганатом. С его помощью они осуществили поход на Константинополь. Вместе с тем, по предположению Г. Вернадского, они попали в зависимость от господствовавших в южной Руси венгров.[55] Поход Олега и убийство им Аскольда и Дира Г. Вернадский также связывал со стремлением установить связь с южнорусским каганатом в районе Азова и Тмутаракани. Воззрения исследователей, которые сомневались в исторической достоверности похода Олега в 907 г. на Царьград (не упоминавшегося византийскими источниками),[56]

---

[53] *Vernadsky G.* Ancient Russia. New Haven, 1944. P. 276—278.

[54] *Беляев Н. Т.* Рорик ютландской и Рюрик Начальной летописи // Сб. статей по археологии и византиноведению, издаваемый семинарием имени Н. П. Кондакова. Прага, 1929. Т. 3. С. 233—236, 269; ср.: С. 241, 255—256, примеч. 190.

[55] *Vernadsky G.* Ancient Russia. P. 335—342.

[56] *Gregoire H.* La légende d'Oleg et l'expédition d'Igor // Bull. de l'Academie Royale de Belgique. 1937. N 23. P. 80—94. Ср.: *Ostrogorsky G.* L'expédition du

Г. Вернадский отвергал, считая, что договор 911 г. подтверждает реальность этого похода.[57] Удачной политике Олега он противопоставлял крайне неудачное правление Игоря. Игорь, по его мнению, был наследником Рюрика, но, скорее, его внуком, чем сыном. Помимо Святослава у Игоря был еще старший сын — Хальгу (Олег), который и совершил неудачный поход на хазар. В 913 г. после смерти Олега Игорь возглавил поход на Тмутаракань, но был отвлечен восстанием древлян; во время похода на Константинополь он прибег к помощи норманнской дружины Свенельда и, чтобы расплатиться с нею, вынужден был взимать дань с древлян, что и привело к его гибели.[58]

Все эти смелые построения отнюдь не опираются на летописные источники. Ни о каких длительно существовавших венгерских владениях в южной Руси, ни о Тмутараканском каганате летописи не знают; упоминание о Тмутаракани появляется в них лишь с XI в. Существование русских владений в Причерноморье (но с сер. X, а не с VIII в.) можно предположить лишь на основании косвенных данных.[59] В ПВЛ упоминается о войне Игоря в 6421—6422 (913—914) гг. с древлянами, а вовсе не о его походе на Тмутаракань. В дополнение ПВЛ Г. Вернадский привлек и поздние источники — Ник. и Иоакимовскую летописи. Из Иоакимовской летописи он извлек (хотя и с оговорками о ее легендарности) известие о приглашении варягов Гостомыслом и о раздаче Рюриком уделов своим вассалам. Сообщая об осаде Игорем древлянского города Пересечена в 914 г. и о передачи им Свенельду деревской дани, Г. Вернадский ссылался на Ник., хотя оба эти известия читались вслед за Начальным сводом в НСС и во всех восходивших к нему летописях.[60]

Аналогичные возражения вызывают и построения О. Прицака в его капитальном труде «Происхождение Руси». Из шести задуманных автором томов этого труда в свет вышел в 1981 г. только первый, посвященный древним скандинавским источникам, за исключением саг, которым должен был быть посвящен следующий том. Пока, к сожалению, остальные тома в свет не вышли, и мы вынуждены пользоваться только материалами первого тома. Речь в нем идет не только о скандинавских источниках, но и о самых разнообразных, в частности русских, и автор

---

prince Oleg contre Constantinople en 907 // Annales de l'Institute Kondakov. 1939. T. 11. P. 47—61.

[57] *Vernadsky G.* Kievan Russia. New Haven; London, 1948 (renewed 1976).

[58] Ibid. P. 32—38.

[59] *Приселков М. Д.* Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам. С. 221—226.

[60] *Vernadsky G.* 1) Ancient Russia. P. 313; 2) Kievan Russia. P. 38.

высказывает ряд смелых предположений, относящихся к древнейшей истории Руси. Как и Г. Вернадский, он не выступает в качестве классического норманниста, полагая, что термин «русь» первоначально относился вовсе не к скандинавам, а обозначал представителей восточно-средиземноморского купечества, восходя к слову «рутены» и наименованию острова Родос.[61] Однако древнерусских князей до X в., которых он склонен считать реальными историческими деятелями, он отождествляет со скандинавскими викингами. Он соглашается с тождеством Рюрика с Рориком Ютландским; полагает, что Аскольд был в действительности королем-викингом Хастингом, а Дир — Бьерном, совершившим поход на Константинополь. Он допускает, что под именем летописного Олега выступают два персонажа — Олег Вещий, он же Хельги/Олег, герой скандинавских саг, и реальный князь, но не киевский, а полоцкий, заключивший договор о контрибуции с византийским императором. Князя Олега О. Прицак отождествляет с наследником датских королей Лодакнутом, хотя и не приписывает Лодакнуту каких-либо столкновений с Византией. Что касается Игоря, то в нем исследователь видит князя (кагана) волжской Руси, завоевавшего около 930 г. Киев и ходившего в 941 г. в неудачный поход на Константинополь.[62]

К русскому летописанию О. Прицак обращался в очень незначительной степени — тема эта выходила за рамки первого тома его труда. Но в ряде случаев ему все же приходилось касаться вопросов, источниками для решения которых были летописи, — например, летописных рассказов об Олеге и договоре с греками, помещенных в ПВЛ (он не только отрицал самостоятельное происхождение договора 907 г., но и подвергал сомнению точность передачи текста и датировку договора 911 г.). В других случаях он обращался и к более позднему летописанию. Так, в подтверждение своего предположения, что поход на Константинополь был совершен викингами через Двину и Полоцк, он ссылался на известие Ник. о войне Аскольда и Дира с полочанами в 6373 (у Прицака ошибочно — 6375) г. и сопоставлял его с упоминанием Саксона Грамматика о завоевании викингом Фрото I города «Paltisca» (т. е. Полоцка). Сопоставление это представляется крайне малоубедительным, ибо и сам О. Прицак не пытался отождествить Фрото I с Аскольдом или Диром. Оно никак не подтверждается

---

[61] *Pritsak O.* The Origin of Rus. Vol. 1. Old Scandinavian Sources other than the Sagas. Cambridge (Mass.), 1981. P. 24—26.

[62] Ibid. P. 27, 141, 144, 149, 150—153, 159—163, 166, 181—182, 583. Ср.: *Мельникова Е. А.* Историзация мифа или мифологизация истории? По поводу книги О. Прицака «Происхождение Руси» // История СССР. 1984. № 4. С. 201—209.

анализом текста Ник., которая именует Аскольда и Дира киевскими князьями. В другом случае, говоря об избрании новгородцами Гостомысла, которого он причисляет к «харизматическому вендскому клану», О. Прицак вообще не ссылается на какие-либо источники.[63]

Недостаточное внимание к летописным источникам было присуще не только иностранным авторам, писавшим об истории древнейшей Руси. Немного внимания уделяли этим источникам и русские авторы.

До середины 1930-х гг. советские историки мало занимались политической историей Древней Руси. Лишь в 1939 г. Б. Д. Греков дополнил свою книгу «Киевская Русь» (первоначальные названия: «Рабство и феодализм в древней Руси», «Феодальные отношения в Киевском государстве») «Кратким очерком политической истории древнерусского государства», служившим в предыдущем издании дополнением к этой монографии, но затем ставшим органической частью книги. Взгляд Б. Д. Грекова на летописные источники получил отражение в его статье, опубликованной в 1943 г., в которой он писал об отличии своего подхода к ПВЛ от подхода Шахматова: «А. Шахматов изучил до мельчайших подробностей состав наших летописей, взаимоотношение их частей, заметил все детали в составе этого величайшего произведения. Он рассматривал Повесть временных лет приблизительно так, как анатом рассматривает труп человека». Сам же Б. Д. Греков, по его словам, склонен был смотреть на ПВЛ «как на живое произведение, не анатомируя его, а воспринимая его как нечто цельное».[64] Едва ли такая характеристика трудов А. А. Шахматова может считаться справедливой: разложение летописи на отдельные составные части было, скорее, характерно для предшественников А. А. Шахматова — К. Н. Бестужева-Рюмина и И. Тихомирова; Шахматов занимался в первую очередь сравнительно-историческим исследованием летописей и рассматривал летописные своды именно как единое целое. Выступая против «анатомического метода» А. А. Шахматова, Б. Д. Греков не ограничивался указаниями на необходимость изучать ПВЛ как единый литературный памятник (такая постановка вопроса была бы закономерной), но настаивал на ее безусловной достоверности как исторического источника. В брошюре, опубликованной в 1945 г., он заявлял: «Меня могут упрекнуть в предвзятости или в слишком большом доверии к показаниям „Повести“. Упреки эти совсем не страшны. Факты

---

[63] *Pritsak O.* The Origin of Rus'. P. 27, 145—149, 180.

[64] *Греков Б.* Первый труд по истории России // Исторический журнал. 1943. № 11—12. С. 57.

говорят сами за себя. А достоверность фактов, сообщаемых „Повестью", тоже несомненна. Она подтверждается всем общим ходом развития Киевского государства, которое ни в коем случае не могло бы достигнуть столь блестящих результатов, если бы факты, сообщаемые в „Повести", были недостоверны».[65] Без критики Б. Д. Греков принимал не только известия ПВЛ, но и сведения, извлеченные из более позднего летописания. Как несомненный факт он принимал известия Ник. о восстании Вадима против Рюрика, признавая умолчание об этом событии в ПВЛ и Начальном своде отражением их тенденциозности: «Киевский летописец не упомянул о неудачном восстании против Рюрика новгородцев во главе с Вадимом, не упомянул он также и о том, что, согласно Никоновской летописи, использовавшей, несомненно, более старые источники, движение против Рюрика в Новгороде длилось довольно долго...».[66] Принял он и предположение Татищева о том, что поход Игоря на Константинополь был вызван нарушением греками договора 911 г. с Олегом, которым, «конечно, дорожила Русь...».[67]

Взгляд Б. Д. Грекова на летописание предопределил его отношение к критическим замечаниям М. Д. Приселкова относительно достоверности известий Начального свода и ПВЛ о событиях X в. Б. Д. Греков отвергал эти замечания весьма решительно. Иронически отметив, что М. Д. Приселков имел «свое собственное представление о Древнерусском государстве», он заявлял, что М. Д. Приселков ставил «своей задачей изучить Древнерусское государство, исходя из положений, что „Повесть временных лет" — источник „искусственный и мало надежный" и что греческие источники в своих данных о Руси якобы „более надежны"... Ограничив себя узким кругом источников и a priori признав византийские сведения более достоверными, чем русские, Приселков сделал опыт изображения Древнерусского государства столь же смелый, сколь и неубедительный».[68]

Легко заметить крайнюю несправедливость этих замечаний. Если бы М. Д. Приселков действительно высказывал мысль, что византийские сведения как таковые a priori ценнее русских, то он действительно сразу же натолкнулся бы на отмеченный Б. Д. Грековым факт, который был Приселкову известен не хуже, чем его оппоненту (он отмечал его как раз в

---

[65] *Греков Б. Д.* Борьба Руси за создание своего государства. М.; Л., 1945. С. 53.

[66] *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1953. С. 452.

[67] *Греков Б. Д.* Борьба Руси за создание своего государства. С. 62.

[68] *Греков Б. Д.* Киевская Русь. С. 281—282.

отвергнутой Б. Д. Грековым статье), — что договоры с греками, которым он придавал значение первостепенного источника, читаются как раз в составе ПВЛ. Мысль, лежащая в основе статьи М. Д. Приселкова, весьма проста и ясна: он указывал, что ПВЛ составлена в начале XII в.; поэтому для изучения истории X в. предпочтение должно быть отдано не этому относительно позднему памятнику, а источникам X в. как современным. Отвергать эти источники на том основании, что они (кроме договоров с греками) иностранного происхождения, было бы по меньшей мере странным.

Полностью следовал Б. Д. Грекову в его подходе к летописным источникам В. В. Мавродин, сочувственно цитировавший рассуждения своего предшественника по поводу «анатомического метода Шахматова» и его слова о сведениях ПВЛ, подтверждаемых «всем общим ходом истории Киевского государства». Осуждая представителей «гиперкритического направления», Мавродин ссылался еще на де Кара, утверждавшего, что представителям этого направления присуща «безграничная свобода в подставлении собственных мнений и собственных суждений на место и теперь еще уважаемого предания, за уважаемость которого стоят люди по силе таланта и по обилию учености, конечно, не могущие завидовать кому бы то ни было». Вслед за Б. Д. Грековым он заимствовал из Ник. известие об убийстве Вадима Храброго и о бегстве от Рюрика «новгородских мужей»; приводя известие ПВЛ о походе Аскольда и Дира на греков, В. В. Мавродин указывал, что «Новгородская I летопись помещает этот рассказ под 854 г.»,[69] хотя Н I мл. и. (в старшем изводе начала летописного текста, как известно, нет) сообщала о походе на греков, не упоминая имен Аскольда и Дира.

Если Б. Д. Греков и В. В. Мавродин, ссылаясь на известия Ник., ограничивались указанием, что летопись эта несомненно использовала «какие-то древние источники», то Б. А. Рыбаков сделал попытку эти источники реконструировать. В Ник., по его мнению, отразился не только «древнерусский лист», «выплывший на свет из глубин московских архивов», но и «утраченный текст Нестора», т. е. первая редакция ПВЛ. Вопреки шахматовской реконструкции Начального свода и его критическому изданию ПВЛ, Б. А. Рыбаков объявил дошедший до нас текст Повести отражением ее третьей редакции, созданной в 1118 г. при дворе князя Мстислава Владимировича, якобы исказившего «широкое полотно общеславянской жизни, нарисованное Нестором» в предполагаемой Рыбаковым первой редакции ПВЛ.

---

[69] *Мавродин В. В.* Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 212, 217, 222, 291. Ср.: Slavia, 1931. R. IX. Ses. 1. S. 111.

Именно в редакции 1118 г., согласно Б. А. Рыбакову, «Игорь стал сыном Рюрика, Олег его воспитателем, а Аскольд (Осколд) и Дир — воеводами Рюрика и варягами». Кроме «варяжско-новгородской темы» создателями редакции 1118 г. «выдвигалась еще одна — крещение Руси в конце X в. при Владимире. Из рукописи Нестора исчезли все данные о христианстве у русов в 860—880-е гг. На их место выдвигалось крещение Руси равноапостольным Владимиром, тезкой Владимира Мономаха».[70] Но редакция 1118 г. — это, согласно Шахматову, редакция, дошедшая до нас в Ипатьевской летописи. Между тем ни в одном из названных сюжетов — о призвании варягов, об Аскольде и Дире как варягах, крещении Руси при Владимире — эта редакция ничем не отличается от редакции 1116 г., дошедшей в Лавр. и сходных с нею летописях. Мало того: в Н I мл. и., отражающей Начальный свод, все эти сюжеты также присутствуют. Построение Б. А. Рыбакова противостоит построению А. А. Шахматова, но никаких попыток опровергнуть его построение и аргументировать такой пересмотр Б. А. Рыбаков не предпринимал.

Отношение Б. А. Рыбакова к построениям А. А. Шахматова представляется крайне непоследовательным. Шахматовское предположение о сводах, предшествовавших Начальному, — о Новгородском своде 1050 г. и Киевском своде 1073 г. он принял безоговорочно, отвергая мнение авторов, сомневавшихся в существовании этих сводов.[71] Однако разграничение второй и третьей редакций ПВЛ, основанное у А. А. Шахматова (и у других авторов) на реальном летописном материале (Лавр. и Ип.), он отвергает без всякого текстологического обоснования.

Особое внимание Б. А. Рыбаков уделил «киевским записям» Ник., которые он счел «первой русской летописью князя Осколда». Именно на основании этой предполагаемой летописи автор писал о трех походах Аскольда на Византию — 860, 866 и 874 гг.[72] Несовпадение дат Ник. с данными византийских источников Б. А. Рыбаков объяснил особенностями систем летосчисления некоторых гипотетических древних памятников, отразившихся в Ник. Дату похода 6367 (850) г., упомянутого в продолженной «Хронике Амартола», пишет он, «русский книжник привычно переводил как 866 г.», присоединяя к ней «почерпнутые из византийских хроник русофобские описания» одного из древних походов.[73] Но каким образом «русский

---

[70] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. С. 298—299.

[71] Там же. С. 194—195. Ср.: *Тихомиров М. Н.* Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVII в. М., 1940. Т. 1. С. 55; *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 88—93. Ср. также: *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет. М., 1971. С. 121.

[72] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. С. 169, 172.

[73] Там же. С. 168.

книжник» мог «привычно переводить» дату византийского летосчисления, ведшегося от Сотворения мира, на летосчисление от Рождества Христова? Ведь на Руси вплоть до Петра I летосчисление тоже велось от Сотворения мира. «Переводят» даты от С. М. на принятое после 1700 г. летосчисление от Р. Х. не древние книжники, а современные издатели летописей.

Б. А. Рыбаков объясняет путаницу в датах Ник. тем, что в ее источниках отразились две системы счета лет — византийская, по которой разница дат от С. М. и от Р. Х. определялась как 5508 лет, и александрийская (аннианская), при которой дата Р. Х. определялась лишь как 5500 г.

Но различие между определениями даты Рождества Христова согласно александрийской и византийской эрам имело решающее значение лишь в тех случаях, когда датировка от С. М. соотносилась с датировкой от Р. Х. (эра Дионисия, существовавшая на Западе с VI в.). Византийские хронисты, с которыми имели дело русские летописцы, не исчисляли время обычно ни от С. М., ни от Р. Х.: они определяли его по годам царствования своих императоров. Переводом этих дат на летосчисление от С. М. занимались в первую очередь болгарские хронисты, и вопрос о соотношении двух эр встает лишь в тех случаях, когда в летописи встречаются даты, которые можно возводить к болгарским источникам. Но объяснить различием александрийской и византийской эр наличие загадочных дат русской и византийской истории в Ник. весьма рискованно. Как справедливо заметил Э. Зыков, «сведения вводной части Никоновской летописи настолько спорны, что едва ли могут быть серьезным основанием для столь ответственного вывода».[74]

Б. А. Рыбаков считает, что между IX и X вв. произошел некий перелом в русской календарной практике, из-за которого «старый счет» (александрийская эра) «стал непонятен». Но убеждение, что Рождество Христово произошло в 5500 г. от С. М., сохранялось на Руси, во всяком случае, до конца XV в. Когда в 7000 г. от С. М., т. е. в 1492 г. по современному летосчислению, на Руси ждали конца мира, то русские книжники

---

[74] *Зыков Э. Г.* Известия о Болгарии в Повести временных лет // ТОДРЛ. Л., 1969. Т. 24. С. 52. Как и Б. А. Рыбаков, Э. Г. Зыков объяснял разницей между александрийской и византийской эрами не только расхождения летописных дат болгарской истории в ПВЛ с исторически достоверными на 8 лет, но и более значительные расхождения — на 16 и 24 года, но не объяснил, каким образом эти расхождения возникали. Б. А. Рыбаков полагал, что «накопления ошибок, кратных 8 годам (5508—5500), связаны с неоднократными переводами с болгарского счета на русский» (*Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. С. 176). Но как и почему происходили эти «неоднократные переводы», автор не объяснил.

полагали, что к этому времени «уже тысяща и пятьсот лет преиде по Христове рождестве», и с удивлением отмечали, что «у латыны», которые считали этот год 1492-м, «нашего болши осмью леты».[75] Однако эти представления никак не сказывались на повседневном летосчислении в жизни и летописании на Руси.

Объяснение явных противоречий между Ник. и более ранними памятниками по истории IX в. системой разных эр в предполагаемых источниках Ник. представляется неубедительным. Возражая Б. А. Рыбакову, Л. В. Черепнин справедливо указал, что «пока не произведено текстологическое изучение Никоновской летописи в связи с предшествующим ей летописанием, мы не можем сказать, какого происхождения — раннекиевского или позднемосковского — записи, проанализированные Рыбаковым, и, следовательно, оценить должным образом его интересную гипотезу».[76] Текстологическое исследование Ник. было осуществлено в 1980 г. Б. М. Клоссом, пришедшим к заключению, что известия по древнейшей истории Руси в Ник. «носят отчетливо легендарный характер или основаны на домыслах составителя».[77]

Построения Б. А. Рыбакова, основанные на Ник., были безоговорочно приняты рядом других авторов. Вслед за Б. А. Рыбаковым О. М. Рапов признал достоверными все известия Ник. об Аскольде и Дире и их троекратном походе на Константинополь. Особое значение он придал четвертому рассказу Ник. об этих походах, заимствованному из Русского хронографа, где упоминалось чудо, побудившее русов креститься. Крещение это Рапов датировал 874—877 гг. (полагая, что это было уже второе крещение; первое он датировал 865—867 гг.). Смущало его только одно — упомянутое в летописи, вслед за греческими источниками, чудо с несгоревшим Евангелием. Он предложил рационалистическое объяснение этому чуду: «...Следует отметить, что различные огнеупорные составы, которыми могла быть пропитана или покрыта книга, были хорошо известны в эпоху раннего средневековья в южной Европе. По-видимому, в данном случае мы имеем дело не с „чудом", как это пытался представить Константин Багрянородный, а с рядовым обманом не посвященных в тайны химии. Не исключено, что фокус с не поддающимся ог-

---

[75] *Казакова Н. А., Лурье Я. С.* Антифеодальные еретические движения в XIV—конце XV в. М.; Л., 1955. С. 319, 401; Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих. Творение преподобного отца нашего Иосифа, игумена Волоцкаго. 3-е изд. Казань, 1896. С. 166.

[76] *Черепнин Л. В.* Спорные вопросы изучения Начальной летописи в 50—70-х гг. XX в. // История СССР. 1972. № 4. С. 58.

[77] *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. С. 181—189.

ню Евангелием был задуман в Константинополе». Признавал О. М. Рапов и достоверность известий Иоакимовской летописи, приведенных Татищевым. Сопоставляя известия ПВЛ о том, что на могиле Аскольда некий Ольма поставил впоследствии церковь «святого Николу», с известием Иоакимовской летописи о том, что на этой могиле «стояла церковь святаго Николая, но Святослав разрушил ю», Рапов приходил к заключению, что сообщение Иоакимовской более древнее, ибо автору ее не было еще известно о будущем строительстве Ольмой церкви Николы. Возможность того, что история со строительством в IX в. церкви святого Николая была добавлена автором Иоакимовской летописи, О. М. Раповым даже не рассматривается.[78]

Построение, согласно которому первое крещение Руси произошло в IX в., а отнесение его ко времени Владимира было следствием «многолинейной и многоаспектной идеологической диверсии», легло в основу работ М. Ю. Брайчевского. Вслед за Б. А. Рыбаковым он объявляет пропуск в ПВЛ известий о крещении Руси при Аскольде делом рук создателя третьей редакции этой летописи, и, возражая тем авторам, которые, признавая крещение Руси в XI в., считали, однако, что крестился только князь и его окружение, он настаивает на том, что сама Русь при Аскольде «стала христианской державой».[79] Автор не только безоговорочно признал существование «Летописи Аскольда», но предпринял попытку ее реконструкции. Реконструкция эта строилась на убеждении, что существование киевского летописания в третьей четверти IX в., доказанное Б. А. Рыбаковым, «не может вызывать серьезных сомнений» (возражения Л. В. Черепнина и Б. М. Клосса против этого тезиса носили, по мнению М. Ю. Брайчевского, «весьма жалкий характер и не заслуживали рассмотрения»).[80]

В свою реконструкцию М. Ю. Брайчевский включил не только те уникальные тексты Ник., в которых упоминался Аскольд и которые Б. А. Рыбаков счел фрагментами из летописания Аскольда, но и ряд других. Так, рассказывая о времени Владимира Святославича, Ник. повествовала о деятельности митрополита Михаила, присланного на Русь патриархом Фотием.[81] Более ранние летописи этого митрополита не упоминали, а Фотий был константинопольским патриархом за сто лет до Владимира. В. Н. Татищев воспроизвел эти известия

---

[78] *Рапов О. М.* Русская церковь в IX—первой трети XII в. Принятие христианства. М., 1988. с. 82—87, 92, 100, 119. Ср.: *Котляр Н. Ф.* Древняя Русь в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986. С. 39—81.

[79] *Брайчевський М. Ю.* Утвердження хрістіянства на Русі. Київ, 1988. С. 43.

[80] *Брайчевский М. Ю.* Неизвестное письмо патриарха Фотия митрополиту Михаилу Сирину // Византийский временник. 1986. Т. 47. С. 34, примеч. 31.

[81] ПСРЛ. Т. 9. С. 57—64.

Ник., но отмечал, что в летописи «в имени патриарха ошибенось, ибо Фотий задолго прежде умер», а патриархом был Сергий, названный, по предположению Татищева, Фотием «по фамилии» (IV, 138, 64, примеч. 194). Однако М. Ю. Брайчевского это объяснение не удовлетворило, и он предпочел исправить текст Ник. — заменил имя Владимира на имя Аскольда и перенес эти известия и грамоту Фотия против латин, читающуюся только у Татищева, из X в. в IX в.[82] К этому же методу прибег автор и в других случаях: в состав реконструкции он включил ряд известий ПВЛ и других летописей, относящихся к самым различным временам, исправив всюду имена князей (Олега, Игоря и Владимира) на имя Аскольда. Так, Аскольду приписываются в его реконструкции все походы на греков, договоры с ними, выбор вер и последующее крещение (но упоминание о чуде с ризой Богородицы во время одного из походов опускается, так как этого, по мнению автора, «быть не могло»). Иногда автор вставляет в реконструкцию собственные тексты — например, известие о том, что «через богато поколень» после смерти Кия, Щека и Хорива власть приняли братья Аскольд и Дир «и назвалісь хаганамі». В других случаях М. Ю. Брайчевский сообщает, что текст был в предполагаемой Летописи Аскольда утрачен, и кратко излагает его возможное содержание. Заканчивается реконструкция неожиданным образом рассказом об убийстве Аскольда Олегом, — предполагается, очевидно, что Летопись Аскольда и при Олеге велась (тайно?!) сподвижниками убитого князя.

Противопоставляя свою реконструкцию тем, которые строили А. А. Шахматов и его последователи, М. Ю. Брайчевский, по его словам, включает в нее эпизоды из любых источников, «которые, возможно, принадлежали Летописцу Аскольда. Чем ломать голову над предположениями, откуда Нестор мог заимствовать тот или иной текст, проще и логичнее допустить, что он взял его из отечественной хроники» (Летописи Аскольда).[83] Своеобразная логика автора заключается в том, что те положения, которые он хочет доказать, он заранее принимает в качестве посылки.

Если М. Ю. Брайчевский для подкрепления своих построений опирался на источниковедческие и текстологические данные или, скорее, на имитацию таковых, то иную позицию занял, излагая историю Руси IX—перв. пол. X в., Л. Н. Гумилев. Исходя из взгляда на источниковедение как «мелочеведение»,

---

[82] *Брайчевский М. Ю.* Неизвестное письмо патриарха Фотия митрополиту Михаилу Сирину. С. 34.

[83] Літопіс Аскольда / Передмова та реконструкція тексту Михайла Брайчевського // Київ. 1988. № 2. С. 146—170.

он, в сущности, совершенно игнорировал историю древнейшего летописания, исследованную Шахматовым. Он не упоминал ни Начального свода, ни его отражения в Н I мл. и. Л. Н. Гумилев предполагал, что «лукавый летописец Нестор», рассматривавший историю как «политику, обращенную в прошлое», знал подлинные факты и хронологию событий IX—нач. X в., но сознательно исказил их, перенося события «похода презираемого летописцем Аскольда на поход любимого Олега». Гумилев предпочитал данные Ник. и Воскр. (или их пересказ в трудах историков) известиям Начального свода и ПВЛ. В книгах его фигурировал Гостомысл как инициатор приглашения Рюрика. Он предложил даже свое объяснение имени Гостомысл, высказав мнение, что это имя было персонифицировано «в имя собственное» только в «поздних летописях», а первоначально (в каких-то неизвестных источниках) обозначало некую партию «гостомыслов» — друзей иноземцев, первых «западников». Без всяких сомнений принял Гумилев и восходящее к Ник. известие о восстании Вадима Храброго против Рюрика. Из Ник. Гумилев, вслед за Б. А. Рыбаковым, заимствовал и неизвестные ранним источникам известия о войнах Аскольда и Дира.[84]

Но главное место в построении Л. Н. Гумилева занимала тема взаимоотношения Руси и Хазарии. Тема эта была увязана с его общей теорией «этногенеза». Понятие «этносов» не было с полной ясностью определено Гумилевым. Под этносом он, как видно из его сочинений, понимал коллективы людей, которые противопоставляются «всем другим таким же коллективам». Этнические «стереотипы поведения» поддерживаются «генетической» и «исторической» памятью. Связи между этносами «нарушают течение этногенезов... Идеологическое воздействие одного этноса на неподготовленных неофитов действует подобно вирусной инфекции, наркотикам, массовому алкоголизму».[85] Впрочем, не всегда соединение этносов, по Гумилеву, губительно — иногда оно порождает жизнеспособные «суперэтносы», иногда — «химерические антисистемы». Такой «химерической антисистемой» была, по мнению автора, тюрко-иудейская Хазария. Пришлые евреи, писал он, признавали лишь своих потомков, родившихся от матерей-евреек, а потомков матерей-хазарок отвергали (дети евреев и хазарок

---

[84] *Гумилев Л. Н.* 1) Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. С. 172—175; 2) От Руси до России. СПб., 1992. С. 32. Ср.: *Сахаров А. Н.* Дипломатия древней Руси... С. 78.

[85] *Гумилев Л. Н.* 1) О соотношении природы и общества согласно данным исторической географии и этнологии // Вестник ЛГУ. 1970. № 24. С. 47; 2) Этногенез и биосфера земли. Л., 1989. С. 305.

превращались в отверженных караимов), ибо евреи «любили в этом мире себя, свои дела и свое потомство. Ради торжества своего этноса они применяли тайну, оружие... и ложь, но только по отношению к гоям и акумам».[86] В результате возникло особое «химерическое» государство, враждебное своему основному тюркскому населению и соседним народам. Государство это не просто воевало со славянскими племенами и налагало на них дань, как считали историки, — оно, согласно Гумилеву, почти целый век господствовало над Русью и определяло всю ее политику.

На каких же источниках основывается это построение? Сообщения летописей о хазарах довольно немногочисленны. В сводной статье 854 г. в Начальном своде повествовалось о том, что хазары потребовали дани от киевских полян; те дали им «от дыма мечь»; хазарские старцы поняли, что это — «не добра дань» и она предвещает, что впоследствии Русь будет взимать дань с хазар и других народов. «Се сбыстся все», писал летописец XI в. и упоминал, что «до нынешнего дни» «князи рускыи» господствуют над хазарами. В ПВЛ читается то же сообщение и также во вводной недатированной части. Далее в ПВЛ под 859 г. сообщалось, что варяги брали дань у чуди, словен, мери, веси и кривичей, а хазары — у полян, северян и вятичей «по белей веверице [по беличьей шкурке] от дыма». Под 884 и 885 гг. сообщалось, что Олег победил северян и радимичей и возложил на них дань «легку», освободив их от дани хазарам. Под 965 г. Начальный свод и ПВЛ сообщали о походе Святослава на хазар, его победе и завоевании хазарского города Белой Вежи (Саркела). Этим, собственно, и исчерпываются известия летописей о хазарах в IX—X вв.

Что же извлекает из этих источников Л. Н. Гумилев? Очень своеобразно использует он известие о дани мечами. Фольклорный характер этого рассказа, символизирующего будущую победу данников над своими противниками, очевиден.[87] Но Гумилев воспринимает это сказание как реальный факт, относя его, однако, к более позднему времени — 940 г.: «...русы выдали победителю свое лучшее оружие — мечи», «обезоружив свое войско». Успехи Олега в борьбе с Хазарией в 884—885 гг. он считает крупнейшим несчастьем — «это его и погубило».[88] Все дальнейшее построение истории русско-хазарских отношений основывается Гумилевым не на летописи, а на прямом и демонстративном противопоставлении ей. Его собственное по-

---

[86] *Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая степь. С. 151.

[87] Ср.: комментарий Д. С. Лихачева в кн.: Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 2. С. 16.

[88] *Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая степь. С. 175, 187, 194, 200.

строение вполне оригинально: он утверждал, что войны 884—885 гг. окончились не победой, а величайшим поражением варяжских князей Руси, и привели они к «хазарской гегемонии» над Русью, которая длилась до походов Святослава в 964—965 гг., когда Русь вернула себе независимость.[89]

О «хазарской гегемонии» над Русью в летописях нет ни слова. Но это не смутило Гумилева. Доказательством этой гегемонии служит, в его глазах, то обстоятельство, что после 885 г. «в летописи возникает провал в 80 лет! Что, здорово?» — спрашивал автор.[90] Значение этого наблюдения, столь эмоционально высказанного Гумилевым, не совсем понятно. Что именно «здорово»? То, что с 885 г. по 964 г. в летописи нет известий о русско-хазарских отношениях? Но в распоряжении составителей Начального свода и ПВЛ просто могло не быть сведений о таких отношениях за данный период. Или автор имеет в виду «пустые года» (даты без известий), которые обнаруживаются в тексте после 888 г.? Но «пустые года» в Начальном своде и в ПВЛ встречаются многократно, свидетельствуя о невозможности для сводчиков XI—XII вв. дать сплошной рассказ о событиях двухвековой давности. А вслед за 885 г. вовсе нет восьмидесятилетнего перерыва (лишь года 888—897 — «пустые»): на протяжении соответствующего периода читаются и статьи о славянской грамоте, и о женитьбе Игоря, и о походе Олега в 907 и 912 гг., и о его смерти, и ряд известий о правлении Игоря и его походах, и о смерти Игоря и четырех местях Ольги, и о возмужании Святослава, не говоря уже о более мелких известиях. И Гумилеву это обстоятельство безусловно было известно: как бы забыв свое собственное утверждение о восьмидесятилетнем перерыве, он подробно комментирует известия этих годов о походе Олега и Игоря на греков, но походам этим дает совершенно неожиданное объяснение. Хотя, согласно летописи, «варяги и хазары были злейшими врагами, а никак не союзниками», Гумилев предпочитал «не верить летописцу». Варяги и подчиненные им славяне были, согласно Гумилеву, не только союзниками хазар, но их наемниками, ведшими в интересах хазарской «химеры» кровавые и бесполезные войны с Византией. Упоминание об успехах Олега в 907 г. были, по мнению Гумилева, извлечены Нестором из описания «похода презираемого летописцем Аскольда», перенесенного «на поход любимого Олега» (в этом случае построение Гумилева совпадает с построениями Рыбакова и Брайчевского). Игорь же, согласно автору, был послуш-

[89] Там же. С. 171—198, 202—213.
[90] Там же. С. 176.

ным исполнителем воли хазар, впоследствии даже убитым древлянами «при сборе дани для хазар». Что же касается похода Игоря в 941 г. на Константинополь, то совершенные при этом русскими воинами жестокости указывают на «войну совсем иного характера, нежели прочие войны X в.» — «видимо, русские воины имели опытных и влиятельных инструкторов, и не только скандинавов».[91]

Экстраординарность этих исторических повествований заключалась в том, что они опирались не на какие-либо, хотя бы косвенные, упоминания о «хазарском иге» или «хазарских инструкторах», но на полное отсутствие таких упоминаний. Несмотря на декларированный им критический подход к «летописцу», Гумилев даже не задумался над тем, откуда были взяты летописцем известия о жестокостях русских во время похода 941 г. А между тем известие 941 г. в ПВЛ, как и рассказ Начального свода о походах Олега в 860 г., имело вполне определенный и доступный нам источник — Хронику Амартола, продолженную до конца X в. Византийские хронисты не стали бы намеренно умалчивать о мифических «инструкторах», если бы те существовали, но, конечно, они рисовали своих противников сугубо черными красками — именно поэтому Б. А. Рыбаков определял их описания похода на Константинополь как «русофобские», а М. Д. Приселков отмечал, что русские летописи «переписывали эти обвинения буквально, наивно им доверяя, из той же монашеской установки первых дней христианства на Руси, что только после принятия христианства русские перестали быть кровожадными насильниками».[92]

Летописцы могли быть и часто действительно были тенденциозны, но их тенденция отражалась в первую очередь на описании событий близкого им времени. В изложении событий далекой древности она выражалась лишь в отстаивании исконных династических прав Рюриковичей. Главное, к чему стремились составители ПВЛ и Начального свода, — разобраться в противоречивых и часто легендарных сказаниях о событиях IX—X вв. и по возможности датировать их. Подозревать Нестора и его предшественника конца XI в. (которого уж никак нельзя обвинить в «западничестве») в коварных умыслах при изложении событий давно минувших лет нет оснований.

---

[91] Там же. С. 171, 178, 195. Ср.: *Кожинов В.* История Руси и русского слова // Наш современник. 1992. № 12. С. 168.

[92] *Приселков М. Д.* Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам. С. 224.

Не только русские летописи ничего не знают о «хазарском иге» на Руси. О нем не упоминают ни византийские, ни арабские источники. Единственный источник, на который мог опираться Гумилев, это уже известный нам «кембриджский документ». В отличие от письма хазарского царя Иосифа, этот памятник действительно упоминал о походе Хельгу на хазар, а потом на Константинополь и о его поражении, но эти события он относил ко времени византийского императора Романа (920—944). Ко времени Романа Лакапина относил неудачный поход русов, сожженных греческим огнем (без какого-либо упоминания о хазарах), и текст Амартола, цитируемый в русских летописях. Рассказ «кембриджского документа», как мы знаем, толковался по-разному: в «Хельгу» этого рассказа видели и бродячего викинга, и царя Тмутараканской Руси (которая, согласно этой трактовке, и была подчинена хазарами), но никто не связывал его с походом Олега на хазар в 884—885 гг., как никто никогда не считал, что Русь после этого похода и до середины X в. находилась под «хазарским игом».

Построение истории Киевской Руси, предложенное Л. Н. Гумилевым, никак не может быть обосновано показаниями летописей, относивших зависимость Руси от хазар (уплату дани) ко времени до, а не после походов Олега. Построение Гумилева основано на его принципиальном отрицании обращения к источникам, на выведении мнимых «фактов» из заранее построенной концепции. «Отсутствие сведений в летописи означает признание хазарской гегемонии»,[93] — заявил Гумилев в итоговой «хронософии» своей книги, и эта формула лучше всего отражает его источниковедческие принципы.

Каковы же факты древнейшей истории Руси, о которых мы можем судить на основании заслуживающих доверия источников? Они довольно бедны. Как бесспорно установил А. А. Шахматов и как настойчиво подчеркивал М. Д. Приселков, систематическое ведение летописания началось на Руси не ранее 60-х гг. XI в., ибо только с этого времени в летописи появляются точные даты; известия, предшествующие середине XI в., представляют собой записи древних преданий; даты были проставлены в Начальном своде и ПВЛ по догадке, задним числом.[94]

Если стремиться не к умножению любой ценой информации по истории Руси IX—сер. X в., а к наибольшей достоверности сведений об этом периоде, то следует ограничиться известиями, в основном отмеченными в трудах А. А. Шахма-

---

[93] *Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая степь. С. 698.

[94] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 398—402.

това и А. Е. Преснякова. Опираясь на труды Шахматова, Х. Ловмяньский в исследовании о древнейшей Руси игнорировал сомнительные известия позднего летописания и рассматривал только данные Начального свода (Н I мл. и.) и ПВЛ.[95] Но и эти источники требуют критического отношения. Считать ли призвание Рюрика с братьями «досужим домыслом» или «этнологическим сказанием», включенным в «раннеисторическое описание»,[96] во всяком случае оно легендарно и не может быть причислено к разряду датированных исторических фактов.

Столь же легендарны основанные на устной традиции рассказы о мести Ольги за Игоря — и в Начальном своде (троекратная месть), и в ПВЛ (четвертая месть). Вопреки Б. А. Рыбакову, в этих рассказах нет оснований видеть фрагменты древлянской летописи, осуждающей «коварство и жестокость» княгини. Скорее, рассказы эти должны были показать мудрость и хитрость Ольги, задававшей древлянским послам загадки (иносказание смерти под видом свадебного обряда), которых глупые послы не смогли разгадать и поплатились за это жизнью.[97]

Что же мы знаем о древнейшей истории Руси? Мы можем утверждать, что в X в. на Руси правили «великие князья» Олег и Игорь, что первый из них в 911 г. (даты указаны в договоре), а второй — в 924—944 гг. (время правления императора Романа с сыновьями Константином и Стефаном) заключили договоры о «мире и любви» с византийскими императорами. И Начальный свод (Н I мл. и.), и ПВЛ упоминают еще отца Игоря Рюрика и варягов Аскольда и Дира, правивших в Киеве и убитых Олегом. Но поход на Византию при императоре Михаиле (861 г.) связывает с Аскольдом и Диром только ПВЛ; Начальный свод не упоминал о том, кто его возглавлял.

Серьезные сомнения вызывают известия Ник. о древнейшем периоде русской истории. Несомненны заимствования этой летописью многих известий из ее непосредственных источников (Русский хронограф, переводы греческих хроник) и вызванные этим дублировки сообщений об одних и тех же событиях. Как мы отмечали и как увидим далее, текст Ник. на всем протяжении носит следы творчества ее составителей. Не-

---

[95] *Ловмяньский Х.* Русь и норманны / Пер. с польск. М., 1985.

[96] *Мельникова Е. А., Петрухин В. Я.* Легенда о «призвании варягов» и становление древнерусской историографии // ВИ. 1995. № 2. С. 44—59.

[97] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. С. 180—181; Ср.: *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 132—137.

сомненен и тенденциозный характер некоторых ее сообщений.[98]

В ряде случаев творчество летописца было связано с его этикетными представлениями. Это заметно, например, в переделке древнего рассказа об убийстве Аскольда и Дира. Составителю показалось странным, что Олег, притворяющийся «гостем», может позвать к себе на берег Аскольда и Дира, которые как-никак считаются князьями. Для того чтобы оправдать такое неэтикетное поведение, Олег, по воле составителя Ник., объявляет, что он болен, а между тем привез драгоценности и, кроме того, хочет передать им нечто тайное. Заинтригованные Аскольд и Дир являются на берег, и далее происходит то, что описано в Начальном своде и ПВЛ.

Летописи XV—XVI вв. нельзя считать достоверными источниками по истории древнейшей Руси. Но летописи представляют ценность не только из-за достоверности тех фактов, о которых они повествуют. Летописи были еще памятниками своего времени. Нам интересно знать не только «откуду есть пошла Русьская земля», но как воспринимали ее историю люди последующих веков. В этом отношении все источники, о которых шла речь в этой главе, представляют бесспорный интерес.

---

[98] *Клосс Б. М.* 1) Никоновский свод и летописи XVI—XVII вв. С. 96—100, 187; 2) Никоновская летопись и Максим Грек // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 124—131.

Глава V

ОРДЫНСКОЕ ИГО И АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ XX в.

Летописные известия об установлении ордынской власти в Северо-Восточной Руси и об Александре Невском излагаются обычно как разные сюжеты в различных исследованиях, но древнейшие летописные записи о русско-татарских отношениях и об Александре читаются в летописях рядом и тесно связаны друг с другом. Исключение составляет южная Ипатьевская летопись: в ней вообще не упоминается Александр Невский.

Летописные известия о походе Батыя в 1237—1238 гг. были предметом многочисленных исследований;[1] беднее сообщения летописей об установлении власти монголов после нашествия. А. Н. Насонов попытался собрать разрозненные известия о политике Орды по отношению к русским княжествам и о татарской военно-политической организации на Руси,[2] однако систематического обзора летописных известий об этом он не предпринимал — предметом его исследования была татарская политика на Руси, а не ее отражение в летописании. Наибольшее внимание уделил летописным рассказам о событиях после

---

[1] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940. С. 87—94; *Комарович В. Л.* Из наблюдений над Лаврентьевской летописью // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 27—59; *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. М., 1969. С. 180—188; *Прохоров Г. М.* Повесть о Батыевом нашествии в Лаврентьевской летописи // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 77—98; *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976. С. 29—32, 35—36; *Fennell J. L. I.* The Tale of Baty's Invasion of North-East Rus' and its Reflection in the Chronicles of Thirties-Fifteenth Centuries // Russia Mediaevalis. München, 1977. T. 3. P. 41—78.

[2] *Насонов А. Н.* Монголы и Русь. М.; Л., 1940. (Репринт: The Hague; Paris, 1969).

нашествия Батыя Дж. Феннел. Менее систематичными были наблюдения над летописными сообщениями на эту тему Г. В. Вернадского, С. И. Колотиловой, В. В. Каргалова и Д. Г. Линда.[3]

Гораздо больше внимания привлекали к себе летописные известия об Александре Невском. Однако источники использовались в этом случае односторонне; эволюция летописных рассказов об Александре изучена совершенно недостаточно.

Первым исследователем, попытавшимся связать изучение Жития Александра Невского с историей летописания, был В. Мансикка, опиравшийся в значительной степени на труды А. А. Шахматова. Он отметил, что тексты Жития были соединены с известиями НІ ст. и. (Синодальный список), в Псковских летописях (в Псковской 2-й летописи был помещен и самый текст Жития) и в летописном своде первой половины XV в. (НСС), отразившемся в Н I мл. и., HIV и CI, текст которой лег в основу большинства более поздних летописей. Обратил внимание В. Мансикка и на модификации житийных (но не собственно-летописных) текстов в более поздних летописях.[4] Ю. К. Бегунов, писавший спустя полвека после В. Мансикки, продолжил в основном его исследование различных редакций Жития, но эволюцию летописных рассказов осветил небрежно и с рядом ошибок.[5] Наиболее ранние летопис-

---

[3] *Fennell J. L. I.* Andrej Jaroslavič and the Struggle for Power in 1252. An Investigation of the Sources // Russia Mediaevalis. München, 1973. T. 1. P. 49—63; *Vernadsky G.* The Mongols and Russia. New Haven, 1953. P. 147—151, 159—162. (A History of Russia by G. Vernadsky and M. Karpovich. Vol. 3); *Колотилова С. И.* Русские источники XIII в. об Александре Невском // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Псков, 1971. С. 99—104; *Каргалов В. В.* Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. Феодальная Русь и кочевники. М., 1967. С. 135—161; *Линд Д. Г.* Некоторые соображения о Невской битве и ее значении // Князь Александр Невский и его эпоха. СПб., 1995. С. 45—46.

[4] *Мансикка В.* Житие Александра Невского. Разбор редакций и текст. СПб., 1913. С. 52—53, 59—99. (ПДПИ. Т. 129).

[5] *Бегунов Ю. К.* Житие Александра Невского в составе Новгородской 1-й и Софийской 1-й летописи // Новгородский исторический сборник. Новгород, 1959. Вып. 9. С. 229—238; *Biegunow J.* Utwory literackie o Aleksandre Newskim w składzie latopisow ruskich // Slavia Orientalis. 1969. N 3. S. 293—308. Ср.: *Бегунов Ю. К.* Русские источники // Ледовое побоище 1242 г.: Сб. М.; Л., 1966. С. 173—193. Автору была уже известна работа А. Н. Насонова, установившего существование общего протографа Московского свода и Ермолинской летописи (в разделе до 1418 г.), однако Ерм. и близкие к ней летописи Ю. К. Бегунов возводил почему-то к «своду 1484 г.» (протографу Тип.) и определял их непосредственный источник и источник Тверской и Львовской летописи как «Сокращенный свод», хотя «Сокращенный свод конца XV в.» — это совершенно иная летопись (см. ниже, с. 116), не имеющая в этой части ничего общего с Ерм., Тверской и Львовской. Игнорировал автор также связь свода 1471 г. с Московским сводом 1479 г. (ср.: *Biegunow J.* Utwory literackie... S. 304, 309).

ные источники об Александре Невском — Н I ст. и., последняя часть которой, доведенная до 1337—1352 гг., была написана почерком XIV в., и Лавр., доведенная до 1305 г. и переписанная в 1377 г. Еще более ранним источником можно считать «Летописец вскоре патриарха Никифора» в редакции XIII в., но в этом летописце читается только перечень князей после смерти Ярослава Всеволодовича «в татарех»: «По немь сѣде в Володимѣри Святославъ брат его лѣт[о] 1, и прогна Андреѣ и сын Ярославль и княжи лѣт 5 и приде Неврюнь от Адама лѣт[о] 6760 и прогна и за море. Того же лѣт[а] сѣде Олександръ брат его лѣт 12, въ 4 лѣт[о] княжения его число бысть от Адама 6755».[6]

В Н I ст. и.[7] Александр впервые упоминается под 6744 (1238) г. как княжич, посаженный его отцом Ярославом Всеволодовичем в Новгороде. Под 6746 (1238) г. рассказывается о завоевании татарами Рязани и Владимира; о гибели владимирского князя Юрия Всеволодовича, обстоятельства которой остались неизвестными новгородскому летописцу: «Бог же весть, како скончася: много бы глаголють о немь инии»; особое внимание в этом рассказе уделяется осаде и завоеванию «погаными» Торжка, входившего в Новгородскую землю. Под 6747 (1239) г. сообщается о женитьбе Александра Ярославича в Новгороде. Под 6748 (1240) г. описывается поход «свеев» на Неву с целью захвата Новгородской земли; «велика сеча» и уход «посрамленных» противников, перечисление убитых новгородцев. Под тем же годом упоминается захват немцами и их союзниками, в числе которых был сын псковского князя Ярослав Владимирович, Изборска и Пскова; уход Александра («роспревся с новгородцы»), нападение немцев, води и чуди, а затем литвы на новгородские земли и отправление Ярославом Всеволодовичем сына Андрея, а после новой просьбы новгородцев — Александра. 6749 (1241) г. — возвращение Александра в Новгород, его поход на Копорье и расправа над вожанами и чудью; 6750 (1242) г. — отвоевание Александром Пскова, сражение «на Чюдьском озере, на Узмени, у Воронья камни», победа Александра; поездка Ярослава к «цесарю татарскому» Батыю в Орду; 6753 (1245) г. — война с Литвой новоторжцев во главе с Ярославом Владимировичем, победа Александра над Литвой. 6754 (1246) г. — поездка Александра «в Татары». 6758 (1250) г. — возвращение Александра из Орды и «радость велика» в Новгороде. 6761 (1253) г. — бегство

---

[6] *Тихомиров М. Н.* Забытые и неизвестные произведения русской письменности // Археографический ежегодник за 1960 г. М., 1962. С. 239.

[7] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 65—84.

брата Александра Ярослава Ярославича «из Низовския земли» и приглашение его в Псков; 6763 (1255) г. — столкновение Александра с новгородцами, посадившими князем Ярослава Ярославича; Александр пошел походом на Новгород и утвердил свою власть над ним. 6764 (1256) г. нападение шведов с союзниками на Новгород в отсутствие Александра, его возвращение, поход «на Емь» и посажение в Новгороде сына Василия. 6765 (1257) г. — новое столкновение между Александром и Новгородом: новгородцы отказались от требования татар выплачивать «тамгы и десятины», их поддержал и Василий Александрович; Александр, придя с татарскими послами, изгнал сына и казнил непокорных новгородцев: «овому носы урезаша, а иному очи вынимаша, кто Василья на зло навел»; 6766 (1258) г. — «взяша татарове всю землю Литовскую»; 6767 (1259) г. — волнения в Новгороде из-за «числа» (переписи населения), «вятшие» за «число», «чернь» — против; Александр дает татарам «сторожи»; установление «числа»; посажение в Новгороде сына Александра Дмитрия. 6770 (1262) г. — «поиде князь Олександр в Татары, и удержа Берка, не пустя в Русь; и зимова в Татарех, и разболеся»; 6771 (1263) г. — возвращение Александра из Орды, «вельми не здравя», и его смерть.

Летописные известия о Александре и об установлении ордынского ига, читающиеся в Лавр.,[8] также не очень многочисленны. Годовые статьи 6745—6749 гг. здесь посвящены татарскому завоеванию. О Невской битве вообще не упоминается. Далее следуют: 6750 (1242) г. — краткая запись о Ледовом побоище, где в главной роли выступает не Александр, а его брат Андрей: «Великий князь Ярослав посла сына своего Андреа в Новъгород Великый, в помочь Олександрови на Немци, и победиша я за Плесковом на озере, и полон мног плениша, и возвратился Андрей к отцу своему с честью». 6751 (1243) г. — поездка Ярослава Всеволодовича «к Батыеви», а его сына Константина к «Канови» (т. е. в Монголию). «Батый же почти Ярослава великою честью» и провозгласил старшим среди русских князей. 6752 (1244) г. — поездка родичей Ярослава к Батыю; 6753 (1245) г. — возвращение Константина Ярославича «ис Татар, от Канович, к отцю своему с честью»; новая поездка Ярослава «с своею братию и с сыновца» к Батыю. 6754 (1246) г. — поездка братьев Ярослава Святослава и Ивана к Батыю; краткое известие о гибели князя Михаила Черниговского, не пожелавшего «поклонитися огневи и болваном их»; смерть Ярослава Всеволодовича «во иноплеменницех, ида от

[8] ПСРЛ. Л., 1927. Т. 1, вып. 2. Стб. 470—477. (Фототип. воспроизведение: М., 1961).

Кановичь» (из Монгольской империи); плач Александра «по отце своем», вокняжение дяди Александра Святослава Всеволодовича, поездка Александра, вслед за братом Андреем, «к Батыеви»; отправление его Батыем «к Каневичам»; 6756 (1248) г. — гибель брата Александра Михаила Ярославича «от поганыя Литвы». 6757 (1249) г. — возвращение обоих братьев «от Кановичь», «приказавших» Александру «Киев и всю Русьскую землю», а Андрею — престол во Владимире. 6758 (1250) г. — поездка Святослава Всеволодовича с сыном «в татары»; переезд митрополита Киевского Кирилла «в Суздальскую землю»; женитьба Андрея Ярославича на дочери Даниила Романовича Галицкого; 6759 (1251) г. — «болезнь тяжка князю Олександру» и его выздоровление. 6760 (1252) г. — «Иде Олександр князь Новгородскый Ярославичь в Татары; и отпустила и́ с честью великою, давше ему старейшиньство во всей братьи его»; с этим известием, очевидно, как-то связаны следующие сообщения: «В то же лето здума Андрей князь Ярославичь со своими бояры бегати, нежели цесарем служити, и побеже на неведому землю с княгинею и с бояры своими...», нападение татар на Андрея под Переяславлем, когда была убита «княгиня Ярославля» (очевидно, жена брата Александра Ярослава); «...Приде Олександр князь великый ис Татар в град Володимерь; ...и бысть радость в граде Володимери и во всей земли Суждальской»; смерть князя Святослава Всеволодовича (когда он перестал быть великим князем, не сообщено). 6762 (1254) г. — брат Александра «Ярослав князь Тферьскый... с своими бояры поеха в Ладогу, оставя свою отчину». 6763 (1255) г. — «крамола в Новегороде» и изгнание сына Александра Василия; Александр вмешался и посадил Василия в Новгороде. 6764 (1256) г. — посылка Александром даров татарам и война с «Емью». 6765 (1257)—6766 (1258) гг. — поездки Александра, Андрея и их братьев к Улавчею (Улагчи, преемнику Батыя); приезд двоюродного брата Александра Глеба Васильковича «ис Кану земли» и его женитьба в Орде; приезд татарских «численников» в Суздальскую землю, Владимир и Новгород: «Александра же удержаша ноугородци, и чтиша и́ много, Олександр же дав им ряд, и поеха с честью в свою очину». 6767 (1259) г. — Александр, приехав в Ростов, кланялся епископу Кириллу, чьею молитвою «и тамо в Новгород ехал есмь здоров, и семо приехал есмь твоею молитвою здоров»; Александра «чтиша» княгиня Марья и другие родичи. 6769 (1261) г. — «постави митрополит епископа Митрофана Сараю». 6770 (1262) г. — всеобщее восстание в Ростовской земле, «не терпяще насилья поганых, изволиша вечь», изгнание татар «из Ростова, с Суждаля, из Ярославля»; «бе бо тогда титям

приехал от цесаря татарского, именем Кутлубий», казнь его сподвижника изменника Зосимы; 6771 (1263) г. — «того же лета преставися великый князь Олександр, сын Ярославль».

Этим, собственно, и заканчиваются летописные известия об Александре и русско-ордынских отношениях в Лавр. Далее в этой летописи помещен памятник совсем иного характера, вновь возвращающий читателя к началу княжения (и даже к рождению) Александра, — его Житие. В Лавр. текст его обрывается на середине, но до нас дошли другие многочисленные его тексты, в частности в Псковской 2-й летописи, во множестве отдельных списков [9] и в летописях (о которых будет идти речь далее), где известия раннего летописания соединены с фрагментами Жития.

Житие Александра, хотя оно и посвящено светскому лицу, — не летописная повесть, а житийный памятник.[10] Сетки годов здесь нет (единственная дата — 6748 г. — вставлена в Житие в Лавр., в остальных списках она отсутствует), хронология относительная («в второе лето», «в то же время» и т. д.) или по церковным праздникам. Важное место в повествовании занимают уподобления святого князя библейским персонажам, видения и чудеса. Противником Александра выступает «король части Римьския от полунощноя страны», объявляющий князю: «Аще можеши противитися мне, то се есмь уже зде, пленяя землю твою». О предстоящем нашествии «ратных» Александр узнает от «старейшины в земле Ижерстей», Пелгуя (Пелгусия), которого известили об этом святые Борис и Глеб, приплывшие по морю помочь «сроднику своему князю Александру». Далее следует описание битвы, во время которой Александр «самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь», и перечисление шести «мужь храбрых», участвовавших в битве (в Псковской 2-й этого перечисления нет), — иных, чем те, которые упоминаются в Н I ст. и. (двое из них — предки виднейших московских боярских фамилий).[11] После битвы на другом берегу Ижоры, где не было «проходно полку Александрову», нашли «много множество избьеных от

---

[9] ПСРЛ. Т. 1, вып. 2. Стб. 477—481; ср.: Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. С. 426—438. Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. 13; М., 1955. Вып. 2. С. 21, 87—88. Вопреки Ю. К. Бегунову (Русские источники. С. 180—182), псковский рассказ о Ледовом побоище представляется нам не псковским «местным преданием», а отражением Жития Александра Невского, где читалось уже укоризненное обращение к «невегласам псковичем» (в Псковской 2-й летописи было помещено и самое Житие).

[10] О жанре Жития Александра ср.: *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 258—267.

[11] Ср.: *Веселовский С. Б.* Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 45—46, 50, 68—70, 96.

ангела Господня». Дальнейшая часть Жития (не сохранившаяся в Лавр.) не отличается по характеру от его начала. Ссылаясь на «самовидца», автор Жития утверждает, что в Ледовом побоище также участвовал «полк Божий на воздусе, пришедши на помощь Александрови». После рассказа об освобождении Пскова читается обращение: «О невегласи псковичи! Аще сего забудете... уподобитеся Жидом, их же препита Господь... и сих всех забыша...». Далее упоминается «царь силен в Восточной стране» (Батый), призывающий Александра к себе; на пути Александра «начаша жены моавитьскыя полошати дети своя, ркуще: Александр едет». Тема вокняжения Святослава и пожалования Александру Киева, а Андрею Владимира в Житии не затрагивается, говорится только, что «по сем же разгневася царь Батый на брата его меншаго Андрея, и посла воеводу своего Неврюня воевати землю Суздальскую», после «пленения Неврюнева» Александр восстановил разрушенные земли. Рассказав о решительном отказе Александра от предложения послов папы принять его «учение», автор Жития повествует, что «бе же тогда нуждъ велика от иноплеменник и гоняхуть христиан, веляще с собою воинствовати, князь же великый Александр поиде к цареви, дабы отмолити люди от беды тоя. А сына своего Дмитрия посла на Западныя страны... к городу Юрьеву». Завершается Житие рассказом о смерти Александра: уже мертвый князь «распростер руку свою и взят грамоту от руки митрополита».

Когда было написано Житие и когда оно проникло в летописание? Автор его претендовал на то, что он слышал об Александре «от отець своих», был «самовидцем... възраста его», и ссылался на сообщения «самовидцев». М. Д. Приселков высказал предположение, что Житие было включено в летопись сразу после смерти Александра в 1263 г. как «особое приложение».[12] Однако текстологических данных для выделения в составе Лавр. особого свода 1263 г. нет; А. Н. Насонов предполагал, что свод, соединявший владимирское и ростовское летописание XIII в., был составлен в 1281 г. во владимирском Рождественском монастыре, где был погребен Александр Невский,[13] но и эта дата остается предположительной. Текст Лавр. доведен до 1305 г., и в основе его лежит свод, связанный с великим князем владимирско-тверским Михаилом Ярославичем. Читалось ли Житие Александра в составе этого свода, или оно было добавлено в Лавр. при ее переписке в 1377 г.? Ю. К. Бегунов предлагал датировать Житие 1281 г.,

---

[12] *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. С. 98.

[13] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 193—201.

но думал, что в летописный свод 1305 г. оно вставлено еще не было,[14] у нас нет данных, что оно читалось в Троицкой летописи начала XV в., опиравшейся на тот же свод 1305 г.; в Тр., как мы можем полагать, читались те же известия об Александре, что и в основном тексте Лавр. (до Жития). Правда, рукопись Тр. до нас не дошла, и реконструкция ее может быть основана главным образом на выписках Карамзина и Симеоновской летописи конца XV в. Однако Карамзин, упоминая «Описание Александровых подвигов», не ссылается ни на Лавр., ни на Тр.[15] В Сим. же тексты, связанные с Александром, вставлены из Московского свода 1480 г. и отражают контаминацию летописных известий с Житием, восходящую к летописному своду первой половины XV в.[16] Очевидно, даже если в Тр. (своде 1408 г.) под 1263 г. читалось Житие, то составитель Сим. мог его опустить как дублирующее предшествовавший текст из того же источника.

Во Владимирском летописце XVI в.,[17] опиравшемся на Тр. и летопись XV в., близкую к HIV, известия об Александре в основном совпадают с летописными известиями Лавр.—Тр., но упоминание о чуде при погребении Александра в 6770 г. восходит (прямо или косвенно) к Житию.

Никаких черт близости и текстуальных совпадений между летописными известиями Н I ст. и., Лавр. и Житием не обнаруживается. Единственный автор, пытавшийся найти такие совпадения, — Дж. Линд. Он возражал в этом случае против утверждения Ю. К. Бегунова, что «сличение Синодального списка (Н I ст. и. — *Я. Л.*) с тремя списками Новгородской 1-й летописи младшего извода... показывает, что ни летописные известия Синодального списка не послужили источником для жития князя Александра, ни известия Жития не были источниками известий Синодального списка».[18] Линд справедливо заметил, что сличение Н I ст. и. с Н I мл. и., включающей тексты из Жития, не помогает решить вопрос о соотношении Н I ст. и. и Жития. Сличение Н I ст. и. и Н I мл. и. обнаруживает не только фактические, но и текстуальные совпадения между

---

[14] *Бегунов Ю. К.* 1) Памятник русской литературы XIII в. «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 60—61; 2) Когда Житие Александра Невского было включено в состав Лаврентьевской летописи? // Die Welt der Slaven. 1971. Ig. XVI. H. 2. S. 111—120.

[15] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1992. Т. 4, примеч. 109. Ср.: *Приселков М. Д.* Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 321—328.

[16] См. ниже, с. 112, примеч. 26.

[17] ПСРЛ. М., 1965. Т. 30. С. 90—93.

[18] *Бегунов Ю. К.* Житие Александра Невского в составе Новгородской 1-й и Софийской 1-й летописи. С. 230.

ними; не менее чем половина текста Н I мл. и. дословно совпадает с Н I ст. и. Но, вопреки Линду, это обстоятельство не доказывает близости текста Жития к Н I ст. и.; совпадения, о которых упоминал Линд, обнаруживаются среди летописных известий Н I мл. и., заимствованных из Н I ст. и.; среди фрагментов Жития, включенных в Н I мл. и., никаких совпадений с Синодальным списком Дж. Линд привести не смог. Он указал лишь на то, что в известии о Невской битве в Н I обоих изводов упоминается воевода с невозможным для шведа именем Спиридон, а в Житии фигурирует новгородский архиепископ Спиридон: «невероятно, чтобы такая ошибка могла быть совершена независимо дважды».[19] Но двойной ошибки здесь не было: в Житии нет никакого воеводы Спиридона, а есть исторически реальный архиепископ Спиридон, который многократно упоминается и в Н I ст. и. (6737, 6738, 6740, 6751). Даже если считать, что составитель Н I ст. и. дал шведскому воеводе имя Спиридон под влиянием имени новгородского архиепископа (что довольно сомнительно), то Житие здесь было ни при чем — имя это и без того было на слуху у новгородца. Житие, очевидно, основывалось на устных известиях об Александре Невском; никаких данных о летописных источниках этого памятника у нас нет.[20]

Летописный рассказ, независимый от Жития, мы обнаруживаем, кроме упомянутых летописей, еще в своеобразном ростовском летописном своде, доведенном до 1419 г. — Московской Академической летописи.[21] Невской битвы здесь, как и в летописных известиях Лавр., нет, о сражении 6750 г. «на Чюдском озере, у ворония камени» сообщается иначе, чем в Лавр., но так же кратко; под 6754 г. читается известие о «пожаловании» Святославу великокняжеского престола еще до смерти его брата Ярослава; смерть Ярослава упоминается лишь под 6756 г. и именуется «нужною» (т. е. насильственной); под 6758 г. читается известие о переезде митрополита Кирилла «в Суздальскую землю»; под 6760 г. сообщается, что «приде Неврюй, и прогна князя Андрея за море» (об Александ-

---

[19] *Lind J. H.* Early Russian-Swedish Rivalry. The Battle of the Neva in 1240 and Birger Magnussons Second Crusade to Tavastia // The Scandinavian Journal of History. 1991. Vol. 16. P. 274 (n. 19)—276. Ср.: *Линд Д. Г.* Некоторые соображения о Невской битве и ее значении. С. 47—49.

[20] Влияние Н I ст. и. на Житие можно было бы предполагать в известии о погребении шведских воинов после Невской битвы: «и накладше корабля два вятших мужь, преже себе пустиша и к морю» (Н I ст. и.) — «трупиа мертвых своих наметаша корабля и потопиша в мори» (Житие). Но текстуального совпадения здесь нет, сходство известия может быть объяснено общей устной традицией.

[21] ПСРЛ. Л., 1928. Т. 1, вып. 3. Стб. 523—524.

ре ничего не говорится); под 6765 г. сообщается о походе «князей» в Орду, о женитьбе Глеба «в татарех» и о «числе» в Русской земле. О взаимоотношениях Александра с Новгородом в связи с «числом» в МАк не упоминается, но под 6767 г. содержится чрезвычайно интересное известие: «Князь Александр бежа из Новагорода, приеха на Ростов на средохрестье...» (в Лавр. — «приеха из Новгорода»). Дальнейшие известия так же кратки: в 6770 г. «изгнаша поганых от всех градов, не терпя насилья их»; в 6771 г. «преставися князь Александр Ярославичь, ноября 14». Ранняя летописная традиция, сохранившаяся в МАк, почти не получила отражения в последующем летописании. Однако известие 6767 г. о том, что Александр «бежа из Новагорода», было воспроизведено в «Летописце русском» конца XV в., отражающем традиции независимого северного летописания.[22]

Компилятивный рассказ об Александре Невском, объединивший известия Н I ст. и., Лавр. и Жития, как отметили уже А. А. Шахматов и В. Мансикка, появился в летописном своде первой половины XV в., отразившемся в Н I мл. и., НК и близкой к ней HIV, HV и СI летописях.[23] Свод этот, составленный, как можно полагать, между 1425 (последнее совпадающее известие СI и НК) и 1446 г. (окончание Н I мл. и., использовавшей этот свод), получил в научной литературе наименование Новгородско-Софийского. Здесь появился компилятивный (основанный на владимирском и южнорусском летописании) рассказ о нашествии Батыя, из разных источников были заимствованы повести об убиении в орде князей Михаила Всеволодовича Черниговского (совпадающая с Ип.) и Михаила Ярославича Тверского. Таким же соединением различных источников было и повествование об Александре Невском в НСС. Наиболее полно эта компиляция отразилась в СI, несколько короче — в Н I мл. и., в сокращении — в НК, Н IV и HV.

Житие Александра, в отличие от Лавр. и Псковской 2-й летописи, не было помещено в НСС отдельно, как особая статья, а распределено в комбинации с известиями Н I ст. и. и Лавр.— Тр. по разным годам. Начало Жития, включая повествование о Невской битве, было помещено в Н I мл. и. и СI под 6748 г. (в НК — Н IV — HV этот текст сокращен и включает только статью «Невское побоище»). Повествование это включало рас-

---

[22] Летописный свод XV в. (по двум спискам) // Материалы по истории СССР. Вып. 2. Документы по истории XV—XVII вв. М., 1955. С. 295.

[23] СI — ПСРЛ. СПб., 1851. Т. 5. С. 176—194; Л., 1925. 2-е изд. Вып. 1. С. 220—240 (изд. не окончено); Н IV — Пг., 1915. Т. 4, ч. 1, вып. 1. С. 223—234; HV — Пг., 1917. Т. 4, ч. 2, вып. 1. С. 214—224; Н I мл. и. — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 239—313; НК (РНБ, F.IV.603) в настоящее время публикуется.

сказ о «шести храбрых», однако, описывая подвиги Гаврилы Алексеевича, НСС указывал, что он был сброшен с корабля не «в воду», а «в море»; упоминалось и обретение «избиеных от ангела Божия» на другом берегу Ижоры. Рассказ Жития был дополнен фрагментами из Н I ст. и., включая перечисление убитых новгородцев и известие о ссоре Александра с новгородцами, его отъезде и присылке в Новгород сперва Андрея, потом Александра (в СI о ссоре с новгородцами упоминается после известия о нападении немцев; в Н I мл. и., НК, Н IV и HV, как и в Н I ст. и., — до этого известия). Статья 6749 г. о походе на Копорье взята была из Н I ст. и.; в СI известие о расправе над вожанами и чудью дополнено словами из Жития о том, что «иных пожаловав отпусти, бе бо милостив паче меры» и что на третий год после победы над королем, «в зимнее время», немцы пришли в Псков и посадили наместников; далее в СI следует текст, отсутствующий в предшествующих источниках: «Се же слышав князь великы Александр, велми оскорбе за кровь христианскую... и прииде к Новугороду и поклонися святой Софии с молбою и плачем». В Н I мл. и. этих слов нет; в НК — Н IV — HV вся статья сокращена до одной фразы. Статья 6750 г. о Ледовом побоище вновь представляет собой соединение соответствующей годовой статьи Н I ст. и. («Поиде князь Олександр с новгородци и низовци...»; описание военных действий, гибель Домаша «на Чудском озере, на Узмене, у Воронья камени», немцы «прошибошася свиньею»; подробности победы; обращение немцев в Новгород с предложением мира и примирение) с текстом Жития (божественная помощь Александру, «о, невегласи псковичи»). В СI текст несколько подробнее, чем в Н I мл. и. (читается фрагмент из Жития о столкновении с Литвой — «и начаша... блюстися имени его» и известие о присылке Ярославом на помощь Александру брата Андрея, близкое к Лавр.). В НК—Н IV—HV вся статья 6750 г. кратка и близка к Н I ст. и., но начинается с анахронистического известия, отсутствующего в СI: «Иде Александр к Батыю царю, а Олег рязанский к канови иде» (в конце статьи, как и в СI, в соответствии с Лавр., сообщается, что к Батыю ездил отец Александра Ярослав). Под 6753 г. в СI и под 6754 г. в Н I мл. и., НК — Н IV—HV приводится известие Н I ст. и. о войне Александра с Литвой. Но в Н I мл. и. известию этому предшествовало известие из Жития о поездке Александра в Орду; в НК—Н IV—HV оно сокращено до лаконичной фразы, явно примыкающей к анахронистической статье 6750 г.: «Езди Александр второе к Батыю». Под 6753 г. в СI (в Н IV под 6754 г.) сообщается о войне с Литвой и читается обширный рассказ о убиении Михаила Черниговского.

В Н IV и сходных с нею летописях под 6755 г. читается краткое известие о смерти Михаила Черниговского и известие об изгнании Святослава с престола: «И по единоа лете прогна Андрей Хоробритов» (так в НК; Н IV — «Хоробриторови», «хоробри татарове»; HV — «Хоробритовичь»).[24] В СІ статья 6754 г. наиболее обширна, и, если считать, что именно она отражает текст НСС, то становится понятным новое осмысление этой поездки в своде, где впервые было дано развернутое изложение темы борьбы с Ордой. Постоянные сношения Ярослава и Александра с ханами требовали теперь оправдания: в СІ разъяснялось, что «по первом взятии Батыева великий князь Ярослав Всеволодичь обнови землю Суждальску, церкви оцистив от трупия мертвых... многи пришельцы утешив... Поганым же силу деющии над крестьяны, того ради сам себе не пощаде и иде в Орду, в великую пагубную землю татарьскую. Обажен бо бысть Феодором Яруновичем царю. И многие дни претерпев... преставися... нужною смертию...» — известие об оклеветании Ярослава некиим Федором Яруновичем появилось здесь в летописании впервые. Краткое известие МАк и более подробное в СІ подтверждается итальянским автором XIII в., побывавшим в татаро-монгольских землях, — Плано Карпини.[25] Далее писалось о поездках Александра: «Тако же и сын его, велики князь Александр, не оста пути отца своего, посылая царю в Орду за люди своя, еже пленени быша от безбожных татар...». После этого в СІ, как и в Н І мл. и., следует текст из Жития о поездке Александра к Батыю и о страхе перед ним «моавитьских жен». Под 6758 г. в НСС было помещено известие о возвращении Александра из Орды, заимствованное из Н І ст. и. Но далее сводчику предстояло рассказать, при каких обстоятельствах Александр стал великим князем владимирским. В Лавр., как мы знаем, здесь рассказывалось под 6754 г. о вокняжении дяди Александра Святослава, а под 6760 г. — как Александр поехал в Орду и получил там «старейшиньство во всей братьи его», как брат его Андрей не захотел «цесарем служити» и подвергся нападению татар, а Александр поехал во Владимир. В Житии о Святославе и соперничестве Александра и Андрея не упоминалось, а говорилось только, что Батый «разгневася на Андрея» и послал Неврюя. Но в глазах составителя НСС сотрудничество с «цесарем» было не обязанностью князей, а, скорее, пороком, и

---

[24] Дж. Феннел справедливо обратил внимание на то, что в Н IV и сходных с нею летописях изгнание Святослава Всеволодовича упоминается как дело рук Андрея Ярославича; его брату Михаилу этот подвиг был приписан в более поздних летописях (*Fennell J. L. I.* Andrej Jaroslavič... P. 60, n. 10).

[25] *Карпини Іоанн, де Плано.* История монгалов. СПб., 1911. С. 57.

статью о нашествии Неврюя он начинал уже без всякого упоминания об Александре. НСС повествовал, что в 6759 г. «приде Неврюй и Котья и Олабуга храбрый на землю Суждальскую... на великаго князя Андрея Ярославича» (только здесь впервые упоминалось, что Андрей был великим князем владимирским). Далее приводился ряд подробностей прихода татар и их победы: «Гневом бо Божиим за умножение грехов наших погаными побежени быша»; Андрей бежал в Новгород, оттуда в Псков, в Колывань и в Свейскую землю и там «на рати убиен бысть от немець. Безбожнии же татарове... възратишеся в землю свою». После этого рассказа, восходящего к неизвестному источнику и противоречащего более раннему летописанию (где не упоминалась смерть Андрея «от немець»), в НСС следует текст из Жития о том, как «по пленении же Неврюеве» Александр «церкви совъздвигнув и град людий исполни» и об отказе Александра папским послам.

В СІ старшей редакции статья 6759 г. имеет еще завершение: «Того же лета преставление великого князя Александра, напреди чти преставление великого князя Александра» и далее следует текст из Жития «О, горе тебе...» и о чуде после смерти князя (в СІ младшей редакции такого завершения здесь нет). В Н І мл. и. рассказ об Андрее значительно короче, чем в СІ, — говорится лишь о приходе Неврюя, бегстве Андрея «в Свискую землю, и убиша и». Но текст из Жития, включая рассказ о смерти Александра (без заголовка «Того же лета...»), читается и здесь. В НК—Н IV—HV статья эта (она помещена под 6760 г.) совсем сокращена — осталось лишь упоминание о Неврюе и смерти Андрея — «и убиша его чюдь». Отсутствие известия о смерти Александра в НК—Н IV—HV и в младшей редакции СІ устраняло явную хронологическую путаницу СІ старшей редакции и Н І мл. и.: о смерти Александра в них сообщалось еще раз под 6770 (СІ ст. ред.) и 6771 (Н І мл. и.) гг. Но наличие этой дублировки и в СІ, и в Н І мл. и. дает основание предполагать, что она присутствовала и в НСС, а в СІ мл. ред. и НК—Н IV—HV была устранена как противоречащая дальнейшему тексту. Под 6761 г. СІ (в НК—Н IV—HV этого сообщения нет), как и в Н І, сообщается об отъезде брата Александра Ярослава Ярославича «из Низовские земли» и о приглашении его в Псков (в Лавр. под 6762 г. Ярослав именовался «Тверским» и говорилось об отъезде его в Ладогу). Под 6763 г. в СІ, Н І мл. и., HIV—HV читается известие Н І о споре Александра с новгородцами из-за того, кто будет там князем (Ярослав или Василий Александрович), о походе Александра на Новгород и спорах между новгородцами, о «совете злом» «вятших» против «меньших» (СІ ст. ред., Н І мл. и. и

HIV—HV в этом случае следуют тексту Н I ст. и.; но в CI мл. ред. — «совет благ»), о готовности «менших» стать «за правду Новгородскую» и об утверждении власти Александра над Новгородом. Под 6764 г. НСС сообщается о походе Александра на Емь и о посажении в Новгороде Василия; под 6765 г. о расправе Александра над новгородцами, восставшими против «числа»; под 6767 г. о помощи Александра татарам в проведении «числа». Но под 6770 г. НСС обращается к другому источнику — к Лавр. (или Тр.), заимствуя из него рассказ о восстании против татар в Ростовской земле. В CI рассказ этот передан наиболее подробно — отмечается еще один, кроме названных в Лавр., город, где было восстание, — Переяславль; более подробно описана казнь изменника Зосимы; завершается рассказ словами: «И полком посланным бывшим попленити християны...»; далее следует текст из Жития о том, что татары «гоняху люди, веляхуть с собой воинствовати» и что Александр хотел пойти в Орду, «дабы отмолил людей от бед», и послал своего брата и сына на «западные страны»; далее следует известие Н I ст. и. о походе в Орду, пребывании там, болезни и смерти (в CI мл. ред. здесь помещена концовка: «О, горе тебе...»). В Н I мл. и. рассказа о восстании нет, но в НК—Н IV—HV он читается, хотя и в сокращенном виде, и это дает основание предполагать, что в CI он восходит к НСС. Смерть Александра отнесена в Н I мл. и. к 6771 г.; в НК—Н IV—HV — к 6772 г.

Контаминированный рассказ об Александре, содержавшийся в НСС, оказал влияние (через Н IV) на ряд летописей — Рогожский летописец, Летопись Авраамки и другие летописи, которые А. А. Шахматов возводил к «краткой версии свода 1448 г.» (протографа CI—Н IV—НСС) и которые, по-видимому, отражали сокращенный текст Н IV.[26] В Рог. сохранилась фраза, заимствованная в НСС из Жития: «Зде обретоша много множество избиеных от ангела Господня».

Следующим этапом в летописной традиции об Александре Невском стал общерусский свод 1471 г., легший в основу Никаноровской и Вологодско-Пермской летописей.[27] Отличительной особенностью этого свода было сокращение и переделка тех статей, которые были заимствованы в НСС из новгородского летописания и потому неприемлемы для великокняжеского летописца. Своеобразной была и композиция этого свода: хронологический порядок изложения был нарушен здесь тем, что ряд

---

[26] *Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938. С. 231—255; *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 87—91.

[27] ПСРЛ. М.; Л., 1959. Т. 26. С. 77—90; М.; Л., 1962. Т. 27. С. 42—49.

статей помещался в начале летописи (так они расположены в древнейшем Лондонском списке ВП—в НКр. эти начальные статьи отсутствуют). В числе этих статей была и статья «Преставление... великаго князя Александра Ярославича».[28]

Статья 6748 г. (Нкр.; в ВП — 6749 г.) «О велицем князе Александре» была, как и в НСС, основана на житийном рассказе о Невском побоище, но упоминание об убитых новгородцах было опущено; переделаны были и заключительные известия новгородского происхождения: вместо описания ссоры («росправся») великого князя с новгородцами и присылки Андрея и Александра была дана такая концовка: «...князь Александр Ярославич взложи на них нелюбье и отъиде в свой град Переяславль. И в то время наиде на Новъгород Литва, Немци и Чюдь и поимаша... кони; не на чем бяше орати. Новгородци же послаша с челобитьем к великому князю Ярославу Всеволодовичю... И вдаст им опять князя Александра Ярославича». В статье 6749 г. было опущено упоминание, что Александр был «милостив паче меры» и о том, что Александр, скорбя «за кровь христианскую», «прииде к Новгороду и поклонися святой Софии...». В статье 6750 г. о Ледовом побоище сохранен контаминированный текст НСС, но нет предостережения псковичам («о, невегласы псковичи») и обращение немцев с предложением о мире (восходящее в НСС к Н I ст. и.) заменено «поклоном ко псковичем» и примирением с ними. Статья 6754 г. воспроизводит текст СI с описанием обновления Ярославом Суздальской земли, его «нужной» смерти и поездок Александра в Орду. Статья 6759 г. о нашествии Неврюя воспроизводит соответствующую статью СI, сокращен лишь текст ответа Александра папским послам. В статьях 6763 г. в соответствии с общими тенденциями свода 1471 г. переделаны все формулы НСС, относящиеся к взаимоотношениям Новгорода с князьями: вместо «выведоша новгородци из Пскова Ярослава Ярославича и посадиша в Новегороде на столе» — «выеде князь Ярослав Ярославич... и биша ему челом новгородци»; в описании споров в Новгороде совет «вятших» против «менших» охарактеризован, вслед за СI мл. ред., как «совет благ»; опущено упоминание о стремлении «менших» «стать

---

[28] Ср.: *Буганов В. И.* О списках Вологодско-Пермского свода конца XV—начала XVI в. // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. М., 1963. С. 159—160. Сходны с ВП были и статьи об Александре Невском в Музейном летописце (РГБ, ф. 178, № 3271), где «сказание об Александре Невском» и примыкающие к нему летописные статьи 6748—6753 гг. были помещены во вводной части, а известия 6754—6759 гг. — в основном летописном тексте. (ср.: *Кудрявцев И. М.* Сборник последней четверти XV—начала XVI в. из Музейного собрания // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1962. Вып. 25. С. 228).

за правду новгородскую»; подробный рассказ о колебаниях новгородцев сокращен и завершен краткой формулой: «И добиша челом новгородци князю». Статьи 6765 г. воспроизводят соответствующую статью СІ, но статья 6767 г. о помощи Александра татарам при проведении «числа» перенесена на 6766 г. и упоминание о позиции «болших» оборвано («а хто не хощет...»). Сокращена в Нкр.—ВП и статья 6769 (6770) г. о восстании в городах против татар, упоминается только убийство «Изосимы преступника» и намерение Александра идти в Орду, чтобы умолить «людей от беды», и поход «на Западные страны», пребывание Александра в Орде, недуг и смерть. Статья 6771 г. о «преставлении великого князя Александра» помещена, как мы уже знаем, в древнейшем списке ВП вне основного летописного рассказа (в Нкр. отсутствует) и лишь в более поздних списках введена в текст.

Свод 1471 г., отразившийся в Нкр. — ВП, можно считать памятником великокняжеского летописания. Следующим этапом в истории этого летописания был общий протограф Московского свода 1480 г. и Ермолинской летописи.[29] Памятник этот был, скорее всего, светским (великокняжеским) сводом и уже использовал свод 1471 г. в качестве одного из своих источников. Условно назовем его Московско-Софийским сводом. Наряду со сводом 1471 г. при составлении МСС вновь привлекались НСС и Лавр.—Тр.; использовались и другие источники. Это видно и из известий МСС об Александре Невском. Известия об Александре Невском даны в МСС в общем полнее, чем во всех предшествующих сводах; здесь опущено лишь начало рассказа 6749 г., взятое из Жития, и повествование начинается непосредственно с заголовка «О Невском побоище». Но под 6755 г., после известия о поездке Александра к Батыю, в Моск. и Ерм. читается особый рассказ об убиении Батыя в Уграх. Рассказ этот, неизвестный предшествующему летописанию, был, по предположению ряда авторов, составлен сербским агиографом Пахомием Логофетом, трудившимся на Руси в середине и конце XV в. (до 1484 г.).[30] Помещение этого рассказа, в котором Батый выступил уже не в роли «цесаря», а в качестве «злочестивого» и «злоименитого мучителя», отражало новый этап в восприятии событий прошлого.

---

[29] ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 132—145 (в печатном издании опубликована редакция Моск., доведенная до 7000 г.; текст редакции 1480 г. см.: РНБ, Эрм., 4156, л. 193—208 об.); Ерм. — ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 23. С. 78—86.

[30] *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 147 (репринт: М., 1988); ср.: *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 272.

МСС составлялся, видимо, незадолго до «стояния на Угре», знаменовавшего падение татарского ига, во время покорения Новгорода в 1478 г. Из свода 1471 г. в МСС, как можно полагать, было включено известие о том, что в 6749 г. (после Невской битвы) литва, немцы и чудь захватили новгородских коней и не на чем было пахать (есть и в Моск. и в Ерм.); после рассказа о походе Неврюя в 6760 г. в Моск.—Ерм., как и в Нкр.—ВП (там 6759 г.), опущен ответ Александра папским послам. Но тщательное исключение упоминаний о прежних новгородских вольностях для НСС, составленного, по-видимому, после 1478 г., в отличие от свода 1471 г., уже не было нужно; под 6748 г. читалось известие о том, как Александр «роспрвся с новгородци»; под 6751 г. было восстановлено предостережение псковичам (так в Моск.; в Ерм. текст сокращен) и упоминание о том, что немцы обратились с поклоном в Новгород (а не в Псков, как в Нкр.—ВП); под 6763 г. восстановлено: «выведоша... Ярослава Ярославича и посадиша в Новгороде», но совет «вящших» был, как и в Нкр.—ВП, охарактеризован как «совет благ» (так в Моск.; в Ерм. статья сокращена). Текст известий об Александре, как и другие тексты МСС, был пополнен по Лавр.—Тр. В конце статьи 6753 г. было добавлено из Лавр. известие о поездке Ярослава с сыновьями «в Орду к Батыеви». Под 6757 г. было восстановлено известие Лавр. о том, что Александр получил «от Канович» Киев и всю Русскую землю, а Андрей — Владимир. В начале статьи 6760 г. сообщалось о походе Александра в Орду к царю Сартаку, но известие Лавр. о том, что Александр получил «старейшиньство во всей братьи его», как и следовавшее за этим сообщение о нежелании Андрея служить «цесарем», опущено. В соответствии с Лавр. отсутствует в МСС и легендарное известие НСС и Нкр. — ВП об убийстве Андрея «от немець». Рассказав о возвращении Александра из Орды после нашествия Неврюя, летописец добавляет: «И тако от злобления поганых утешилися людие». Под 6767 г. известие о споре из-за «числа» в Новгороде стало более осмысленным, чем в своде 1472 г.: «болшие веляху меншим ятися по число, а они не хотяху». Под 6770 г. содержится подробный рассказ из НСС о восстании против татар (в Ерм. он сокращен), но известия НСС о посылке татарских полков «попленити християны» и принуждении их «с собой воинствовати» здесь нет.

Известия об Александре Невском, содержавшиеся в МСС, были воспроизведены рядом более поздних летописей. В Симеоновской летописи [31] текст 6749 («О Невском побоище») —

[31] ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18. С. 61—72.

6755 гг. заимствован из Моск. (конец 6754 и начало 6755 г. в рукописи Сим. пропущено), текст 6757—6771 гг. совпадает с Лавр. и, очевидно, восходит к Тр. (своду 1408 г.). К Тр., возможно, восходит и некрологическая статья об Александре 6771 г. («много мужьство показав на ратех и за христианы с погаными татары перемогался»). В Тип.,[32] отражавшей ростовский владычный свод 80-х гг. XV в., читаются в сокращенном виде статьи Моск. за 6749 (в Моск. 6746), 6750, 6760, 6770, 6771 гг.; рассказ об убиении Батыя в 6755 г. был воспроизведен полностью. Воскресенская летопись XVI в.[33] в основном следовала Моск.; лишь в статье 6749 г., в отличие от Моск., дано начало житийного рассказа об Александре. Полностью воспроизведен текст Ерм. об Александре во Львовской летописи:[34] единственным отступлением от Ерм. оказывается здесь вставка в конце статьи 6767 г. известия (из Лавр. или МАк) о приезде Александра в Ростов из Новгорода и о встрече его епископом Кириллом и родичами. Вполне идентичен тексту Ерм. соответствующий текст «Летописца от 72-х язык» (Прилуцкой и Уваровской летописи).[35]

В Сокращенных сводах конца XV в.[36] содержится лишь несколько кратчайших известий о междукняжеских отношениях при Александре: 6750 — «...Александр Ярославич немцев поби»; под 6756 г. изгнание Святослава Всеволодовича приписывается не Андрею, а Михаилу Ярославичу; 6760 — «приде Неврюй... и прогна князя Андрея Суждалского за море...», 6770 — «вече бысть на бесермены по всем градам рускыим...», 6771 — «преставися... Александр Ярославич в чернецех». В Русском хронографе[37] были опущены известия о победе Александра над немцами и об изгнании Неврюем Андрея; остальные известия сходны с Сокр. св., а известие 6770 г. о «совете на бесермены» подробнее: «И по убиении злочестиваго Батыя повелеша князи рустии, елици не восхотять креститися, тех избивати. И мнози от них крестися». В Устюжской летописи XVI в.,[38] восходящей к той же традиции, что и Сокр. св., сохранилось известие (под 6757 г.) об изгнании Святослава Всеволодовича Михаилом Ярославичем, известие 6760 г. о походе Неврюя и добавлено несколько странное сообщение под 6767 г.: «Князь Александр Васильевич (!) из Новгорода на ве-

---

[32] ПСРЛ. Пг., 1921. Т. 24. С. 95—99.
[33] ПСРЛ. СПб., 1856. Т. 7. С. 146—164.
[34] ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 20, пол. перв., ч. 1. С. 159—165.
[35] ПСРЛ. М.; Л., 1963. Т. 28. С. 54—58, 212—217.
[36] ПСРЛ. Т. 27. С. 235 и 320—321.
[37] ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22. С. 400—401.
[38] ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37. С. 30 и 70.

ликое княжение», представляющее собой явно искаженный текст известия МАк и «Летописца русского» о бегстве Александра Невского из Новгорода во Владимир. Но статья 6770 г. о «вече на бесермены» была в Уст. значительно расширена. Здесь сообщалось, что «приде на Устюг грамота Александра Ярославича, что татар бити», и дальше приводилась история татарского ясащика Буги, спасенного русской девушкой Марией от расправы, крестившегося и удостоившегося во сне видения «Иванна Предтечи», повелевшего ему поставить храм. Фольклорный характер этого сказания очевиден.[39]

Своеобразная компиляция из житийных текстов об Александре и известий СІ и Моск.—Ерм. читается в Тверском сборнике XVI в.[40]

Наиболее характерны для летописной традиции XVI в. были те дополнения к известиям об Александре, которые обнаруживаются в Никоновской летописи.[41] Рассказ об Александре в Ник. представляет собой своеобразную композицию из известий великокняжеского летописания типа Моск., из Сим. и из HV, с небольшими дополнениями, принадлежащими самому составителю Ник. или заимствованными из других источников. Значительная часть этих известий совпадает и с Сим., и с Моск. (6749, 6750, 6751, 6754, 6755, 6756, 6757), но некоторые сходны только с Моск. (поход Неврюя в 6760, 6763, известие 6766 г. о приходе Александра в Новгород и бегство Василия в Псков — в Моск. 6765 г., 6771), некоторые — только с Тр.—Сим. (болезнь Александра в 6759 г., 6764, 6765, 6766— начало, 6767 — частью из статьи 6785 г. Сим., 6770 — основная часть статьи без дополнений). Известие о столкновении татар с уграми в 6749 г. восходит, очевидно, к Тр., но не сохранилось в Сим. и обнаруживается во Владимирском летописце; из сходного источника заимствовано, вероятно, известие о походе Батыя на западные угры в 6755 г., отсутствующее в других летописях. Из HV, очевидно, заимствовано об изгнании Святослава Всеволодовича, но этот поступок, как и прозвище «Хоробрит» в Ник. приписывается не Андрею, а его

---

[39] Ср.: *Срезневский И. И.* Древние памятники русского письма и языка (X—XIV вв.). 2-е изд. СПб., 1882. Стб. 123; *Fennell J. L. I.* The Crisis of Medieval Russia. 1200—1304. London; New York, 1983. P. 119 (рус. перевод: *Феннел Дж.* Кризис средневековой Руси. 1200—1304. М., 1989. С. 161).

[40] ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 375—403. С Моск.—Ерм. текст Тв. сб. сближает текст «Об убиении Батыеве» 6754 г.; в статье 6760 г. текст Ерм. перемежается с текстом СІ (убийство Андрея в Свейской земле, ответ папским послам); под 6770 г. читается текст, которого нет в Ерм. (восстание в Ростовской земле).

[41] ПСРЛ. СПб., 1885. Т. 10. С. 118—143. (Фототип. воспроизведение: М., 1965).

младшему брату — Михаилу, убитому в 6756 г. в Литве, и известие 6766 г. о новгородских делах.

Но наибольший интерес представляют, конечно, известия Ник., имеющие отчетливо идеологический смысл. Деликатная тема роли Александра в походе татар на Андрея в 6760 г. обрела в Ник. благообразие благодаря включенному в рассказ обращению Андрея к брату: «Господи! что се есть, доколе нам меж собою бранитися и наводити друг на друга татар, лутчи ми есть бежати в чюжую землю, неже дружитися и служити татарам». Рассказ 6766 г. о расправе Александра над новгородцами, восставшими против татарских «численников», дополнен неожиданным заключением: «и тако численников татарских укроти и усмири». Иной смысл получила и история восстания против татар в 6770 г.: «Того же лета съвѣт бысть на татарове по всем градом Руским, ихже посажи властелей царь Батый по всем градам Русским, и по убиении Батыеве сын его Сартак и по сем инии. Князи же Русстии, согласившиеся межи собою, и изгнаша татар из градов своих... И тако князи Русстии изгнаша татар, а иных избиша, а инии от них крестишася во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В отличие от провинциального составителя Уст., дополнившего летописный рассказ о «вече на бесермены» местной легендой о грамоте Александра Невского, редактор официального свода 30-х гг. XVI в. не стал ссылаться на эту грамоту; обошелся он и без упоминания о вече, а инициативу в борьбе с татарами приписал коллективной воле «князей Русстиих».

И наконец, последнюю летописную версию повествования об Александре Невском предложила Степенная книга 60-х гг. XVI в.,[42] с наибольшей смелостью переделывавшая историю Руси на всем ее протяжении. Восьмая степень книги именовалась Житием и по форме больше всего приближалась к Житию, но обильно дополняла его переделанными летописными известиями из Ник. Непокорство Андрея Ярославича, повлекшее «пленение Неврюево», было объяснено здесь тем, что Андрей, «аще и преудобрен бе благородием и храбростью, но обаче правлением державы яко поделие вменяя и на ловитвы животных упражьняяся и советником младоумным внимая, от них же бысть многое зело нестроение...». История новгородских выступлений против татар и восстания в Суздальской земле была объединена в единую статью «О утолении мятежа...»: «Потом же дважды бысть в Великом Новеграде, в нем же бысть мног мятежь и велика вражда не токмо от безбожьных татарских посланников, но и от междоусобных злейших

[42] ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21, перв. пол. С. 279—295.

крамольников». Рассказ о наказании этих крамольников был смягчен: Александр велел их «по градскому закону судити и по делом их воздати им». Но восстание в городах зато было прочно связано с князьями и лично с Александром: «И того ради тогда великий князь Александр и прочии князи Русьтии и изгнаша бесерменем татар, а иных избиша, а инии от них крестишася...». Характеристика Андрея Ярославича как князя, склонного к «ловитвам животных», и некоторые другие дополнения Степ. кн. к рассказу об Александре Невском были воспроизведены и в особой редакции Ник. — Лицевом своде второй половины XVI в.[43]

В хронографах XVII в. содержатся лишь немногочисленные известия об Александре Невском. В Пискаревском летописце рассказ об Александре основывается на летописно-житийной традиции НСС;[44] в Мазуринском летописце Исидора Снязина — краткие извлечения из того же рассказа.[45]

В «Истории» Татищева рассказ об Александре изложен в основном по Ник. В рассказе о Невской битве Татищев, повествуя о видении Пелгусия (у Татищева «Пергусий»), опустил упоминание о святых Борисе и Глебе и превратил «насад», в котором приплыли святые, в «насады ратных» (V, 31). Здесь историк XVIII в. обнаружил свойственные ему рационалистические воззрения и предвосхитил тенденции ряда авторов нового времени, прибегавших к той же купюре. В рассказе о дальнейших событиях обнаруживаются не только специфические дополнения Ник. (бегство Андрея в чужую землю, чтобы избежать ссоры с братом, укрощение татарских численников в Новгороде, избиение татар в 6770 г. по соглашению между русскими князьями), но и новые татищевские дополнения: «пря» о великом княжении в 6756 г. между Александром и Михаилом Хоробритом; готовность Александра занять после смерти отца киевский престол и отказ от этого по просьбе новгородцев; жалоба Александра хану в 6760 г. на брата Андрея, который «сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отеческие ему поимал, и выходы и тамги хану платит не сполна»; обращение Александра к хану с просьбой о прощении бежавшего Андрея и приход его в Орду с братом «по слову ханскому». Едва ли здесь можно предполагать добавления по неизвестному источнику; скорее, это стремление историка заполнить лакуны в историческом повествовании собственными догадками о возможных связях между событиями (V, 31, 39, 40, 43, 44).

---

[43] ПСРЛ. Т. 10. С. 119—139 (правые колонки).
[44] ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 89—92.
[45] ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 72—75.

* * *

В исторической литературе в центре внимания оказалась Невская битва и Ледовое побоище; рассказы о них постоянно излагаются в научных и научно-популярных сочинениях, а также в различных учебниках.

Русско-ордынским отношениям при Александре историография XX в. уделяла гораздо меньше внимания, чем его победам на западных рубежах. А. Е. Пресняков в «Образовании Великорусского государства» и в неизданном втором томе своих «Лекций по русской истории» отмечает сосуществование среди владимирских князей двух политических линий — антитатарской, носителями которой были Андрей Ярославич, женившийся на дочери сильнейшего из западнорусских князей — Даниила Галицкого, и брат Александра и Андрея — Ярослав Тверской, и протатарской, которую последовательно проводил Александр Невский, «вассал ордынский», ставший «проводником установления татарского владычества в северо-восточной Руси». «...авторитет великокняжеской власти вышел из эпохи сильно расшатанным, Александр поддерживал его не только личной энергией и личным влиянием, но и страхом татарской кары и прямой опорой в татарской силе». Но специально этой темой он не занимался и не исследовал летописные своды, отражающие эти события. Не вызывало у него, как и у других историков, сомнений читающееся в поздней летописной традиции известие о том, что Святослава Всеволодовича согнал с престола младший брат Ярославичей — Михаил Хоробрит Московский, а не Андрей Ярославич, как отмечают более ранние источники.[46]

История русско-ордынских отношений после похода Батыя была подробно изложена А. Н. Насоновым в монографии «Монголы и Русь». Но в центре внимания исследователя были не столько русские междукняжеские отношения, сколько политика завоевателей, в частности противоречия между Золотой Ордой (Сараем) и Монгольской империей. В связи с этой темой А. Н. Насонов обратил особое внимание на сообщение поздних летописей (Уст., Ник. и Степ. кн.), что восстание 6770 (1262) г. в Ростово-Суздальской земле было предпринято по инициативе «князей Русстиих» (Ник.) и даже самого Александра (Уст., Степ. кн.). А. Н. Насонов предполагал, что факт «прикосновенности» Александра «как инициатора восстания» 1262 г. «становится

---

[46] *Пресняков А. Е.* 1) Образование Великорусского государства. Пг., 1918. С. 53—58; 2) Лекции по русской истории. Т. 3 (т. 3 пока не вышел в свет; цитирую по корректуре, любезно предоставленной мне В. М. Панеяхом). С. 38—40.

вполне правдоподобным» потому, что дань с Руси была запрошена, когда «титям приехал от цесаря татарьского, именем Кутлубий». Понимая слово «титям» как собственное имя посла, а «Кутлубий» как искажение имени монгольского императора Хубилая, А. Н. Насонов считал, что восстание на Руси было направлено не против Орды, а против Монгольской империи, и Александр как сторонник золотоордынского правителя Берке мог в этом восстании участвовать.[47] Против этого предположения высказались Г. Вернадский и Дж. Феннел, справедливо заметив, что «Кутлубий», скорее, имя посла («Кутлубей»), чем искаженное имя монгольского императора, что Хубилай едва ли мог непосредственно послать сборщиков дани на Русь, ибо как раз в то время он боролся с соперниками и дорога на Русь была ему недоступна. Дж. Феннел отметил, что ранние источники ничего не сообщают об участии князей в восстании; согласно CI, в ответ на восстание ордынцы послали «полки» «попленити християны». По мнению Дж. Феннела, «князья, и в том числе, конечно, Александр, не вдохновляли, не возглавляли и не поддерживали народное движение».[48] Заметим, что если в книге «Монголы и Русь», начатой в 1924 г. и опубликованной в 1940 г., А. Н. Насонов считал возможным опираться на Уст. и Ник., то в своей «Истории русского летописания», ссылаясь на А. А. Шахматова, он высказался весьма скептически о возможности привлечения Уст. и других поздних памятников.[49]

Политика Александра Невского по отношению к Орде заняла важное место в построениях так называемых евразийцев — русских ученых-эмигрантов, пересматривавших традиционный взгляд на монгольское иго как на национальную трагедию, определившую отсталость России от Европы, и видевших в нем силу, объединявшую «в одно целое религию, культуру, быт и государственный строй, и на которой держалась вся русская жизнь, который позволил Московской Руси стать одной из обширнейших держав».[50] «Евразийская» концепция русской исто-

---

[47] *Насонов А. Н.* Монголы и Русь. С. 50—53. «Титям» — слово, читающееся только в летописных рассказах о событиях 1262 г., и смысл его (нарицательное или собственное имя?) не понятен (*Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1912. Т. 3. Стб. 261 (репринт: М., 1958).

[48] *Vernadsky G.* The Mongols and Russia. P. 160—161; *Fennell J. L. I.* The Crisis of Medieval Russia. P. 119 (ср. рус. пер.: Кризис средневековой Руси. С. 161); *Каргалов В. В.* Внешнеполитические факторы... С. 155—157. Ср.: *Halperin Ch. J.* The Tatar Yoke. 1986. P. 58, 190, n. 103.

[49] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 21.

[50] *Трубецкой Н. С.* О туранском элементе в русской культуре // Евразийский временник. Вып. 4. Берлин, 1925; переиздано в книге: *Гумилев Л. Н.* Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи. М., 1994. С. 519—521.

рии особенно ярко была выражена в статье Г. В. Вернадского «Два подвига Александра Невского». Если победа на Неве и Чудском озере была «подвигом брани», то его поведение по отношению к монгольским ханам «являло собой подвиг смирения». Сравнивая Даниила Галицкого, пытавшегося противостоять Орде, с Александром Невским, Г. В. Вернадский приходил к выводу, что наследием первого было «латинское рабство Руси юго-западной», а наследием второго — «великое государство Российское».[51]

Статья «Два подвига св. Александра Невского» имела публицистический характер, и основным ее источником было Житие Александра. Но идеи этой статьи отразились и в монографии Г. В. Вернадского «Монголы и Русь». Здесь мы также находим противопоставление Даниила Галицкого Александру Невскому, политика которого состояла в том, что «Александр предпочитал оставаться лояльным по отношению к монголам, нежели разделять страну». Лишь изредка Г. В. Вернадский прибегает к ссылкам на летописи (например, в споре с А. Н. Насоновым о роли Александра в восстании 1262 г.), чаще, излагая факты, он ссылался на труды предшествующих историков. Так, следуя историографической традиции, он утверждал, что в 1240 г. предводителем шведов был могущественный ярл Биргер.[52]

Проблема «двух путей русской политики» — подчинение Орде или вхождение в состав Литовского государства — рассматривалась и в русской историографии. С. В. Юшков еще в 1946 г. писал, что переход русских земель к Литве означал избавление от ужасов монголо-татарского ига; что такой переход был бы «интересен и для правящей верхушки той или иной русской земли, и для всей массы населения».[53] О том, что во время восстаний против ханской власти «боярство и князья помогали татарам, не без оснований надеясь сохранить таким путем свое привилегированное положение», писал Б. Д. Греков; развили эту мысль И. У. Будовниц и В. В. Каргалов.[54]

---

[51] *Вернадский Г.* Два подвига св. Александра Невского // Евразийский временник. Вып. 4. Берлин, 1925; переиздано в книге: *Гумилев Л. Н.* Черная легенда. С. 550—568.

[52] *Vernadsky G.* The Mongols and Russia. P. 55, 149.

[53] *Юшков С. В.* Развитие Русского государства в связи с его борьбой за независимость // Учен. труды Всесоюзного ин-та юридических наук. М., 1946. Вып. 8. С. 141—142.

[54] *Греков Б. Д., Якубовский А. Ю.* Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. С. 227—228; *Будовниц И. У.* Общественно-политическая мысль Древней Руси. (X—XIV вв.). М., 1960. С. 354; *Каргалов В. В.* Внешнеполитические факторы... С. 133—163.

Основным недостатком всех перечисленных работ было невнимание авторов к летописным сводам, их взаимоотношениям и датировке. Единственным исключением в этом отношении были работы Дж. Феннела. Написанию его монографии «Кризис средневековой Руси. 1200—1304» предшествовало исследование летописных рассказов о русско-ордынских отношениях, в частности статьи о летописных источниках, отражающих борьбу между Александром Ярославичем и его братом Андреем. Дж. Феннел справедливо отметил, что поздние летописи второй половины XV и XVI в. «представляют интерес в основном с точки зрения истории летописания». Конечно, попытки определения не дошедших до нас источников Лавр. и СІ (летописцы Александра, Андрея и Ярослава Ярославичей), предложенные Дж. Феннелом и другими авторами, неизбежно носят предположительный характер.[55] Однако стремление расширить имеющуюся у нас информацию с помощью «правдоподобных» известий заведомо поздних и тенденциозных памятников еще менее плодотворно. В распоряжении составителя Ник., возможно, были какие-то записи, ведшиеся при учреждении в 1261 г. православной Сарайской епархии,[56] но известия Ник. о русско-ордынских отношениях при Александре Невском явно были основаны на предшествующих летописных источниках и носили тенденциозный характер (известия за 6760, 6766, 6770 гг.).

Если Дж. Феннел основывал свои исследования на изучении источников, то на совершенно иных принципах были основаны работы Л. Н. Гумилева, исходившего из своей теории «этногенеза». Во многом эта теория была сходна с построениями «евразийцев», но гораздо решительнее расходилась с источниками, нежели работы предшественников Л. Н. Гумилева. Так, походы Батыя он считал «набегом» или «кавалерийским рейдом», незначительно уменьшившим «русский военный потенциал»; «ни о каком монгольском завоевании Руси не могло быть и речи. Уже два-три десятка лет спустя произошло первое освобождение России от монголов — величайшая заслуга Александра Невского». Отрицательное отношение к Орде на Руси «появилось не в XIII в., а столетие спустя, когда узурпатор Мамай стал налаживать связи с католиками против православной Москвы».[57]

---

[55] *Fennell J. L. I.* Andrej Jaroslavič... P. 49—58; ср.: *Колотилова С. И.* Русские источники XIII в. об Александре Невском. С. 99—104.

[56] *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII веков. М., 1980. С. 184.

[57] *Гумилев Л. Н.* 1) Черная легенда. С. 200—203, 227; 2) От Руси до России. СПб., 1992. С. 108—109.

Все это построение находится в полном противоречии с источниками. Во всех летописях, отражающих события XIII в., поход Батыя описывается как величайшее национальное бедствие. Если Лавр. и Ип. отражали летописание земель, подвергшихся непосредственному завоеванию, то составитель Н I ст. и., независимый от двух остальных летописей, писал в городе, который не был завоеван; он не имел поэтому оснований преувеличивать масштабы поражения. Но данная им характеристика завоевания не отличалась от той, которая содержалась во владимирском и южном летописании.[58]

При изложении последующих событий Л. Н. Гумилев проявляет такую же свободу от источников. Уже МАк сообщала, что отец Александра Ярослав умер после поездки в Монголию «нужной смертью»; НСС уточнил это известие, упомянув имя человека, оклеветавшего Ярослава, — Федора Яруновича. Итальянец Плано Карпини, находившийся как раз во время пребывания Ярослава при дворе монгольских императоров, описывал подробности его гибели: «Он... был приглашен к матери Императора, которая, как бы в знак почета, дала ему есть и пить из собственной руки; и он вернулся в свое помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и все тело его удивительным образом посинело. Поэтому все верили, что его там опоили, чтобы свободнее и окончательнее завладеть его землею». П. Карпини упоминал также, что его переводчиком был Темер, «воин Ярослава».[59] В. Т. Пашуто высказал догадку, что Темер и упомянутый в летописи «Федор Ярунович» — одно лицо.[60] Эта догадка была использована Л. Н. Гумилевым как бесспорный факт и дополнена рядом подробностей: «Как известно, Федор Ярунович был агентом папы и оклеветал князя Ярослава, приписав ему контакт с Лионским собором и, следовательно, измену монголам, с которыми тот хотел заключить союз. Ханша Туракина была меркиткой..., а сибирские народы сами не лгут и поэтому верят чужим словам. Ханша поверила доносчику, отравила князя и тем обрекла на гибель своего сына, ибо дети погибшего, изрубив на куски доносчика, примкнули к врагам Гуюка».[61] Откуда взяты эти красочные известия? Гумилев не указывает своих источников. Столь же загадочны другие его рассказы. В 1257 г., как мы знаем, новгородцы восстали против татарских «численников», готовив-

---

[58] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 74—77; Ср.: Памятники литературы Древней Руси: XIII век. С. 134—148, 290—298.

[59] *Карпини Іоанн, де Плано.* История монгалов. С. 57—58, 61.

[60] *Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1960. С. 268—269, примеч. 7.

[61] *Гумилев Л. Н.* 1) От Руси до России. С. 115; 2) Черная легенда. С. 117, 225.

ших сбор дани; Александр Невский расправился с восставшими, а своего сына Василия, бывшего князем в Новгороде, изгнал оттуда. Гумилев упоминает этот эпизод, но дает ему довольно неожиданную трактовку. Он объясняет, что Василий Александрович, возглавивший это восстание, был «дурак» и «пьяница», а Александр «с вожаками смуты поступил жестоко: им «вынимали очи», считая, что глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг делается». Откуда взял автор это объяснение и характеристику Василия Александровича, неизвестно. Ни в Н I, ни в Лавр. (кратко сообщившей об этих событиях под 1258 г.) ни слова не говорится о склонности Василия к пьянству; этому князю посвящено всего несколько строчек в летописях. Но Гумилев настаивает на этой характеристике: он сообщает, что Александр дал Василию через несколько лет «тихо и спокойно умереть от пьянства».[62] Столь же произвольны и не подкреплены источниками и другие утверждения Л. Н. Гумилева. В одной из своих книг он утверждал, что в смерти Александра Невского «можно видеть усилия немецких сторонников», а в другой — что «умер он не от яда — это вымысел... Александр, как известно, умер в Городце, куда немецкие агенты проникнуть не могли, а татарам он был дорог как союзник и друг».[63]

Все эти «внеисточниковые» рассказы служат для Гумилева основанием для его теории «этногенеза». Он заявляет, что «князь Александр, так же как его соратники, принадлежал к поколению новых людей, поднявших новую Русь на недосягаемую высоту... Сформулированная Александром доминанта поведения — альтруистический патриотизм — на несколько столетий определила неизвестные дотоле принципы устроения Руси...». «Новые» люди «начали рождаться около 1220 года, а исторической силой стали в конце XIV века — около 1380 года».[64]

О степени убедительности гумилевской теории «этногенеза» мы уже писали. Сейчас нас занимает другой вопрос: что же мы знаем об обстоятельствах установления ордынской власти над Русью и роли Александра Невского в этих событиях? Как было связано монгольское нашествие и дальнейшие взаимоотношения Александра с ханами с его победами на западных границах? Касаясь этого вопроса, историки обычно ограничивались замечаниями, что нашествие монголов «ослабило Русь и породило желание у ее соседей использовать выгодный момент и разом покончить с ее независимостью», что

---

[62] *Гумилев Л. Н.* От Руси до России. С. 120, 124.
[63] *Гумилев Л. Н.* 1) От Руси до России. С. 121; 2) Черная легенда. С. 359.
[64] *Гумилев Л. Н.* От Руси до России. С. 122—123.

«татарское нашествие создало чрезвычайно выгодную обстановку для нападения на Русь».[65]

Основным источником по истории княжения Александра Невского служило и служит обычно Житие Александра — в отдельной редакции или, еще чаще, по летописным рассказам, в основе которых лежало это Житие. При этом показания источников оценивались с точки зрения «вероятности» или «невероятности» описанных в них событий. Преобладало мнимореалистическое их толкование, когда видение ижорянина Пелгусия превращалось в его «разведку», из участия в которой многие историки вслед за В. Н. Татищевым исключали святых Бориса и Глеба, а избиение шведов на другом берегу Ижоры, где не было войск Александра, приписывали не «ангелу Господню», а дружественным Руси ижорцам.[66]

Много трудов посвятил этой теме И. П. Шаскольский. Он справедливо отметил, что Житие Александра — «литературное произведение в жанре княжеского жизнеописания», «памятник художественной литературы, создававшийся по ее специфическим законам».[67] Но пытаясь «реконструировать» ход Невской битвы, он опирался на «достоверные зерна» Жития. Он считал Пелгусия «безусловно историческим» лицом и описывал подвиги «6 мужь храбрых» по житийному рассказу. Отстаивая достоверность рассказа, автор ссылался на «прибалтийско-финское» имя Пелгусия (в финском произношении «Пелконен») и на реальное существование одного из «храбров» — Сбыслава Якуновича.[68] Но в фольклорных сказаниях часто фигурируют реальные лица (ведь и Александр Невский был реальным лицом). Сам И. П. Шаскольский отмечает, что «рыцарь Андреяш», якобы приезжавший к Александру и выражавший восхищение им, — фигура легендарная, что «король части Римския», бросивший вызов Александру и раненный в битве «острым копием» князя, никогда не существовал, а упоминаемое в некоторых списках Н IV имя этого короля «Бер-

---

[65] *Пашуто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 289—290; *Шаскольский И. П.* Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII—XIII вв. Л., 1978. С. 154. Ср.: Князь Александр Невский и его эпоха. СПб., 1995. С. 8, 22, 31, 44.

[66] Примеры такого «реалистического» толкования Жития Александра см.: *Лурье Я. С.* Критика источника и вероятность известия // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 123—124; *Шаскольский И. П.* Борьба Руси... С. 181, примеч. 141. Возражая автору этой работы, В. Т. Пашуто взял под защиту лишь достоверность упомянутого в Житии подвига «мужа храброго» Гаврилы Олексича, но оставил без внимания примеры «реалистического» толкования видения Пелгусия и участия в битве «ангелов божиих» (*Пашуто В. Т.* К спорам о достоверности Жития // История СССР. 1974. № 6. С. 208—209).

[67] *Шаскольский И. П.* Борьба Руси... С. 180—181.

[68] Там же. С. 183, примеч. 154, 186—194.

гель» не может (вопреки утверждениям ряда историков) быть отождествлено с именем Биргера, ставшего ярлом и фактическим правителем Швеции лишь с 1248 г.[69] Использование некоторых известий житийного рассказа в качестве «рациональных зерен» представляется поэтому типичным примером извлечения из сомнительного источника отдельных «невероятных» показаний.

Разумеется, и ранние источники, освещающие установление ордынской власти и деятельность Александра Невского, далеко не во всем достоверны и не могут привлекаться без критики. И. П. Шаскольский прав, отмечая, что и Н I ст. и., излагавшая историю Невской битвы «с чужих слов» («инии творяху»), преувеличивала масштабы похода, утверждая, что на Неву пришли «свеи в силу велице и мурмане и сумь и емь». В действительности Норвегия («мурмане») участвовать в битве не могла; едва ли в битве участвовали представители «еми». Никаких шведских и вообще иностранных известий о Невской битве (в отличие от Ледового побоища, упомянутого в ряде ливонских хроник) не сохранилось; видимо, она не рассматривалась в балтийских землях как важное событие, в отличие от таких, например, побед русских и неудач шведов, как взятие московско-новгородским войском Ландскроны в 1302 г. Нет, как признал И. П. Шаскольский, в источниках каких-либо «прямых указаний на шведско-немецкие переговоры и соглашение о совместном нападении на Русь», предположение о договоренности между шведами и немецкими рыцарями основывается в его исследовании лишь на том, что шведский поход на Неву происходил в июне 1240 г., а нападение немцев на Изборск и Псков — в конце августа того же года.[70]

Н I ст. и. очень бедна известиями о междукняжеских отношениях в середине XIII в. Здесь даже не упоминается смерть Ярослава Всеволодовича; ничего не сообщается о борьбе за престол между его наследниками; упомянут только младший брат Александра Ярослав в связи с его бегством «из Низовское земли» в Псков и (на короткое время) в Новгород.

---

[69] Там же. С. 171—178, 185—186. Упоминание в нескольких списках Н IV «короля Бергеля» (как предводителя шведов в 1240 г.) было связано с легендарным «Рукописанием Магнуша», читающимся в НСС под 1352 (6860) г., где говорилось о «князе Бергеле», побежденном Александром. Недавно Дж. Линд высказал предположение, что «Рукописание Магнуша» восходило к не дошедшей до нас новгородской летописи (*Lind J. H.* Early Russian-Swedisch Rivarly. P. 278—283) и отражало реальные события.

[70] *Шаскольский И. П.* Борьба Руси... С. 155—157, 160—170. Ср.: *Хёш Э.* Восточная политика Немецкого ордена в XIII в. // Князь Александр Невский и его эпоха. С. 67—71.

Летописные своды, отразившиеся в Лавр., несомненно были лучше осведомлены о межкняжеской борьбе после монгольского нашествия. Однако о целом ряде событий Лавр. умалчивает. При каких обстоятельствах умер Ярослав Всеволодович? Как лишился престола и кем был изгнан брат Ярослава Святослав? Каковы были отношения между сыновьями Ярослава Всеволодовича — Александром, Андреем и Ярославом? «Летописец вскоре» Никифора сообщает, что Святослава «прогна Андрей сын Ярославль», и указывает, что Андрей княжил «лет 5» и был «прогнан» татарским полководцем Неврюем. Поход Неврюя и изгнание им Андрея упоминается и в МАк. Лавр. вообще не упоминает поход Неврюя, а о поездке Александра в Орду и получении им великого княжения в 1252 г. хотя и сообщает перед известием о бегстве Андрея, но никак не связывает его с поездкой Александра. Не объяснена связь между нападением татар под Переяславлем на Андрея и пленением им жены Ярослава Ярославича, не указана причина бегства его из своей вотчины в Ладогу. Спорным остается известие Лавр. за 1258 г. о том, что новгородцы «чтиша» Александра и он «поеха» от них «с честью»; после этого известия под следующим годом повествуется о том, что Александр кланялся митрополиту Кириллу за то, что по его молитве он вернулся благополучно. МАк прямо утверждала, что в 1254 г. «князь Александр бежа из Новагорода», и это известие, не замеченное историками, заслуживает серьезного внимания. НСС частично восполнил пробелы в Лавр., упомянув насильственную смерть Ярослава Всеволодовича и изгнание Андреем Святослава Всеволодовича.

Но всех этих данных все же совершенно недостаточно для той апологетической характеристики Александра, которую мы обычно находим в трудах историков. Чем определялась политика митрополита Кирилла в событиях того времени? Ставленник Даниила Галицкого, повенчавший Андрея Ярославича с дочерью Даниила, он в 1250 г. переехал в «Суздальскую землю» и далее выступал как сподвижник Александра Невского. Как была организована ханская власть на Руси, какую роль в ней играли баскаческие отряды? А. Н. Насонов полагал, что баскаки должны были «держать в повиновении» коренное население, что в Северо-Восточной Руси была организована «военно-политическая баскаческая организация». Возражая А. Н. Насонову, В. В. Каргалов отрицал существование на Руси такой организации, полагая, что безопасность татарских баскаков и «послов» осуществлялась самими русскими князьями, «сильный великий князь Александр успешно справлялся с этой задачей».[71]

---

[71] *Насонов А. Н.* Монголы и Русь. С. 12—22; *Каргалов В. В.* Внешнеполитические факторы... С. 154—160.

Подводя итоги деятельности Александра Невского, Дж. Феннел спрашивал: «Какие выводы можно сделать из всего того, что мы знаем об Александре, его жизни и правлении? Был ли он великим героем, защитником русских границ от западной агрессии? ... Спасла ли проводимая им политика уступок Северную Русь от полного разорения татарами?» — и прибавлял: «Мы, конечно, никогда не узнаем истинных ответов на эти вопросы. Но те факты, которые можно выжать из коротких и часто вводящих в заблуждение суждений историков, даже из умолчаний „Жития", заставляют нас серьезно подумать, прежде чем ответить на любой из этих вопросов утвердительно». Дж. Феннел отмечал отсутствие достоверных свидетельств в пользу того, что «папство имело какие-то серьезные замыслы относительно православной церкви и что Александр сделал что-либо для защиты ее единства. На самом деле он и не думал порывать с католическим Западом даже после 1242 года».[72]

Обращение к наиболее ранним летописным источникам позволяет поставить под сомнение явно легендарные, основанные, вероятно, на фольклорной традиции рассказы (такие, например, как красочные подробности Невской битвы в Житии Александра) и сообщения более поздних источников. Лаконичные известия ранних источников дают основание предполагать, что политическая линия таких князей, как Андрей Ярославич и другие, представляла собой серьезную альтернативу политике Александра и что сопротивление ханской власти началось не в XIV, а уже в XIII в.

---

[72] *Fennel J. L. I.* The Crisis of Medieval Russia. P. 119—121 (рус. пер. — с. 162—163); Феннел ссылается на В. Т. Пашуто, но из приведенных последним примеров сношений Александра с Западом один во всяком случае вызывает сомнения: известие об ответе Александра папе в 1251 г. основывается на Н I мл. и., где оно восходит к Житию Александра и имеет явно легендарный характер (*Пашуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. С. 246, примеч. 10; ср.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 305). Остальные примеры не вызывают серьезных сомнений. Ср.: *Хёш Э.* Восточная политика Немецкого ордена в XIII в. С. 65—66.

Глава VI

БОРЬБА С ОРДОЙ И ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КОНЦА XIV в.: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Борьба с Золотой Ордой накануне и после Куликовской битвы нередко связывалась с церковно-политическими отношениями того времени. Чаще всего упоминалась роль Сергия Радонежского в этих событиях. Даже в 1925 г. П. Б. Струве, выступая в защиту одного из самых рьяных приверженцев «белой идеи» и «православного учения о мече во всей его силе и славе» — И. Ильина, призывал вспомнить (хотя бы по «учебнику Иловайского») о святом Сергии Радонежском, благословившем меч Дмитрия Донского.[1]

Однако, излагая историю конца XIV в., исследователи уделяли гораздо больше внимания известиям о начавшейся в конце XIV в. борьбе Московского княжества с Ордой (особенно Куликовской битве), нежели известиям о церковно-княжеских отношениях того времени. Уже А. А. Шахматов отметил, что наиболее ранний летописный рассказ о Куликовской битве содержался в Троицкой летописи, текст которой (сгоревший в 1812 г.) сохранился в Симеоновской летописи с 1177 г., а с 1365 г. в Рогожском летописце. Вывод А. А. Шахматова, поставленный под сомнение С. К. Шамбинаго,[2] был убедительно подтвержден

---

[1] *Ильин И. А.* О сопротивлении злу силою. Берлин, 1925. С. 230—266. 2-е изд. — Лондон; Канада, 1925; *Струве П. Б.* Дневник // Возрождение. 1925. 25 июня.

[2] *Шахматов А. А.* Общерусские летописные своды XIV и XV вв. // ЖМНП. 1901. № 11. С. 65; *Шамбинаго С. К.* Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906. С. 81—83; *Шахматов А. А.* Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго

М. А. Салминой. Генеалогия Повести о Куликовской битве, начиная с Тр. (свода 1408 г.), через Новгородско-Софийский свод, вплоть до летописей XVI в. — Никоновской летописи и Степенной книги, представлена в работе М. А. Салминой настолько убедительно, что едва ли она нуждается в существенной корректировке — последующие труды по истории летописания подтвердили ряд наблюдений исследовательницы, сделанных на материале летописной повести о Куликовской битве (соотношение Хронографа и Сокращенных сводов с летописанием XV в.).[3] Установлена М. А. Салминой и другими авторами также генеалогия летописного рассказа о Тохтамыше. Однако меньше внимания уделила М. А. Салмина эволюции содержания летописных рассказов о борьбе с Ордой; вопрос о связи этих рассказов с известиями о церковно-политических отношениях ею не ставился.

А между тем весь рассказ о событиях последних лет княжения Дмитрия Донского, начиная со смерти Ольгерда, битвы на Пьяне и смерти митрополита Алексия в 6885 (1377) г. и до смерти самого Дмитрия в 6897 (1389) г., обладает в Тр. (судя по Сим. и Рог.) рядом характерных общих черт.[4] Основное внимание летописец уделяет церковным делам, и в частности борьбе за престол митрополита всея Руси Киприана, еще в 6884 (1376) г. при жизни Алексия, «поставленного в митрополиты», т. е. очевидно претендовавшего на митрополию «всея Руси», и его соперника — ставленника Дмитрия Ивановича Михаила-Митяя. Истории Михаила-Митяя посвящена особая повесть под 6885 (1377) г., где рассказывается о поездке Митяя в Царьград для поставления митрополитом и о самовольной поездке его противника Дионисия Суздальского, о внезапной смерти Митяя и о поставлении митрополитом спутника Митяя Пимена, о непризнании этого поставления Дмитрием, о приглашении в Москву из Киева митрополита Киприана и, наконец, о заточении приехавшего на Русь Пимена. Завершается летописная повесть о Митяе концовкой «Аминь». Однако о

«Повести о Мамаевом побоище». СПб., 1906. СПб., 1910. С. 104, 124. (Отд. отт. из отчета о двенадцатом присуждении премий митрополита Макария).

[3] *Салмина М. А.* «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина» // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966. С. 344—384; Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 266—269; *Салмина М. А.* Повесть о нашествии Тохтамыша // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 136—148; *Гребенюк В. П.* Борьба с ордынскими завоевателями после Куликовской битвы и ее отражение в памятниках литературы первой пол. XV в. // Куликовская битва в литературе и искусстве. М., 1980. С. 52—62. Ср.: *Клосс Б. М.* О времени создания Русского Хронографа // ТОДРЛ. Л., 1971. Т. 26. С. 244—255; *Творогов О. В.* Древнерусские Хронографы. Л., 1975. С. 40—41.

[4] ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18. С. 118—140; Пг., 1922. 2-е изд. Т. 15, вып. 1. Стб. 116—158.

поездке в Царьград Митяя и его противника Дионисия и о внезапной смерти Митяя рассказывается в Тр. еще раз под 6887 (1379) г., а о приезде в Москву Киприана и непризнании Пимена — после рассказа о Куликовской битве в конце 6888 (1381) г. Следовательно, Повесть о Митяе представляет собой отдельный памятник в летописном своде, охватывающий 1377—1381 гг., причем автор этой повести, в отличие от составителя летописного текста, даже не счел нужным упомянуть о произошедшей по возвращении Киприана в Москву Куликовской битве. Связь этой повести и всего летописного текста 1377—1379 гг. с митрополитом Киприаном, деятельности которого протограф Тр.—Сим.—Рог. горячо сочувствует, несомненна. Связь эта выразилась и в дальнейшем тексте: в отличие от более поздних летописей, Тр. не сообщает об изгнании Киприана Дмитрием в 6890 (1382) г. после бегства митрополита из Москвы во время нашествия Тохтамыша, ограничившись деликатным сообщением, что «тое же осени Киприан митрополит съеха из Москвы в Кыев», а Дмитрий восстановил на митрополичьем престоле Пимена. Под 6891 (1383) г. сообщается, что Дмитрий отправил Дионисия Суздальского вместе с Феодором Симоновским в Царьград «об управлении митрополии Русския». В 6892 (1384) г. Дионисий приехал из Царьграда в Киев, «его же поставиша во Царегороде митрополитом на Руси, и помышляше от Киева ити на Москву, хотя быть митрополитом на Руси». Митрополитом в Киеве был в это время изгнанный из Москвы Киприан, и киевский князь Владимир Ольгердович (сын покровительствовавшего Киприану Ольгерда) «изъима» Дионисия, «глаголя ему: „пошел еси на митрополью во Царьгород без нашего повеленья“». Под 6893 (1385) г. говорится о поездке Пимена в Царьгород и о смерти в Киеве архиепископа Дионисия, а под 6896 (1388) г. утверждается, что Пимен поехал в Царьград «князя великаго утаився... И про то князь великий разгневася, и не любо ему бысть»; во время этой поездки в Царьград (третьей по счету) Пимен «преставися». И наконец, сообщив под 6897 (1389) г. о смерти Дмитрия Донского, Тр. под 6898 (1390) г. помещает торжественное сообщение о возвращении Киприана в Москву: «князь же великий Василей Дмитриевич срете его со своею матерью с княгинею великою, и с братьею и з бояры... и приат с великою честию».

Что же сообщает Тр. (и сходные с нею Рог. и Сим.) о двух наиболее важных для историка событиях тех лет — о Куликовской битве 1380 г. и нашествии Тохтамыша в 1382 г.? Чрезвычайно мало. Куликовской битве (хотя она и названа «великим побоищем») посвящено всего полторы страницы. Упоминают-

ся воины, погибшие в сражении, — «князь Федор Романович Белозерский, сын его Иван Федоровичь, Семен Михаиловичь, Микула Васильевичь, Михайло Ивановичь, Акинфовичь, Андрей Серкизов, Тимофей Волуй, Михайло Бренков, Лев Морозов, Семен Мелик, Александр Пересвет и инии мнози». Особое место уделено трофеям: «И мнози вои его възрадовашася, яко обретающи корысть много: погна бо с собою многа стада, кони и вельблуды, и волы, им же несть числа, и доспехы и порты и товар». Никак не упоминается, в отличие от позднего летописания, роль святого Сергия в этих событиях — это особо должно быть отмечено потому, что Сергий принадлежит к числу любимых персонажей Тр. А. Н. Насонов полагал даже, что если Тр. и не была составлена в самом Троице-Сергиевом монастыре, то включала в свой состав особый летописец, посвященный Сергию и удельному князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому, во владениях и под покровительством которого был основан в Радонеже Сергиев монастырь.[5] В Тр. рассказывается о создании монастыря в Радонеже в 6882 (1374) г., о болезни Сергия в 6883 (1375) г., о его ручательстве за Дионисия, который «поручника свята выдал», о поставлении им монастыря на Дубенке в 6887 (1379) г., о посредничестве в московско-рязанском конфликте в 6893 (1385) г.; отмечена смерть одного из его учеников в 6895 (1387) г., присутствие Сергия на похоронах Дмитрия Донского в 6887 (1389) г. Сообщив о смерти Сергия в 6900 (1392) г., Тр. привела похвалу ему, в которой, по словам Карамзина, не было «ничего исторического; один набор слов, иногда забавный»,[6] — в Рог. и Сим. она не сохранилась. Среди воинов, погибших в битве, упоминается Александр Пересвет, но, очевидно, он не был иноком и не имел отношения к св. Сергию.

Довольно краток в Тр.—Рог.—Сим. и рассказ о нашествии Тохтамыша. Сообщается, что поход Тохтамыша был внезапным («изгоном») и что князь Олег Рязанский «обведе царя около всей своей отчины». Дмитрий «то слышав, что сам царь идеть на него со всей силою своею, не ста на бой, ни против его подня руки, противу царя Тохтамышя, но поеха в свой град на Кострому». Тохтамыш «прииде к граду Москве месяца августа в 23 день в понедельник»; защищал Москву «князь Остей, внук Ольгердов с множеством народа». «Царь же стоя у города 3 дни, а на 4 день оболга Остея лживыми речми и миром лживым и вызва его из города и уби его перед спы града,

---

[5] См.: *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. М., 1969. С. 368—369.

[6] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1993. Т. 5. Примеч. 254 (С. 316).

а ратем своим град весь с все страны, а по лествицам възлезшим им на город на забороны и тако взяша град месяца августа в 26 день...». Далее описывается разорение церквей и гибель книг, убийство священников — «архимандрита Спасского Симеона, архимандрита Иакова и игумена Акинфа Крилова». Описание разграбления города написано в духе свойственного литературной школе Киприана «плетения словес»: «И бяше в граде видети тогда плачь и рыдание и вопль мног, слезы, крик, сетование, охание, печаль горкая, скорбь, беда, нужа, горесть смертная, страх, трепет, ужас, дряхлование, ищезновение, роптание, безчестие, поругание, понос, смехание врагом и укор, студ, срамота, поношение, уничижение». Далее рассказывается о разграблении соседних земель и городов и уходе Тохтамыша, опасавшегося прихода Дмитрия из Костромы и Владимира Андреевича из Волока, о разорении Рязанской земли. О Киприане сообщается только то, что он был в Твери, откуда Дмитрий пригласил его, вернувшись в Москву, прибыть в столицу, и лишь после этого читается упомянутое выше сообщение, что митрополит «съеха из Москвы в Кыев».

Этикетный характер ряда сообщений Тр.—Рог.—Сим. о Куликовской битве и нашествии Тохтамыша был отмечен М. А. Салминой. Этикетной была формула «брань крепка зело и сеча зла», читающаяся в Тр. под 6873 (1365) г. и 6885 (1377) г. и в рассказе о Куликовской битве. Описание осады Москвы Тохтамышем и защиты Остеем дословно совпадает с описанием осады ее Ольгердом и разграбления им соседних земель в 6876 (1368) г.; отказ Дмитрия «стать на бой» и «поднять руки» против «царя Тохтамышя» совпадает с аналогичной формулой в описании поведения князя трубчевского во время нашествия Дмитрия Донского на его княжество в 6887 (1379) г.: князь трубчевский «не ста на бой, не подня рукы против великого князя». Очевидно, весь рассказ о Куликовской битве и о нашествии Тохтамыша принадлежал составителю свода, лежащего в основе Тр.—Рог.—Сим.[7]

Текст известий Тр. (Рог.—Сим.) о последних годах жизни Дмитрия Донского был с сокращениями воспроизведен ростовским сводом 1419 г., читающимся в МАк. Рассказ о Куликовской битве в 6888 г. здесь явно излагает текст Тр., названы точно те же имена погибших; на основе рассказа Тр. построено и сообщение о нашествии Тохтамыша 6890 г. («не ста на бой противу его, не подня руки на царя»). Однако перипетии

---

[7] *Салмина М. А.* 1) «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». С. 361; 2) Повесть о нашествии Тохтамыша. С. 187.

борьбы за митрополичий престол явно не интересовали летописца; ни Митяй, ни Пимен, ни Дионисий здесь не упоминаются; о Киприане сообщается, что он в 6889 г. был принят «с честью» Дмитрием Ивановичем, но об изгнании его после нашествия Тохтамыша в 6891 г. сказано прямо и откровенно: «Князь великый Дмитрий Ивановичь выгна Киприяна митрополита и бысть оттоле мятеж в митрополии»; после смерти Дмитрия в 6897 г. Киприан вернулся «и преста мятежь в митрополии и бысть едина митрополья Кыев и Галич и всея Руси».[8]

Еще короче изложение событий конца XIV в. в Псковских летописях. Куликовская битва упоминается «как похваление поганых татар на землю Рускую», в котором «пособи Бог великому князю»; в Псковской 1-й и Псковской 3-й побоище отнесено к 6886 (1378) г., но без указания места сражения, в Псковской 2-й — дата правильная (6888 г.), сражение происходит «за Доном», но никаких подробностей не приводится. Нашествие Тохтамыша («Тартаныша») в 6890 г. упоминается только в Псковской 2-й летописи.[9]

Рассказ о борьбе с Ордой и церковно-политических отношениях был, как и в других случаях, радикально переработан в источнике CI и сходных летописей (Н I мл. и., НК, НIV, Новгородской Хронографической) — в Новгородско-Софийском своде.[10] Прежде всего здесь изменилось соотношение двух тем — борьбы с татарами и церковных дел. Киприан упоминался в первый раз под 6884 (1376) г., но как митрополит, приезжавший в Новгород, претендовавший «на всю Рускую землю» и встретивший отпор новгородцев; новгородский архиепископ и новгородцы «ответ даша»: «Шли к великому князю на Москву; аже тя приимет... митрополитом на Русь, то и нам еси митрополит»; Киприан не решился послать «на Москву к князю великому» (CI, Н I, НХ; в НК—Н IV нет). Борьба за митрополичий престол после смерти Алексия здесь не упоминается; истории Михаила-Митяя совсем нет. Зато Куликовской битве посвящена Пространная повесть, во много раз расширяющая Краткую повесть в Тр. Соотношение между этими двумя повестями было убедительно разобрано М. А. Салминой: Пространная повесть НСС несомненно возникла путем расширения текста Краткой повести Тр. Наиболее убедительно вторичность Пространной повести доказывает-

---

[8] Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 508—509.

[9] Псковские летописи / Приготовил к печати А. Н. Насонов. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. 24; М., 1955. Вып. 2. С. 29.

[10] ПСРЛ. СПб., 1851. Т. 5. С. 235—244; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 374—384; ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 72—97; Пг., 1915—Л., 1925. 2-е изд. Т. 4, ч. 1. С. 305—368.

ся дублировкой в ней известия об измене Олега Рязанского, пришедшего на помощь Мамаю. В Краткой повести Дмитрий только после Куликовской битвы узнавал, что «Олег Рязаньский послал Мамаю на помощь свою силу» и тогда «посади свои наместницы» в Рязанском княжестве. Этот текст есть и в Пространной редакции, но там он противоречит тому, что коварства «лукавого Олга» Дмитрий знает еще до битвы и проклинает «нового Иуду предателя», поэтому сообщать ему после битвы об измене Олега не было надобности. Нового фактического материала в НСС было довольно мало: значительное расширение рассказа было достигнуто главным образом за счет этикетных формул, заимствований из Жития Александра Невского (помощь Бориса, Глеба и других святых) и др. Но встречаются и фактические дополнения. Например, поход Мамая направлен здесь не только против Дмитрия, но и «на брата его Владимира Андреевича». Именно в Пространной повести НСС появилась широко использованная в последующей редакции версия о получении Дмитрием благословения — «грамота от преподобного игумена Сергиа»; этим, однако, помощь Сергия и ограничивается. Вообще сведений о Сергии в НСС оказывается значительно меньше, чем в Тр.; почти ни одного из перечисленных выше известий о нем в НСС нет; но есть одно неожиданное, хотя и приобретшее широкую популярность у историков известие: в 6873 (1365) г. возник конфликт между московским и суздальским князем: «Тогды прииде от великого князя Дмитрия Ивановича игумен Сергий», призывая суздальского князя в Москву, «он же не поеха; и игумен же Сергий затвори церкви». В Тр. этого в высшей степени странного (Сергий в 1365 г. еще не был игуменом, но даже в этом качестве не имел права налагать интердикт) эпизода нет; интердикт («они же церкви затвориша») в 6876 (1363) г. на Суздальскую землю в Тр. налагал митрополит Алексий через своих представителей архимандрита Павла и игумена Герасима. Отметим, что Пересвет, которого более поздняя традиция объявляла иноком, посланным Сергием, в списке убитых Пространной редакции, как и в Краткой редакции Повести, еще не именуется иноком; о нем сказано только, что он — «бывшей прежде болярин бряньский».

Среди соратников Дмитрия Донского упоминаются перешедшие на московскую службу сыновья Ольгерда — Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. В Тр. они не фигурировали как участники Куликовской битвы, но сообщалось, что в 6887 г., за год до битвы, Дмитрий Брянский «не поднял рукы против великого князя» и бил ему челом. К списку убитых добавлены также «Дмитрий Мининич» (Минич), Дмитрий Монастырев и Федор Тарусский, но первый из них пал в битве с

Ольгердом в 1368 г., а второй — в битве на Воже в 1378 г. Что касается Дмитрия Монастырева, то единственный князь с этим именем, известный источникам, был убит в битве под Белевом в 1437 г.[11]

Изложение НСС не обнаруживает специфической тенденциозности, присущей летописанию Киприана. Заканчивается изложение в 6888 г. не приглашением Киприана в Москву, а назначением его соперника Пимена («Пумина»), вопреки рассказу Тр., будто Дмитрий в 6888 г. «не приа» Пимена, «сняша с него белый клобучек». Киприан в тексте НСС появляется в Москве не совсем понятным образом уже во время нашествия Тохтамыша после того, как Дмитрий уехал в Переяславль.

Повесть о нашествии Тохтамыша в НСС, как и повесть о Куликовской битве, основана на расширенном и переработанном тексте Тр. (Рог.—Сим.). Но, в отличие от Пространной повести о Куликовской битве, дополнения здесь носят не столько этикетный, сколько конкретно-фактический характер. Подробно описана роль Олега Рязанского, рассказавшего Тохтамышу, «как пленити землю Рускую, как без труда взять каменный град Москву». Отказ Дмитрия от сопротивления Тохтамышу объясняется «разностью в князьях», отсутствием между ними «единичества»; из-за этого он «убояся стати в лице противу самого царя». Отношение летописца к горожанам, оборонявшим город в отсутствие князя, противоречиво. С одной стороны, он описывает геройство москвичей, упоминает подвиг «гражданина москвитина суконника, именем Адама», который, увидев с городской стены «единого татарина нарочита и славна, юже бе сын некого князя ординьского», выстрелом из самострела «уязви в сердце его гневливое». Однако рассказ отнюдь не отражает настроения московских купцов и ремесленников; напротив, летописец именует горожан, «вставших вечем», «мятежниками» и «крамольниками»; он осуждает их за то, что они не выпускали из города тех людей, которые «бежати помышляху», а желающих выйти грабили, не постыдившись «нарочитых бояр» и «самого митрофолита».

Вторичность повести о Тохтамыше в НСС обнаруживается из дублировки в нем известия о гибели главного защитника

---

[11] М. А. Салмина справедливо указала, что утверждения С. Н. Азбелева и И. Б. Грекова (*Азбелев С. Н.* Повесть о Куликовской битве в Новгородской летописи Дубровского // Летописи и хроники: Сб. М., 1974. С. 172; *Греков И. Б.* Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975. С. 444—447), будто никакой ошибки в Пространной летописной повести о Куликовской битве не было и Федор Тарусский был «реальной исторической личностью 70-х годов XIV в.», основаны на недоразумениях (*Салмина М. А.* Еще раз о датировке «Летописной повести» о Куликовской битве // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 23—24, 37—38).

города князя Остея (одно из двух сообщений воспроизводит версию Тр. и сходных летописей). Дважды рассказано об измене Олега Рязанского. Но помимо этого в повести НСС о Тохтамыше существенно изменена роль суздальских князей — в Тр. говорилось только, что дети великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского были взяты ханом в Орду; в НСС эти суздальские князья оказываются едва ли не главными виновниками захвата Москвы: они уговорили москвичей открыть Тохтамышу городские ворота и выйти с «дары» к «царю», который «не на вас воюа прииде, но на Дмитрия ратуя, а вам даровать хочет мир и любовь свою»: «Имете веру намь, мы есме ваши князи хрестьянстии, вам в том правду даем». Сомнительность этого рассказа доказывается тем, что далее, после окончания повести о Тохтамыше, повествуется о наказании Дмитрием Олега Рязанского за его предательство и нет ни слова о каких-либо действиях Дмитрия против суздальских князей. По вероятному предположению М. А. Салминой, тема предательства суздальских князей возникла позже, в середине века, когда суздальские князья действительно поддержали врага московского великого князя Василия II Дмитрия Шемяку в его борьбе за престол.[12]

Как же складывались в это время церковно-княжеские отношения? Двусмысленность при изложении этой темы в Тр. (Чем объясняется признание Киприана Дмитрием после Куликовской битвы? Почему он «съеха из Москвы» в Киев в 1382 г.?) не разрешается и рассказом НСС; из этого рассказа вообще нельзя понять, почему в Москве, где после Куликовской битвы митрополитом был Пимен, оказался Киприан, к которому, очевидно, относятся слова о «крамольниках», «не постыдившихся» «самого митрополита», грабя уезжающих из города; почему, вернувшись из Твери, где он «избывал» «ратное нахождение», Киприан исчезает со страниц НСС вплоть до 6894 (1386) г., когда неожиданно (и без всякого объяснения) «прииде на митрополию Киприан на Русь» (о какой Руси идет речь, неясно — в Западной Руси Киприан, согласно Тр., был митрополитом непрерывно с 1376 г.; о его возвращении в Московскую Русь после 1382 г. и до 1390 г. ничего не сообщалось). Пребывание Пимена на митрополичьем престоле в 6890—6896 гг. засвидетельствовано и в Тр.; в НСС оно охватывает еще более широкий период: с 6888 г. (Куликовская битва) по 6898 г., причем о его последней поездке в Царьград рассказано уже после статьи «О житии и преставлении Дмитрия Ивановича», а о смерти на обратном пути из Киева и о возвращении Киприана в Москву после смерти Пимена («Пре-

[12] *Салмина М. А.* Повесть о нашествии Тохтамыша. С. 147—151.

ставися Пимен митрополит в Киеве, а Киприан митрополит прииде изо Царяграда митрополитом на Русь») — и уже после вокняжения Василия Дмитриевича. Фигурирует в НСС и еще один, наиболее загадочный из митрополитов XIV в. — Дионисий. В Повести о Митяе в Тр. он упоминался как противник Митяя, но далее выступал как независимый и, скорее, враждебный Киприану церковный деятель. О его приезде и назначении в Царьграде митрополитом в 6893 г., заточении в Киеве и смерти в 6894 г. сообщается в НСС так же, как в Тр. Но под 6890 г. после рассказа о нашествии Тохтамыша, в Н IV и НХ (НК, СІ нет) сообщается о приезде Дионисия Суздальского в Новгород для обличения «злых человек» (стригольников?). Известие это читается и в Н I мл. и., как и известие о неудачном приезде Киприана в Новгород в 6884 г., — возможно, что общие известия восходят к новгородскому источнику НСС, но разграничить известия этого источника и известия самого НСС затруднительно, ибо Н I мл. и., как мы уже знаем из предыдущих глав, в ряде случаев сама зависит от НСС (к НСС восходит, очевидно, в сокращенном виде известие Н I мл. и. о Куликовской битве и о нашествии Тохтамыша).

НСС, как мы знаем, стал впоследствии основой всего последующего летописания. В частности, рассказы НСС о борьбе с Ордой и церковно-княжеских отношениях в конце XIV в. были воспроизведены двумя летописями, отражающими великокняжеское летописание начала 70-х гг. XV в. — Никаноровской и Вологодско-Пермской.[13] Через НIV текст НСС оказал влияние на Владимирский летописец XVI в., хотя в этом кратком летописце отразилось и влияние летописи конца XIV—XV в. типа Тр.[14] Но уже общий протограф Московского свода и Ермолинской летописи, который мы условно именуем Московско-Софийским сводом, сделал попытку соединить версии Киприановского летописания (Тр., Рог., Сим.) с НСС. Из НСС здесь было заимствовано известие о неудачном приезде Киприана в Новгород в 6884 г., из Киприановского свода — Повесть о Михаиле-Митяе с некоторыми изменениями по сравнению с Тр.,[15]

---

[13] ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 27. С. 70—87; М.; Л., 1959. Т. 26. С. 123—163, 356.

[14] ПСРЛ. М., 1965. Т. 30. С. 124—128 (из летописи типа Тр. была заимствована, очевидно, Повесть о Митяе. Некоторые известия — поставление епископов Киприаном в 6891 г. и Пименом в 6899 г. были явным следствием путаницы.

[15] Ср.: *Прохоров Г. М.* Летописная повесть о Митяе // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 242—245. Г. М. Прохоров отметил, что некоторые чтения «Повести о Митяе» в Ерм. читаются ближе к Тр., чем в Моск. Это, очевидно, объясняется тем, что текст МСС в данном случае был точнее передан в Ерм. В Уваровской и Львовской (ПСРЛ, СПб., 1910. Т. 20, перв. пол., ч. 1. С. 197—210) летописях совпадает с Ерм. не только «Повесть о Митяе», но и весь рассказ 1375—1389 гг.

но с тем же объединением хронологии 1377—1381 гг. в единой годовой статье 6885 г.; под 6887 г. о поездке Митяя и Дионисия в Царьград упомянуто кратко — с прямой ссылкой на изложенное «в лето 85». Повесть «О Донском побоище» была в МСС Пространной, т. е. восходила к НСС, включая упоминание о грамоте св. Сергия и дополненный список убитых; однако в начале повести говорилось, что Мамай пошел «на великаго князя Дмитрея Ивановича»; упоминание «брата его Владимира Андреевича» было опущено. Из НСС заимствовано было в МСС известие о поставлении митрополита Пимена после Куликовской битвы, хотя вслед за ним была помещена фраза из Тр.: «Тое же зимы посла князь великы по Кыприяна митрополита в Киев» и следующая за ней начальная фраза: «прииде из Царяграда на Русь пресвященный Киприан». Из Тр. взято и следующее за этими словами явно противоречившее им известие: «...прииде Пимен из Царьграда и послан был в заключение на Чюхлому» (в Ерм. — короче). Рассказ 6890 г. о походе Тохтамыша подвергся в СС некоторым изменениям. Была опущена нелестная для Дмитрия Донского фраза о том, что он «убояся стати» против царя. Слова о «мятежниках» и «крамольниках» отнесены здесь не к горожанам, удерживавшим митрополита и бояр от бегства, а к тем, «иже хотяху изыти из града»; однако далее защитники города обвинялись в пьянстве и «безстудном поведении» по отношению к осаждающим татарам (так в Моск.; в Ерм. — нет). Как и в НСС, падение города связывается с предательской ролью суздальских князей. К известию о возвращении Киприана из Твери добавлено объяснение того, почему на него «разгнева бо ся» Дмитрий: «того ради, яко не седел в осаде в Москве, и посла по Пимина митрополита и приведе его из заточенья на Москву и прият его с честью и любовью на Русскую землю». Известия НСС о приезде Киприана в 6894 г. здесь не было; под 6897 (после статьи «О житии и преставлении Дмитрия Ивановича») сообщалось о смерти Пимена, а под 6898 г. (в развернутой форме, как в Тр.) — о приезде Киприана.

Дальнейшая судьба летописных известий о борьбе с Ордой и церковно-княжеских отношениях в разбираемый период была аналогична судьбе других летописных рассказов. Все они так или иначе отражали киприановскую летописную версию этих событий в переработке НСС (пространные повести о Куликовской битве и нашествии Тохтамыша) и МСС (включение «Повести о Митяе»). Ерм., как мы уже знаем, передавала версию МСС с некоторыми сокращениями: было опущено большинство молитв и речей, произносимых князем, риторические распространения и украшения, в результате пропуска отпала дублировка рассказа о гибели Остея. Это побуждало некоторых исследо-

вателей (М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин) рассматривать именно текст Ерм. (и близкой к ней Львовской летописи) как ранний и наиболее достоверный рассказ о событиях конца XIV в.[16] Однако это неверно. Уже А. А. Шахматов показал, что рассказ Ерм. о Куликовской битве — сокращение Пространной повести; наблюдения А. Н. Насонова доказали вторичность текста Ерм. (вплоть до второго десятилетия XV в.) по отношению к общему источнику с Моск. — МСС.[17] Вторичность рассказа Ерм. о Тохтамыше обнаруживается из читающегося здесь объяснения трудности обороны Москвы тем, что «еще бо граду тогда ниску сущу», что свидетельствует о том, что интерполятор мог писать уже тогда, когда стены «града» (Кремля) были надстроены — в 80-х гг. XV в. (Антоном Фрязином).[18] Сокращенный вариант повестей о Куликовской битве и о Тохтамыше, сходный с Ерм., читается и в «Летописце от 72-х язык» (Лихачевский, Прилуцкий и Уваровский виды).[19] Известия МСС (Моск.) были воспроизведены и в Воскр.[20]

Новые темы, связанные с событиями конца XIV в., проникают в летописание через столетие после этих событий. Эти изменения были связаны с влиянием на летописное изложение нескольких внелетописных памятников — Жития св. Сергия, «Задонщины» и Сказания о Мамаевом побоище.

Наиболее скромным было влияние Жития Сергия, составленного Епифанием Премудрым в 1417—1418 гг., но дошедшего до нас в переработке Пахомия Логофета середины XV в. Как и в НСС, участие Сергия в «дивной» победе над Мамаем ограничивается благословением Дмитрия «противу безбожных». Повествуется здесь также об обете Дмитрия в случае победы поставить «монастырь во имя пречистые Богоматере» и об исполнении этого обета построением монастыря на Дубенке.[21]

Влияние «Задонщины» на летописание также было невелико. Своеобразное поэтическое произведение, сходное со «Словом о полку Игореве», «Задонщина» воспевала Куликовскую битву, но очень мало сообщала о ней. Первоначальный текст

---

[16] *Тихомиров М. Н.* Куликовская битва 1380 г. // Повести о Куликовской битве / Изд. подготовили М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М., 1959. С. 345; *Черепнин Л. В.* Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., 1960. С. 596—597.

[17] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 260—274.

[18] *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976. С. 175—176.

[19] ПСРЛ. М.; Л., 1963. Т. 28. С. 78—86, 241—250.

[20] ПСРЛ. СПб., 1859. Т. 8. С. 25—60.

[21] Памятники литературы Древней Руси: XIV—середина XV в. М., 1981. С. 386—388.

памятника до нас не дошел: сохранилась лишь краткая редакция в сборнике кирилло-белозерского книгописца Ефросина, датируемом сентябрем 6988 (1479) г., и пространная в списках XVI—XVII вв.[22] Отличается «Задонщина» от летописных рассказов прежде всего тем, что в ней действует «Пересветчернець», брат его «Ослебя», а среди убитых — сын Ослеби «Иаков Ослебятин». Правда, они никак не связываются здесь с Сергием, но все же принадлежат (это относится во всяком случае к Пересвету) к инокам. В «Задонщине» Пространной редакции дважды упоминается среди воевод в Куликовской битве «Дмитрей Волынский» — в краткой редакции «Задонщины» о нем ничего не говорится; в летописи «Дмитрий Волынский, воевода Московский» упоминается только как участник войны с Рязанью в 6879 (1371) г., с болгарами в 6884 (1376) г. и с Литвой в 6887 (1379) г. Наблюдаются и прямые совпадения с Краткой летописной повестью — победители становятся «на костех» врагов, перечисляются трофеи — «доспехи и кони и волы и велоблуды». М. А. Салмина усмотрела в «Задонщине» также сходные тексты с Пространной повестью о Куликовской битве (НСС) — употребление слова «туга» (печаль), оборот «плачющася, чядь своя поминають», огорчение родителей, породивших своих детей на смерть.[23] Среди известных нам летописей одна группа обнаруживает некоторые совпадения с «Задонщиной». Это — Сокращенные своды конца XV в. и зависимый от них Хронограф. В них упоминается не только Пересвет, но и «чернец Ослебя».[24]

---

[22] «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 548—550 (Кирилло-белозерский список), 536—548, 550—556 (остальные списки). История текста «Задонщины» и взаимоотношений ее редакций со Сказанием о Мамаевом побоище в настоящей работе не разбирается — предметом рассмотрения служат лишь известия по истории Куликовской битвы, содержащиеся в этом памятнике, и их соотношение с летописными известиями. Для такой постановки темы необходимо учитывать различия между краткой редакцией «Задонщины», дошедшей в списке 1479 г., и списками ее пространной редакции (существование краткой редакции «Задонщины» признают авторы, по-разному представляющие историю ее текста; ср.: *Зимин А. А.* Введение // Задонщина. Древнерусская песня-повесть о Куликовской битве. Тула, 1980. С. 15—16; *Лихачев Д. С.* Взаимоотношение списков и редакций «Задонщины» (Исследование Анджело Данти) // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 170—174; *Данти А.* О «Задонщине» и о филологии. Ответ Д. С. Лихачеву // Источниковедение литературы Древней Руси. Л.. 1980. С. 74—76).

[23] *Салмина М. А.* «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». С. 376—383.

[24] ПСРЛ. Т. 27. С. 248—257, 331—334 (тексты различных видов Сокращенных сводов не совпадают); СПб., 1911. Т. 22, ч. 1. С. 414—417. Ср.: *Салмина М. А.* «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». С. 351—352.

Какой же из памятников в данном случае оказал влияние на другие: летопись или «Задонщина»? Решение этого вопроса в историографии предопределялось представлением о «Задонщине» как о памятнике, близком по времени к описанным событиям — до 90-х гг. XIV в. М. Н. Тихомиров обосновывал эту датировку словами «Задонщины», что слава Куликовской победы «шибла... к Арночи (Ворнавичам)... и к Торнаву», между тем как «Орнач» (Ургенч) был разрушен Тимуром в 1387—1388 гг., а «Торнав» (Тырнов) захвачен в 1393 г. турками.[25] Однако даже если автор «Задонщины» знал о разрушении этих городов в последующие годы, он, описывая события 1380 г., мог упомянуть о них как о существовавших. «Конечно, если бы произведение писалось значительно позже этой даты — в середине или второй половине XV в., то автор, подходя к данному вопросу исторически, вполне мог назвать этот город... — согласился Л. А. Дмитриев. — Каждый из перечисленных доводов сам по себе не может служить достаточно веским аргументом в пользу датировки „Задонщины“ 80-ми гг. XIV столетия, но в совокупности все эти показатели дают основание считать, что она была написана до 90-х гг. XIV в.»,[26] — писал ученый. Эта аргументация представляется сомнительной: в данном случае речь идет не о сочетании гипотез, каждая из которых имеет эмпирическое обоснование, а о сумме догадок, сомнительных сами по себе.

У нас нет достаточных оснований для того, чтобы датировать «Задонщину» временем, близким к 1380 г., и для того, чтобы определить отношение «Задонщины» к летописной Повести о Куликовской битве. Более вероятным представляется, что формула «на костех» и перечисление трофеев были заимствованы «Задонщиной» из летописей; откуда проникло упоминание Осляби — из «Задонщины» в Сокращенные своды или из некой устной традиции в оба памятника, неизвестно. Заметим, что в Сокращенных сводах читалось также известие, отсутствовавшее во всей летописной традиции после МСС, — о приезде Киприана в 6894 г. в Москву.

Глубокое влияние оказал на летописание XVI в. третий памятник — Сказание о Мамаевом побоище.[27] Само Сказание дошло до нас в поздних списках — XVI, XVII и последующих веков. Наиболее ранней его редакцией была, как доказал Л. А. Дмитриев, Отдельная редакция, где союзником Мамая

---

[25] *Тихомиров М. Н.* Древняя Москва (XII—XV вв.). М., 1947. С. 202—203.

[26] *Дмитриев Л. А.* Литературная история памятников Куликовского цикла // Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подготовили Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева. Л., 1982. С. 309—310.

[27] Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. С. 25—127.

выступил не Ягайло, как это было в действительности, а его отец Ольгерд, умерший еще в 1377 г. Наличие в наиболее ранней редакции Сказания такого анахронизма, так же как упоминание в ней Киприана, якобы находившегося перед Куликовской битвой в Москве и благословившего Дмитрия,[28] свидетельствует о позднем происхождении источника. Л. А. Дмитриев, правда, склонен был датировать его первой четвертью XV в. Но в первой четверти XV в. Ягайло был еще жив и обстоятельства приезда Киприана также были еще на памяти (он умер лишь в 1434 г.). Можно ли было вопреки летописям (например, своду 1408 г., отразившемуся в Тр.) так резко искажать известные тексты? Ряд исследователей предложил более позднюю датировку Сказания о Мамаевом побоище. В. А. Кучкин отметил явно анахронистические черты Сказания — в частности, включение в число участников битвы князей Андомских (Андожских), а также упоминание Константино-Еленовских ворот Кремля, получивших это название лишь в 1491 г. Он пришел к выводу, что Сказание было составлено не ранее 80—90-х гг. XV в.[29]

Когда текст Сказания был включен в летописи? Наиболее ранним летописным памятником, куда был включен текст Сказания, считается Лондонский список (Mus. Britannicum, MS Cotton Vitel. F. X) Вологодско-Пермской летописи, представляющий собой первую редакцию этой летописи, доведенную до 1500 г. Но Сказание о Мамаевом побоище читается в этом списке не в самом тексте летописи — там помещена как раз Пространная повесть о Куликовской битве из НСС, а в другой части рукописи, в ее втором томе. Вся же рукопись Cotton MS Vitel. F.X относится не к началу XVI в., а ко второй его половине. Даже и во второй редакции ВП, составленной в 20-х гг. XVI в. (Академический список — БАН, 16.8.15) нет Сказания о Мамаевом побоище — там читается все та же Пространная повесть из НСС. Только третья редакция ВП, представленная несколькими списками середины и второй половины XVI в., включила в основной текст вместо Простран-

---

[28] Там же. С. 28, 52. Здесь же отмечено, что Елена, жена Владимира Андреевича, ошибочно именуется Марьей (см. с. 397). Анахронистичным было также упоминание о том, что великий князь, отправляясь на битву с Мамаем, молился перед иконой Владимирской богоматери, которая, по летописным данным, была перенесена из Владимира в Москву лишь в 1395 г. (Сказания и повести о Куликовской битве. С. 32; ср. с. 238).

[29] *Дмитриев Л. А.* О датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. М.; Л., 1954. Т. 10. С. 185—199; ср.: Сказания и повести о Куликовской битве. С. 337—338; *Кучкин В. А.* Победа на Куликовом поле // ВИ. 1980. № 8. С. 7.

ной повести Сказание о Мамаевом побоище в одной из его поздних редакций.[30]

Первой по времени летописью, опиравшейся на Сказание о Мамаевом побоище, была Никоновская летопись, составленная в 30-е гг. XVI в.[31] Основными источниками Ник. за 1377—1389 гг. была Сим., передающая в этой части, как мы уже указывали, текст Тр., а также НСС (HV), МСС и Сказания о Мамаевом побоище — в Ник. помещена особая (Киприановская) редакция Сказания. К Сим. в основном восходила в Ник. Повесть о Митяе 6886 г., но с существенными изменениями и дополнениями. Так, значительно расширена характеристика Митяя, дополнено упоминание о его репрессивной деятельности: «епископи же, и архимандриты, и игумены, и священницы воздыхаху от него, многых бо и в веригы железныа сажаше, и наказываше и смиряше их...». На основе Жития Сергия дополнено сообщение о враждебности Сергия Митяю: «негодоваше... и на преподобного игумена Сергия». Смерть Митяя во время путешествия получила в Ник. объяснение: «Инии глаголаху о Митяи, яко задушиша его; инии же глаголаху, яко морьскою водою умориша его, понеже епископи вси, и архимандриты, и игумены, и священницы, и иноци, и вси бояре и людие не хотяху Митяа видети в митрополитех...». Но, пожалуй, наиболее важным изменением в Ник. было изменение даты приезда Киприана в Москву после смерти Митяя. Уже в Тр. хронология событий за 1377—1381 гг. была довольно запутанна, так как события после смерти Митяя излагались в пределах одной статьи 6885 г. и фраза «прииде пресвещенный Киприан митрополит ис Киева на Москву, на свою митрополию, в четверток 6 неделе по Пасце в самый праздник Вознесения Господня...» не имела годовой даты, однако в тексте Тр., как и Сим.—Рог., дата эта уточнялась далее, под 1381 г.: «В лето 6889 в четверг 6 недели по велице дни на праздник Възнесения Господня прииде из Царегорода на Русь пресвещенный Киприан митрополит на свою митрополию ис Кыева на Москву». В Ник. известие о Киприане в заключительной части повести о Киприане было дополнено отсутствующей в более ранних летописях годовой датой: «прииде Киприан из Киева на Москву в четверток 6 недели по Пасце... в лето 6888 г.».[32] Эта пе-

---

[30] ПСРЛ. Т. 26. С. 7, 125, 356. Ср.: *Luria J.* The London and L'vov MSS. of the Vologdo-Perm' Chronicle: The Problem of the Reconstructing Grand-Princely Chronicle Writing of the Early 1470s // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1972. Vol. 5. P. 90—92.

[31] ПСРЛ. СПб., 1897. Т. 11. С. 25—122. (Фототип. воспроизведение: М., 1965).

[32] ПСРЛ. Т. 11. С. 41.

ределанная дата воспроизводилась Ник. еще дважды: в рассказе о Куликовской битве (мы к нему еще обратимся) вновь излагалась история с Митяем и его смертью, завершающаяся фразой: «прииде Киприан из Киева на Москву в четверток 6-а неделе по Пасце»; соответственно, известие о приезде Киприана в 6889 г. было опущено, а вместо него в начале этого года была помещена фраза из Повести о Митяе: «прииде изо Царьграда на Русь Пимин митрополит; князь великий же Дмитрий Иванович не приа его...». В результате такой небольшой, почти «ювелирной» переделки Киприан оказывался в Москве перед Куликовской битвой и во время ее. Как и Сим., Ник. рассказывала о поездке Митяя и Дионисия в Царьград и о смерти Митяя еще раз — под 6887 г.

Под 6888 г. в Ник. помещена «Повесть полезна бывшего чюдеси, когда помощию Божию... и всех святых молитвами князь велики Дмитрей Иванович з братом своим двоюродным, с князем Владимиром Андреевичем... посрами и прогна Волжскиа орды гордаго князя Мамая...». Это — контаминация двух источников — Сказания о Мамаевом побоище и Пространной летописной повести о Куликовской битве. Начало повести в Ник. в значительной степени совпадает с Пространной повестью (гнев Мамая из-за поражения на Воже; наем «фрязов, черкасов, ясов и иных», требование дани «как при Чанибеке»). Тексту, заимствованному из Сказания, предшествует объяснение, каким образом Киприан оказался в Москве во время Куликовской битвы, — здесь вновь (в третий раз!) упоминается история с Митяем. Далее в Ник. читается отсутствующее в других источниках известие об обращении Дмитрия «к брату своему к великому князю Михаилу Александровичу Тверскому» и о присылке тверским князем «в помощь братаничя своего князя Ивана Всеволодича Холмского» и приходе «Андрея Олгердовича Полотского со псковичи». Как и в Основной редакции Сказания, Киприан изображается в Ник. сподвижником Дмитрия в войне с Мамаем, но упоминания о нем значительно расширены. Уже А. А. Шахматов утверждал, что «подобное прославление памяти митрополита дело не современника, а книжника XVI в., воспитавшегося в известной определенной литературной среде и применявшего выработанные в этой среде приемы к обработке различных литературных произведений...». В тенденциозных вставках, связанных с Киприаном, он видел «работу редактора XVI в., а именно редактора самой Никоновской летописи или одного из источников ея...».[33] Связь одной из вставок Ник., относящихся к Киприа-

[33] *Шахматов А. А.* Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго... С. 156—157.

ну, с творчеством митрополита Даниила — вероятного составителя Ник. — доказал Б. М. Клосс. Речь Киприана, советовавшего Дмитрию утолять ярость «нечестивых» (и, конкретно, Мамая) «дарами», значительно расширенная в Ник. по сравнению с Основной редакцией Сказания, была обнаружена исследователем в сборнике сказаний и поучений Даниила.[34] Из Сказания были заимствованы в Ник. известие о посылке Дмитрием к Мамаю посла Захарии Тютчева и подробный рассказ об обращении Дмитрия к Сергию (в Пространной летописной повести упоминалась только грамота Сергия Дмитрию) и о присылке святым двух воинов Христовых «от своего полку чернеческого» — Пересвета и Осляби. Помощь Сергия Дмитрию ужасает союзников Мамая Олега Рязанского и вслед за ним литовского князя, который в Ник. именуется, в отличие от Основной редакции Сказания, исторически правильно Ягайлом. К Сказанию в Ник. восходит и описание «уряжения полков» перед Куликовской битвой, которого не было в более ранних летописных рассказах. В Основной редакции Сказания с этой расстановкой связано первое упоминание о Дмитрии «Боброкове», не упомянутого в более ранних летописях и появившегося только в «Задонщине» (без прозвища «Боброк»). В Ник. «Дмитрий Боброков родом из страны Волынскиа» появляется несколько позже. Самый рассказ о Куликовской битве разделен здесь на две годовые статьи; основные военные действия описаны под 6889 г., и именно здесь впервые упоминается Дмитрий Боброк, приглашающий великого князя слушать «приметы» перед боем (слушанье «примет» упоминается и в Основной редакции). Вместе с князем Владимиром Андреевичем Боброк возглавляет «западный (засадный) полк», которому автор Сказания предназначил важнейшую роль в рассказе. В Сказании (в Основной редакции и в Ник.) описываются также обмен конем и одеждой между Дмитрием Ивановичем и его «любимым» Михаилом Бренком и поединок инока Пересвета с татарским богатырем Темир-мурзой. Автор Сказания, несомненно одаренный писатель, применил далее сюжетный прием, значение которого для искусства было чрезвычайно плодотворным, — режиссеры XX в. именовали его «отказным» или «тормозным» действием. При описании боя преимущество сперва предоставляется противнику, и когда он уже начинает «одолевати» и те, кому сочувствуют читатели, «плачюще и слезяще зело», жаждут действия, предводитель сдерживает их, ссылаясь на неблагоприятные обстоятельства,

[34] *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII веков. М., 1980. С. 127—129.

и лишь в минуту всеобщего отчаяния объявляет: «Подвизайтеся, время нам благо прииде». Именно такое «отказное» действие делает конечный успех героев особенно выразительным. Ник. воспроизвела и еще один эффектный эпизод Сказания — заключительную сцену, когда участники сражения ищут и не находят самого великого князя Дмитрия Ивановича, находят убитого Бренка в великокняжеской одежде и еще одного воина, похожего на Дмитрия. И только потом, «уклонившеся на десную страну», они обнаружили самого великого князя, «под ветми лежаща, аки мртв». Доспех его был «весь избит и язвлен зело», но сам он даже не был ранен.

Под вновь повторенной датой 6889 г., в отличие от НСС и МСС, Ник. сообщает (вслед за Сим.) не о назначении, а об изгнании Пимена. Под 6890 г. сообщается о приезде на Русь из Царьграда архиепископа Дионисия Суздальского и указано (как в НСС и, в частности, в HV) о его выступлении против еретиков, которые здесь однозначно именуются «стригольниками».

В Повести о нашествии Тохтамыша в Ник. расширена тема бесчинства москвичей, не выпускавших из града — «и убиваху их и богатство и имение их взимаху. Киприань же митрополит всея Русии возпрещаше им; они же не стыдяхуся его и небрежаху его...». Апология Киприана продолжена и под 6891 г.: «Тое же осени не возхоте князь великий Дмитрей Иванович Московский пресвященного Киприана митрополита всеа Русии и имеша к нему нелюбье. Киприан же митрополит воспомяху слово Господне, глаголющее: егда гонят вас из града сего, бегайте в другый... Несть бо греха еже бегати бед и напастей, но еже впадше некрепце стоати о Господи... И тако Киприан митрополит всеа Русии тою же осени с Москвы отъиде в Киев...». Далее сообщается о приглашении в Москву Пимена и отправлении Дионисия с Феодором Симоновским в Царьград. Под 6892 г. в Ник. читается отсутствующее в других летописях известие о стремлении Тохтамыша под влиянием «некого князя Ординского» «дати великое княжение» каждому из русских князей, а также известие о поставлении патриархом Дионисия «в митрополиты на Русь», о заточении его Владимиром Ольгердовичем Киевским (о его смерти сообщено под 6894 г.). Под 6895 г. после сообщения об очередной поездке Пимена в Царьград говорится, что «прииде Пимен митрополит на Русь из Царьграда не на Киев же убо, но на Москву токмо; и прииде без исправы, понеже на Киеве бе Киприан митрополит, а на Москве Пимин митрополит». Образ Пимена продолжал занимать составителя Ник. и далее: под 6897 г. он поместил особую повесть «Хожение Пименово в Царьград»,

восходящую к отдельному памятнику «Хождение Игнатия Смольянина», где описывалось, как «фрязы» в Азове пленили Пимена и его спутников и получали с них «мзду»; заканчивается «Хожение» смертью Пимена в Царьграде. Однако к смерти Пимена составитель Ник. возвращался еще раз, после рассказа «О преставлении великого князя Дмитрия Ивановича Московского», сообщив, что «Пимен митрополит всея Русии бысть тогда в Царьграде», и под 6898 г. поместив известие о его смерти. Лишь после этого он рассказывал о торжественном возвращении Киприана в Москву.

Под 6900 г. в Ник. помещен еще один памятник, отражающий события того же периода, — «Повесть о преподобном Сергии» — особая редакция Жития Сергия, в которой Сергию приписывается не только благословение Дмитрия на борьбу с Мамаем, но и наставление его князю, дословно совпадающее (как отметил еще С. К. Шамбинаго) с речью Киприана Дмитрию в предшествующем тексте Ник. (об утолении «ярости нечестивых» «дарами»). Речь эта отражает какую-то особую редакцию Жития Сергия (в других редакциях Жития ее нет).[35]

В редакции, близкой к той, которая читается в Ник., Сказание о Мамаевом побоище было помещено в третьей редакции ВП (сходный текст и в дополнительных статьях Лондонского списка ВП).[36] Упоминание о пребывании Киприана в Москве во время Куликовской битвы противоречило здесь остальным известиям о церковно-княжеских отношениях, заимствованным в ВП из НСС.

В Новгородской летописи Дубровского и в так называемой Ростовской (Архивской) летописи [37] в повесть о Куликовской битве было сделано несколько вставок из Сказания о Мамаевом побоище: об «уряжении полков», о выступлении «потаенного полка» под предводительством Владимира Андреевича и Дмитрия Волынца и о поисках Дмитрия после битвы. Выдержки из Сказания о Мамаевом побоище («Дмитрий Боброков» и «уряжение полков»; поиски Дмитрия после битвы) содержат-

---

[35] Ср.: *Шамбинаго С. К.* Повести о Мамаевом побоище. С. 171—175. Шамбинаго считал, что эпизод этот внесен редактором Ник. Возражая ему, А. Е. Пресняков указал, что этот мотив, очевидно, «старше Никоновского извода и послужил источником для разработки роли Киприана, раз книжнику понадобилось внести его в „Повесть" о Куликовской битве» (*Пресняков А. Е.* Образование Великорусского государства. Пг., 1918. С. 322, примеч. 2).

[36] О взаимоотношении между Сказанием в дополнительных статьях Лондонского списка и Летописной повестью в основном тексте этого списка см.: *Салмина М. А.* О датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 108—117.

[37] ПСРЛ. Т. 4, ч. 1. С. 486—487; *Шахматов А. А.* О так называемой Ростовской летописи. М., 1904. С. 24—26.

ся и в кратком рассказе о Куликовской битве Устюжской летописи; окончательное возвращение Киприана отнесено здесь к 6896 (1388) г.[38]

Очень краткое изложение событий 1375—1381 гг. содержит Степенная книга: упоминается здесь история с Митяем, смерть которого предсказал Сергий; кратко изложена «преславная победа за рекою за Доном» с благословения Сергия. Соперничество Киприана и Пимена упомянуто задним числом в связи с окончательным приходом Киприана при Василии Дмитриевиче.[39] Совсем перепутаны события этих лет в Холмогорской летописи: упоминания о Михаиле-Митяе нет совсем; под 6887 г. сообщается о поставлении Пимена и приглашении Киприана, под 6889 г. о приходе Киприана и заточении Пимена, победа над Мамаем отнесена к 6890 г., но речь идет, скорее, о битве на Воже; более подробно изложено нашествие Тохтамыша, изгнание Киприана и приглашение Пимена, о дальнейшей судьбе которого ничего не говорится, упоминается лишь приход Киприана в 6898 г.[40]

Изложение истории последних лет Дмитрия Донского у В. Н. Татищева (V, 132—175) в основном построено на Ник.: по Ник. дано описание истории с Митяем и Куликовской битвы (дополненное уже отмеченным выше [41] упоминанием о «Василии Татисче»). Расширен лишь рассказ о нашествии Тохтамыша под 6891 (1383) г. Упомянутое в Ник. размышление Дмитрия «с князи и бояры» при известии о нашествии конкретизированы. Дмитрий говорит: «Неудобно намо малости ради вой стати противо хана. И асче побеждены будем, то погубим всю землю Рускую и не можем к тому милости испросити. Аще ли же и победим, то с большею силою пришед, паки вся погубит». Дмитрию возражает «един тысецкий»: «Идем, княже, на броды и станем сожидати воинства. А к хану пошли дары с покорою и проси милости...». Дополнено и упоминание Ник. о переговорах с суздальскими князьями, призывавшими москвичей принять с честью войска Тохтамыша: «Но князь Остей и воевода великаго князя не хотяху верити татарам, рекусче, яко сльстивше, прияв град, погубят все христианы и всю землю Рускую. Князи же суздальстии, верюсче ли хану и его клятве или льстяхуся великому княжению и завидуюсче силе великого князя Димитрия, кляхуся тяжкою клятвою, яко никое зло граду сотвориса. И народы всии, слышавше сиа, начаша

---

[38] ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37. С. 34—37 и 76—79.

[39] ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 21, пол. вторая, ч. 2. С. 301—363, 395—402, 412—413.

[40] ПСРЛ. Л., 1977. Т. 23. С. 88—91.

[41] См. выше. С. 49.

кричати на князя Остея и воевод, да смирятся с ханом, глаголюсче, яко „не можем силе его противитися". Тии же со слезами просясче, да претерпят мало, егда князь великий и брат его Владимир Андреевич, собравше силы, приидут на отсечь, ведусче бо, яко с ханом не более 30 000 всех вой его. Но народы не хотяху их слушати, понудиша князя отворити врата и изыти с дары к хану». Рассказ об отъезде Киприана из Москвы в 6892 г. изложен Татищевым без приведения оправданий Киприана и дополнен вероятным, но неизвестно откуда взятым утверждением, будто гнев Дмитрия был вызван тем, что Киприан советовал сопернику Дмитрия Михаилу Тверскому идти в Орду «просити великаго княжения».

* * *

Как и в историографии Александра Невского, в историографии Руси при Дмитрии Донском батальным сценам уделялось несравненно больше внимания, чем политической истории соответствующего периода.

При изучении источников по истории Руси конца XIV в. исследователи, писавшие после А. А. Шахматова, во многом опирались на его труды. При этом, однако, обычно не учитывалась разная степень доказательности построений ученого. Вполне убедительными были выводы, вытекавшие из сравнения привлеченных им летописных текстов (дополнительно подтвержденные исследованиями других ученых), — первичность текста Тр., воспроизведенного у Карамзина, в Рог. и Сим., восхождение к ним текстов различных редакций НСС («свода 1448 г.») — НК, Н IV, HV, CI и других летописей, модификация этих текстов в последующем летописании. Совсем иное значение имели построения А. А. Шахматова относительно связей между летописными текстами и внелетописными памятниками, посвященными в основном Куликовской битве. Источниками дошедших до нас текстов Шахматов считал летописную повесть, возникшую в среде духовной, а также рассказ не дошедшей до нас «Московской летописи»,[42] в основе которой лежала официальная реляция о походе великого князя и предполагаемое «Слово о Мамаевом побоище», созданное при дворе серпуховского князя Владимира Андреевича и прославлявшее его, литовских князей Ольгердовичей и Дмитрия Волынца. Это «Слово», по мнению А. А. Шахматова, также

[42] *Шахматов А. А.* Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго... С. 111—112, 180—188.

отразилось в «Задонщине» и Сказании о Мамаевом побоище. Однако все эти источники — лишь предположения ученого. А. А. Шахматов думал, что текст не дошедшей до нас «Московской летописи» XIV в. отразился в Новгородской летописи по списку Дубровского.[43] Однако уже А. Н. Насонов отметил поздний характер этой летописи и лежащего в ее основе Новгородского свода 1539 г., связанного с боярским родом Квашниных;[44] М. А. Салмина доказала, что рассказ о Куликовской битве в своде 1539 г., включающий интерполяцию из Сказания о Мамаевом побоище, вторичного происхождения по отношению к летописным рассказам XV в. Необходимо, очевидно, при изучении дошедших до нас источников исходить из реальных текстов, взаимоотношения между которыми были с достаточной убедительностью установлены А. А. Шахматовым (находки новых текстов не поколебали предложенной им генеалогической схемы), а не из догадок ученого.

Наиболее ранним из этих текстов был рассказ Тр., сохранившийся в Сим. и Рог. Известия этого свода несомненно были тенденциозны и далеко не полны: составителя больше интересовали церковные дела (и, конкретно, борьба Киприана за митрополичий престол), чем борьба с Ордой.

Можно полагать, что рассказ Тр. был не первым повествованием о Куликовской битве. Мы знаем только один источник этого рассказа — синодик убитых, хотя и дошедший в рукописи более позднего времени,[45] но составленный, по всей видимости, после сражения. Но наличие в рассказе Тр.—Рог.—Сим. за 1380 г. некоторых дублировок текста (повторение упоминаний о бегстве Мамая и о возвращении Дмитрия в Москву) позволяет, как отметил Л. А. Дмитриев, предполагать, что текст этот уже был дополнен.[46] Даже если считать, что рассказ, совпадающий в Тр. и в Рог.—Сим., о Куликовской битве восходил не к Тр., а к своду 1390—1392 гг.,[47] все же эта дата — не современная битве, а отстоящая от нее не менее чем на 10 лет. Рассказ НСС о событиях конца XIV в. не был, очевидно, проникнут такими тенденциями, которые

---

[43] Там же. С. 106—111.

[44] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII века. С. 353—358.

[45] *Салмина М. А.* «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». С. 370—371, примеч. 111. О датировке рукописи, содержащей этот список, см.: *Скрынников Р. Г.* Куликовская битва: Проблемы изучения // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983. С. 62, примеч. 101.

[46] Сказания и повести о Куликовской битве. С. 323—324; ср. с. 14—15.

[47] *Лурье Я. С.* Две истории Руси XV в.: Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. С. 62.

заметны в Тр., но он явно вторичен и тоже не лишен тенденциозности. Рассказ этот, видимо, сложился в первой половине XV в. и отражал некоторые политические события этого периода (обвинение суздальских князей в предательстве в 1382 г.) и т. д. Последующее летописание — МСС и особенно Ник. — внесло в этот рассказ множество явных дополнений.

Своеобразие внелетописных памятников, повествующих о Куликовской битве, и их отражения в поздней летописной традиции (Ник. и др.) заключается в том, что только в них содержался рассказ о решающей роли Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Боброка в исходе битвы (засадный полк), о поведении Дмитрия Донского во время сражения (обмен одеждами с Михаилом Бренком, поиски и обнаружение его после боя), а также об иноках-воинах, посланных на битву Сергием Радонежским.

В исторической литературе XX в. о Куликовской битве [48] важнейшую роль играли (как и в предшествующих трудах) соображения о «вероятности» или «невероятности» тех или иных отдельных известий о ней. Даже А. Е. Пресняков, отметив, что в памятниках письменности обнаруживается «явная тенденция» выделить роль Владимира Андреевича и князей Ольгердовичей «возможно ярче», указал, что «у нас нет оснований отказать этой тенденции в фактически верной основе, так как нет данных, которые можно ей противопоставить, а внутренняя вероятность говорит в ее пользу». Он, однако, отказался от подробного изложения тех эпизодов битвы, которые читаются в Сказании о Мамаевом побоище и поздних летописных памятниках, ограничившись замечаниями, что роль Дмитрия Донского как «вождя Великороссии в национальной борьбе за независимость» обрисовалась позже «в условной перспективе общественной памяти и книжной разработке „повестей о Мамаевом побоище“». Он отметил, что особенно богата переделками была Ник., «выдвинувшая моральную роль св. Сергия, разработавшая романтический мотив об иноках Пересвете и Ослябе...».[49] В необъятной литературе о Куликовской битве, вышедшей в свет после Преснякова (и особенно в литературе военных и послевоенных лет), преобладает своеобразная военно-историческая трактовка этой темы: опираясь на Сказание о Мамаевом побоище и Ник., авторы предлагают читателям карты, изображающие диспозицию войск на Куликовом

---

[48] Перечень этой литературы см.: Куликовская битва: Сб. статей. М., 1980. С. 299—312; *Горский А. Д.* Куликовская битва в исторической литературе // Куликовская битва в истории и культуре нашей родины. М., 1983. С. 31—42.

[49] *Пресняков А. Е.* 1) Образование Великорусского государства. С. 322—323; 2) Лекции по русской истории. Т. 3. С. 111 (в печати).

поле, придают важное значение участию Сергия и троицких монахов, руководству Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка в исходе битвы; обсуждают поведение Дмитрия Донского во время сражения. Но, как и исследователи XIX в. (например., Н. И. Костомаров [50]), они исходят при этом не из характеристики источников, а из представлений о степени вероятности данного сообщения. Только один из историков XX в. — Г. В. Вернадский — был готов поверить утверждению Ник. об участии Киприана в подготовке к походу на Мамая (он и вообще строил весь рассказ о Куликовской битве по Ник.);[51] остальные склонны были считать эту версию явным вымыслом. Однако об участии Сергия велись споры. Часть исследователей безусловно придавала важное значение участию Сергия в этом событии; часть отрицала его роль.[52] Так же расходились мнения относительно обмена одеждами между Дмитрием и Михаилом Бренком. М. Н. Тихомиров признавал достоверность известия о таком переодевании и даже обосновывал его необходимость; Р. Г. Скрынников считает его невероятным.[53]

Некоторые работы, вышедшие за последние десятилетия, содержали важные наблюдения, связанные с источниками по истории Куликовской битвы. Мы упоминали работы Л. А. Дмитриева, показавшего, что уже первоначальная редакция Сказания о Мамаевом побоище приписывала роль союзника Мамая Ольгерду (а не Ягайло, как следует из всех современных битве источников), и М. А. Салминой, построившей генеалогию летописных рассказов о Куликовской битве. В. А. Кучкин, приведший убедительные аргументы в пользу поздней (не ранее конца XV в.) датировки Сказания о Мамаевом побоище, показал, что в первоначальных редакциях Жития Сергия обет Дмитрия Сергию построить монастырь после победы над Мамаем был дан не перед Куликовской битвой, а перед предше-

---

[50] *Костомаров Н.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 4-е изд. СПб., 1896. Т. 1. С. 218—221.

[51] *Vernadsky G.* The Mongols and Russia. New Haven, 1953. P. 259—262. (A History of Russia by G. Vernadsky and M. Karpovich. Vol. 3).

[52] *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978. С. 107; *Скрынников Р. Г.* Куликовская битва // Звезда. 1980. № 9. С. 17 (ср., однако: *Скрынников Р. Г.* Куликовская битва: Проблемы изучения. С. 58—59); *Пашуто В. Т.* «И въскипе земля Руская...» // История СССР. 1980. № 4. С. 79, примеч. 18; *Кучкин В. А.* Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990. С. 103—126.

[53] *Тихомиров М. Н.* Куликовская битва 1380 г. С. 369; *Скрынников Р. Г.* Куликовская битва: Проблемы изучения. С. 68.

ствующей ей битвой 1378 г. на Воже (монастырь был построен, как следует из летописей, до Куликовской битвы).[54]

Когда и при каких обстоятельствах появились в источниках рассказы о важной роли Владимира Андреевича Серпуховского (Храброго) и Дмитрия Боброка и о засадном полке, решившем исход боя? В рассказе Тр. ни Владимир, ни Боброк как участники Куликовской битвы не упоминались; НСС дважды упоминал Владимира в связи с битвой, но о засадном полке ничего не сообщал; о роли Боброка он также умалчивал. Развернутый рассказ о засадном полке, Владимире и Боброке принадлежал Сказанию о Мамаевом побоище и, вслед за ним, Никоновской летописи.

Чем может быть объяснено умолчание всех летописей до XVI в. об этом важном, согласно Сказанию и Ник., моменте в истории битвы? Умолчание летописания конца XIV в. о роли Владимира Андреевича может быть объяснено тем, что в 1389 г. между ним и Дмитрием Ивановичем возник конфликт (Дмитрий отнял у серпуховского князя Дмитров и Галич), в начале княжения Василия I Владимир «отъезжал» от великого князя в Новгородскую землю; только затем конфликт был урегулирован. НСС не имел оснований преуменьшить роль Владимира Андреевича; трудно объяснить умолчание в этом источнике о засадном полке, если он играл столь важную роль в исходе битвы. Еще более трудно объяснить умолчание о Боброке во всех летописях до Ник. Никаких оснований для тенденциозного умолчания о нем, если о его деятельности было известно, летописи XV в. не имели. Потомки его служили князьям московским; внук производил перепись в Костроме.[55]

Каков был идейный смысл рассказа о Владимире Андреевиче и Боброке, засадном полке и поисках Владимиром Дмитрия после боя в Сказании о Мамаевом побоище? Исследователи оценивали смысл этого рассказа по-разному. Л. А. Дмитриев писал, что эпизод с засадным полком «прославляет не серпуховского князя, а воеводу князя московского Дмитрия Волынца... Судя по ряду летописных записей, Владимир Андреевич был незаурядным храбрым полководцем. При чтении же Сказания создается впечатление, что автор приуменьшил роль Владимира Серпуховского в событиях 1380 г.».[56] По мнению же М. Н. Тихомирова, Сказание прославляло Владимира

---

[54] *Кучкин В. А.* Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы. С. 118—119.

[55] *Веселовский С. Б.* Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 285—286.

[56] *Дмитриев Л. А.* К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. С. 430.

Серпуховского и литовских князей Ольгердовичей. Оно было тенденциозным памятником, изображавшим Дмитрия Донского «почти трусом»: «Это — сознательное искажение действительности, а не только литературный прием». Рассказ о пребывании Дмитрия в конце битвы вдали от поля боя, где его нашли воины, посланные Владимиром Андреевичем, «представляет своего рода памфлет, направленный против великого князя и, вероятно, возникший в кругах, близких к Владимиру Андреевичу Серпуховскому». С Владимиром Андреевичем Серпуховским связывал Сказание о Мамаевом побоище и Р. Г. Скрынников, но, соглашаясь с поздней датировкой Сказания, предложенной В. А. Кучкиным, он считал, что дошедший до нас текст памятника представлял собою позднюю (конца XV в.) переделку некоего более раннего памятника, еще не включавшего содержащихся в Сказании явных анахронизмов.[57]

Таким образом, перед исследователями вновь встает вопрос о некоем протографе, лежащем в основе Сказания (а заодно и «Задонщины»), который ставил еще А. А. Шахматов. Однако никаких независимых текстов, отражающих этот протограф, пока не обнаружено. Исключение составляет один любопытный фрагмент, на который обратила внимание Р. П. Дмитриева. Он содержится в Тверском сборнике XVI в. и обнаруживает сходство со Сказанием и особенно с «Задонщиной»: «В лето 6888. А се писание Софониа резанца, брянского боярина, на похвалу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Володимеру Андреевичу...». Далее говорится о приходе Мамая, о его намерении идти на Русь, а приписанные и зачеркнутые строки представляли собой концовку, где упоминается «суженое место межу Доном и Днепром, на поле Куликове на реце на Непрядве», где «положили свои головы» русские воины, и воздается им честь и слава.[58] Но даже если предполагать, что этот текст действительно первичен по отношению к известным нам текстам «Задонщины» и Сказания, то вопроса о существовании и характере протографа Сказания он не решает. Здесь не упоминаются ни воины, посланные св. Сергием, ни засадный полк, ни Боброк. Р. Г. Скрынников не дал никакого текстологического обоснования своему предположению о претексте Сказания о Мамаевом побоище — он просто отнес все «поздние датирующие признаки» в тексте Сказания (Ольгерд вместо Ягайла, Киприан в Мос-

---

[57] *Тихомиров М. Н.* 1) Куликовская битва 1380 г. // ВИ. 1955. № 8. С. 15, 23; 2) Куликовская битва 1380 г. // Повести о Куликовской битве. С. 346; *Скрынников Р. Г.* Куликовская битва: Проблемы изучения. С. 61—62.

[58] *Дмитриева Р. П.* Был ли Софоний рязанец автором «Задонщины» // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 23—25.

кве, неправильное именование жены Владимира Андреевича и т. д.) «к слою, возникшему едва ли не в процессе обработки памятника». Как и В. А. Кучкин, он придал важное значение «прямой ссылке автора на источники информации, которыми он пользовался: „Се же слышахом от вернаго самовидца, иже бе от плъку Владимера Андреевича"...».[59] Но эта ссылка на «самовидца», как часто бывало в житийных и сходных с ними памятниках, относилась к сообщению о чуде — о руках, спускавшихся с небес и державших венцы над русскими воинами.[60]

В. А. Кучкин обратил внимание на то, что в «Задонщине», как и в Сказании, упоминалось, что в повороте Куликовской битвы большую роль сыграл Владимир Серпуховской. Он имеет в виду, очевидно, текст в одном из списков «Задонщины» (ГИМ, Муз. собр., № 3045): «И нукнув князь Владимер Андреевич с правые руки на поганаго Мамая с своим князьм Волыньскым, 70-ю тысящами...».[61] Но Р. П. Дмитриева и А. А. Зимин с достаточным основанием признали это место в пространной редакции «Задонщины» вставкой из Сказания.[62] Да и сама «Задонщина», как уже было указано, не может считаться наиболее ранним и близким по времени к Куликовской битве памятником: все, что мы знаем о времени ее письменной фиксации, — это то, что она была написана не позже 1479 г.

Высказывались сомнения в том, что Сказание о Мамаевом побоище, приписывающее столь важную роль Владимиру Серпуховскому, могло быть написано после середины XV в., когда удельное княжество Серпуховское было уничтожено.[63] Но уничтожение его произошло лишь в 1456 г., при внуке Владимира Василии Ярославиче, верном союзнике Василия II в борьбе за престол, которого неблагодарный великий князь тем не менее отправил в заточение. У серпуховского князя оставались сторонники, составившие заговор с целью освободить его.[64] В силе оставался и Троицкий монастырь, основанный на

---

[59] *Кучкин В. А.* Победа на Куликовом поле. С. 16; *Скрынников Р. Г.* Куликовская битва: Проблемы изучения. С. 60—61.

[60] Повести о Куликовской битве. С. 70. Ср.: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 417—427 (репринт: М., 1988).

[61] *Кучкин В. А.* Сподвижник Дмитрия Донского // ВИ. 1979. № 8. С. 113; «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 546.

[62] *Дмитриева Р. П.* Взаимоотношения списков «Задонщины» и «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 206—207; Задонщина. Древнерусская песня-повесть о Куликовской битве. Тула, 1980. С. 117.

[63] *Скрынников Р. Г.* Где и когда было составлено «Сказание о Мамаевом побоище»? // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 210.

[64] *Лурье Я. С.* Две истории Руси XV в. С. 162.

бывших владениях Владимира Андреевича и занимавший весьма самостоятельную позицию во время усобиц середины века.

Вопрос о датировке Сказания о Мамаевом побоище, как и «Задонщины», требует, конечно, еще дополнительного исследования. Но дошедшие до нас тексты этих памятников были написаны (или записаны по устным источникам) позже летописных рассказов конца XIV—XV в. о Куликовской битве и не могут считаться основными источниками по ее истории.

Что же мы, однако, знаем о роли церкви в борьбе с Ордой? Положению церкви и борьбе за престол митрополита было в значительной степени посвящено наиболее раннее летописное повествование об истории конца XIV в. — рассказ Тр. и сходных с нею летописей. Однако перипетии этой борьбы в очень незначительной степени связывались в летописном рассказе, как и в трудах большинства историков, с русско-татарскими отношениями. «Повесть о Митяе», включенная в текст Тр., охватывала 1379—1382 гг., т. е. то самое время, когда произошла Куликовская битва; но в повести битва даже не упоминалась, да и в дальнейшем летописном повествовании Тр. она занимала весьма скромное место. Не сообщалось, каково было отношение митрополита Киприана, позиции которого выражал летописный свод, лежащий в основе Тр., к этой битве и к дальнейшим русско-татарским отношениям. Повествуя о том, что в 1381 г. Киприан приехал в Москву, а в 1382 г. опять «съеха из Москвы в Кыев», летописец ничего не говорил о его отношении к Орде.

Но, несмотря на полное отсутствие таких сведений в летописании, недавно в исторической литературе была высказана мысль о решающей роли Киприана и его сторонников, монахов «исихастов» — «всероссиян» в борьбе с Ордой. «...Что было бы, если бы Дмитрий Иванович был побежден Мамаем?» — спрашивал Г. М. Прохоров в монографии, специально посвященной «Повести о Митяе» и русско-византийским отношениям в эпоху Куликовской битвы. «...Он, конечно, отвернулся бы — вынужден был отвернуться — от толкавших его на борьбу с „безбожными“ и „погаными“ татарами монахов-„всероссиян“...». В подкрепление этой мысли автор ссылается на роль Сергия в событиях 1380 г.: «Как известно, роль Сергия Радонежского в моральном ободрении Дмитрия Ивановича была громадна».[65] Но о какой-либо роли Сергия в подготовке и ходе Куликовской битвы Тр. (связанная как раз с Киприаном!) не упоминала ни единым словом; в НСС упоминалось другое лицо, благословившее Дмитрия на битву, — епископ Герасим. В

[65] *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 107.

житии Сергия, написанном полвека спустя, говорилось лишь о «моральном ободрении» им Дмитрия перед более ранней битвой на Воже (1378 г.); развили эту тему источники, написанные более чем через сто лет после битвы, — Сказание о Мамаевом побоище и Ник.

На чем вообще основывается представление о существовании на Руси некоего движения исихастов (сторонников направления, игравшего важную роль в византийских церковных спорах), они же «всероссияне» (т. е. сторонники единой митрополии «всея Руси», охватывающей и Северо-Восточную и Западную Русь), в конце XIV в.? Летопись не сообщает ни о каком подобном движении. Утверждение о его существовании было высказано Г. М. Прохоровым в связи с обстоятельствами борьбы Киприана за митрополичий престол после 1376 г. Начал Киприан борьбу за престол еще при жизни московского митрополита Алексия; после его смерти в 1378 г. он сделал попытку приехать в Москву, но был изгнан Дмитрием Донским, желавшим поставить на митрополичий престол спасского архимандрита Михаила-Митяя. Об этих событиях мы узнаем из посланий самого Киприана, написанных в том же 1378 г. Первое из них — послание Сергию Радонежскому и его племяннику Феодору Симоновскому; Киприан извещает их о том, что идет «к сыну своему ко князю великому на Москву» и надеется увидеть «друг друга и наслажитися духовных словес». Второе послание, написанное через 20 дней после первого, — совершенно иное по тону: Киприан описывает те унижения, которые он претерпел после приезда и изгнания, и гневно осуждает своих адресатов — Сергия и Феодора: «И аще миряне блюдутся князя, занежа у них жены и дети, стяжания и богатства, и того не хотят погубити... — вы же, иже мира отреклися есте и живете единому Богу, како, толикую злобу видив, умолчали есте? Растерзали бы одежи своя, глаголали бы есте пред князи, не стыдяся!». Заканчивается послание отлучением от церкви всех, кто «таковое бещестие възложили на мене и на мое святительство» и «хто покусится ту грамоту сжещи и затаити...».

Спустя несколько месяцев Киприан, правда, послал на Русь еще одну грамоту, в которой благодарил неких «сынов нашего смирения» за «повиновение и любовь» к церкви и к нему, но грамота эта адресована в рукописи сынам «имярек, имярек, имярек», и кто были эти адресаты, мы не знаем. Нет во всяком случае никаких оснований полагать, что Сергий и Феодор содействовали приезду Киприана в Москву в 1378 г. — недаром в первом послании после своего изгнания он гневно осуждал их.[66]

---

[66] Там же. С. 195—202. Ср.: *Соколов Пл.* Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV в. Киев. 1913. С. 471—473.

Обстоятельства борьбы за митрополичий престол были изложены в «Повести о Митяе».[67] Михаил-Митяй отправился в 1379 г. в Константинополь за поставлением на митрополию; по дороге, в Орде, как сообщает повесть, «ят бысть Митяй Мамаем». Правда, кончился этот эпизод сравнительно благополучно — до нас дошел ярлык, данный Митяю по стандартному образцу тех ярлыков, которые давались его предшественникам-митрополитам. Одновременно с Митяем отправился через Орду в Константинополь и его энергичный противник епископ Дионисий Суздальский. Какова была позиция Митяя и Дионисия по отношению к ханской власти? По этому поводу высказывались два противоположных мнения.

И. Б. Греков считал, что Дионисий был ставленником суздальско-нижегородских князей и «ордынской дипломатии», именно поэтому он благополучно проследовал через Орду, между тем как Мамай, «отпустив Митяя в Кафу, продолжал внимательно следить за московскими иерархами, намереваясь помешать осуществлению их миссии». И. Б. Греков предполагал даже «причастность ордынской дипломатии к смерти Митяя, последовавшей, как известно, на борту корабля, шедшего из Кафы в Константинополь».[68]

Противоположна характеристика, которую дал Дионисию и Митяю Г. М. Прохоров. Дионисия он объявлял идеологом «освободительной антитатарской борьбы», приписывая ему интерполяции в рассказе Лаврентьевской летописи о нашествии Батыя, — предположение, которое должно быть отвергнуто ввиду идентичности рассказа о Батые Лаврентьевской (включая мнимые «интерполяции») с аналогичным рассказом Тр., независимо от Лавр. восходившей к тому же летописному своду 1305 г.[69] Благополучный проезд Дионисия через Орду Г. М. Прохоров объяснял тем, что, «может быть, Дионисий бежал, изменив внешность». Дионисия он считал «единомудренным» с Киприаном, Сергием Радонежским и Феодором Симоновским представителем «иноческой партии».[70]

Построения обоих авторов представляются нам одинаково неубедительными. На основании скупых сообщений источников невозможно сказать, каково было отношение Мамая к Митяю и Дионисию. Что касается принадлежности Дионисия

---

[67] *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 220—223; *Приселков М. Д.* Ханские ярлыки русским митрополитам. Пг., 1916.

[68] *Греков И. Б.* Восточная Европа и упадок Золотой орды. С. 117—119.

[69] *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 71—74. Ср.: *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 22—33, 30—32.

[70] *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 78—81.

к монашеской «партии» Киприана, Сергия и Феодора, то оно вообще ни из чего не вытекает. Дионисий не только не был единомышленником Киприана, но оказался вскоре его соперником в борьбе за престол. После того, как Митяй внезапно умер, не доехав до Константинополя, собор греческих архиереев поставил митрополитом его спутника Пимена; назначение это было провозглашено в соборном определении патриарха Нила, в котором решительно отвергались претензии Киприана на митрополичий престол.[71] В «Повести о Митяе» и в грамотах патриарха Антония, написанных десять лет спустя, поставление Пимена объяснялось «ложью и обманом» с его стороны,[72] и Дмитрий, по-видимому, первоначально не признал его, пригласив в 1381 г. в Москву Киприана. Но двухгодичное пребывание Киприана на митрополичьем престоле оказалось неудачным, и после бегства его из Москвы во время нашествия Тохтамыша он был в 1383 г. изгнан и митрополитом признан Пимен. Однако и положение Пимена не было прочным. В 1383 г. в Константинополь был отправлен Дионисий в сопровождении Феодора Симоновского. Но целью Дионисия было не восстановление Киприана, а утверждение своих собственных прав на митрополичий престол, на что патриарх дал согласие. Однако на обратном пути через Киев Дионисий был в 1384 г. арестован тамошним князем (вассалом Литвы) Владимиром Ольгердовичем. Можно думать, что этот арест был произведен не только «с ведома» (это признает и Г. М. Прохоров), но и по инициативе Киприана, пребывавшего в то время в Киеве в качестве митрополита. Враждебность Киприана Дионисию (умершему в заточении в 1385 г.) выразилась и в написании им десять лет спустя после смерти соперника грамоты в Псков, в которой отменялась «владычня грамота Денисьева» в Псков и несправедливо утверждалось, что «патриарх ему того не приказал деяти».[73] О принадлежности Киприана и Дионисия к одной «партии» говорить, таким образом, довольно трудно.

Нет оснований считать единомышленником Киприана также Феодора Симоновского. В 1383 г. Феодор сопровождал Дионисия в Константинополь и поддержал его притязания на митрополичий престол. В 1386 г. он снова приехал в Константинополь и на этот раз выступил сторонником явившегося на

---

[71] Русская историческая библиотека. СПб., 1880. Т. 6. Приложения, № 30 (стб. 165—184) (далее: РИБ).

[72] Там же. Приложения, № 33 (стб. 193—227); *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 223—224.

[73] РИБ. Т. 6. Приложения, № 28 (стб. 233—234); *Прохоров Г. М.* Дионисий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV—XVI в.). Ч. 1. А—К. Л., 1988. С. 190.

патриарший суд московского митрополита Пимена, который назначил его архиепископом Ростовским.[74]

Существование «иноческой партии» в конце XIV в. не только не обнаруживается в источниках, но находится в явном противоречии с ними. Ничем не подтверждается роль ее предполагаемых участников в борьбе с Ордой. Даже Сергию, как мы знаем, эта роль приписывалась лишь с середины XV в., да и то в очень скромной форме, а по-настоящему — с конца века. Киприан, изгнанный Дмитрием из Москвы, пребывал в 1380 г. в Литве и был скорее противником, нежели сторонником московского великого князя. Предположение И. Мейендорфа, что Киприан, «если Ягайло спросил его совета, вступать ли в коалицию с Мамаем», убедил его не делать этого,[75] — простая догадка: мы ничего не знаем ни о таком запросе Ягайла, ни об отрицательном ответе Киприана.

Утверждения Г. М. Прохорова о первостепенной роли «монашеской партии» в борьбе против Мамая стали частью гораздо более широкой концепции, построенной его учителем [76] Л. Н. Гумилевым. Как мы уже упоминали, Л. Н. Гумилев считал, что никакого монгольского завоевания Руси в XIII в. не было, что уже при Александре Невском произошло первое освобождение Руси от монголов, что Русь и Орда представляли собой некое «суперэтническое» единство, а вражда между ними возникла лишь в конце XIV в., при Мамае.[77]

Вражду эту Л. Н. Гумилев объяснял тем, что власть в Орде захватил Мамай, который «опирался на союз с Западом, главным образом, с генуэзскими колониями в Крыму», в то время как его противник, хан Белой орды Тохтамыш, придерживался «традиционной политики союза с Русью, проводимой со времен Батыя». Утверждение автора о союзе Мамая с «Западом» основывается, очевидно, на летописном известии (Тр.) о том, что Мамай, отправляясь на «всю землю Русскую», нанял «Фрязы и Черкасы и Ясы». Гумилев считал, что «поволжские татары неохотно служили Мамаю и их в войске было немного», и поэтому Мамай привлек «ясов и касогов», а заодно «крымских евреев и караимов». Но прежде всего Мамаю «нужны были деньги и немалые» — их он попросил у генуэзцев, владевших колониями в Крыму, — «те обещали помочь, но потребовали взамен получения концессий для добычи мехов и торговли на севере Руси, в районе великого Устюга». Мамай

---

[74] РИБ. Т. 6. Приложения, № 32, стб. 216—220.

[75] *Meyendorff J.* Byzantiam and the Rise of Russia. Cambridge, 1981. P. 224—225.

[76] *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 5.

[77] *Гумилев Л. Н.* Апокрифический диалог // Нева. 1988. № 3. С. 201, 203.

предложил Дмитрию, что «за предоставление концессий» он дает ему «ярлык на великое княжение». «Если бы Дмитрий согласился на эту сделку, Московская Русь в короткое время превратилась бы в колонию генуэзцев», — пишет Гумилев, но «преподобный Сергий Радонежский заявил, что с латинянами никаких дел быть не может: на Святую Русь нельзя допускать иноземных купцов, ибо это грех».[78] Убедившись после первых столкновений в том, что русская рать не уступает татарской, Мамай отправил на Русь войска, состоявшие из «генуэзской пехоты» и степняков, мобилизованных «на генуэзские деньги». В итоге Куликовской битвы царство Мамая, — которое, по Гумилеву, было не нормальным этническим образованием, а этнической «химерой», опиравшейся на международную торговлю, — было побеждено, а «новая этническая общность — Московская Русь — выступила реальностью всемирно-исторического значения».[79]

Читатель, который пожелал бы определить источники, на которых основывались эти построения, оказался бы в немалом затруднении. Откуда взял Гумилев известия об опоре Мамая на международную торговлю, о его переговорах с генуэзцами, о их требовании «концессий» в районе Великого Устюга, о сделке, предложенной Мамаем Дмитрию и отклоненной Сергием Радонежским, о «генуэзских деньгах», полученных Мамаем перед битвой, наконец, об участии в его войске «крымских евреев и караимов»?

Из летописей нам известно о некоем Некомате (согласно НСС и более поздним сводам, «сурожанине» — купце, торговавшем с Крымом), ведшем враждебные Москве переговоры с Тверью и Ордой, но ни о каком участии в этих переговорах генуэзцев и их требованиях к Мамаю там ничего не сообщалось.[80]

Не менее загадочно приведенное Гумилевым заявление Сергия Радонежского о недопустимости дел «с латинянами» и допуска их «на святую Русскую землю». Откуда взял автор эту цитату? Ни в Тр., ни в источниках XV в. — в Житии Сергия, в НСС, ни даже о летописях XVI в. ни слова не говорится о заявлениях Сергия против «латинян». Источники богатого подробностями повествования Гумилева о событиях вокруг Куликовской битвы остаются неизвестными.

---

[78] *Гумилев Л. Н.* От Руси до России. СПб., 1992. С. 141—144.

[79] *Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. С. 621.

[80] Говоря о роли генуэзцев в событиях 1380 г., следует учитывать, что как раз в 60—80-х гг. отношения генуэзцев с Мамаем были враждебными (*Papacostia Š.* Quod non iretur ad Tanam // Revue des études Sud-Est europeennes. 1979. N 2. P. 214).

Через два года после Куликовской битвы победитель Мамая хан Тохтамыш напал на Москву, сжег и разграбил ее. Почему же этот сторонник «традиционного союза с Русью», никак не связанный с Западом, совершил такое нападение? Виною, согласно Л. Н. Гумилеву, были суздальские князья, составившие донос Тохтамышу на Дмитрия, — «сибиряку и в голову не пришло, что его обманывают», — а также «характер населения, осевшего в Москве» и ответившего хану сопротивлением. «Посадский люд» хотел выпить и погулять; напившись, москвичи забрались на кремлевские стены «и ругали татар, сопровождая брань соответствующими жестами», — «а татары, особенно сибирские, народ очень обидчивый, и поэтому крайне рассердились». Восставшие не хотели выпускать митрополита Киприана из города и ограбили его «до нитки». «...Когда был выпит весь запас спиртного, москвичи решили договориться с татарами» и впустить их послов в город, «но когда открывали ворота, никому из представителей „народных масс“ не пришло в голову выставить надежную охрану», «татары ворвались в город и устроили резню».[81]

Версия о пьяных москвичах была взята Гумилевым из летописной и историографической традиции, восходившей к НСС, где горожанам ставилось в упрек нежелание выпустить из города Киприана; из этого же источника взято упоминание о роли суздальских князей в походе Тохтамыша (хотя об их «доносе» Тохтамышу и в этом своде ничего не сообщается). В Тр. упоминания о суздальских князьях, о пьянстве москвичей и о попытке Киприана уехать из Москвы вообще не было, — там говорилось только о вероломстве татар и об их зверствах и грабеже в городе. Но и НСС описывал стойкость осажденных, подвиги их предводителя князя Остея и москвича — суконника Адама. Непонятно, на каком основании Л. Н. Гумилев приписывал инициативу в переговорах с Тохтамышем горожанам: во всех летописях говорится, что именно хан, не сумев взять город, обманул Остея «лживыми речами и миром лживым», убил его и захватил город. Почему же Гумилев именует Тохтамыша «добродушным и доверчивым» и объявляет его поход «совсем не страшным»?

Изучение летописной традиции, отражающей последние годы правления Дмитрия Донского, позволяет отделить ранние сообщения об этом историческом периоде от поздних наслоений. Многие живописные подробности (в частности, рассказы о перипетиях Куликовской битвы) должны быть отнесены не

---

[81] *Гумилев Л. Н.* От Руси до России. С. 146—147; ср.: *Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая степь. С. 630—633.

к категории исторических фактов, а к области преданий. Рассказы XV—XVI вв. не теряют при такой постановке вопроса научной ценности; они могут рассматриваться как «культурные остатки» времени их написания, как свидетельства о постепенно нараставшем интересе к событиям конца XIV в., о ретроспективной их оценке (особенно с конца XV в. — времени окончательного освобождения от ордынского ига).

Отделив раннюю традицию от поздней, мы обнаруживаем ряд «белых пятен» в истории конца XIV в., на которые прежде обращалось мало внимания. Какова была действительная роль иерархов русской церкви в событиях того времени? Представление о Сергии как вдохновителе Куликовской битвы было создано, как мы видели, более поздней традицией — высоко почитаемый как святой и основоположник общежительного монашества в Северо-Восточной Руси, он был, вероятно, сторонником Дмитрия Донского и его политики, но о конкретном участии его в событиях 1380 г. мы не имеем достоверных сведений. Киприану идея борьбы с Ордой была чужда; это видно хотя бы из текста связанной с ним Тр.[82] Возможно, что смысл его многолетнего противостояния с Дмитрием Донским заключался в борьбе за единую митрополию «всея Руси» (т. е. за древнюю киевскую митрополию, находившуюся к тому времени во владениях двух государей — литовского и московского) — против выделения из нее отдельной митрополии «великой Руси» (т. е. Северо-Восточной, Московской).[83]

Неясными остаются позиции Митяя, Дионисия и Пимена. Митяй — безусловный приверженец Дмитрия, его ставленник. Дионисий был противником Митяя, но также и Киприана, который, видимо, был виновником его заточения в Киеве в 1384 г.; он был образованным иерархом, уважаемым в Византии, но роль его в русско-татарских отношениях [84] остается неизвестной, — то, что при нем был переписан Лаврентием летописный свод начала XIV в., ни о чем не свидетельствует.

---

[82] Г. М. Прохоров (Повесть о Митяе. С. 53) пишет, что, «насколько мы можем судить, Киприан никогда, до самой смерти не молился о... мусульманских царях», но он же признает, что «возможность не славить в церквах татарского царя» Русь «потеряла после нашествия на Русь Тохтамыша» (Там же. С. 120); однако пребывание Киприана на московском митрополичьем престоле с 1389 г. происходило после нашествия Тохтамыша.

[83] *Соколов Пл.* Русский архиерей из Византии... С. 464—465; *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 49.

[84] Г. М. Прохоров (Повесть о Митяе. С. 30—31, 176) считает доказательством антитатарских настроений Дионисия то обстоятельство, что именно во время его пребывания на епископском престоле в Нижнем Новгороде плененный посол Мамая Сарайка «нача стреляти люди» и стрела «коснуся перьем епископа» (Тр., 6883). Но эпизод этот едва ли свидетельствует о позиции Дионисия.

Наиболее загадочна фигура Пимена. Грамота патриарха Нила 1380 г., резко осудившая Киприана и рукоположившая Пимена на митрополичий престол Киева и «великой Руси», именовала его «благоговейнейшим иеромонахом» и не выражала сомнений в том, что поставления его домогался сам Дмитрий.[85] Но грамота другого патриарха, Антония, данная в 1389 г., обвинила Пимена в сочинении «подложной грамоты» и утверждала права Киприана.[86] Утверждение, что эти «подложные грамоты» были написаны на данных Дмитрием Митяю незаполненных «харатьях» с печатями, которые должны были служить в случае нужды векселями, встречается только в «Повести о Митяе». Повесть утверждает, что по возвращении Пимена из Константинополя (согласно летописи, он вернулся в 1381 г.) Дмитрий обвинил его в обмане, снял с него клобук и сослал в Чухлому и Тверь. Фактом остается, однако, то обстоятельство, что в 1382 г. Пимен был вновь приглашен Дмитрием на митрополичий престол и занимал его в течение шести или восьми лет. Неупоминание об этом в «Повести о Митяе» (вопреки всем летописным текстам) Г. М. Прохоров объясняет тем, что повесть была написана не позднее 1382 г.,[87] но умолчание об изгнании Киприана в этом году и приглашение Пимена могло носить тенденциозный характер — упоминание об этом полностью противоречило бы счастливому для Киприана окончанию повести. Заслуживает внимания загадочное сообщение НСС и следующих ему летописей о приезде Киприана на Русь в 6894 (1386) г. (какую Русь? В Литовской Руси Киприан, очевидно, пребывал все эти годы). Возможным подтверждением этого известия служит соборное постановление патриарха Нила 1387 г., где говорилось, что Киприан просил отсрочки его приезда на соборный суд, пока он идет «по делу, на которое он посылается» по приказу императора, с оговоркой, чтобы он «никоим образом не совершал ничего святительского в Великой Руси и не ходил туда».[88]

Мы не знаем, кто из деятелей конца XIV в. был провозвестником освобождения Руси от ордынского ига и выступали ли тогда подобные провозвестники. К теме борьбы с ханской властью обратился лишь в первой половине XV в. Новгородско-Софийский свод, включивший в общерусское летопи-

---

[85] РИБ. Т. 6. Приложения, № 30 (стб. 174—175).

[86] Там же, № 32 (стб. 208).

[87] *Прохоров Г. М.* Повесть о Митяе. С. 138—140.

[88] РИБ. Т. 6. Приложения, № 32 (стб. 190). В Тверском сборнике утверждается, что в 1386 г. вместе со сбежавшим из Орды Василием Дмитриевичем в Москву «ис Киева приаха митрополит Киприань, и не принял его князь великий» (ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 444).

сание тверские рассказы о восстаниях начала XIV в. и поместивший пространные повести о Куликовской битве и нашествии Тохтамыша. В прямой и развернутой форме призыв к отказу от подчинения ханам был высказан лишь в 1480 г. архиепископом Вассианом Ростовским накануне окончательного освобождения от ханской власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Летописные известия о трех различных эпохах истории Древней Руси, рассмотренные в предшествующих главах, дают основание поставить сходные вопросы: какие из этих известий могут быть отнесены к числу сообщений о достоверных фактах, а какие — к числу возможных? Возможно ли, что киевский правитель Аскольд, упомянутый в Начальном своде и в ПВЛ как пришлый варяг, возглавлял те походы русов на Царьград, о которых упоминали византийские источники, не называвшие имен предводителей походов? Возможно ли, что ижорянин Пелгусий, упоминаемый в Житии Александра Невского как свидетель чудесного явления святых Бориса и Глеба, желавших помочь «сроднику своему Александру», был в действительности княжеским разведчиком, сообщившим о подготовке нападения шведов на Русь? Мог ли Сергий Радонежский благословлять Дмитрия Донского на битву с Мамаем и присылать на помощь ему иноков-воинов Пересвета и Ослябю? Все это теоретически возможно. Однако предположения такого рода не выходят за пределы возможного. Они не вытекают из показаний заслуживающих доверия источников. Иными словами, перед нами простые догадки.

Разграничение сведений, которые могут быть с достаточной достоверностью (в тех пределах, которые допускает лишенная эксперимента наука) извлечены из источников, и догадок, которые строятся только на возможности, — одна из основных задач исторической науки. Более ста лет тому назад немецкий историк Л. Ранке заявил, что суть работы историка заключается в том, чтобы выяснить, «как это было на самом деле (wie es eigentlich gewesen sein)».[1] Формула эта не раз вызывала возражения в последующие времена. Опираясь в своем повествовании на нарративные источники, следуя даже наибо-

[1] *Ranke L.* Sämtliche Werke. Leipzig, 1874. Bd 33—34. S. VII.

лее достоверным из них, историк излагает обычно историю правителей, которая далеко не идентична истории страны и народа в целом. Он, в лучшем случае, указывает на то, к а к происходили политические события, но не отвечает, п о ч е м у они происходили, почему возникали и заканчивались победой или поражением войны, почему происходили государственные перевороты и т. д.

В XIX и особенно в XX в. произошел сдвиг интересов в трудах ученых от истории правителей к истории людей, широких масс населения. В России XX столетия этот сдвиг получил особенно резкие формы в связи с установлением безраздельного господства марксизма в историографии и заменой политической истории обществоведением. Ныне в связи с отказом от обязательной марксистской идеологии наблюдается обратное движение: переиздаются книги XIX в., посвященные царям и полководцам, в том числе и такие, которые уже в начале XX в. расценивались как анахронистические сочинения. Но интерес к истории людей проявляли не только историки-марксисты. Понимание истории как закономерного процесса, движущей силой которого выступают широкие массы населения, был присущ русской историографии, во всяком случае с конца XIX—начала XX в. (Ключевский, Платонов, Милюков, Павлов-Сильванский, Пресняков и др.); он свойствен и западной историографии. О необходимости изучать историю «*всех*, без одного исключения *всех*, людей, принимающих участие в событии», а не «отдельных лиц», писал Л. Н. Толстой.[2]

Конечно, изучение истории как массового процесса требует перенесения внимания с нарративных на иные источники — документальные, отчасти вещественные. Но такое обращение к другим источникам не отменяет необходимости соблюдать основные источниковедческие принципы: разграничение гипотез и простых догадок, изучение источника в целом для привлечения его отдельных известий, недопустимость предвосхищения анализа источника синтетическим построением. Об опасности такого предвосхищения при изучении совсем иного, археологического материала писал А. А. Формозов.[3] Уйти от необходимости выяснения, «как это было на самом деле», нельзя ни в каком историческом исследовании.

Но такое выяснение во многом разрушает сложившееся представление об истории. Непривычно представлять себе историю Древней Руси без красочных описаний походов на

---

[2] *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1940. Т. 12. С. 305 (репринт: М.: Терра, 1992).

[3] *Формозов А. А.* Всемирный исторический масштаб или анализ отдельных источников? // Советская этнография. 1969. № 4. С. 100—101.

Царьград, без рассказа о хитроумном отмщении Ольги жителям Искоростеня, о подвигах шести «храбров» в Невской битве и засадного полка на Куликовом поле. Так же болезненно ощущается разрушение традиционных взглядов на всемирную историю. Тартарен из Тараскона в романе А. Доде был глубоко возмущен, когда ему сказали, что его любимый герой Вильгельм Телль — легендарная личность, что он никогда не существовал.[4] Легко ли расстаться с образом Галилея, смело отвечающего инквизиторам, что земля «все-таки вертится», и признать, что великий ученый был вынужден отречься от своих взглядов? «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — писал Пушкин, и как художник он мог так говорить. Писатель вправе приписывать историческому лицу, если тот является персонажем его произведения, то, что он м о г сделать и сказать: его творчество выходит за рамки сообщений источников.

Но история — не искусство, а наука, она претендует на и с т и н н о с т ь своих утверждений. Обедняет ли такая приверженность к «низким истинам» наши знания? Отказавшись от использования поздних или недостоверных источников как носителей информации о древности, мы получаем возможность оценить их как «остатки прошлого», как памятники того времени, когда они были созданы.

Уже в 1947 г. один из представителей петербургской исторической школы, ученик А. Е. Преснякова, Б. А. Романов предлагал рассматривать летописные рассказы «не как счастливо сохранившееся подобие „газетной“ (хотя и бедной) хроники, а как литературное произведение данной исторической секунды, отразившее именно эту историческую секунду с ее злобами дня, полемиками, тенденциями и борениями».[5] Предания о вещем Олеге, Игоре, Ольге, Алеше Поповиче не были описанием действительных фактов IX и X вв., но они отражали эпическую традицию, которой предстояло жить на Руси еще много столетий. Поздние сочинения о Куликовской битве не были «газетной» хроникой этого сражения, но они отражали постепенное осознание победы над Мамаем на протяжении столетия после битвы. Мы имеем серьезные основания сомневаться в том, что составитель Никоновской летописи имел в своем распоряжении древнерусский «лист», затерянный в древние времена и внезапно всплывший из недр московских архивов в XVI в. Но история составления этого летописного свода требует изучения. Как справедливо отметил Б. М. Клосс, «проблема уникальных известий Никоновской летописи до

[4] *Доде А.* Тартарен на Альпах. М.; Л., 1927. С. 63 и след.
[5] *Романов Б. А.* Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947. С. 8.

конца еще не решена и заслуживает дополнительного изучения».[6] Едва ли можно считать, например, что известие о Вадиме и восстании новгородцев против Рюрика было отражением политической тенденции Никоновской. Скорее, в рассказе о Вадиме можно видеть отражение устной традиции, которую составитель летописного свода считал нужным включить для полноты повествования (по той же причине включали в свое изложение аналогичные предания составители Начального свода и ПВЛ). Почему летописец XVI в. счел возможным использовать это предание? Это довольно сложный вопрос. Сводчик, составлявший Никоновскую летопись, был, по всей видимости, вполне лоялен по отношению к великим князьям всея Руси, считавшимся потомками Рюрика, но, с другой стороны, право Рюрика и его сыновей на русский престол в XVI в. уже никем не оспаривалось и летописец мог смело включить в свое изложение рассказ, в котором Рюрик выступал в не совсем положительной роли. Более важным могло представляться этому летописцу то обстоятельство, что Аскольд по его рассказу был христианином, а Рюрик и его преемники (вплоть до Владимира) — язычниками. Иосифляне, к числу которых принадлежал митрополит Даниил, были особенно привержены церковной ортодоксии и не затруднялись критиковать государей, если они были недостаточно привержены христианству.

Изучение летописных рассказов не только как носителей информации о том времени, о котором они повествовали, но и как памятников того времени, когда они были созданы, открывает перед историком такие возможности, каких не дает «потребительское» или иллюстративное использование этих памятников.

---

[6] *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII веков. М., 1980. С. 189.

В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ИДИОТОВ

Книга об Ильфе и Петрове

Издание второе,
исправленное и дополненное

ОТ АВТОРА

Книга об Ильфе и Петрове была написана в 1968—1980 гг., на некоторое время стала достоянием «самиздата», а в 1983 г. была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre». Как и название книги, псевдоним был заимствован из «Записных книжек» Ильфа: «Я знаю, что вы не Курдюмов, но вы настолько похожи на Курдюмова, что я решился вам сказать об этом» (*Ильф И., Петров Е.* Собр. соч. Т. 5. С. 261).

Пересматривая и дополняя книгу, я убедился, что за истекшие годы модные настроения в интеллигентской среде, отмеченные в ней, стали даже более заметными. Взглядов своих я не менял — не было необходимости поэтому вносить существенные изменения в текст.

Я. С. Лурье (А. А. Курдюмов)

1996 г.

...Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов...

И. Ильф. Последняя записная книжка

ВСТУПЛЕНИЕ

Кому принадлежат эти строки?

1) «Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового дерева. Скарлатиновое дерево растет в клистирной роще и пахнет чернилом...».

2) «Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли — в коньяк „Три звездочки“...».

3) «Мученики частного капитала чтут память знаменитого подрядчика Гинзбурга, баснословного домовладельца, который умер нищим... в советской больнице...».

4) «Палатки с медицинскими весами, тут же „докторский электрический аппарат“, помогающий от всех болезней. Очередь на весы, очередь к автомату...».

5) «Медицинские весы для лиц, уважающих свое здоровье».

6) «Больные толпятся возле аппаратов, врачи работают, и медицинская тайна блистает на их лицах».

7) «По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту...».

8) «Человек в сандалиях и зеленых носках, ошеломленный явлением гремучего экипажа, долго глядел ему вслед. На лице его было написано изумление, словно везли не бывший в употреблении рычаг Архимеда...».

9) «Дано сие тому-сему (такому-сякому) в том, что ему разрешается то да се, что подписью и приложением печати удостоверяется.

За такого-то.

За сякого-то».

10) «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

11) «Значит, когда эти баритоны кричат: „Бей разруху“, я смеюсь... Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он... займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой».

12) «Не надо бороться за чистоту. Надо подметать...».

13) «— Бога нет!

— А сыр есть? — грустно спросил учитель».

14) «— А дьявола тоже нет?...

— И дьявола...

— Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!».

Можно с уверенностью сказать, что опытный читатель почти сразу же узнает текст некоторых цитат и согласится, что и остальные цитаты принадлежат тому же автору, во всяком случае очень близки ему по стилю. Но едва ли найдется много таких, кто определит всех процитированных авторов и укажет, какие высказывания принадлежат одному автору, какие — другому и какие — третьему. Один из них — Осип Мандельштам, другой — Михаил Булгаков, а третий — Илья Ильф (в двух случаях — в соавторстве с Евгением Петровым).[1]

Мандельштам, Булгаков и Ильф — эти имена редко называются вместе. Правда, Булгаков, Ильф и Петров работали одно время в одном месте — в газете «Гудок» — и писали там юмористические заметки и фельетоны. Отчетливо ощущается в творчестве Булгакова, Ильфа и Петрова влияние гоголевской традиции.[2]

Сходство Ильфа с Мандельштамом обнаружить труднее. Для этого необходимо обратиться к прозаическим произведениям поэта, а с другой стороны, исследовать «Записные книжки» Ильфа, и в особенности последнюю из них, которая велась в 1936—1937 гг. (ряд цитат из нее уже был приведен). Авторский машинописный текст последней книжки И. Ильфа сохранился у его дочери А. И. Ильф (копия — в РГАЛИ),[3] он никогда не публиковался полностью.

---

[1] № 1, 8, 3, 4 — *Мандельштам О.* Собр. соч.: В 3 т. 2-е изд. Нью-Йорк, 1969—1971. Т. 2. С. 20, 122; Т. 3. С. 9—10. № 10, 11, 14 — *Булгаков М.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1989—1990. Т. 2. С. 35, 145; Т. 5. С. 45. № 7, 2, 5, 9, 13, 6, 12 — *Ильф И., Петров Е.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961 (далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страницы); Т. 2. С. 22; Т. 5. С. 167, 175, 195, 236, 245; *Петров Е.* Мой друг Илья Ильф // Журналист. 1967. № 6. С. 64 (ср.: Т. 3. С. 322—323).

[2] См.: *Молдавский Д.* Заметки о творчестве Ильфа и Петрова // Нева. 1956. № 5. С. 174; *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 121—124.

[3] Копия — РГАЛИ, ф. 1821, оп. 1, № 132; черновые записи — там же. № 97, л. 7—16. Далее в тексте цитируем авторскую машинопись (из архива А. И. Ильф) с указанием № листа.

Что же общего между приведенными текстами Ильфа, Мандельштама и Булгакова, если говорить не о поэтике, а о мировосприятии писателей, их манере думать и выражать свои мысли? Манера эта прежде всего специфически интеллигентская. Ироническое отношение к привычному, сближение далеких понятий, острое ощущение глубокой бессмысленности бытового ритуала, неизлечимая интеллигентность в самых резких эскападах.

И — как ни неожиданно звучит сочетание этих имен — судьбы их носителей не раз пересекались. Когда первый роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» вышел в свет, одним из немногих авторов, заметивших и приветствовавших книгу, был Осип Мандельштам. Отмечая, что «широчайшие слои сейчас буквально захлебываются книгой молодых авторов», охарактеризовав эту книгу как «брызжущий весельем памфлет», Мандельштам привел как «позорный и комический пример „незамечания“ значительной книги» гробовое молчание о ней критики.[4]

Роман «Двенадцать стульев» был написан двумя молодыми сотрудниками «Гудка». Булгаков стал знаменитым на два года раньше Ильфа и Петрова, когда в 1926 г. в Художественном театре пошли «Дни Турбиных». Связь между Ильфом, Петровым и Булгаковым не прерывалась и в последующие годы. В 1929—1930-е гг., когда разворачивалась первая травля Мандельштама (фельетон Заславского и т. д.), на страницах газет еще более шумно травили Булгакова; в 1930 г. все его пьесы были сняты со сцены. Дальнейшая судьба Булгакова была благополучнее судьбы Мандельштама — его миновали и ссылка, и лагерь, и благодаря этому в официальной критике, признавшей в конце 1960-х и в 1970-х гг. «по-настоящему русское дарование» Булгакова, появилась удобная, но недолговечная схема истории его творчества. Согласно этой схеме, Булгакова, как и Шолохова, Леонова и других, «планомерно и сознательно» травили «Авербах, Гроссман-Рощин, Мустангова, Блюм, Нусинов» (опущен Керженцев, не упомянуты Литовский — «Латунский» из «Мастера и Маргариты», Вс. Вишневский, Адуев, забыт Маяковский, также приложивший руку к травле писателя, — все они, очевидно, не подходили под схему). А спас Булгакова Сталин — звонком по телефону весной 1930 г.: «Этот телефонный звонок вернул писателя к творческой жизни. Булгаков стал заниматься любимым делом, служил во МХАТ'е режиссером-ассистентом, заново стал писать роман „Мастер и Маргарита“, рукопись которого сжег в ми-

[4] Статья «Веер герцогини» была напечатана в газете «Вечерний Киев» 25 янв. 1929 г.; ср.: *Мандельштам О.* Собр. соч. Т. 3. С. 56.

нуту отчаяния, работал над „Театральным романом"...».[5] Эта трогательная история имеет только один пробел: не указано, что после спасительного телефонного звонка Булгаков не напечатал ни одного из своих сочинений (в 1920-х гг. он все-таки печатался) и не смог поставить ни одной новой пьесы («Мольер» был написан до 1930 г.). Годы гибели Мандельштама были временем крушения всех попыток Булгакова вернуться в литературу; они длились до самой смерти писателя 10 марта 1940 г.

Ильф не пережил ни Мандельштама, ни Булгакова — он умер весной 1937 г. от туберкулеза; Евгений Петров погиб спустя пять лет на войне. В 1929 г. Мандельштам предрекал авторам «Двенадцати стульев», что критики «доберутся, конечно, до этой книги и отбреют как следует». Но предчувствие это оказалось неверным или, скорее, преждевременным. Ильфа и Петрова поругивали, несколько раз даже довольно серьезно, задерживали издание их книг, но в конце концов печатали. Предсказание Мандельштама сбылось только после смерти обоих писателей. В 1949 г. Ильф и Петров были осуждены за безыдейность. Б. Горбатов счел нужным извиниться за выпущенное после войны издание «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»: «...переизданные благодаря грубой нашей ошибке, эти романы приносят сейчас немалый вред». Возражая неким «молодым людям, плохо знающим историю советской литературы», Б. Горбатов писал: «Мы-то, „старики", помним, как начинали свой творческий путь И. Ильф и Е. Петров... Мы помним, как встречал читатель-современник выход в свет первых романов И. Ильфа и Е. Петрова „Двенадцать стульев" и „Золотой теленок". Уже тогда наш читатель и наша советская печать и сами мы — писатели — указывали авторам на то, как много обывательского в их романах, как много там безыдейного, пустого юмора ради юмора».[6] Такой же ошибкой было признано и переиздание «Одноэтажной Америки»: П. Павленко порицал Ильфа и Петрова за то, что они «наивно и неосторожно» расхвалили американский «сер-

---

[5] *Петелин В.* М. А. Булгаков и «Дни Турбиных» // Огонек. 1969. № 11. С. 27; *Бэлза И. Ф.* Генеалогия «Мастера и Маргариты» // Контекст. 1978. М., 1978. С. 222—223. И. Ф. Бэлза, пожалуй, нашел наиболее сильное доказательство благодетельной роли партии и ее вождя в жизни Булгакова: «Постановление „О перестройке литературно-художественных организаций", как можно полагать, сыграло немалую роль в настроении Булгакова, как и многих других деятелей культуры. Во всяком случае, 1932 год ознаменовался многими радостными событиями в жизни писателя — женитьбой на Елене Сергеевне, совместной поездкой в Ленинград...» (С. 238).

[6] *Горбатов Б.* О советской сатире и юморе // Новый мир. 1949. № 10. С. 215—216.

вис»,[7] а Н. Атаров объявил их книгу «примером забвения славной традиции Маяковского в изображении Америки». «В этой книге внимание читателей привлечено ко всем побрякушкам разрекламированного „сервиса". „Ищите средних людей, ибо они и составляют Америку", — сказал авторам их великий соблазнитель, попутчик в автомобильной поездке по Штатам — мистер Адамс, и они приняли на веру лживую философию торговых фирм и универмагов», — писал Атаров. «Сегодня невозможно читать эту книгу без чувства протеста. В „Одноэтажной Америке" вы видите, как отворяются окна в отеле на американский манер, но не видите, как отворяется „на американский манер" кровь из открытых ран негра на мостовой... Ни разу не сказано главное, всепоглощающее слово — страх! Страх перед палкой полицейского, перед старостью, перед безработицей».[8] А ведь Горбатов и Атаров выступали в роли доброжелателей обоих авторов, сожалеющих о переиздании их устаревших книг. Другие были решительнее. А. Г. Дементьев, например, причислял Ильфа и Петрова к «одесской группе литераторов», которая «находилась на декадентских позициях и как никакая другая группа в литературе была заражена низкопоклонством перед иностранщиной».[9]

Возвращение Ильфа и Петрова в литературу произошло в 1956 г. — были переизданы их романы; в 1961-м вышло в свет пятитомное собрание сочинений писателей, одним из редакторов которого оказался А. Г. Дементьев, недавно еще столь строгий к обоим одесситам, — к этому времени он стал заместителем редактора либерального «Нового мира». Издание Ильфа и Петрова было одним из актов послесталинского «реабилитанса», но совершился он легче и раньше, чем возвращение Булгакова и Мандельштама.

Однако не кощунство ли это — сочетание таких имен? Ведь Мандельштам и Булгаков были типичными интеллигентами и по мировоззрению, и по социальной позиции. Судьба их — судьба одиноких интеллигентов, уничтоженных государством. В противоположность им Ильф и Петров стали восприниматься с 1970-х гг. как «два молодых дикаря» 1920—1930-х гг., которые, «выполняя социальный заказ», оплевали «всю интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение». Творчество их было объявлено антигуманистичным, «дикарским скалозубством».

---

[7] *Павленко П.* Американские впечатления. М., 1949. С. 17.

[8] *Атаров Н.* Чему учиться у Маяковского? // Лит. газ. 1949. 1 окт.

[9] *Дементьев А.* Против антипатриотического эстетизма и формализма в поэзии // Звезда. 1949. № 3. С. 206. Переиздание Ильфа и Петрова осуждено уже в статье об ошибках издательства «Советский писатель» (Лит. газ. 1949. 9 февр.).

Все это можно услышать еще и сегодня от многих любителей литературы, хотя при жизни Ильфа и Петрова такие упреки никогда не высказывались ни в печати, ни кулуарно, ни даже среди эмигрантов, которым как будто естественно было бы протестовать против поклепов и доносов на самостоятельно мыслящую интеллигенцию. Ильфа и Петрова перепечатывали в эмигрантских изданиях; они были в числе немногих советских писателей, которых ценил В. Набоков. Но с 1970-х гг. антиинтеллигентская направленность творчества обоих писателей стала считаться столь бесспорным фактом, что когда публицистка М. Каганская, выросшая в 1960-е гг. и пишущая за рубежом, призналась в своей юношеской любви к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку», то она сочла необходимым специально оправдываться перед людьми старших поколений: «Да увидь мы хоть намек „доноса на интеллигенцию", хоть клочок... — Пусть не для всех, но для многих и тех именно, кто узаконил славу романов, были бы они скомпрометированы навеки, заглохли, увяли, перестали бы существовать...».[10]

Неизвестно, кого следует считать автором теории «антиинтеллигентства» Ильфа и Петрова, но впервые такие обвинения против обоих авторов были высказаны, по-видимому, в «Воспоминаниях» Надежды Яковлевны Мандельштам — вдовы Осипа Мандельштама, когда-то приветствовавшего авторов «Двенадцати стульев». Сорок лет спустя наиболее авторитетная истолковательница творчества Мандельштама оценила смысл сочинений Ильфа и Петрова совершенно иначе. «Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма — ради какой бы то ни было цели — к добру не приведет? Кто знал, что мы встали на гибельный путь, провозгласив, что „все дозволено"? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал», — писала она и дальше объяснила, что литература 1930-х гг. всячески стремилась осмеять «хилых» и «мягкотелых» интеллигентов: «За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили „мягкотелых" в „Вороньей слободке". Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристает к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются».[11] Еще суровее обошлась с обоими сатириками

---

[10] *Каганская М.* Наследники Толстоевского, или Шестидесятые годы // Время и мы. 1977. № 16. С. 135.

[11] *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 345.

Н. Я. во второй книге своих воспоминаний — здесь она заявила, что шутка 1920-х гг., получив «идеологическую обработку Ильфа и Петрова..., приблизилась к идеалу Верховенского» — т. е. Петра Верховенского из «Бесов».[12]

Примерно в то же время сходные упреки были высказаны другим, также весьма независимым автором — Аркадием Белинковым. Тема книги Белинкова — «сдача и гибель советского интеллигента» (это заголовок его книги); предметом критического исследования Белинкова был Юрий Олеша, земляк и приятель Ильфа и Петрова, работавший с ними и с Булгаковым в «Гудке». Белинков показывал, как Олеша, начавший со сказки о революции «Три толстяка» и весьма смелой книги «Зависть», сдавал затем одну позицию за другой. Постепенно умирая как писатель, Олеша в 1939 г. написал сценарий о работе органов безопасности, экранизацию знаменитой пьесы профессиональных знатоков этой тематики братьев Тур и Л. Шейнина «Очная ставка».

Особое место А. Белинков отводил раннему герою Олеши — поэту и интеллигенту Николаю Кавалерову из «Зависти». Кавалеров противостоит «сильной личности» из того же романа — партийцу, директору пищевого треста Андрею Бабичеву, который «если постарается», чтобы «человека выслали или посадили в сумасшедший дом», то «человека вышлют и посадят». На вопрос Андрея Бабичева: «Против кого ты воюешь, негодяй?» — он отвечает: «Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши... — не знаю! а я воюю против вас...». Но сам Олеша, по словам Белинкова, так и не смог занять определенного места в этом конфликте, он «метался... между любовью к поэту и колбаснику», стараясь «заглушить любовь к своему герою», он «придумал Кавалерову пьянство, оборванную пуговицу, приплюснутый нос, нежелание заниматься общественно полезным трудом, зависть».

Кого же противопоставляет А. Белинков сдавшемуся и погибшему Юрию Олеше? Белинков называет имена подлинных, несдавшихся интеллигентов: Булгакова, Бабеля, Ахматову, Пастернака, Мандельштама, Платонова, в одном случае — Д. Шостаковича. А Ильф и Петров? Если Олеша согласился осудить героя-интеллигента с неохотой и делал это «сбивчиво и противоречиво», то его «остроумные коллеги», по словам А. Белинкова, осуществили то же задание «охотно и радостно». Они «освистали интеллигенцию за то, что она думает, что революция посягает на демократию». Васисуалий Лоханкин из «Золотого теленка» «был опровержением Юрия Олеши» —

[12] *Мандельштам Н. Я.* Вторая книга. Париж, 1972. С. 143.

именно в его лице Ильф и Петров «осмеяли всю интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение». «Почти у каждого писателя тех лет был свой Лоханкин, и каждый из писателей то больше, то меньше, то сам, то препоручая эту ответственную работу своим героям, срамил своего Лоханкина. Этой в высшей степени респектабельной деятельности предавалась бóльшая и, конечно, лучшая часть нашей литературы приблизительно два десятилетия и только к концу 30-х годов сочла свою задачу по ряду показателей выполненной».[13]

Воспоминания Н. Я. Мандельштам и книга Белинкова были сугубо неофициальными сочинениями, не рассчитанными на одобрение вышестоящих органов. Тем более интересно отметить, что суждения и оценки, высказанные обоими авторами, не остались достоянием оппозиционной мысли. Почти сразу же после того, как книга Белинкова об Олеше стала предметом двух разгромных статей в «Литературной газете», печатание книги в сибирском журнале «Байкал» было прервано и сам автор вынужден был эмигрировать, данная им характеристика Васисуалия Лоханкина как оппозиционера была взята на вооружение той же самой «Литературной газетой». «Васисуалий Белинков избирает „Воронью слободку“» — назвал свой служебный фельетон об эмигранте Белинкове Вл. Жуков.[14]

Если Вл. Жуков позаимствовал у Белинкова только характеристику Лоханкина, то Олег Михайлов в книге «Верность. Родина и литература» пошел гораздо дальше Н. Мандельштам и А. Белинкова в общей отрицательной оценке творчества Ильфа и Петрова. Правда, в отличие от А. Белинкова О. Михайлов вовсе не беспокоился о судьбах демократии после Октябрьской революции и не защищал «интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение». Его заботило другое — «великая гуманистическая магистраль, идущая от нашей отечественной классики» и «продолженная в произведениях М. Горького и других советских писателей с поправкой на новые ценности и черты — народности, партийности, социалистического гуманизма». Называя имена достойных преемников этой традиции в современной литературе — Шолохова, Леонова, критик подчеркивал, что мы «не забываем о главном — гуманистическом, социальном, духовном, гражданском

---

[13] *Белинков А.* Поэт и толстяк // Байкал. 1968. № 1. С. 106—107; № 2. С. 102—104. Полный текст книги был издан посмертно: *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Подгот. к печати Н. Белинкова. Мадрид, 1976.

[14] См.: Лит. газ. 1968. 14 авг. Ср.: Лит. газ. 1968. 15 мая (статья Ю. Андреева); 5 июля (анонимная «Реплика»).

содержании подлинного высокого искусства», воплощенного в «социалистическом реализме». Именно этого высокого духовного, гуманистического содержания О. Михайлов не нашел у писателей «одесской школы», характеристику которой он во многом заимствовал у борца с космополитизмом 1949 г. (и либерала 1956 г.) А. Дементьева. Предварив главу, посвященную «одесской школе», эпиграфом из Толстого: «...Невозможно... писать, не проведя... черту между добром и злом», О. Михайлов далее заявил, что характерной особенностью произведений «одесской школы» было неумение или нежелание провести такую черту, полнейший этический релятивизм. «Этические принципы» «одесской школы» присущи и романам Ильфа и Петрова: «...В этих произведениях мы не обнаруживаем ровного нравственного горения; полюсы добра и зла смещены; и в отрицании, и в симпатиях ощутим этакий моральный релятивизм — всюду проглядывает мысль об относительности разного рода духовных ценностей». «Безусловной симпатией в их произведениях окружены герои, для которых не существовало обычных нравственных норм, — деклассированные, денационализированные»,[15] — писал автор. Созданный им неологизм — понятие «денационализированный» — противостоит, как можно догадаться, не термину «национализация», а слову «национальность»: отсутствие у литературного персонажа необходимой национальности подрывает, по мнению автора, нравственные нормы этого персонажа. Примером такого «денационализированного» героя, очевидно, и является Остап Ибрагимович Бендер, «сын турецко-подданного» и, естественно, авантюрист.

Обнаруженные О. Михайловым черты «морального релятивизма» Ильфа и Петрова и дали ему основание противопоставить обоих авторов их современнику — Михаилу Булгакову. Возражая А. Вулису,[16] находившему черты сходства в творчестве Булгакова и этих писателей, О. Михайлов подчеркивал «принципиальное отличие булгаковской прозы от фельетонной стихии Ильфа и Петрова»: «Боль за человека, внимание к его страданиям резко распределили в романе Булгакова свет и тени, почти начисто истребив в нем благодушный юмор: никакого сочувствия проходимцам, бойким халтурщикам и гешефтмахерам...». Далее О. Михайлов ставил несколько странный вопрос о предполагаемом месте Остапа Бендера в «Мастере и Маргарите» и категорически заявлял, что в романе Булгакова Остап «выглядел бы уже начисто ли-

---

[15] *Михайлов О.* Верность. Родина и литература. М., 1974. С. 141—142, 145, 163—164.

[16] См.: *Вулис А.* И. Ильф, Е. Петров. М., 1960.

шенным своего двусмысленного шарма...»;[17] в роман Булгаков его просто не пустил бы.

Михайлова поддержали его единомышленники. В. Петелин признал мысль о создании «Мастера и Маргариты» в полемике с «одесской школой» одной из «серьезных и глубоких мыслей», высказанных в литературе о Булгакове.[18] Глобальное расширение такой характеристики Ильфа и Петрова мы находим у И. Шафаревича. Осуждение обоих писателей он увязывает с общей идеей «русофобии» и козней «Малого народа» против «Большого». «Кажется, пора бы пересмотреть и традиционную точку зрения на романы Ильфа и Петрова», — пишет Шафаревич. «В мягкой, но четкой форме в них развивается концепция, составляющая, на мой взгляд, их основное содержание. Действие их как бы протекает среди обломков старой русской жизни, в романах фигурируют дворяне, священники, интеллигенты — все они изображены как какие-то нелепые, нечистоплотные животные, вызывающие брезгливость, отвращение. Им даже не приписывается каких-то черт, за которые можно осудить человека. На них вместо этого ставится штамп, имеющий целью именно уменьшить, если не уничтожить чувство общности с ними, как с людьми, оттолкнуть от них чисто физиологически: одного изображают голым, с толстым отвисшим животом, покрытым рыжими волосами, про другого рассказывают, что его секут за то, что он не гасит свет в уборной...».[19]

Ссылок на Ильфа и Петрова в статье Шафаревича нет, и приведенные им примеры (из «Золотого теленка») требуют комментария. В первом случае речь идет о художнике-деляге, спешившем как можно скорее получить заказ на портрет ответственного товарища. «...из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо. Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: „Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление!“» (2, с. 98). Образ

---

[17] *Михайлов О.* Верность. С. 174. Упомянув «гешефтмахеров», О. Михайлов далее пояснил эти слова, называя персонажей «Мастера и Маргариты»: «...всякого рода Латунским, Ариманам и прочим Варенухам». Это уточнение озадачивает. «Гешефтмахер» (нем. и идиш) означает по-русски «делец», этим словом обычно обозначают спекулянтов, валютчиков и т. д. Между тем у Булгакова Варенуха — администратор варьете, ни в каких махинациях не замеченный, а Латунский и Ариман — влиятельные советские журналисты, коллеги О. Михайлова. Разумеется, и этих лиц можно назвать «гешефтмахерами», но лишь в переносном смысле.

[18] *Петелин В.* Михаил Булгаков: Жизнь; Личность; Творчество. М., 1989. С. 481.

[19] *Шафаревич И.* Русофобия // Наш современник. 1989. № 11. С. 17.

действительно малопривлекательный, но ни из чего не видно, что владелец потного брюха должен быть причислен к «обломкам старой русской жизни», «дворянам, священникам, интеллигентам», и нет никакого указания на его принадлежность к Большому или, напротив, Малому народу. Во втором случае речь идет о том же Васисуалии Лоханкине; заметим, что люди, совершавшие над ним экзекуцию, по своим воззрениям (2, с. 151) довольно близки И. Р. Шафаревичу.

Перед нами, как видим, суровый и решительный приговор Ильфу и Петрову, вынесенный авторами самых различных направлений.[20] В большой работе о рукописях Булгакова Мариэтта Чудакова высказала — походя, как нечто само собой разумеющееся — распространенное мнение о трактовке темы «интеллигенция и народ» в «Золотом теленке», сославшись на осуждение Васисуалия Лоханкина как на «хрестоматийный пример».[21]

Итак перед нами взгляд, ставший уже хрестоматийным. Как велика сила воздействия этого взгляда, мы уже видели на примере М. Каганской, извинявшейся перед «людьми 30-х годов» за былую привязанность к Ильфу и Петрову. Еще более твердо усвоил хрестоматийный взгляд Марк Поповский: «Для того, чтобы в 1937 году войти в доверие к Сталину... нужно было совершить какие-то действия...», — объяснял он в статье о К. Симонове. «Илья Ильф и Евгений Петров сочиняли заказные пасквили на русскую интеллигенцию...».[22] Какие именно «заказные пасквили» сочиняли Ильф и Петров? При чем тут 1937 г., в начале которого Ильф умер? М. Поповский явно не задается подобными вопросами: «сочиняли», и все тут. М. Каганская деликатнее и осторожнее, но и ей даже не пришла в голову мысль, что люди, которые в 1930-е гг. «попросту не заметили» романов Ильфа и Петрова, а «тридцатилетие спустя, заметив — обиделись», могли и ошибиться в своих запоздалых обидах, что вопрос этот во всяком случае требует проверки на источниках — сочинениях самих писателей.

Вынося приговор Ильфу и Петрову, его судьи не очень беспокоились об обосновании этого приговора: нетрудно показать, что в ряде случаев они не только не подвергли серьезно-

---

[20] Ср.: *Иванов Вяч. Вс.* О применении точных методов в литературоведении // Вопр. лит. 1967. № 10. С. 126; *Пименов Р.* О науке, об истории, о нравственности // Нева. 1988. № 8. С. 170; *Костиков Вяч.* О «феномене Лоханкина» и русской интеллигенции // Огонек. 1988. № 49. С. 7.

[21] *Чудакова М. О.* Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 71 (примеч. 110).

[22] *Поповский М.* Идеальный советский писатель // Континент. 1980. № 24. С. 305.

му разбору, но даже не прочли как следует осуждаемые ими романы.

Оправдывая свою позицию перед возможными защитниками Ильфа и Петрова, Н. Я. Мандельштам писала: «Многие обидятся за упомянутые вскользь „Двенадцать стульев“. Я сама смеялась и смеюсь над разными жульническими эпизодами и ахаю, как это авторы осмелились написать, что Остап Бендер с прочими жуликами, войдя в писательский вагон, едущий по вновь открытой линии Турксиба, растворился среди своих пишущих собратий и всю дорогу проехал неузнанным и неразоблаченным. Но над „Вороньей слободкой“ смеяться грех».[23] К сожалению, однако, это объяснение еще более усиливает недоумение тех, кто способен обидеться за упомянутые вскользь «Двенадцать стульев». Более того, при самом уважительном отношении к Н. Я. Мандельштам поклонники этого романа не могут поверить утверждениям писательницы, что, читая «Двенадцать стульев», она смеялась над сценами в писательском вагоне и была обижена описанием «Вороньей слободки». Дело в том, что ни «Воронья слободка», ни «унылый идиот» Лоханкин, ни писательский поезд, направляющийся на открытие Турксиба, вообще не упоминаются в «Двенадцати стульях»: все это сцены из другого романа — из «Золотого теленка». Легко представить себе, как отнеслась бы Н. Я. Мандельштам к автору, который, критикуя Мандельштама, ухитрился бы перепутать его основные сочинения! Кстати, и в «Золотом теленке» Остап устроился в писательском вагоне один, а не с «прочими жуликами». Остап Ибрагимович действительно не уступал в интеллигентности братьям-писателям, но Шура Балаганов, Паниковский и Козлевич все же вызвали бы подозрения даже среди членов СП.

Так же плохо помнил романы Ильфа и Петрова и Варлам Шаламов, одобривший Н. Я. Мандельштам за то, что она «не прошла мимо омерзительного выпада Ильфа и Петрова против интеллигенции в „Двенадцати стульях“».[24] Как и Н. Я. Мандельштам, вспоминая осуждаемых им писателей, Шаламов путал давно читанные им «Двенадцать стульев» с «Золотым теленком». Впрочем, у него был свой счет к писателям: он ставил им в вину образ «фармазона Остапа Бендера», отражавший, как ему казалось, «моду на налетчиков», проявившуюся в сочинениях Бабеля, Леонова, Каверина и других.[25] Вражда Шаламова к уголовникам имела веские основа-

---

[23] *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. С. 348.

[24] Переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам // Знамя. 1992. № 2. С. 172.

[25] См.: *Шаламов В.* Левый берег. М., 1989. С. 449.

ния: с уголовниками Шаламов встречался в лагерях, где эти «социально близкие» заключенные были почти полными хозяевами и издевались над «врагами народа». Но мог ли среди лагерных «блатарей» оказаться Остап Бендер? Это очень сомнительно: профессиональным уголовником Остап не был, «кодекс чтил» и попасть в заключение мог скорее по политической статье — за нарушение государственной границы или «измену родине».

Вопрос об общественной позиции Ильфа и Петрова, об основных идеях их произведений, естественно, шире и важнее вопроса о том, правы или неправы их суровые критики. Было ли специфически интеллигентское отношение к миру, бросающееся в глаза в «Записных книжках» Ильфа, присуще и его совместному с Е. Петровым творчеству, или это случайная и даже мнимая черта? Действительно ли основной или важной темой их сочинений было осмеяние интеллигенции, проявлявшей гуманизм и претендовавшей на собственное мнение? Говоря об антиинтеллигентской направленности романов Ильфа и Петрова, их критики имеют в виду, главным образом, один персонаж — Васисуалия Лоханкина из «Золотого теленка». Не играющий существенной роли в сюжетном построении романа, Лоханкин тем не менее довольно прочно сохранялся в памяти читателей и стал для нынешних критиков Ильфа и Петрова основным (и едва ли не единственным) доказательством их «антиинтеллигентства».

Но прежде всего: почему Лоханкин — интеллигент? Ответ на этот вопрос не прост хотя бы потому, что однозначного и общепризнанного определения слова «интеллигентность» не существует. Традиционное определение — образованность, широта интересов. Данные о Лоханкине, которые мы имеем, в этом случае достаточно определенны: изгнанный из пятого класса гимназии и проводящий свой досуг за картинками и объявлениями из «Родины» за 1899 г., Васисуалий Андреевич едва ли может считаться разносторонне образованным человеком. Да, действительно, сам он причисляет себя к интеллигентам, этим же словом ругает его жена Варвара, но права носить звание интеллигента у него не больше, чем у Ипполита Матвеевича Воробьянинова — считаться гигантом мысли, отцом русской демократии и особой, приближенной к императору.

Однако определенный уровень образования — не единственный признак интеллигентности. Интеллигенцией называют еще мыслящую часть общества, ту его часть, которая наблюдает за окружающим миром, осмысляет его, ставит и разрешает «проклятые вопросы». Очевидно, Лоханкин претен-

дует на интеллигентность именно в таком смысле. С правом или без права он берет на себя роль общественного мыслителя и выразителя страданий интеллигенции. «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма», «Лоханкин и его роль в русской революции» — таковы излюбленные предметы размышлений Васисуалия Андреевича. «А может быть, так надо, — говорит он жене, жалующейся на хамство соседей. — Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение...».

Что же хотели сказать Ильф и Петров, создавая этот образ? Почему именно в уста недоучившегося гимназиста писатели вложили рассуждения о трагических судьбах интеллигенции? Думали ли они при этом об интеллигенции как об особом социальном слое или как о носителях какой-то «интеллигентской» идеи — и какой именно?

Подобные же вопросы встают и при осмыслении других образов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Мы остановились на Лоханкине только потому, что о нем особенно охотно говорили критики Ильфа и Петрова. Еще важнее образ самого «великого комбинатора». Кто он такой: «фармазон», по брезгливому определению В. Шаламова, прямой потомок Жиль Блаза и Фигаро, как считал В. Шкловский,[26] или, может быть, еще кто-нибудь? Каково было подлинное отношение авторов к другим персонажам — например, к Воробьянинову, отцу Федору, Паниковскому?

Все эти вопросы связаны с более широкой проблемой — с оценкой творчества Ильфа и Петрова и их места в русской литературе XX в. Когда-то Ильф и Петров создали образ «литературной обоймы» — стандартного набора имен виднейших писателей, имеющегося в распоряжении критиков: «Ну, знаете, как револьверная обойма. Входит семь патронов — и больше ни одного не впихнете. Так и в критических обзорах. Есть несколько фамилий, всегда они стоят в скобках и всегда вместе. Ленинградская обойма — это Тихонов, Слонимский, Федин, Либединский. Московская — Леонов, Шагинян, Панферов, Фадеев».[27] Много воды утекло с 1932 г., когда были написаны эти строки. Мало кто читает теперь Слонимского и Либединского, да и Шагинян с Панферовым явно потеряли свое видное место. С конца 1930-х гг. прочно вошли в обойму советские классики — А. Н. Толстой и Шолохов. Но кроме официаль-

[26] *Шкловский В.* «Золотой теленок» и старый плутовской роман // Лит. газ. 1934. 30 апр.

[27] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 43. Цитируемый рассказ «На зеленой садовой скамейке» не был включен в пятитомное Собрание сочинений.

ной обоймы всегда существовала и другая — кулуарная, отличающаяся от формально утвержденной, но не совсем свободная от ее влияния. Положение Ильфа и Петрова по отношению к этой обойме было всегда довольно неопределенным и двусмысленным. Первая же их книга имела оглушительный успех, но успех писателей сразу же был признан в литературных кругах временным и несерьезным. Юмористов редко считают настоящими писателями — разве что они жили много веков назад и твердо зачислены в классики. Ильф и Петров имели не раз возможность ощутить такое отношение к избранному ими литературному жанру. «В ужасных препирательствах прошла молодость... — писали они в 1932 г. — Враги говорили, что юмор — это низкий жанр, что он вреден. Плача, мы возражали. Мы говорили, что юмор вроде фитина. В небольших дозах его можно давать читателю...». И там же — об их литературном собрате Михаиле Зощенко:

«— А про Зощенко все еще ничего не пишут. Как раньше не писали, так и сейчас. Как будто и вовсе его и на свете нет.

— Да. И знаете, — похоже на то, что этот ленинградский автор уже немножко стыдится своего замечательного таланта. Он даже обижается, когда ему говорят, что он опять написал смешное. Ему теперь надо говорить так: „Вы, Михаил Михайлович, по своему трагическому дарованию просто Великий Инквизитор". Только тут он слегка отходит, и на его узких губах появляется осмысленно-интеллигентная улыбка. Приучили человека к тому, что юмор — жанр низкий, не достойный великой русской литературы. А разве он Великий Инквизитор? Писатель он, а не инквизитор...» (3, с. 175). «Теперь уже окончательно выяснилось, что юмор — не ведущий жанр. Так что можно, наконец, говорить серьезно, величаво. Кстати, давно уже хочется застегнуться на все пуговицы и создать что-нибудь нетленное...» — читаем мы в другом фельетоне (3, с. 231).

И даже в 1960-х гг., когда Ильфа и Петрова уже разрешили печатать и еще не объявили хулителями интеллигенции и носителями «морального релятивизма», вопрос об их месте в обойме советской классики вызывал сомнения. «Он умер в чине Чехонте...» — с искренним соболезнованием писал об Ильфе И. Эренбург.[28] В этой краткой фразе — своеобразная идея литературной «табели о рангах». Чехов стал классиком потому, что после «Письма ученому соседу», «Смерти чиновника» и «Хамелеона» написал «Крыжовник» и «Дядю Ваню». Сам Эренбург, видимо, был убежден, что он попал в большую рус-

[28] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове: Сб. М., 1963. С. 182.

скую литературу именно потому, что стал создавать свои «эпические полотна» — «День второй», «Падение Парижа», «Бурю».

Во второй половине 1929 г., когда рапповский журнал «На литературном посту» впервые обратил внимание на Ильфа и Петрова, там же была помещена любопытная анкета «Как мы относимся к Чехову», приуроченная к юбилею писателя. «Отношусь к нему в высшей степени отрицательно... — решительно заявил старый большевик Ольминский, — я не отрицаю таланта Чехова, но это пустой талант». «...Я родился позднее его героев, и мне он уже ничего не говорит своим творчеством... Чехова, я думаю, сейчас мало кто читает. Очень старый писатель он», — сказал П. Павленко.[29] И даже когда «Литературная газета» сочла нужным почтить Чехова и посвятила ему передовую статью, то начиналась она так: «А. П. Чехов любил утверждать, что его будут читать семь лет. Он ошибся. Со дня смерти Чехова прошло 25 лет, а сочинения его выходят издание за изданием» (Лит. газ. 1929. 15 июня). Эти ободряющие слова звучат сейчас дико, но ведь действительно к 1929 г. прошло только 25 лет со дня смерти Чехова, и было еще живо поколение, не уверенное в том, классик Чехов или нет.

Со дня смерти Ильфа прошло почти 60 лет, со дня смерти Петрова — 50. В 1928 г., когда вышли в свет «Двенадцать стульев», Г. Блок писал, что эта книга — «легко читаемая игрушка, где зубоскальство перемешано с анекдотом... Социальная ценность романа незначительна, художественное качество невелико».[30] Пять лет спустя А. Зорич дал примерно такую же оценку другой книге писателей — «Золотому теленку»: «Для чего она написана, каким целям и каким идеям призвана служить?.. Приходится признать, что она написана исключительно во имя смеха... Это книжка для досуга, для легкого послеобеденного отдыха... Она будет быстро прочитана и столь же быстро забыта, не оставив после себя никакого следа...».[31]

Время все-таки иногда бывает настоящим судьей, и полвека с лишним спустя люди, читая эти предсказания, прежде всего спросят: кто такие Г. Блок и А. Зорич, предрекавшие скорое забвение Ильфу и Петрову? Поясняем: Г. Блок — кузен поэта, сам писавший рассказы, А. Зорич — фельетонист, сотрудничавший в 1920-х и 1930-х гг. в тех же органах печати, что и Ильф с Петровым.

---

[29] На лит. посту. 1929. № 17. С. 57 и 63.

[30] Книга и профсоюзы. 1928. № 9. С. 52.

[31] *Зорич А.* Холостой залп. Заметки читателя // Прожектор. 1933. № 7—8. С. 23—24.

После выхода в свет первого издания этой книги восприятие Ильфа и Петрова не претерпело значительных изменений. Несколько работ появилось за рубежом.[32] М. Каганская, воспринявшая в 1970-х гг. представления Н. Мандельштам и А. Белинкова об «антиинтеллигентстве» Ильфа и Петрова, по-видимому, отказалась от прежних взглядов. В книге, написанной совместно с З. Бар-Селла, о Белинкове иронически упоминается, как о «лучшем, талантливейшем из Белинских наших дней», предупреждавшем «о двух продажных фельетонистах, совершивших поклеп со взломом на интеллигенцию». «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» (как и «Мастер и Маргарита») трактуются в книге как первоклассная «литература, которая, как ей и положено, гуляет в стороне от своих невеселых подруг — религии и мистики».[33]

Ценный труд посвятил романам Ильфа и Петрова Ю. Щеглов. Еще в статьях, написанных в Советском Союзе, Ю. Щеглов и А. Жолковский исследовали поэтику «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»;[34] впоследствии они вновь обратились к этой теме.[35] Ю. Щеглов опубликовал в 1991 г. развернутый комментарий к обоим романам.[36] Отмечая, что отрицательное отношение к этим романам в большой степени было порождено «советским оппозиционным истэблишментом, значительная часть которого относилась к Ильфу и Петрову с хорошо разыгранным пренебрежением», Ю. Щеглов отверг легенду о писателях, будто бы выполнявших «социальный заказ», «состоявший в том, чтобы травить интеллигенцию, „претендовавшую на собственное мнение“». По его убеждению, «инсинуации о высмеивании и травле Ильфом и Петро-

---

[32] Еще в 1975 г. была опубликована немецкая монография об Ильфе и Петрове: *Zehrer U.-M.* «Dvenadcat' stul'ev» und «Zolotoj telenok» von I. Il'f und E. Petrov. Entstehung, Struktur, Thematik (Banstük zur Geschichte der Literature bei den Slawen. Bd 3). Gießen, 1975.

[33] *Каганская М., Бар-Селла З.* Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив, 1984. С. 5, 173.

[34] *Жолковский А., Щеглов Ю.* 1) Структурная поэтика — порождающая поэтика // Вопр. лит. 1967. № 1. С. 82—89; 2) К описанию смысла связного текста (на примере художественных текстов) // Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. М., 1971. Вып. 22. С. 45—49; *Щеглов Ю.* Семиотический анализ одного типа юмора // Семиотика и информатика. М., 1975. Вып. 6. С. 185—198.

[35] *Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.* Мир автора и структура текста: Статьи о русской литературе. [изд-во] Эрмитаж (Нью-Джерси). 1986. С. 85—117; *Щеглов Ю. К.* О мифологизме романов Ильфа и Петрова // Wiener Slawistischer Almanach. 1985. Bd 15; *Жолковский А. К.* Искусство приспособления // Грани. № 138. 1985. С. 88—91.

[36] См. также: коммент. Ю. К. Щеглова в изд.: *Ильф И. А., Петров Е. П.* Двенадцать стульев: Роман. М., 1995, а также его статью «О романах И. Ильфа и Е. Петрова „Двенадцать стульев“ и „Золотой теленок“» в этом же изд. (*Ред.*)

вым мыслящих профессионалов, преследовавшихся в эти годы властью... образом Лоханкина ни в малейшей мере не подтверждаются».[37] В противовес тем, кто рассматривал Остапа Бендера прежде всего как жулика и уголовника, Ю. Щеглов признал важнейшей особенностью героя романа (соглашаясь в этом с автором этой книги) его «принципиальную невовлеченность» «в дела и страсти „отдельных лиц и целых коллективов", свободу от идеологий...». В подтверждение этой мысли Ю. Щеглов сослался на проницательное замечание В. Набокова, считавшего — в отличие от Белинкова и Н. Мандельштам, — что Ильф и Петров создали «образцы абсолютно прекрасной литературы под знаком полной независимости», благодаря тому, что героем своим избрали «персонаж, стоящий вне советского общества», а такой персонаж «плутовского (picaresque) плана» «не может быть обвинен в том, что он недостаточно хороший коммунист или даже просто не коммунист».[38] Мнение Набокова заслуживает особого внимания потому, что его уж никак нельзя было причислить к тем «читателям шестидесятых годов», которые не сознавали, по словам Н. Мандельштам, «куда направлена» сатира Ильфа и Петрова «и над кем они издеваются». Набоков был не советским «дикарем», а интеллигентом старой формации. Это не мешало ему, как и Осипу Мандельштаму, видеть в сочинениях обоих авторов не «донос на мыслящую интеллигенцию», а «абсолютно прекрасную литературу».

Заслуживает также внимания недавняя полемика критиков Л. Сараскиной и Б. Сарнова об Ильфе и Петрове.

Толчком к полемике было наблюдение Сарнова, что подпись отца Федора в письме к супруге в «Двенадцати стульях» — «твой вечно муж Федя» — совпадает с подписью Достоевского в письме к жене Анне Григорьевне: «твой вечно Достоевский» (сходны и некоторые сюжеты писем). Сарнов справедливо заметил, что подобное пародирование не является для сатириков экстраординарным поступком, что к такому же пародированию чужих текстов, часто весьма почтенных, прибегал и сам Достоевский.[39] Но Сараскиной это наблюдение (да еще употребление в фельетонах подписи «Ф. Толстоевский») показалось достаточным для резкого осуждения обоих писателей. Она обвинила этих «новых растиньяков» в том, что они, «в точном соответствии с программными документами

---

[37] *Щеглов Ю. К.* Романы И. Ильфа и Е. Петрова: Спутник читателя. Wien, 1991. Т. 1—2. С. 8, 37, 526, 528.

[38] *Nabokov Vladimir.* Strong opinions. New York, 1981. P. 87.

[39] *Сарнов Б.* Тень, ставшая предметом // Советская литературная пародия. М., 1988. Т. 1.

большевистской партии», ударили «по вершинным точкам» Достоевского, борьба с которым была «не только идеологической, но и политической задачей эпохи и должна была охватывать самые широкие сферы общественной и культурной жизни». Осуществлением важнейшей идеологической задачи, поставленной перед «наемной литературой», были «Двенадцать стульев», в которых Сараскина усмотрела пародию на «Бесов» Достоевского.[40]

Л. Сараскиной ответил Б. Сарнов. Он показал, что параллели между персонажами «Двенадцати стульев» и «Бесов» абсолютно надуманы, что, вопреки утверждениям Сараскиной, нет ни малейшего сходства между Остапом Бендером и Петром Верховенским, Ипполитом Матвеевичем и Ставрогиным: «Следуя этой логике, с неменьшим основанием можно было бы предположить, что Ипполит Матвеевич Воробьянинов — пародия на Онегина, или на Печорина, или — еще того лучше — на старого князя Болконского...».[41] Что касается псевдонима «Толстоевский», то в нем «имя Толстого слышится гораздо отчетливее, чем имя Достоевского», однако в стремлении ударить по его «вершинным точкам» Сараскина Ильфа и Петрова почему-то не обвиняла.

В статье Сарнова содержится еще ряд убедительных соображений о романах Ильфа и Петрова, на которых здесь нет необходимости останавливаться, тем более что они во многом совпадают с наблюдениями автора этой книги.[42] К сожалению, однако, статья Сарнова, как и книга Щеглова, едва ли изменит установившееся отношение к Ильфу и Петрову.

Создатели «великого комбинатора» по-прежнему не занимают сколько-нибудь видного места в литературно-критических трудах; их сочинения не включают в новые курсы истории литературы. Никогда не входившие в прежнюю «обойму», Ильф и Петров не попадают и в новую.

Возникает парадоксальная ситуация. Ильфа и Петрова читатели знают и помнят, их чуть ли ни ежедневно цитируют в печати, по радио и телевидению. Они не просто классики; они — читаемые классики. Книги их, выходившие в предыдущие десятилетия ежегодно, ныне не только не исчезли с прилавков, но остаются «бестселлерами», самыми популярными

---

[40] См.: *Сараскина Л.* Ф. Толстоевский против Ф. Достоевского // Октябрь. 1992. № 3. С. 188—197.

[41] *Сарнов Б.* Что же спрятано в «Двенадцати стульях»? // Октябрь. 1992. № 6. С. 165—182.

[42] Б. Сарнов, очевидно, не был знаком ни с первым изданием моей книги, вышедшим в Париже в 1983 г., ни с нашими двумя статьями на ту же тему, напечатанными в журнале «Звезда» (1990, № 4 и 1991, № 9): в своей статье он на них не ссылается.

изданиями: за период с 1970 по 1996 г. включительно «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» издавались (вместе и отдельно) во всех городах России и бывшего Советского Союза 111 раз.[43] Но в академическом литературоведении они не существуют или существуют где-то на периферии.

В чем тут дело? Видимо, не только в том, что Ильф и Петров принадлежали к мало уважаемой категории «юмористов» (Зощенко этот порок простили). Оценка роли Ильфа и Петрова в русской литературе в значительной степени связана с оценкой всей той эпохи, к которой они принадлежали. С середины 1960-х гг. к советскому читателю начала приходить потаенная русская литература, которую от него скрывали полвека. Были напечатаны «Мастер и Маргарита» и другие вещи Булгакова, сочинения Андрея Платонова, до русских читателей дошла литература, изданная за рубежом: Бунин, Замятин, Набоков. Сходные сдвиги произошли и в восприятии стихов. Главными фигурами русской послереволюционной поэзии стали считаться Пастернак, Мандельштам, Цветаева и Ахматова, а Маяковский, у памятника которому в 1960-х гг. собиралась независимая молодежь, стал казаться сомнительной фигурой.

Конечно, подозрительность, с которой критики и публицисты (а возможно, и некоторые из читателей) относятся к писателям, легально издававшимся в советские годы, объясняется не только модными настроениями, но и вполне законными соображениями. Могли ли быть настоящими писателями люди, подчинявшиеся цензуре и самоцензуре? Именно этот вопрос ставил Аркадий Белинков в книге об Олеше и решал его, как мы знаем, отрицательно: весь творческий путь писателя

---

[43] Сыктывкар, 1970; М., 1971; Кишинев, 1972; Сыктывкар, 1973; М., 1974; М., 1975 (2 изд.); Владивосток, 1975; Ижевск, 1976 и 1977; Кишинев, 1977; Якутск, 1979 (2 изд.); Орджоникидзе, 1979; М., 1979, 1980; Волгоград, 1981; М., 1981; Минск, 1981; М., 1982 (5 изд.); Ашхабад, 1982; Ташкент, 1982 (3 изд.); М., 1983 и 1984; Фрунзе, 1984; Ташкент, 1984; Алма-Ата, 1984 (2 изд.); Ростов-на-Дону, 1986 (2 изд.); М., 1986 (2 изд.); Свердловск, 1986; Душанбе, 1986 и 1987; М., 1987; Хабаровск, 1987 и 1988; Томск, 1987; Алма-Ата, 1987; М., 1987 (3 изд.); Чебоксары, 1988; Улан-Удэ, 1988; Саратов, 1988; Каунас, 1988; Архангельск, 1988; М., 1988 и 1989 (2 изд.); Иркутск, 1989; Горький, 1989 и 1990; Казань, 1990; Одесса, 1990; М., 1990; Элиста, 1991; М., 1991 (3 изд.); Таллинн, 1991; Казань, 1992 (2 изд.); Новосибирск, 1992 (2 изд.); Челябинск, 1992 (2 изд.); Магадан, 1992; Краснодар, 1992 (2 изд.); СПб., 1992; М., 1992 (4 изд.); Тольятти, 1993; Красноярск, 1993 (2 изд.); Калуга, 1993 (2 изд.); Барнаул, 1993; М., 1993 (2 изд.); Владивосток, 1993; Николаев, 1994; М., 1994 (4 изд.); М., 1995 (4 изд.); Тула, 1995. Кроме того, в 1994 г. их произведения были включены в состав 4-томного собрания сочинений (Петрозаводск) и в первый том нового 5-томного собрания сочинений (М., 1994—). Из всех перечисленных изданий лишь 2 — М., 1987 («Двенадцать стульев») и М., 1995 («Золотой теленок») осуществлено на основе нового обращения к прижизненным публикациям; комментарии написаны Ю. К. Щегловым. (*Ред.*)

представлялся ему путем «сдачи и гибели». Однако люди, считающие такой итог творческой деятельности советского писателя единственно возможным, забывают, что проблема «писатель и цензура» возникла в русской литературе задолго до 1917 г. Без цензуры русская литература существовала недолго — в основном после 1905 г. Это обстоятельство не помешало русской литературе XIX в. стать великой литературой.

Советские писатели жили и работали под особо жестким контролем — таким, какого не знали их предшественники в XIX в. Но все ли писатели пошли по пути «сдачи и гибели» или творчество некоторых из них оказалось сильнее «социального заказа»?

Мы попытаемся ответить на этот вопрос, обратившись к сочинениям Ильфа и Петрова.

Глава I
НАКАНУНЕ

Предреволюционные годы занимают довольно скромное место в сочинениях Ильфа и Петрова. В основном все, что они писали, было связано с современной им жизнью. Старый режим — это почти древность, воспоминания старика Фунта из «Золотого теленка»: «...не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я, второе общество взаимного кредита? Где товарищества на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все?» (2, с. 178). Это также надписи на золотых портсигарах, добытых Остапом перед отправлением за границу: «Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от членов Черноморского градоначальства», «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания» (там же, с. 381). И все же тема дореволюционной России — и дореволюционной Одессы — подспудно присутствует в их книгах, и не только в следах старого адвокатского красноречия у Бендера. Воспоминания о предреволюционных годах отразились и в романах писателей, и в автобиографических записях Ильфа (Евгений Петров таких воспоминаний, видимо, почти не сохранил — он был в те годы еще совсем юн). Вот отрывок из главы «Прошлое регистратора загса», написанной для «Двенадцати стульев», но исключенной из окончательной редакции романа:

«Был 1913 год.

Французский авиатор Бранденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах, с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на

перенесенное испытание, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку.

Жизнь била ключом.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества „Свободной эстетики" встречала вернувшегося из Полинезии К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу...

Два молодых человека — двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Долматов познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить...

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест.

В Старгородской газете „Ведомости градоначальства" появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас, —
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых» (1, с. 546—547).

В «Золотом теленке» (в рассказе о юности подпольного миллионера Корейко) приводится сцена, взятая из чуть более поздних, военных лет:

«От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и поэтому он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика:

— Последние телеграммы! Наши наступают! Слава богу! Много убитых и раненых! Слава богу!» (2, с. 55).

Воспоминания Ильфа о тех же годах в последней записной книжке столь же мало идилличны:

«Девочки в гимназии на вопрос: „Чем занимается ваш папа?", всегда отвечали: „Онанизмом". Было модно отвечать именно так...

Великобританский подданный Николай Гарвей и графиня Менгден обвинялись в краже книг из издательства Девриен и продаже их букинистам...

Фурорная певица г-жа Милликети, по паспорту шлиссельбургская мещанка Ефросинья Кузнецова, обвинялась в исполнении нецензурной шансонетки „Шар"...

Решение это состоялось по делу французской певицы Бланш-Гандон, которая позволила себе пение непристойных куплетов, сопровождавшихся соответствующими телодвижениями...»[1].

Это не разоблачение «нравов царского режима» — рядом в записной книжке помещены не менее острые сцены, относящиеся к современным 1930-м гг. Это просто то, что запомнилось Ильфу из быта предреволюционных лет. Теснейшая связь между живыми воспоминаниями и главой «Прошлое регистратора загса» подтверждается одним фактом. В главе из «Двенадцати стульев» упоминается старгородский цензор Плаксин и его верноподданнические вирши. Цензор этот — совершенно реальная фигура, но жил он не в Старгороде, а в родном городе Ильфа — Одессе, а приведенные в книге стихи были написаны не к трехсотлетию Романовых, а «в память Высочайших... проездов через Одессу» Николая II. После строк о мамаше и папаше следовало еще:

Взгляни ты — как много народа
Из церкви сегодня идет!..
А солнышко с ясного свода
Златые лучи так и льет!..
И солнышко, дитятко, знает,
Что праздник великий настал,
Что нынче к нам ТОТ прибывает,
КОГО САМ ГОСПОДЬ нам избрал!..[2]

Но не один цензор Плаксин писал в эти годы в Одессе верноподданнические стихотворения. Вот еще стихи, напечатанные как раз в 1913 г.:

---

[1] Приведенные фрагменты из последней записной книжки И. Ильфа не включены ни в одно из изданий (в том числе Собр. соч., т. 5): по-видимому, они показались слишком фривольными. Цитируются по авторской машинописи из архива А. И. Ильф и копии в РГАЛИ, ф. 1821, оп. 1, № 132.

[2] В память высочайших Его Императорского величества Государя Императора Николая II проездов через Одессу. Изд. Одесской городской управы (отдельная листовка с портретом царя, без даты). С. Плаксин — весьма плодовитый автор; в Одессе издавались его стихи (1887, 1896, 1903, 1913), фарсы, комедии. О нем см.: *Ворт В.* Цензоры-восьмидесятники // Вестн. литературы. 1919. № 5. С. 15. Стихи Плаксина произвели на Ильфа и Петрова столь сильное впечатление, что они приводят их в рассказе «Детей надо любить», где Плаксин правильно упоминается как одесский цензор (3, с. 129). Любопытно, что стихотворение воспроизведено в обоих случаях по памяти неточно; в четвертой строке у Плаксина читаем: «Не *едет* брат *Мишенька* в класс?». В отличие от юных Файнзильберга и Катаева плаксинский Мишенька в класс не ходил, а ездил.

ПРИВЕТ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА В ДЕНЬ СЕМИЛЕТИЯ ЕГО

Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый.
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал...
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни, Господь, Россию и царя.

В. Катаев[3]

Да, да, Валентин Катаев, брат Евгения Петрова, юный гимназист, впоследствии описавший — но несколько по-иному — те же самые смуты в повести «Белеет парус одинокий» и в других сочинениях. В «Одесском вестнике», официальном «Органе Одесского губернского отдела Союза русского народа», где печатались эти стихи, он опубликовал за какие-нибудь два года более двадцати пяти стихотворений, и не только лирических, но и эпических, высокопатриотических.[4]

Впрочем, можно полагать, что юношеская приверженность В. Катаева к Союзу русского народа не была особенно глубокой, как и его последующие политические настроения. Прошло несколько лет, разразилась революция, и Катаев — вместе с Багрицким и Олешей — стал сугубо революционным поэтом; началась гражданская война, Одессу заняли белые —

---

[3] Одесский вестн. (Орган Одесского губернского отдела Союза русского народа) 1913. 27 янв. Любопытно, что стихотворение это было опубликовано Катаевым в 1913 г. уже вторично. Точно такие же стихи напечатаны им в «Одесском вестнике» за 4 февраля 1912 г. — только вместо семилетнего юбилея отмечался шестилетний.

[4] Например: «И племя Иуды не дремлет, шатает основы твои, народному стону не внемлет и чтит лишь законы свои. Так что ж! Неужели же силы, чтоб снять этот тягостный гнет, чтоб сгинули все юдофилы, Россия в себе не найдет?..» (Одесский вестн. 1911. 19 нояб.; о том, что литературная деятельность В. Катаева началась с «Одесского вестника», сообщается в его биографиях — см.: *Сидельникова Т.* Валентин Катаев: Очерк жизни и творчества. М., 1957. С. 8—9; ср.: КЛЭ. Т. 3. Стб. 436).

позиция Катаева, соответственно, изменилась; окончательно победили красные — и Катаев осознал себя «сыном Революции», почти большевиком, и сохранил эту позицию до старости (официально в партию он вступил, однако, гораздо позже — в 1958 г.).

Но тогда, после 1905 г., отречение от «смут» и патриотический монархизм были так же модны, как запомнившиеся Ильфу остроты гимназисток, отвечавших, что их папа «занимается онанизмом». В рассказе «Пробуждение», изданном Валентином Катаевым в 1912 г., описывалась «смутная пора 1905 г.», когда герой рассказа по фамилии Расколин, «увлеченный какими-то фантастическими идеями, под влиянием дурной среды», пошел «с револьвером в руках» на баррикады. Но вот окончилась его ссылка, он встретил девушку Таню и «забыл навеки бурную, полную волнений и тревог жизнь».[5]

Преданность монархии и царствующему дому выражала в 1913 г. и другая сверстница Ильфа — гимназистка Зинаида Шишова, ставшая через четыре года участницей сугубо революционного поэтического кружка Багрицкого и Катаева:

Боже, дай, чтоб долго, долго
Род великий процветал,
Чтоб, как прежде, пред грозою
Головы он не склонял...[6]

Илью Ильфа эта мода, очевидно, не захватила, и он вспоминал патриотические вирши тех лет с отвращением. Но таковы были настроения тех лет, если не преобладающие, то, во всяком случае, достаточно распространенные среди интеллигентской молодежи. О потере каких-либо общественных идеалов, расцвете эротики и откровенной порнографии, убийствах и самоубийствах писали и Лев Толстой, и Куприн, и Андреев,

---

[5] *Катаев Валентин.* Пробуждение: Рассказ. Одесса, 1912. С. 1, 12. Другой рассказ юного В. Катаева, напечатанный отдельной брошюрой, — «Темная личность». «Несмотря на незначительность сюжета, в рассказе была дана живая картина нравов буржуазной прессы», — пишет биограф писателя, утверждая, что «осуждение пошлого обывателя-репортера Сашки и его влиятельного патрона Аркадия Аверченко определило весь тон реалистического повествования» (*Сидельникова Т.* Валентин Катаев. С. 9). В «реалистическом повествовании» описаны беспробудно пьяный А. Куприн и Аркадий Аверченко, пресмыкающийся перед своим хозяином, Моисеем Геноховичем Корнфельдом, который выражается так: «Господин Аверченко, зачем я буду снимать своего пальта, если я забежал к вам для одной минутки?.. Это стихотворение таки себе эпиграмма вовсе, но аванса я вам дать не могу, накажи меня Бог!». Аверченко становится перед Корнфельдом на колени, тот дает ему 25 рублей, и Аверченко целует издателю руку (*Катаев В.* Темная личность. Одесса, 1912. С. 10—13).

[6] Рус. речь. 1913. 24 февр.

и Горький, и Чуковский, и Саша Черный. Восторги выражали цензор Плаксин и провинциальные гимназисты — серьезная литература воспринимала эти годы как безвременье.

Но один мотив особенно настойчиво звучал в литературе после 1905 г. Это — тема интеллигенции и ее исторической судьбы. Была ли интеллигенция, сыгравшая столь важную роль в неудавшейся революции, жертвой или виновницей происшедшего?

Вопрос об интеллигенции и народе, об ответственности русской интеллигенции за несчастья России был особенно остро поставлен в сборнике «Вехи», вышедшем в 1909 г. Тематика этого сборника была весьма разнообразной — здесь ставились и религиозно-философские проблемы, и вопросы общественного правосознания, и многие другие. Нас интересует в данном случае одна тема «Вех» — тема интеллигенции, государства и неудавшейся революции 1905 г. «...революция не дала того, чего от нее ожидали», — писали авторы сборника, упоминая всеобщую «апатию» и «духовный разброд», «военно-полевые суды и бесконечные смертные казни».[7] «...революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией», — заявлял С. Н. Булгаков, упрекая интеллигенцию во «всенародности». «Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику... — писал П. Б. Струве. — В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции».[8] Интеллигенция, по словам Бердяева, виновата в неудаче русской революции из-за своего «народопоклонства» и «человекопоклонства» — «атеистичность ее сознания есть вина ее воли, она сама избрала путь человекопоклонства и этим исказила свою душу...». Та же мысль в многократно цитировавшемся заявлении М. О. Гершензона: «Могла ли эта кучка искалеченных душ остаться близкой народу?.. Сонмище больных, изолированное в родной стране, — вот что такое русская интеллигенция... Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».[9]

---

[7] Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. 4-е изд. М., 1909. С. 23 (С. Булгаков), 171 (П. Б. Струве).

[8] Там же. С. 25, 160, 164.

[9] Там же. С. 22, 85, 87, 89.

Появление «Вех» вызвало горячие споры в печати. Авторов упрекали, в частности, в том, что учиненному ими суду над интеллигенцией была присуща «неряшливость предварительного следствия». «Не определив с точностью, кто участвовал в преступном сообществе, именуемом „русская интеллигенция“, уже начали процесс».[10]

Авторы пытались расклассифицировать русских писателей на интеллигентов и неинтеллигентов: «...Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента», но «вечно борется в себе с интеллигентским ликом»; «Михайловский, напр<имер>, был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого индивидуального чекана, чем Чернышевский... Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков... носит на себе, и весьма покорно, мундир интеллигента. Достоевский и Толстой каждый по-различному срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир» и т. д.[11]

Решительно отверг идеи «Вех» Д. Мережковский. Если «веховцы» обличали интеллигенцию, то Мережковский, напротив, горячо защищал ее. Еще до появления «Вех» он протестовал против «дикой травли русской интеллигенции»: «Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция, — положения между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии...».[12] Возражая авторам «Вех», обвинявшим интеллигенцию в «безрелигиозности», он доказывал, что по существу «революционное сознание» интеллигенции не «атеистично», а глубоко мистично, «эсхатологично» — «это бессознательное эсхатологическое самочувствие и делает интеллигенцию народною, во всяком случае более народною, чем „народники“ Вех...». «Освобождение, если еще не есть, то будет религией... — заканчивал Мережковский. — Жив Господь наш, живы души наши, — да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение...».[13]

Легко заметить, что, несмотря на остроту этой дискуссии, между обеими сторонами было немало общего. И для авторов «Вех», и для Мережковского главным было «религиозное сознание»: «безрелигиозность» интеллигенции считалась пороком, от которого ей необходимо избавиться. Признавал Ме-

---

[10] *Игнатов Н.* Интеллигенция на скамье подсудимых // В защиту интеллигенции. М., 1909. С. 81. Ср.: *Пешехонов А.* На очередные темы. Новый поход против интеллигенции // Рус. богатство. 1909. № 4. С. 112—123.

[11] Вехи. С. 163—164 (П. Б. Струве).

[12] *Мережковский Д. С.* I. Грядущий хам. II. Чехов и Горький. СПб., 1906. С. 25.

[13] *Мережковский Д.* Семь смиренных // Речь. 1909. 26 апр.

режковский и то, что П. Струве называл «мистикой государства». Вовсе не отвергая «русского империализма», Мережковский настаивал только на том, что «будущий русский империализм на современной русской конституции — мыльный пузырь на соломинке». А в лекции, прочитанной уже во время войны, он заявлял: «Сейчас, на полях сражений, русская интеллигенция умирает заодно с народом, потому что любит с ним одно... Да здравствует великая русская армия, да здравствует великая русская интеллигенция!».[14]

Но главное, что сближало участников спора, было их глубокое убеждение в огромной, поистине титанической роли русской интеллигенции. Авторы «Вех» могли сколько угодно обличать интеллигенцию, но она оставалась для них «пупом земли» и демиургом истории. Именно «кастовая интеллигентская самоуверенность» сборника вызвала резко отрицательное отношение к нему Льва Толстого.[15] Приписывая интеллигенции столь огромное могущество, авторы «Вех» ставили характер русской революции в прямую зависимость от дурного или хорошего поведения русской интеллигенции. При этом ни «Вехи», ни Мережковский не заботились об определении того термина, который играл главную роль в их дискуссии. Их не смущало то обстоятельство, что интеллигенты могут обладать самой различной идеологией, что интеллигентами были люди, стоявшие по своим взглядам и «правее» и «левее» их. Иногда, правда, они вспоминали собственную принадлежность к интеллигенции, но мысль об этом как-то отходила в сторону, и спор продолжал идти об «интеллигенции» вообще (плохой или хорошей) и о противостоящем ей «народе».

А между тем в русской литературе начала XX в. существовал и иной взгляд на русскую интеллигенцию. И авторы «Вех», и Мережковский не раз ссылались на Чехова, но ни та, ни другая сторона не имела оснований зачислять писателя в свои союзники. Именно то, что сближало Мережковского с «Вехами», — его религиозность, — отделяло его от Чехова, и сам Чехов высказался от этом вполне определенно. Когда С. П. Дягилев предложил Чехову совместно с Мережковским войти в редакцию журнала «Мир искусств», писатель ответил: «...как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигент-

---

[14] *Мережковский Д.* Завет Белинского: Публичная лекция. [Пг., 1915]. С. 42—43.

[15] См.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Т. 38. С. 285—286.

ного верующего».[16] Чехов действительно в одном из писем (1899 г.) горько упрекал «нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую», но упрекал ее совсем не за «безрелигиозность», «народопоклонство» или непонимание «мистики государства». Напротив, он ставил ей в вину прислужничество государству, склонность к карьеризму, стяжательству и то, что «ее притеснители выходят из ее же недр»: «Пока это еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила...». Чехов был не склонен видеть в интеллигенции нечто единое: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало».[17] Интеллигенция для Чехова не носительница какой-то определенной идеи и не «преступное сообщество». Интеллигенция — просто часть общества, получившая образование, и если у нее есть общие обязанности, то это обязанности профессиональные — учить школьников, лечить больных, двигать науку. Главным же предметом презрения и сарказма писателя были те, кто этого делать не умел и не собирался, — в сущности, не интеллигенты, а самозванцы от интеллигенции. Если авторы «Вех» говорили об интеллигентах, отказавшихся от «интеллигентского лика» и срывавших «интеллигентский мундир» (включая в эту категорию и самого Чехова), то Чехов выводил на сцену прямо противоположную категорию лиц — тех, кто напяливал мундир интеллигента без всякого на то права. Таков, например, Рашевич, «жаба» из рассказа «В усадьбе», именующий себя «старым студентом, идеалистом» и негодующий, что «цивилизация висит уже на волоске», хотя «вот уже двадцать лет прошло, как не прочел он ни одной книжки».[18] Но рядом с такими лжеинтеллигентами или интеллигентами, не ставшими «надеждой и будущим России» (Лаевский, Серебряков, Ионыч, Беликов), для Чехова всегда существовали другие люди: честно, хотя и с трудом делаю-

---

[16] *Чехов А. П.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1964. Т. 12. С. 495.

[17] *Там же.* С. 273—274.

[18] *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1977. Т. 8. С. 338, 340—341.

щие свое «интеллигентское» дело — Осип Дымов, профессор из «Скучной истории», Астров.

Наиболее последовательным продолжателем чеховской традиции по отношению к интеллигенции был старший земляк Ильфа и Петрова Саша Черный. На первый взгляд, и он мог бы казаться обличителем интеллигенции, но это не так. Предмет сатиры Саши Черного — это именно люди, носящие «мундир» интеллигента без всякого на то права, бездельники, ничего не читающие или читающие без всякого смысла:

Истомила Идея бесплодьем интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей куски.

Но рядом с ними другие, явно симпатичные автору персонажи — студентки-медички и замученный лаборант, «Мадонна шестого семестра» Женского медицинского института.

В публицистике эта точка зрения была высказана определеннее всего А. Пешехоновым. Для Пешехонова, как и для Чехова, нет интеллигенции вообще, а есть люди, чье образование налагает на них определенные обязанности. До 1905 г. между интеллигенцией и народом стояла стена, установленная государством, и стена недоверия. «Под напором революционного возбуждения обе стены рухнули... Прежде, однако, чем произошло органическое слияние интеллигенции и народа, стена опять встала между ними — стена полицейских стеснений... Имеются люди, которые пытаются восстановить и другую стену — стену непонимания и недоверия, — восстановить ее, если не в жизни, то в воображении...».

А между тем реальный, а не абстрактный народ хочет от интеллигенции прежде всего одного — знаний, книг. «Если интеллигенции не с чем сейчас идти к народу, то пусть она на его нуждах и потребностях сосредоточит хотя бы свое внимание: мысль не замедлит вскрыть, что от нее народу нужно. Да и сейчас много найдется, с чем можно и нужно идти к народу... Если камень свалился, будем опять, хотя и медленно, поднимать его в гору...».[19]

Представляют ли эти споры какой-нибудь интерес сейчас, в конце XX в.? Современникам и читателям Ильфа и Петрова, несомненно, показалось бы, что речь идет о проблемах далекого прошлого. Но прошли еще десятилетия, началась переоценка полувекового опыта, и старый сборник вновь привлек

[19] *Пешехонов А.* На очередные темы. Времяпрепровождение // Рус. богатство. 1909. № 5. С. 131.

к себе внимание, обретя неожиданную популярность. Интеллигенты 1960—1970-х и особенно 1990-х гг. XX в. увидели в двенадцатилетии между двумя русскими революциями не тяжелую эпоху безвременья, а, напротив, светлые годы России — чуть ли не время «парламентаризма», а в «Вехах» усмотрели предостережение против грядущей революции.

Справедливо ли это? В «Вехах» действительно осуждалась революция, но не будущая, а прошедшая — революция 1905 г. Авторы «Вех» были убеждены, что революция безнадежно провалилась, а самодержавие победило надолго, может быть, навсегда, и исходили именно из такого признания: «Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали...».[20] Старая гегелевская формула о разумности действительного, о неизбежности совершившегося не раз оказывала влияние на русских интеллигентов. Пафос «Вех» не в предостережении против будущей революции, а в призывах к отказу от политической борьбы — во всяком случае в тех ее формах, какие проявились в 1905 г. И единственный конкретный совет на будущее, который мы находим в «Вехах», — последовать примеру «национальной революции», совершившейся в 1908 г. в Турции. Заявляя в заключение своей статьи, что «самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок», Изгоев писал: «...история младотурок была и вечно будет ярким примером той нравственной мощи, которую придает революции одушевляющая ее национальная идея».[21] Для того чтобы проверить прозорливость Изгоева, не понадобилось вечности: «нравственная мощь» младотурок обнаружилась уже спустя несколько лет, когда носители «национально-государственной идеи» осуществили первый в истории XX в. геноцид, уничтожив более миллиона армян.

Но в феврале 1917 г. русская революция, которой не ждали ни «Вехи», ни вообще большинство интеллигентов, политиков и прочих граждан, совершилась. Как же отнеслись к ней те, кого часто считают провидцами будущих бед России? Не только с одобрением, но и с восторгом. «Русская революция — самая национальная, самая патриотическая, самая всенародная из всех революций, наименее классовая по своему характеру... И эта особенная связь революции с войной не может быть разорвана, она должна продолжаться. Патриотическое негодование способствовало свержению старой власти, подозрение

[20] Вехи. С. 23.
[21] Вехи. С. 124.

в измене и предательстве нравственно доконало старую власть; неспособность ее стать на высоте задач обороны страны сделали объективно невозможным ее дальнейшее существование. Этот патриотически-оборонческий мотив русской революции обязывает ее продолжать войну»,[22] — писал Н. А. Бердяев. Этой же теме была посвящена и его специальная брошюра «Интернационализм, национализм и империализм». «Только сознательный и прогрессивный русский империализм может охранить мир и все народы мира от опасности воинствующего, насильнического, одержимого волей к господству германского империализма», — писал Бердяев. Недопустима бессмысленная фраза «без аннексий и контрибуций», недопустимы и лозунги национального самоопределения народов России: «...Национальное самоопределение Украины есть просто наша болезнь и наше несчастье... Использовать трудные для России дни хотят и финляндцы, хотят все. Кавказ желает отделиться... Притязания великих национальностей, создавших великие государства и культуры, на государственное и культурное преобладание должны быть признаны, как выражение реальной творческой мощи, как источник излучения света для национальностей малых и слабых. Реальный вес великоросса иной, чем белоруса, чем грузина или татарина...». Величие империализма и ложность идей национального самоопределения подтверждается и мировым опытом: «Колонии чувствуют неразрывную связь с Англией и любят ее... Империализм жертвенен и вдохновляется силой, славой и ценностью расового духа для мировой жизни, социализм же утилитарен и вдохновляется исключительно счастием и благополучием людей».[23] К той же теме Бердяев возвращается еще не раз. «Мечтательный интернационализм, — писал он, — оттесняет нас в Азию и уединяет нас. Он обрекает нас на одинокий позор. Да не будет этого, да восстанет против этого русский народ, который спасал Россию в смутную эпоху и в отечественную войну!».[24]

Он не восстал или восстал совсем не так, как рекомендовал Бердяев, вызвав этим глубокое разочарование философа — теперь уже не только в интеллигенции, но и в народе.[25] Власть взяли как раз те люди, которые выступали как крайние интер-

---

[22] *Бердяев Н.* Психология переживаемого момента // Рус. свобода (Еженедельник). 1917. № 2. С. 6—7. Ср.: *Струве П. Б.* Наша задача // Там же. С. 1—5.

[23] *Бердяев Н.* Интернационализм, национализм и империализм. М., 1917. С. 10—29.

[24] *Бердяев Н.* Положение России в мире // Рус. свобода. 1917. № 5. С. 11.

[25] См.: Из глубины: Сб. статей о русской революции. [Paris]: YMCA-Press, 1967. С. 185, 251, 314.

националисты. Но излишним «народопоклонством» эти люди не страдали. Не прошло и трех месяцев, как новая власть, объявившая себя первоначально «временным рабоче-крестьянским правительством», образованным до созыва Учредительного собрания, разогнала это собрание — первый в истории России парламент, избранный всеобщим, равным и тайным голосованием при многопартийной системе. А спустя три года люди, казавшиеся Бердяеву «мечтательными интернационалистами», сумели восстановить почти всю государственную территорию бывшей империи. «Финляндцев», правда, вернуть еще не удалось, но и Кавказ, и Украина были воссоединены. В этой обстановке у интеллигентов-патриотов, первоначально осуждавших новую власть, стали возникать идеи, во многом близкие к идеям «Вех». Сборник, изданный в 1921 г. в Праге и переизданный в Советской России, так и назывался — «Смена Вех». Он начинался с благодарного воспоминания о предшественниках — создателях сборника «Вехи». Вынесенный ими «приговор русской интеллигенции» признавался справедливым и переносился на тех интеллигентов, которые теперь, в 1921 г., не хотят признать советскую власть. Власть эта стабилизировалась, утверждали в 1921 г. авторы: «Отныне и надолго или навсегда покончено со всяким революционным экстремизмом, со всяким „большевизмом" в широком и узком смысле... Революция уже не та, хотя во главе ее — все те же знакомые лица, которых ВЦИК отнюдь не собирается отправлять на эшафот... Большевистский орден несравненно сплоченнее, дисциплинированнее, иерархичнее якобинцев...». Отдав, таким образом, дань историческому предвидению не более удачному, как видим, чем предвидение Бердяева в 1917 г., составители «Смены Вех», подобно их предшественникам, призывали интеллигенцию признать историческую реальность. Вновь выдвигалась «крупная мысль Струве в „Вехах"» — «мысль о **мистике государства**»: «Будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила великой революции, наверное, будет такою, какою ее отчасти видели, отчасти хотели видеть авторы „Вех". Только все отрицательное в ней, что раньше проистекало из ее революционного назначения, впредь не будет давать себя знать, исчезнет, сгладится... Конкретно это выразится в том, что русская интеллигенция уловит начала **мистического** в государстве, проникнется „мистикой государства". Тогда из внегосударственной и антигосударственной она сделается государственной и чрез ее посредство государство — Русское Государство — наконец-то станет тем, чем оно должно быть: „путем Божиим на земле"».[26]

---

[26] Смена Вех: Сб. статей... Июль 1921 г. Прага. Переизд. Тверь, 1922. С. 5—6, 15, 42—43 (Ю. Ключников), 61 (Н. Устрялов). В статье «„Вехи" и

Итак, для того чтобы стать такой, какой «хотели ее видеть авторы „Вех“», чтобы утратить свою «вненародность» и проникнуться «мистикой государства», интеллигенция должна признать советскую власть. Призыв «Смены Вех» не остался без ответа. С Запада вернулись эмигранты А. Н. Толстой, И. С. Соколов-Микитов, Н. Я. Агнивцев, потом Андрей Белый. Споры на тему «интеллигенция и народ», «интеллигенция и революция» стали в начале 1920-х гг. не менее популярны, чем во времена «Вех».

Но споры эти велись в иных условиях, чем в 1909 г. Говоря об эпохе, наступившей после 1905 г., упоминают жестокую карательную политику властей, массовые смертные казни, духовный упадок. Все это было, но не следует забывать еще одну особенность той же эпохи: революция 1905 г. привела к отмене предварительной цензуры; репрессии за антиправительственные высказывания применялись, и довольно широко, но лишь после того, как эти высказывания были напечатаны. Такое положение существовало во всяком случае до 1915 г. (когда была введена предварительная военная цензура, частично перенявшая функции политической).

Февральская революция принесла с собой полную свободу печати, но к лету 1918 г. новая власть постепенно отменила ее. Были запрещены все антибольшевистские издания, включая социалистические. После окончания гражданской войны был введен нэп, появились частные и кооперативные издательства, но теперь уже все печатное подвергалось предварительной цензуре, и весьма жесткой.

Это не означало еще полной унификации идеологии, но путь к такой унификации был уже намечен. В 1909 г. на тему об интеллигенции и ее отношении к государству имели возможность высказаться в печати все направления — от крайне правых до крайне левых. После 1921 г. на эти темы тоже спорили, но в основном устно и кулуарно; в печати могли появляться лишь такие отклики, которые исходили из той же посылки, что и «Смена Вех», — из посылки политической лояльности к власти. Интеллигенты еще могли различаться по взглядам, но интеллигенции все настойчиво предписывалась единая, твердо обозначенная линия.

Такова была обстановка, когда в 1923 г. в Москву, независимо друг от друга, приехали два молодых одессита — Ильф и Петров.

„Смена Вех“» веховец Изгоев признавал, что Устрялов и Ключников «исходят из круга идей, близких к взглядам авторов „Вех“», но выражал сомнения в согласии коммунистов подвести «национальный фундамент» под свое государство (см.: О Смене Вех. Пб., 1922. С. 21—24).

Глава II

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

В феврале 1917 г., когда в России произошла революция, Илье Ильфу было двадцать лет, Евгению Петрову — четырнадцать. Они принадлежали к разным общественным слоям, к разным национальностям. «А мы даже не родственники... И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой — еврей (загадочная еврейская душа)», — писали они впоследствии в юмористической автобиографии.[1]

В отличие от Мандельштама Илья Файнзильберг не мог сказать о себе даже, что он связан с «миром державным» «только младенчески», — он никак не был связан с этим миром. «Закройте дверь. Я скажу вам всю правду. Я родился в бедной еврейской семье и учился на медные деньги»,[2] — писал он впоследствии.

Отец Ильи Ильфа был бухгалтером, отец Евгения Петрова-Катаева — гимназическим преподавателем. Впоследствии старший брат Евгения Валентин сделал все, чтобы «улучшить» свое происхождение: он приписал отцу вольнодумные взгляды и связанные с ними служебные неприятности, а себе самому — любовь к революции с детских лет. Литературные дебюты юного Валентина Катаева, о которых мы упоминали, заставляют усомниться в точности такой автобиографии. Но мы отмечали также, что и черносотенные настроения юного Валентина едва ли были особенно серьезными. Во всяком случае стихи старшего брата никак не характеризуют настроений

[1] *Ильф И., Петров Е.* Соавторы // Кажется смешно: Сб. М., 1935. С. 40—41 (ср.: 5, с. 504—505).

[2] *Ильф И.* Записные книжки. М., 1957. С. 193. В Собр. соч. эта запись выпущена.

младшего,[3] и можно думать, что отношение Евгения Катаева к Февралю было таким же, как и у большинства его сверстников, — восторженным.

Вероятно, наилучшее представление о том, как будущие Ильф и Петров восприняли революцию, дают стихи их земляка — Эдуарда Багрицкого:

Студенческие голубые фуражки,
Солдатские шапки, треухи, кепи,
Пар, летящий из мерзлых глоток,
Махорка, гуляющая столбами...
Круговорот полушубков, чуек,
Шинелей, воняющих кислым хлебом,
И на кафедре — у большого графина,
Совсем неожиданного в этом дыме —
Взволнованный человек в нагольном
Полушубке, в рваной косоворотке,
Кричит сорвавшимся от напряженья
Голосом и свободным жестом
Открывает объятья...
Большие двери
Распахиваются.
Из февральской ночи
Входят люди, гримасничая от света...[4]

Но уже через год первые впечатления должны были смениться другими — менее радужными. В опущенной главе из «Двенадцати стульев» Ильф и Петров, говоря о будущем Ипполита Матвеевича Воробьянинова, описывали эти впечатления, совсем непостижимые для старгородского предводителя дворянства в 1913 г.: «...Не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и вообразил, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного „каганца", сыпнотифозного бреда и лозунга „Сделал свое дело и уходи" в канцелярии загса уездного города N» (1, с. 548). Конечно, сытый бездельник и бонвиван Воробьянинов описывался авторами без симпатии, и участь этого человека, бежавшего в 1918 г. в товарно-пассажирском поезде из родного Старгорода, не вызывала у них большого сочувствия. Но хлебные очереди, масляные «каганцы» и сыпнотифозный бред — все это в равной

[3] Воспоминания о литературной деятельности молодого В. Катаева, отразившиеся в незаконченной книге Е. Петрова «Мой друг Ильф», вполне младенческие: «Мой брат Валя... Валя водит меня по редакциям. Я вспоминаю, что когда-то он тоже водил меня по редакциям. „Женька, идем в редакцию!". Я ревел...» (*Петров Е.* Мой друг Ильф // Журналист. 1967. № 6. С. 61).

[4] *Багрицкий Э.* Избранное. М., 1948. С. 182.

степени могло касаться и бывшего предводителя дворянства Воробьянинова, и статистика, журналиста, бухгалтера Ильи Файнзильберга, и агента уголовного розыска, каким, по воле судьбы, оказался после окончания гимназии Евгений Катаев.

В 1923 г., когда Ильф и Петров приехали в Москву, жизнь в стране обретала уже иные черты. «В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом... Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый...» — писал Е. Петров в 1939 г. в воспоминаниях об Ильфе (5, с. 507—508). Жизненный уклад, описанный Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях», отличается от времени гражданской войны, но особенно привлекательным его не назовешь. В бывшем особняке Воробьянинова расположилась «государственная богадельня», дом собеса, где хозяйничает «голубой воришка» Альхен; ордерами на мебель Воробьянинова и других бывших людей Старгорода распоряжается другой вор — архивариус жилотдела Коробейников.

Первый роман Ильфа и Петрова был вместе с тем первым произведением молодых авторов, написанным совместно. До этого романа (сюжет которого был предложен им Валентином Катаевым) они писали раздельно и в разных жанрах: Ильф преимущественно очерки, Петров — юмористические рассказы.

Судьба «Двенадцати стульев» оказалась довольно своеобразной. Написанная в 1927 г. и вышедшая в свет в середине 1928 г. (параллельно с публикацией в журнале «30 дней»), книга была очень сочувственно встречена читателями и почти не замечена критикой. «Первая рецензия в „вечерке". Потом рецензий вообще не было», — вспоминал впоследствии Петров.[5] Заметка в «Вечерней Москве» (21/IX) была написана в том стиле, который писатели впоследствии определили как «удар палашом по вые». «Роман читается легко и весело»,— писал рецензент «Вечерки» Л. К., но вместе с тем «утомляет». «Утомляет потому, что роман, подымая на смех несуразицы современного быта и иронизируя над разнообразными представителями обывательщины, не восходит на высоты сатиры... Авторы прошли мимо действительной жизни — она в их наблюдениях не отразилась...».[6] Затем, как рассказывал Е. Петров, критика замолчала,[7] хотя книга бы-

[5] *Петров Е.* Мой друг Ильф. С. 61.

[6] В памяти Е. Петрова остался еще странный упрек торопливого рецензента, что авторы не сумели изобразить «быт студентов» (Там же. С. 62).

[7] Е. Петров не заметил или забыл еще один отзыв на первое издание книги, даже более разгромный, чем отзыв в «Вечерке». В библиографическом отделе

ла почти немедленно перепечатана эмигрантским издательством в Риге и уже начало готовиться французское издание. Но через год после выхода книги молчание внезапно было прервано. Летом 1929 г. критик Ан. Тарасенков в «Литературной газете» отозвался на «Двенадцать стульев» рецензией под вызывающим заголовком: «Книга, о которой не пишут». Рецензия была не столько положительной, сколько ободряющей. Критик писал, что авторы «преодолевают штамп жанра» «бульварно-приключенческого романа», и говорил о «насыщенном, остром, сатирическом содержании» романа. А вслед за этим, во второй половине 1929 г., появились отзывы во всех основных литературно-критических журналах.[8] Отзывы кисловатые, но снисходительные. С одной стороны, «сатиры не получилось», с другой стороны — один «из первых шагов».

В чем дело? Впоследствии Ильф и Петров не раз писали фельетоны о критиках и об их отношении к новым книгам. Описывался и такой случай:

«Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора. Молчит Аллегро.

Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гав. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодилы сомнения грызут критиков.

— Кто его знает, хорошая эта книга или это плохая книга? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей. Засмеют. Ужасное положение!

И только года через два критики узнают, что книга, о которой они не решались писать, вышла уже пятым изданием и рекомендована Главполитпросветом даже для сельских библиотек.

Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гав. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о, дайте чернила! Где оно, мое вечное перо?..» (2, с. 490).

Но что все-таки заставило критиков в 1929 г. схватиться за вечное перо и упомянуть книгу, «о которой не пишут»? Читательский успех, подготовка второго издания? Едва ли это могло оказать существенное влияние — «нездоровый успех» чаще считался отрицательным фактом. Недостающее звено в

журнала «Книга и профсоюзы» рецензент Г. Блок говорил, что книга эта — «легко читаемая игрушка, где зубоскальство перемешано с анекдотом... Социальная ценность романа незначительна, художественное качество невелико» (Книга и профсоюзы. 1928. № 9. С. 52).

[8] См. напр.: Лит. газ. 1929. 17 июня; На лит. посту. 1929. № 18 (К. Гурьев); Октябрь. 1929. № 7 (анонимная); Молодая гвардия. 1929. № 18 (И. Дукор).

этой истории указано в уже упомянутой статье Осипа Мандельштама. «Единственным отзывом на этот брызжущий весельем и молодостью памфлет были несколько слов, сказанных Бухариным на съезде профсоюзов. Бухарину книга Ильфа и Петрова для чего-то понадобилась, а рецензентам пока не нужна...» [9]— писал Мандельштам.

Н. И. Бухарин процитировал роман Ильфа и Петрова не на съезде профсоюзов, как неточно указал поэт, а на совещании рабселькоров в начале декабря 1928 г. «Двенадцать стульев», упомянутые без имен авторов, понадобились Бухарину для выступления против «бессмысленного попугайства» за «разумное понимание вопросов текущей жизни».[10] Он привел три эпизода из романа: деятельность халтурщика Ляписа, приспосабливающего своего героя Гаврилу к любой производственной тематике («Гаврилиаду» Ляписа упомянул в одном из выступлений и Маяковский [11]), лозунг «Пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», адресованный беззубым старухам из Соцобеса, и плакат «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих».

В конце 1928 г. в газетах уже начали появляться первые туманные упоминания о «правом уклоне», но наличие разногласий в высшем партийном руководстве отрицалось. Признанный теоретик партии, редактор «Правды» Бухарин был вплоть до конца 1929 г. членом Политбюро и фактическим главой Коминтерна. Хвалить книгу, удостоившуюся его внимания, было не обязательно (к концу 1929 г. — даже совсем не обязательно), но игнорировать ее — неудобно. Этим и была вызвана волна рецензий.

Сразу же после окончания «Двенадцати стульев» Ильф и Петров написали (по воспоминаниям Е. Петрова — в шесть дней) псевдофантастическую сатирическую повесть «Светлая личность», опубликованную как роман-фельетон в одиннадцати номерах «Огонька» в 1928 г. В конце 1928—начале 1929 г. в журнале «Чудак», выходившем, как и «Огонек», под редакцией М. Кольцова, стал печататься цикл рассказов «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», а с середины 1929 г. — новый пародийный «роман-фельетон» — сатирический цикл «1001 день, или Новая Шехерезада». Писатели не относились к этим произведениям серьезно и, за исключением нескольких новелл из «Колоколамска» и «Новой Шехе-

---

[9] *Мандельштам О.* Веер герцогини // Вечерний Киев. 1929. 25 янв.; Собр. соч. Т. 3. С. 56.

[10] Правда. 1928. 2 дек.

[11] Выступление на собрании ФОСП 22 декабря 1928 г. // *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 367.

резады», никогда их не переиздавали. Но тематически эти произведения были близки к «Двенадцати стульям», и их следует учитывать при характеристике первого романа Ильфа и Петрова.

Одной из основных тем всех этих произведений была тема обывательского быта. Мещанство, обывательство, отсталость, дикость — явления, существовавшие задолго до 1920-х гг., но гражданская война и разруха предельно обнажили этот человеческий пласт. Нормальные рыночные взаимоотношения деревни с городом были нарушены, горожане ездили за продовольствием в деревню, разоренные крестьяне переселялись в города. Всегда существовавшие в России смешанные полугородские, полудеревенские слои, минимально затронутые городской культурой, вышли на поверхность, заняли видное место в городской жизни и в административном аппарате. У Ильфа и Петрова обывательская среда фигурирует в «Двенадцати стульях» (Старгород, город N), становится центральной темой в «Светлой личности» и «Необыкновенных историях из жизни города Колоколамска»; в «Золотом теленке» эта среда будет сосредоточена в «Вороньей слободке» — большой коммунальной квартире, где живет Васисуалий Лоханкин и где поселяется Остап Бендер.

Не только образ Лоханкина, но и вообще изображение «Вороньей слободки» ставилось в упрек Ильфу и Петрову. «Над „Вороньей слободкой“ смеяться грех...» — писала Н. Я. Мандельштам. Но если это грех, то повинны в нем были не одни Ильф и Петров, но и Зощенко, которого О. Мандельштам считал честнейшим русским писателем, и Булгаков, и многие другие.

«Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой...

Главная причина — народ уж очень нервный. Расстраивается мелкими пустяками. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане... Вот в это время кто-то ударяет инвалида кастрюлькой по его лысине. Инвалид — бряк на пол и лежит. Скучает.

Тут кто-то за милицией кинулся...».[12]

Это — «Нервные люди» Зощенко. И на ту же тему — «На живца», «Баня», «Аристократка» и едва ли не все его ранние рассказы.

«В десять часов вечера под Светлое Воскресение утих наш проклятый коридор... И в десять часов вечера в коридоре трижды пропел петух.

---

[12] *Зощенко М.* Рассказы и повести. Л., 1959. С. 14—16.

Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в квартире № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха в квартире удивил меня, а то, что петух пел в десять часов вечера...

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора стоял неизвестный мне гражданин... Он драл пучками перья из хвоста петуха...

Я опомнился первый и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина...

Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь потому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь „неизвестно какими делами", и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка. И пусть я себе заведу „своих Шурок" и ем их с кашей...».[13]

А это — «Самогонное озеро» Булгакова. На ту же тему — «Трактат о жилище», «Псалом», «Четыре портрета», «№ 13. Эльпит-Рабкоммуна». Коммунальная квартира служит фоном для пьесы «Иван Васильевич» и для «Театрального романа». Символ этого коммунального быта — Аннушка «Чума», появляющаяся уже в ранних рассказах («№ 13», «Самогонное озеро»), потом в «Театральном романе» и играющая существенную роль в сюжете «Мастера и Маргариты»; «где бы ни находилась или ни появлялась она — тотчас же в этом месте начинался скандал...».[14]

Тема дикости, «темного царства», «Персии» в Москве занимает важное место в ранних рассказах Ильфа, написанных отдельно от Петрова, — «Для моего сердца» и «Переулок»:

«Летним вечером в московском переулке тепло и темно, как между ладонями.

В раскрытом окне под светом абрикосового абажура дама раскладывает гадательные карты. На подоконник ложатся короли с дворницкими бородами, валеты с порочными лицами, розовые девятки и тузы.

— Для меня, — шепчет дама...

— Для моего сердца...» (5, с. 116).

«Будущее дамских переулков похоже на осеннее утро. Оно черное и серое» (там же, с. 120).

---

[13] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 2. С. 320—321.

[14] Там же. Т. 5. С. 286.

В «Двенадцати стульях» дама с гаданием фигурирует в главах, посвященных Старгороду, а тема московской коммунальной квартиры — в главе о домашней жизни «золотоискателя» журналиста Ляписа (выпущенной из второго и последующих изданий романа):

«Но тут в передней послышался стук копыт о гнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателя отворилась, и гражданин Шарипов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой...

— Что вы делаете? — спросил управдом. — Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?

Шарипов вдруг рассердился.

— Какое тебе дело! Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут...».[15]

В журнальных циклах 1928—1929 гг. обывательская среда разрастается до размера целых городов — Пищеслава, Колоколамска. В одном случае Колоколамск фигурирует даже как международная сила: жители его вступают в своеобразный поединок с иностранным государством — Клятвией. Клятвия — маленькое государство, в котором легко угадывается Латвия или другая прибалтийская республика, находившаяся до 1940 г. «под игом независимости». Тема, привычная для нашей литературы: советские граждане и капиталистическое государство, да еще «лимитроф», «санитарный кордон», место убийства курьера Нетте и антисоветского шпионажа. Тем неожиданнее оказывается решение этой темы у Ильфа и Петрова. Жители Колоколамска нашли себе «отхожий промысел» — они ездят в Москву, попадают под машину посольства Клятвии и получают по суду компенсацию: «Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала». Сама республика Клятвия оказывается вовсе не мрачной буржуазной диктатурой, а миниатюрной парламентской демократией, респектабельной и щепетильно соблюдающей международное право.

«Председатель совета министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Сууп...

В палату был внесен запрос:

— Известно ли господину председателю Совета Министров, что страна находится накануне краха?

---

[15] Переизд. в кн.: *Ильф И., Петров Е.* Осторожно, овеяно веками. Ташкент, 1963. С. 111—114.

На это господин председатель ответил:

— Нет, не известно.

Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца».[16]

В своем отношении к обывательской среде с ее дикарским бытом Ильф, Петров и Булгаков были вполне солидарны — они ненавидели ее всеми силами души и желали ей гибели. Никакой привлекательности, никаких «народных корней» в гадалках, в появлении петуха или лошади в московской квартире, во всеобщем питии они не усматривали. Патриархальная, азиатская, деревенская природа взбаламученного быта 1920-х гг. была одинаково чужда всем трем писателям.

Обстоятельство это, по-видимому, можно не доказывать, поскольку речь идет об Ильфе и Петрове; однако Булгакову в последние десятилетия стали приписывать противоположные настроения. Представители того направления в советской публицистике, которое может быть названо воинственно-«почвенническим», решили зачислить Булгакова в свои ряды. Они утверждают, что нашли главного героя «Мастера и Маргариты». Герой этот, вопреки заглавию, вовсе не Мастер. «Не стоит думать, что писатель полностью на его стороне»: Мастер — пессимист, носит шапочку со знаком, напоминающим масонский, а что́ такое масоны, наши критики знают досконально. Кроме того, Мастер слишком занят проблемами искусства, а главное ведь — «не величественное рассуждение о судьбах искусства, но что-то очень жизненно необходимое, еще не решенное, как раздвигающаяся полоса одной идеи, в центре которой Россия». Не мог Булгаков считать главным героем и Иешуа Га-Ноцри: «Иешуа, наверное, все-таки не его герой». Главный герой Булгакова — поэт Иван Бездомный. Он — «Иванушка», он — исконный, неученый, деревенский, отрекающийся в конце концов от «надетой» на него «бездомности» и возвращающийся на родную почву.[17]

Трудно придумать что-либо более чуждое подлинному Булгакову. «...изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина» — эту задачу Булгаков объявлял (в известном «Письме советскому прави-

---

[16] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. 3-е изд, доп. М., 1935. С. 179.

[17] См.: *Палиевский П.* Последняя книга М. Булгакова // Наш современник. 1969. № 3. С. 116—119 (перепеч. в кн.: *Палиевский П.* Пути реализма: Литература и теория. М., 1974. С. 188—197).

тельству») одной из главных в своем творчестве.[18] Справедлива ли такая формула или нет (и существуют ли в действительности у того или иного народа какие-либо общие черты такого масштаба) — вопрос другой, но ясно, что подобная национальная самохарактеристика едва ли обрадует современных «почвенников». Если бы писатель ценил в Иванушке его почвенность и «сермяжность», он сделал бы его в финале романа из мнимого народного поэта подлинным — подобным Есенину или П. Васильеву. Вместо этого Бездомный признает своим Учителем именно Мастера, под его влиянием отрекается от какой бы то ни было поэзии и становится стопроцентным интеллигентом — профессором-историком.

Булгаков не любил «деревенской» поэзии, как не любил он и певцов российской провинции — «Тетюшанской гомозы» (так именуется в «Театральном романе» книга беллетриста Егора Агапенова). Пародийные строки «сермяжного» барда Пончика-Непобеды в булгаковской пьесе «Адам и Ева»: «„Эх, Ваня! Ваня!“ — зазвенело на меже...» — очень напоминают аналогичную пародию Ильфа и Петрова: «Инда взопрели озимые...». «Булгаков — писатель городской, нет у него своей сельщины, земли, к которой он прирос корнями», — заметил В. Лакшин,[19] и это положение может быть подтверждено всем творчеством автора «Мастера и Маргариты». На деревню, в которой происходит действие «Записок юного врача», Булгаков смотрит такими же глазами, как Чехов в «Мужиках» и «В овраге». Это «тьма египетская», с которой призван бороться автор: «И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленой тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и всё вперед, вперед...».[20]

Нет сомнения в том, что и Зощенко, и Булгаков, и Ильф и Петров смеялись над «Вороньей слободкой» и не любили ее. Но трактовка этой темы у Зощенко была все же иной, чем у Булгакова, Ильфа и Петрова. Зощенко пытался взглянуть на коммунальный быт изнутри: отсюда его сказовая манера, гораздо более органичная для него, чем для трех остальных писателей. Из-за этой авторской «маски» многие поверхностные критики склонны были отождествлять Зощенко с его героями. Одобряя Ильфа и Петрова за то, что «они противостоят юмо-

---

[18] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 5. С. 446.
[19] *Лакшин В.* Уроки Булгакова // Памир. 1972. № 4. С. 58.
[20] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 1. С. 121.

ристике, типичным представителем которой является Зощенко», один из первых рецензентов «Двенадцати стульев» писал: «Смех Зощенко — это смех бытового оппортунизма, смех ради смеха и именно поэтому глуповатый, недейственный».[21] К числу «поверхностных, но забавных» юмористов относил Зощенко и Луначарский,[22] а своеобразный итог этой критике подвел Жданов, объявивший по указанию Сталина в 1946 г. писателя «пошляком» и «подонком литературы». Конечно, обывательский быт, который описывал Зощенко, не был для него предметом забавы — он ненавидел этот быт, но вместе с тем и боялся его: писатель глубоко пессимистичный, он ощущал «Воронью слободку» как силу, поглощающую все вокруг себя. В повести «Мишель Синягин», написанной несколько лет спустя, Зощенко даже будущих читателей повести, «лет этак, скажем, через сто или так немного меньше», представлял себе такими же жильцами коммунальной квартиры, как и своих современников.[23]

Ильф и Петров, подобно Булгакову, смотрели на Колоколамск и «Воронью слободку» со стороны; враг этот не казался им непобедимым. Что же противопоставляли писатели Колоколамску и «египетской тьме»? В значительной степени их ответ был одинаковым. Урбанизм, уважение к культуре, к науке и к технике, облегчающей человеческую жизнь, — вот что роднит всех трех писателей. В булгаковском рассказе «Сорок сороков» герой смотрит на город с вершины самого высокого дома тогдашней Москвы. Впервые после «голых времен» весной 1922 г. слышится какой-то звук; в июле «бульварные кольца» начинают светиться, «и радиусы огней» уходят к «краям Москвы», а в 1923 г. «Москва заливается огнями... все сильней... Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз».[24]

Та же тема и те же настроения в раннем очерке Ильфа «Москва от зари до зари». Он начинается и кончается ночной Москвой. «Темная календарная ночь стоит над столицей, набережные оцеплены двумя рядами газовых фонарных огоньков, но люди уже работают, не обращая внимания на календарь... На Берсеневской набережной, у Большого Каменного моста, сияют высоко подвешенные электрические лампы... — здесь строится дом-великан».

Потом рассвет, время собирателей окурков, которых спугивают дворники, время молочниц, время, когда просыпаются

---

[21] На лит. посту. 1929. № 18. С. 69—70.
[22] См.: *Луначарский А.* Ильф и Петров // 30 дней. 1931. № 8. С. 62—63.
[23] *Зощенко М.* Рассказы и повести. С. 471—473.
[24] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 2. С. 280—283.

окраины, время рабочих, домохозяек, школьников, служащих. Потом обратные валы, вечер, час лекций, театров, диспутов — и снова ночь:

«У тесового забора Ермаковского ночлежного дома выстроились в очереди оставшиеся без ночлега приезжие и завсегдатаи этого места... Но маневрирующие паровозы свистят по-прежнему, в газетных цинкографиях вспышками возникает фиолетовый свет... И даже когда по календарю глухая ночь, когда закрылись театры, и клубы, и рестораны, когда пустеют улицы и мосты сонно висят над рекой, — даже и тогда светятся кремлевские здания и шумно дышит МОГЭС» (5, с. 54, 62—63).

«...мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой...», — писал Булгаков, и на вопрос «Что же делать?» отвечал: «Сделать можно только одно: применить мой проект», и этот проект заключается в следующем: «Москву надо отстраивать».[25] Мы уже видели, с каким воодушевлением описывал молодой Ильф строительство дома у Большого Каменного моста — будущего «Дома на набережной». В «Двенадцати стульях» та же тема возникает и в главах о провинциальном Старгороде, где инженер Треухов еще в 1912 г. предложил проект трамвайной линии: «...но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция». И вот, наконец, 1 мая 1928 г. трамвай, по выражению председателя горкомхоза, выходит «из депа», «благодаря всех рабочих» и «благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова» (1, с. 130, 136). Трамвай в Старгороде, начинающееся и будущее строительство в Москве, воскресший после разрухи зоологический институт — все это одинаково воодушевляло и Ильфа и Петрова, и Булгакова.

Мы уже упоминали две вполне совпадающие формулы у Булгакова и Ильфа: не надо, чтобы «баритоны» призывали «бить разруху», и не надо «бороться за чистоту», надо подметать, чистить сараи. «...я далек от мысли, что Золотой век уже наступил...— писал Булгаков («Столица в блокноте»). — Для меня означенный рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта... с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию, поезда (150 километров в

[25] Там же. С. 250, 441, 445.

час), всеобщую грамотность и прочее, что уже несомненно означает рай».[26]

Борьба с разрухой, строительство, технический прогресс — все это не столько политическая, сколько экономическая, пожалуй, даже реформистская программа. А в 1923—1929 гг., когда эти мысли высказывались, они вызывали одну, вполне определенную ассоциацию — со сменовеховством. Термин этот употребляется в литературе о 1920-х гг. чрезвычайно широко и неточно. Сменовеховство — течение, возникшее среди русской эмиграции, стоявшей во время гражданской войны на стороне белых и решившей после войны признать советскую власть как власть имперскую и национальную. Вдохновлялось сменовеховство такими фигурами, как генерал Брусилов, ставший на сторону красных еще во время советско-польской войны 1920 г. Эмигранты-сменовеховцы были связаны с берлинской газетой «Накануне»; в этой же газете (имевшей и московское отделение) печатались почти все ранние рассказы и статьи М. Булгакова, которые мы упоминали; там же был напечатан и первый рассказ Е. Петрова «Уездное» («Гусь и украденные доски»). На писательской судьбе Е. Петрова (как и его брата В. Катаева, печатавшегося там же) это никак не сказалось; Булгакову же надолго был приклеен ярлык «сменовеховца». «Булгаков, Михаил Афанасьевич, беллетрист и драматург... Годы 1921—1923 жил за границей, где сотрудничал в берлинской сменовеховской газете „Накануне“...» — сообщалось в восьмом томе Большой Советской энциклопедии.[27] Написано это было в 1927 г. в Москве во время оглушительного успеха «Дней Турбиных», и анонимный автор заметки мог бы без труда установить, что Михаил Булгаков живет и жил с 1921 г. в одном с ним городе, но стоило ли затрудняться?

А между тем Булгаков не только не считал себя сменовеховцем, но и явно отрицательно относился к этому направлению русской интеллигентской мысли. Во второй редакции «Дней Турбиных» (пьесе «Белая гвардия») один из наиболее отрицательных персонажей пьесы, Тальберг, возвращается в Киев, чтобы «переменить политические вехи» и «работать в контакте с советской властью».[28] Не менее характерно и отношение Булгакова к А. Н. Толстому — «сменившему вехи» и вернувшемуся в Россию. В «Театральном романе» Алексей Толстой был выведен под именем «знаменитого писателя Измаила Александровича Бондаревского», чествуемого по слу-

[26] Там же. С. 263.
[27] БСЭ. М., 1927. Т. 8. Стб. 26—27.
[28] *Булгаков М.* Пьесы 20-х годов. Л., 1989. С. 356.

чаю «благополучного прибытия из-за границы». Вернувшийся Измаил Александрович изо всех сил старается изобразить своих прежних собратьев-эмигрантов и заграничную жизнь как можно более омерзительными. Он описывает какого-то Кондюкова, «которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шан-Зелизе... и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-Опера», и описания эти вызывают у героя романа, Максудова, ощущение «какого-то ужаса в отношении Парижа».[29]

Принадлежал ли Булгаков к «внутренней эмиграции» или нет, но жил он в России, и для него, как и для других советских граждан, сотрудничество в берлинской газете имело совсем иной смысл, чем для эмигрантов. Для А. Н. Толстого печатание в «Накануне» открывало путь в Москву, для Булгакова это была возможность публиковаться за границей, т. е. не в таких узких рамках, какими уже тогда была ограничена советская печать. Отличие советских «нонконформистов» от заграничных сменовеховцев очень ясно выражено в статье писателя и этнографа Тана-Богораза в «России» — московском журнале (вскоре закрытом), где печаталась «Белая гвардия» Булгакова. «И нас называют российскими сменовеховцами, в том числе и меня. Но в том-то и дело, что мы российские, а не заграничные... — писал Тан. — Мы и заграничные меняли по-разному вехи... Оттого их сменовеховство — сладкое, как сахар. Наше — горькое, как полынь...

Советская ориентация! — Конечно, какая же иная?..

Но дальше начинается томный вздыхающий минор... Отречемся... не от старого мира, — отречемся от всех притязаний на власть. Что за чертовщина! Кто притязает на власть?..

Отречемся... отречемся от всяких притязаний на свободу! Временно, конечно, отречемся (все в нашей жизни временно)... Что ж, я готов и отречься, готов подчиниться всякому лишению свободы... Но не скрою, — особого энтузиазма во мне этот отказ не возбуждает. Покориться я готов, а проповедовать не буду...

Власти советской служите. Мы ей тоже служим... Но одно дело служить, а другое прислуживаться...».[30]

Биография М. Булгакова не походила на биографию Тана-Богораза, но отношение их к заграничным сменовеховцам было сходным. Призывы принять «советскую ориентацию» вообще не имели смысла для советских граждан. Проблема признания советской власти могла существовать для эмигран-

---

[29] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 4. С. 432, 433.

[30] *Тан.* Сменовехи в Петрограде // Россия. 1922. № 1. С. 12—14.

тов — признать советскую власть означало для них получить советский паспорт, вернуться в СССР. Но что значили эти слова для советских интеллигентов? На власть они не притязали, жили в Советской России, печатались — по мере возможности — в советских изданиях, и как они, собственно, могли признавать или не признавать существующий режим? Признавал или не признавал Чехов режим Александра III? Он жил под ним. Ироническое отношение к «товарищам берлинцам» ощущается во всех очерках Булгакова в «Накануне». «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921—1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек...» — начинается один из этих очерков.[31]

Во многом сходной была и позиция Ильфа и Петрова. Они тоже изучали Москву «не из прекрасного далека», им также проблема «признания—непризнания» казалась абсурдной. О той категории писателей, к которой принадлежал А. Н. Толстой, — о преуспевающих авторах, «признавших советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции» (1, с. 509) и «несколько позже Англии и чуть раньше Греции» (2, с. 7), они упоминали с неизменной иронией.[32] Не стоял перед ними, как и перед Булгаковым в 1920-х гг., и вопрос об интеллигенции в его веховской и сменовеховской трактовке. Подобно Чехову и Саше Черному, они писали не об интеллигенции вообще (рассуждения такого рода любили и некоторые из их собратьев по советской литературе 1920-х гг.),[33] а об отдельных и совершенно различных представителях интеллигентных профессий. В «Двенадцати стульях» действуют инженер Треухов — строитель старгородского трамвая, инженер Щукин — жертва своей расточительной жены и инженер Брунс — стяжатель и обжора, поэт-халтурщик Ляпис и репортер-работяга Персицкий. Столь же разнообразны интеллигенты и в булгаковских рассказах: здесь и гениальный профессор Персиков, и его бесцветный ассистент «изящный джентльмен» Иванов из «Роковых яиц», и персонажи из очерков, печатавшихся в «Накануне»: вороватый «спец», «бывший присяжный поверенный», украшающий свою обширную жилплощадь портретами вождей, и рядом с ними — молодой медик-грузчик. Именно последний персонаж дает автору повод для размышления об интеллигенции: «Вот писали все: гнилая интеллиген-

---

[31] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 2. С. 435. Ср.: С. 261 и 320.

[32] О том, что «нас всегда возмущали и смешили писатели, выяснявшие свое отношение к советской власти», писал Е. Петров и впоследствии в книге «Мой друг Ильф» (Журналист. 1967. № 6. С. 64), но давал к этим словам пояснения, характерные для его «послеильфовского» творчества (см. ниже, с. 335—336).

[33] Ср.: *Огнев Н.* Исход Никпетожа // Собр. соч. М., 1929. Т. 4.

ция, гнилая... После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься».[34]

Во всем этом Ильф, Петров и Булгаков были солидарны. Однако в других вопросах между ними обнаруживались расхождения, и весьма существенные. Булгаков, Ильф и Петров вошли в литературу почти одновременно — в 1920-х гг., но люди они были очень разные и по воспитанию, и по возрасту.

Самостоятельная жизнь Ильфа и Петрова началась в годы революции; Михаил Булгаков был в это время уже взрослым человеком с врачебным дипломом и практикой. В какой-то степени отношение к дореволюционному прошлому определяло различие в общественной позиции Булгакова и Ильфа с Петровым. Говоря о том, что обстоятельства детства и юности отделяли Булгакова «не только от революционно, но и от либерально-мыслящей интеллигенции», М. О. Чудакова придавала важное значение тому, что в «...его духовном багаже не было тех иллюзий, которые могли быть поколеблены текущими событиями».[35] Значит ли это, однако, что идеалом Булгакова было возвращение к прошлому, к «блестящему, пышному» 1913 г.? Первая статья Булгакова, напечатанная на деникинском Северном Кавказе и ставшая теперь известной, позволяет как будто дать положительный ответ на этот вопрос. Булгаков осуждал в ней не только «безумство дней октябрьских», но и «безумство мартовских дней» (Февральскую революцию) и мечтал только о том, чтобы герои-добровольцы вырвали «из рук Троцкого... русскую землю».[36] Но он писал эти слова в 1919 г., вскоре после революции и через шесть лет после «блестящего, пышного года». Сохранил ли писатель такое мироощущение впоследствии?

Тщетность надежд Булгакова обнаружилась почти сразу же после написания «Грядущих перспектив». «Героям-добровольцам» не удалось «завоевать собственные столицы». Победили красные, и осмысление их победы пришло к Булгакову уже в 1923—1924 гг., когда писалась «Белая гвардия». Поражение белых было порождено «мужицким гневом», лютой ненавистью к «офицерне» и к попытавшимся вернуться «помещикам с толстыми лицами».[37] О настроениях писателя в те же годы свидетельствует и еще одно его сочинение, обретенное, как и «Грядущие перспективы», лишь недавно: Дневник 1923—1925 гг. С новым строем Булгаков отнюдь не примирился —

---

[34] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 2. С. 253.
[35] *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 188.
[36] *Булгаков Михаил.* Под пятой: Мой дневник. М., 1990. С. 45.
[37] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 1. С. 230, 238.

об этом красноречиво свидетельствует уже авторское название дневника: «Под пятой». Но мысль о реставрации прошлого, о восстановлении монархии отвергалась им не менее решительно: «...по Москве ходит манифест Николая Николаевича. Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало».[38]

Эта запись 1924 г. с несомненностью свидетельствует о том, как изменился взгляд Булгакова на мир через пять лет после «Грядущих перспектив». В его отношении к Алексею Турбину, персонажу в значительной степени автобиографическому, явственно звучат теперь нотки самоиронии. Когда доктор Турбин в «Белой гвардии» говорит за столом друзьям: «...Мы бы Троцкого в Москве прихлопнули как муху...» — он почти повторяет слова Булгакова из «Грядущих перспектив». Но тут же звучит авторский комментарий: «Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели», — и звучит реплика младшего брата: «Алексей на митинге незаменимый человек, оратор...».[39] Мы можем поверить поэтому искренности Булгакова, когда он еще через несколько лет заявлял в письме правительству, что в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» стремился «стать бесстрастно над красными и белыми» и что он не намеревался писать «пасквиль на революцию» хотя бы потому, что такой пасквиль «в силу чрезвычайно грандиозности ее, написать невозможно».

Разрухе, порожденной гражданской войной, Булгаков противопоставлял теперь одно — власть, способную навести порядок, восстановить хозяйство. «В порядке <...> дайте нам опоры точку, и мы сдвинем шар земной», — писал он в очерке «Столица в блокноте».[40] И та же мысль — в «Собачьем сердце»: говоря о том, что нельзя бороться за чистоту криками «баритонов», Булгаков (вернее, один из его персонажей, выражающий, очевидно, взгляды автора) заявляет: «Городовой! Это, и только это. И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же в красном кэпи».[41]

«Западничество» Булгакова сближало его с младшими коллегами. Разделяло их другое. В письме советскому правительству Булгаков выражал «глубокий пессимизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране», и противопоставлял ему идеал «излюбленной и Великой Эволюции». Дневниковые записи Булгакова 1924 г. свидетельствуют о том, что в своем скептическом отношении к

---

[38] *Булгаков М.* Под пятой. С. 22.
[39] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 1. С. 209.
[40] Там же. Т. 2. С. 265.
[41] Там же. С. 145.

окружающей жизни он не так уже расходился с одесситами из «Гудка»: «Приехали из Самары Ильф и Юрий Олеша», — записал он. «В Самаре два трамвая. На одном надпись „Площадь Революции—тюрьма“, на другом — „Площадь Советская—тюрьма“. Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим!».[42] Но все же Ильф и Петров в эти годы верили — или хотели верить — в перспективы «революционного процесса» и возможность глубокого преобразования общества.

Впоследствии А. Эрлих вспоминал о спорах в редакции, во время которых Ильф несколько иронически защищал Булгакова: «Ну, что вы все скопом напали на Мишу?.. Что вы хотите от него? — якобы сказал Ильф. — Миша только-только, скрепя сердце, примирился с освобождением крестьян от крепостной зависимости, а вы хотите, чтобы он сразу стал бойцом социалистической революции! Подождать надо!».[43] Для Ильфа и Петрова преодоление разрухи означало не только восстановление хозяйства, но и построение его на совершенно новых основах. О грядущем великом Преображении, о создании общества, где не будет приобретательства, своекорыстия, собственничества, мечтал Маяковский, о нем же думал и Олеша, когда писал в «Зависти» об обреченных на гибель чувствах, оставшихся от старого мира. Ильф и Петров были реалистичнее Олеши, и таких быстрых перемен в человеческой психологии в ближайшие годы они, пожалуй, не ждали. Но и они надеялись, что с уничтожением частной собственности уйдут в прошлое пороки и преступления, совершаемые ради денег. Тем самым будут в какой-то степени разрешены трагические коллизии литературы XIX в. — коллизии Достоевского.

Отношение Ильфа и Петрова к специфически «достоевским» сюжетам и образам было иным, чем отношение М. Булгакова. На первый взгляд, Булгакова, с его интересом к религиозным темам, было бы естественнее связывать с Достоевским, но Булгаков как раз считал своим учителем Салтыкова-Щедрина и Достоевского не любил. С явной иронией упоминает о «богоносцах достоевских» один из главных героев «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» Мышлаевский: «мужички-богоносцы» убивали офицеров. Ночной кошмар Алексея Турбина связан с «первой попавшейся ему книгой», и этой книгой оказываются «Бесы» Достоевского.[44] Чем объясняется такое отталкивание? Ключ к не-

---

[42] *Булгаков М.* Под пятой. С. 24.

[43] *Эрлих А.* Они работали в газете // Знамя. 1958. № 8. С. 173.

[44] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 1. С. 192 и 217. Слова «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...», которые являются Алексею Турбину в ночном кошмаре, вызвали горячую и не совсем понятную реакцию П. Палиевского. Цитируя эту фразу из «Белой гвардии», Палиевский восклица-

му, может быть, дают высказывания Бунина (другого писателя, которого читают в доме Турбиных), относящиеся как раз к тем же революционным годам. «Ненавижу вашего Достоевского! — вспоминал слова Бунина Валентин Катаев. — ...Вот откуда пошло все то, что случилось с Россией: декадентство, модернизм, революция...».[45] В точности этих показаний можно было бы и усомниться, если бы не записи из дневников самого Бунина: «Перечитывал первый том „Братьев Карамазовых"... Очень ловкий, удивительно способный писака... — и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем, скука, не трогает ничуть».[46]

Катастрофичность мира Достоевского раздражала Бунина. Возможно, что такие же ощущения она вызывала и у Булгакова.

Как же относились к Достоевскому Ильф и Петров? Недавно этот вопрос был поставлен Л. Сараскиной, обвинившей их в стремлении ударить по «вершинным точкам опального писателя». Оснований для обвинения два: псевдоним Ильфа и Петрова «Ф. Толстоевский», обидный для Достоевского (почему не для Толстого?), и подпись отца Федора в «Двенадцати стульях» на письме жене: «Твой вечно муж Федя», совпадающая с подписью Достоевского на одном из его многочисленных писем жене. Знали ли Ильф и Петров это письмо? Возможно. Использовали же они в одной из телеграмм, посланных Бендером Корейко, текст корреспонденции со станции Астапово: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». К своим великим предшественникам писатели относились, как и подобает веселым людям: с юмором.

Можно предполагать лишь, что авторов «Двенадцати стульев» катастрофичность Достоевского не смущала — речь шла об эпохе, ушедшей в прошлое. «Достоевские» персонажи с их страстями и слабостями вызывали у писателей насмешку и вместе с тем — жалость.

Таков, например, отец Федор — персонаж, которому особенно не посчастливилось у критиков Ильфа и Петрова. «В романе есть главы, рассчитанные на голый смех, главы, где

ет: «...Хорош был этот упырь, и вопрос им поставлен достаточно зловещий, причем непонятно даже, как можно такое сказать. А ведь сказал, да так, словно что-то стукнуло и открылось: так можно было кому-то думать...» (*Палиевский П.* Последняя книга М. Булгакова. С. 116). «Так можно было кому-то думать» — кому же?.. «Так думал», как это ни странно, один из любимейших персонажей Булгакова — доктор Алексей Турбин, цитирующий в пьесе «Белая гвардия» эти слова крайне неприятного Достоевскому западника Кармазинова как «великое пророчество» (*Булгаков М.* Пьесы 20-х годов. С. 51—53).

[45] *Катаев В.* Святой колодец; Трава забвения. М., 1969. С. 213—214.

[46] Из дневников И. Бунина // Новый журнал. 1974. Кн. 115. С. 154.

преобладает **комизм положения**... — писал рецензент «Октября». — Эпизод с отцом Федором, забравшимся на высокую скалу и не сумевшим оттуда слезть, — не явно ли пристегнут для большей потехи?».[47]

Это — свидетельство предвзятости и неумения внимательно читать. Судьба отца Федора, прожектера, хватающегося то за одну, то за другую идею обогащения, священника, бросившего родной город для поисков фантастического сокровища мадам Петуховой, не только комична, но и трагична. При всей своей суетливости отец Федор, в сущности, наивен и добродушен, и жулик Коробейников, которого он принимает за «очень порядочного старичка», без труда обманывает его, продав вместо ордеров на воробьяниновскую мебель ордера на мебель генеральши Поповой. Объездив всю страну и купив на последние деньги совершенно ненужные ему стулья, отец Федор на батумском берегу разрубает их на части и ничего не находит. «Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно». Он идет пешком «мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высохшую клюку с загнутым концом». В Дарьяльском ущелье он встречает своих соперников, Воробьянинова и Бендера, и в страхе перед преследованием взбирается на совершенно отвесную скалу. То, что происходит затем, меньше всего может служить предметом «потехи»:

«Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся...

Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного: вниз, на землю...

На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.

— Направо — замок Тамары, — говорили опытные проводники, — а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно...

Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора...

Хохочущего священника на пожарной лестнице отвезли в психиатрическую лечебницу» (1, с. 357—359).

---

[47] См.: Октябрь. 1929. № 7. С. 215—216. Ср.: Лит. газ. 1929. 17 июня.

Так же трагичен и конец Ипполита Матвеевича. Переход от скромного существования делопроизводителя загса к жизни искателя приключений обошелся ему дорого. Воробьянинову пришлось пережить чудесное спасение от кулаков васюкинских любителей шахмат, одураченных Остапом, унизительную необходимость «протягивать руку», добывая деньги нищенством, и, наконец, крымское землетрясение, «после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть»: «В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровища, уйдет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер... Каждый день он опасался, что Остап больше не придет и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором...». Опасения эти не оправдываются — Бендер обнаруживает последний стул, в котором должно находиться сокровище, и остается только прийти ночью в железнодорожный клуб и вскрыть его. Но Ипполит Матвеевич уже не верит своему компаньону — тем более, что развеселившийся Остап поддразнивает его, предлагая то десять, то три процента богатства, а то и просто взять Воробьянинова в секретари:

«Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы... У него было только одно желание поскорее все кончить...».

Воробьянинов перерезает бритвой горло своему компаньону и ночью один забирается в клуб и вскрывает стул. Но в стуле ничего нет.

«— Этого не может быть! Этого не может быть!

Изредка он вскакивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Брильянтовое возбуждение оказалось слишком сильным средством: он одряхлел в пять минут...».

Ипполит Матвеевич встречает сторожа клуба, и тот рассказывает ему историю последнего стула: в нем были найдены драгоценности, и на полученные деньги построено новое прекрасное здание. Любопытно, что ни один критик, кажется, не обратил внимания на неправдоподобие этого конца: по закону открытое сокровище становилось собственностью государства[48] (на некоторое вознаграждение мог рассчитывать лишь

[48] В литературе указывалось, что развязка «Двенадцати стульев» могла быть основана на реальном факте: в Полтаве якобы был железнодорожный клуб, построенный на деньги, выигранные по облигации (ср.: *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 135). Но деньги, выигранные по облигации

сам сторож, нашедший клад), и к клубу оно прямого отношения не имело. Но именно эта условность позволила создать финал романа, в котором сцена отчаяния и безумия Воробьянинова переходила в гимн просыпающемуся и начинающему жить городу:

«Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце.

И он закричал.

Крик его, бешеный, страстный и дикий, — крик простреленной навылет волчицы, — вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту затих. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш Москвы. Город двинулся в будничный свой поход» (1, с. 373—382).

клуба, законно ему принадлежали — в отличие от клада, найденного в помещении клуба.

Глава III

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ И «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

В 1929—1930 гг. Ильф и Петров написали «Золотого теленка». Второй роман писался значительно дольше и труднее, чем первый. Начат «Золотой теленок» был летом 1929 г., потом работа над ним прерывалась; закончен он был осенью 1930 г. В течение 1931 г. «Золотой теленок» печатался в том же журнале «30 дней», где публиковались и «Двенадцать стульев». Однако переход от журнальной публикации к книжной оказался куда более трудным, чем в прошлый раз. «Двенадцать стульев», как мы знаем, вышли отдельным изданием сразу же после завершения их печатания в журнале — летом 1928 г. Издание книги готовилось параллельно с журнальным и на этот раз, но это было не русское, а американское издание, предисловие к которому, написанное А. В. Луначарским, было напечатано в «30 днях» еще в августе 1931 г. (до окончания публикации «Золотого теленка»). В том же 1931 г. первые четырнадцать глав «Золотого теленка» были перепечатаны в Париже в журнале «Сатирикон», на время возобновленном эмигрантами.[1] Роман был опубликован в Германии, Австрии, США, Англии. А советского издания ни в 1931, ни в 1932 г. не было, и американские издатели книги имели некоторое основание сделать на суперобложке извещение: «Книга, которая слишком смешна, чтобы быть опубликованной в России». Ильф и Петров выражали (в заметке, напечатанной в «Литературной газете» 17 сентября 1932 г.) недовольство такой «неджентльменской» рекламой, однако вполне вероятно, что

[1] Сатирикон (Париж). 1931. № 5—14 и 16—19. На окончании главы 14 публикация была оборвана без всякого объяснения; на № 28 закончилось и само издание журнала.

именно она (наряду с другими причинами, о которых мы еще будем говорить) помогла издать книгу год спустя — в 1933 г.

Основной сюжет «Золотого теленка» был схож с сюжетом «Двенадцати стульев»: погоня за сокровищем, бессмысленная в советских условиях. На этот раз воскресший Остап добывал богатство, но деньги не приносили ему счастья. Завязка и развязка романа изменялись в ходе его написания: сначала речь шла о получении наследства американского солдата, принадлежащего его советской дочери; затем источником добываемого богатства стал подпольный советский миллионер Корейко. Менялся и финал: в первоначальной редакции Остап отказывался от бесполезных денег и женился на девушке Зосе Синицкой, оставленной им ради погони за сокровищем. Уже во время печатания в журнале Ильф и Петров придумали новый конец: Остап бежит через границу с сокровищами, но его грабят и прогоняют назад румынские пограничники.

Годы, когда писался «Золотой теленок», именуются в советской истории годами «великого перелома». Это время сплошной коллективизации, раскулачивания и индустриализации. В городах «великий перелом» выражался в периодических и массовых чистках советского аппарата, процессах вредителей (шахтинское дело 1928 г., процесс Промпартии 1930 г.).

«Усиление классовой борьбы», как его обычно именовали, характеризовалось некоторыми новыми чертами, неизвестными предшествующим годам. В начале 1920-х гг. еще существовали люди, боровшиеся с коммунистической властью, — такова была, например, позиция части подсудимых на процессе эсеров в 1922 г. В публицистике обсуждался вопрос о признании советской власти и о формах этого признания — «служить» или «прислуживать».

Теперь всего этого уже не было. Людей наказывали не за действия или выступления, а за принадлежность к определенным социальным группам, за скрытое недоброжелательство, обвиняли их в тайном (и, в сущности, совершенно бессмысленном в мирное время) «вредительстве». Граждане вновь и вновь доказывали — часто безуспешно — свою лояльность; люди, позволявшие себе хотя бы временные отступления от официальной идеологии, поспешно признавали собственные заблуждения и каялись в них.

«Годы великого перелома» были годами всеобщих покаяний и отмежеваний от прежних взглядов и от некогда близких людей. Признавались и каялись подсудимые на вредительских процессах — на их признаниях, в сущности, и основывались эти процессы; каялись многие бывшие члены некоммунистических партий — эсеры, меньшевики, анархисты; каялось

большинство партийных оппозиционеров. В ходе чисток партийного и советского аппарата разоблачались не столько враждебные поступки изгоняемых лиц, сколько их тайные взгляды и утаенное от администрации социальное происхождение. В связи с этим возникли даже специальные формулы официального отречения от классово чуждых родичей.

Совершенно новый смысл обрела в 1929—1932 гг. и популярная в предшествующие годы проблема интеллигенции. В предреволюционные и в ранние послереволюционные годы интеллигенция чаще всего рассматривалась как субъект истории — она может «делать» или «не делать» революцию, признавать или не признавать ее. Теперь интеллигенты, как и прочие граждане, стали частью советского общества. Из мнимого субъекта истории интеллигенция стала ее объектом. Признание власти не только больше не было проблемой — часто оно не встречало доверия и вызывало сомнения. «Буржуазные интеллигенты», получившие образование до революции, или их потомки подозревались в скрытых идеологических пороках и тайном недоброжелательстве. Интеллигенты-инженеры были главными героями вредительских процессов, против интеллигентов — писателей и ученых организовывались все новые идеологические кампании. Старая веховская и сменовеховская тема обличения интеллигенции вновь появилась в литературе, но теперь она стала самовыражением настроений «кающихся интеллигентов», задним числом сознающих свою недостаточную преданность и неполное служение власти. После «Зависти», где ее герой Кавалеров находился как бы вне советского общества и, хотя и безуспешно, противостоял ему, Юрий Олеша написал в 1930—1931 гг. пьесу «Список благодеяний». Ее героиня актриса Елена Гончарова благополучно выступает на советской сцене, потом едет в командировку за границу. Героиня пьесы понимает и признает благодеяния советской власти, но наряду со списком благодеяний она ведет тайный список ее преступлений. Из-за этого Гончарова попадает в Париже в руки эмигрантов-белогвардейцев (позже это стало называться иностранной разведкой) и, естественно, гибнет. О вредительстве писали Леонид Леонов, Лев Никулин, Илья Эренбург.

В 1929—1930 гг. Ильф и Петров были постоянными сотрудниками журналов «Чудак» и «Огонек» (под псевдонимами «Ф. Толстоевский», «Холодный философ» и другими), редактировавшихся Михаилом Кольцовым; позже они стали печататься в «Литературной газете». Журнал «Чудак» отличался от постоянного органа советской сатиры «Крокодила» более высоким литературным качеством, более смелой, чем обычно,

критикой хозяйственных руководителей. Последнее обстоятельство, по-видимому, и погубило журнал; в начале 1930 г. «Чудак», просуществовавший немногим более года, был внезапно закрыт и слит с «Крокодилом».[2] Но на судьбе его редактора Кольцова это существенно не отразилось; видный журналист-коммунист, он продолжал редактировать популярный «Огонек» (репрессирован Кольцов был позже, в 1938 г.) и охотно печатал там Ильфа и Петрова. «Литературная газета» была органом ФОСП (Федерации объединений советских писателей), но вплоть до весны 1932 г. в ней господствовала идеология РАПП (Российской Ассоциации пролетарских писателей).

Темы «Огонька», «Чудака» и «Литературной газеты» — обычные темы советской печати тех лет. «Огонек» был первым советским журналом, начавшим печатать многочисленные фотографии Сталина, победившего теперь и левую и правую оппозиции и ставшего бесспорным и единственным вождем. Отражались в «Огоньке» и «Чудаке» и «усиление классовой борьбы», коллективизация, индустриализация, процессы вредителей. Стихи о кулаке, стреляющем из обреза в коммуниста, и помогающем кулаку попе публиковал поэт Зубило — он же писатель Юрий Олеша (Чудак. 1929. № 4). Постоянной темой было разоблачение «буржуазной интеллигенции», формально признававшей советскую власть, но втайне исповедующей враждебные взгляды. В 1929 г. произошел известный «академический инцидент», когда в результате тайного голосования (практиковавшегося тогда, пожалуй, только в одном советском учреждении — Академии наук) были забаллотированы три из пяти официальных коммунистических кандидатов. В сатирическом «Семейном альбоме» «Чудака» академики, выступавшие против предложенной сверху перебаллотировки (Петрушевский, Владимирцев, Сакулин, Ляпунов, Левинсон-Лессинг, Карский, Лавров и Бородин; оставили в покое только И. П. Павлова), были изображены в царских мундирах с регалиями (Чудак. 1929. № 6); травля продолжалась и после капитуляции Академии и избрания обиженных в академики (*Рыклин Г.* Забытая усадьба // Чудак. 1929. № 19. Ср.: 1929. № 9). Ругали и Академию художественных наук — за интерес ее членов к древним церквам и памятникам старины в ущерб памятникам социалистического строительства (статья об известном искусствоведе А. Сидорове «Блаженный Алексис — или Москва на вынос» // Чудак. 1929. № 14; фельетон Л. Славина в № 16). В № 26—33 «Чудака» за 1929 г. печаталась «поэма» в прозе братьев Тур (тогда подпи-

[2] См.: Очерки истории советской журналистики. М., 1968. Т. 2. С. 467.

сывавшихся «А. Тур») «Чудесия, или Мефистофель в столице», как бы предвосхитившая сюжет «Мастера и Маргариты»: появление Сатаны в советской стране (местом действия была прежняя столица — Ленинград). Однако по существу это сочинение не имело ничего общего ни с романом Булгакова, ни с литературой вообще. Это был, скорее, развернутый фельетон-донос на различных «бывших», укрывшихся в Ленинграде: на заведующего отделом Облсуда Грифцова, служившего при Керенском, члена-корреспондента В. Н. Бенешевича (Туры писали «Беньяшевич»), ездившего в Иерусалим к «гробу Господню» и в Рим к папе, академика Владимирцева, якобы принявшего буддизм, и т. д.

Разоблачались в «Чудаке» интеллигенты, верующие в Бога, например медичка Г. Зонова, высказавшая свои религиозные воззрения в письмах к подруге, непонятным образом попавших в руки редакции (фельетон А. Зорича — Чудак. 1929. № 7), инженер-баптист (Чудак. 1929. № 4), поэты Клюев, Клычков и Орешин (Чудак. 1929. № 14). В «Семейном альбоме» «Чудака» (1929. № 35) были подвергнуты разоблачениям также писатели Е. Замятин и Б. Пильняк, напечатавшие свои сочинения, не принятые советской печатью, за границей. Исключения Пильняка и Замятина из писательской федерации требовали М. Кольцов, В. Катаев, Э. Багрицкий, Е. Зозуля. В течение ряда лет «Литературная газета» травила, наряду с Пильняком и Замятиным, М. Булгакова, Мандельштама, детских писателей; здесь признавали свои ошибки Шкловский (формализм), К. Чуковский (писание непедагогических сказок) и многие другие. В конце 1930 г. писатели (Л. Леонов, В. Шкловский, Ю. Олеша и др.) требовали сурового осуждения вредителей.

Сопоставление рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова, напечатанных в те же годы, с остальными материалами «Чудака», «Огонька» и «Литературной газеты» позволяет отметить весьма примечательный факт. Ильф и Петров не только не участвовали ни в одной из описанных кампаний тех лет, но достаточно определенно выразили свое отношение к популярному в тогдашней прессе «антиинтеллигентству». В повести «Летучий голландец», которую они писали как раз в 1929 г. (к содержанию этой повести мы еще обратимся), приводится хороший образчик этого стиля: «Очерк. „Схватился за мотню профессор“. Горластые вузовцы. В стиле русских баллад. Давили мы гадов в 19 году».[3] Ни разу не выступали они против

[3] Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 227.

конкретных интеллигентов, враждебных официальной идеологии и претендовавших на собственное мнение. Только один раз в их сочинениях упоминалась оппозиционная организация — «Союз меча и орала», но фигурирует она в «Двенадцати стульях», написанных не в 1929—1930 гг., а на несколько лет раньше, и имеет столь очевидно несерьезный характер (ее создал Остап с сугубо корыстными целями), что стала на многие годы нарицательным обозначением нелепой, мнимо заговорщической деятельности. Поэтому единственное изображение политической оппозиции у Ильфа и Петрова никак не устраивало официальных критиков. «Члены Союза меча и орала производят жалкое впечатление... Они добровольно являются с подушками и одеялами в соответствующие органы... События в деревне через год-полтора после появления романа... вредительские акты в промышленности показывают утопичность подобных взглядов», — писал в 1956 г. Л. Ершов.[4] Но после «Двенадцати стульев» Ильф и Петров к подобным темам уже не возвращались. Напротив, в тех же номерах «Чудака» и «Огонька», где печатались статьи их собратьев против оппозиционной и вредительской интеллигенции, они писали о совсем иных явлениях — о конформизме советских граждан, в том числе и граждан-интеллигентов, об их трусости и готовности отречься от родных и близких. Весьма интересен в этом отношении рассказ И. Ильфа (написанный без соавтора) «Блудный сын возвращается домой», опубликованный в 1930 г. (Огонек. № 2. С. 10) и до последнего времени не переиздававшийся:

«Иногда мне снится, что я сын раввина.

Меня охватывает испуг. Что же мне теперь делать, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов?

Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед. Он был гробовщиком. Гробовщики считаются кустарями. Не кривя душой, можно поведать комиссии, что я правнук кустаря.

— Да, да, — скажут в комиссии, — но это прадед. А отец? Чей вы сын?

Я сын раввина.

— Он уже не раввин, — говорю я жалобно. — Он уже снял...

Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы...

Но я не могу точно объяснить, что снял мой отец, и мои объяснения признаются неудовлетворительными. Меня увольняют.

---

[4] *Ершов Л.* Заметки о сатирической прозе 20-х годов // Вопросы советской литературы: Сб. 3. М.; Л., 1956. С. 374.

Я иду по фиолетовой снежной улице и шепчу сам себе:

— ...И совершенно прав был товарищ Крохкий, когда... Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты... Яблочко от яблоньки не далеко падает...

Я поеду домой, к отцу, к раввину, который что-то снял. Я потребую от него объяснений. Какой он все-таки нетактичный человек! Ведь сколько есть профессий. Он мог бы стать гробовщиком...

Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоедском галстуке возвращается к отцу...

...Сын не видел отца десять лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие селитрой...

Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его.

Что из того, что его усы пахнут селитрой!..

Позор, я люблю раввина!

Сердце советского гражданина, гражданина, верящего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа. Как могло это произойти? Прав был товарищ Крохкий. Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знакомо, и я скажу тебе, кто тебя съест...

Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь, радостный и возбужденный.

Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца, если он бухгалтер, если он пролетарий умственного труда, а не раввин».[5]

Та же тема — в «Золотом теленке».

«— У него, что же, родители не в порядке? Торговцы? Чуждый элемент?

— Да и родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли...

— Надо было знать, — холодно сказал Корейко.

— Вот и я говорю, — быстро подхватил Лапидус, — таким не место в советском учреждении» (2, с. 53).

«Вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс!» — говорят в «Золотом теленке» знакомые некоего Побирухина, вычищенного из учреждения по второй категории.[6] Критики, писавшие об Ильфе и Петрове как об обличителях «пережитков капитализма», склонны были видеть в этих словах насмешку

---

[5] Автобиографические мотивы этого рассказа подтверждаются записью Е. Петрова в книге «Мой друг Ильф»: «Из детства Ильфа... Пороховые усы отца...» (Журналист. 1967. № 6. С. 61).

[6] *Ильф И., Петров Е.* Двенадцать стульев; Золотой теленок. М., 1948. С. 415—416. В Собр. соч. слова «эти бандиты» выпущены (2, с. 108).

над обывателями, брюзжащими в очередях.[7] Однако «соль» остроты здесь вовсе не в «обывателях». Ильф и Петров имели некоторое представление о Марксе и Энгельсе, и они явно не были уверены в том, что идея увольнения Побирухина по второй категории действительно принадлежала классикам марксизма. Аналогичные сомнения мы встречаем даже у такого далекого от марксизма их современника, как Михаил Булгаков: «Разве Карл Маркс запрещал держать на лестницах ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить через черный двор?» («Собачье сердце»).

Теме чистки и связанным с нею страхам посвящены и другие рассказы — «Каприз актера», «Призрак-любитель», «Граф Средиземский». Некий Сорокин-Белобокин, обрадовавшись наступлению весны, сменил свою «черную волосатую кепку» на вороной котелок дедушки-артиста. Но на службе началась чистка и вывешен плакат: «Вон из аппарата героев 20-го числа».

«— Вот нас восемь человек. Значит есть среди нас герой двадцатого числа. Кто же этот герой? Я, например, котелков не ношу... Чужая душа — потемки!.. Ходят тут всякие в котелках...» — говорит ему один из сослуживцев.[8]

В рассказе «Призрак-любитель» старик Культуртригер, инсценировавший появление призрака, уличает сослуживцев-безбожников в мистицизме: «Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он привидения убоялся? Гнать таких надо по второй категории. И даже по первой. Какой же он, товарищи, марксист?».[9] Рассказ «Граф Средиземский», предназначенный авторами для «30 дней», но не принятый в печать и опубликованный лишь в 1957 г., дает новую версию старого сюжета о счастливо обретенном сыне аристократа. В большом доме, населенном обыкновенными советскими людьми, доживает последние дни старик, граф Средиземский. Трое вузовцев разоблачают «бывшего графа» в домовой стенгазете. Тогда граф придумывает страшную месть. Он вызывает к себе поочередно каждого из трех студентов и каждому сообщает, что тот его незаконный сын: «Я понимаю, сын мой, ваше волнение. Оно естественно. Графу теперь, сами знаете, прожить очень трудно. Из партии вас, конечно, вон!.. Я предвижу, что вас вычистят также из университета». Реакция обретенного сына понятна: «В конце концов я не виноват. Я жертва лю-

---

[7] Ср.: *Вулис А.* И. Ильф, Е. Петров. М., 1960. С. 239.

[8] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 187.

[9] Там же. С. 161—162.

бовной авантюры представителя царского... режима. Я не хочу быть графом... Интересно, как поступил бы на моем месте Энгельс? Я погиб. Надо скрыть. Иначе невозможно» (2, с. 445, 448).

Ильф и Петров не отделяют здесь, в полном соответствии с действительностью, граждан-интеллигентов от остальных советских граждан. Носитель котелка и жертвы «призрака-любителя» — простые советские служащие; мнимые сыновья графа Средиземского — вузовцы, интеллигенты; к этой же категории, вероятно, можно отнести и героя рассказа «Блудный сын», написанного от лица автора. Но основные рефлексы их одинаковы: страх, готовность отречься от чего угодно и от кого угодно и принять с энтузиазмом любое указание сверху. Идеальным выражением такого умонастроения можно считать описанный в «Золотом теленке» «универсальный штамп», заказанный начальником «Геркулеса» Полыхаевым: «В ответ на... — далее упоминается любой акт текущей политики — ...мы, геркулесовцы, как один человек, ответим» повышением качества, увеличением производительности, усилением борьбы с бюрократизмом, беспощадной борьбой со всеми пороками, «а также всем, что понадобится впредь» (там же, с. 222).

Ряд рассказов тех лет специально посвящен коллегам Ильфа и Петрова — представителям так называемой «творческой интеллигенции» — писателям и художникам. Рассказ из «Чудака» «Бледное детя века» — о поэте Андрее Бездетном, заготовлявшем стихи к 7 ноября:

«Спрос на стихи и другие литературные злаки ко дню Октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной дате. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался вовсю. В этот день на литбирже играли на повышение:

„Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы „заря — Октября“ вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо“» (там же, с. 467).

Литературоведы, упоминавшие об этом герое, видели в нем простого двойника халтурщика Ляписа из «Двенадцати стульев», прикрывшегося «другой кличкой», и недоумевали, зачем писатели сочинили этот рассказ да еще включили его в сборник своих рассказов.[10] Однако Ляпис был обыкновенным халтурщиком, не претендовавшим на наиболее ответственные политические темы, а Андрей Бездетный — певец октябрьской годовщины, представитель той табельной поэзии, где в пред-

[10] См.: *Вулис А.* И. Ильф, Е. Петров. С. 321.

революционные годы подвизались цензор Сергей Плаксин и юный Валентин Катаев.

Писателей, естественно, интересовали не только халтурщик Андрей Бездетный, его двойник Молокович, тоже пишущий к 7 ноября (2, с. 518—519), и «молодые граждане в котиковых шапочках», сочинявшие «марксистские обозрения» для Мюзик-холла (там же, 459, 462). Предметом их сатиры оказывались и подлинные представители искусства и литературы тех лет. Среди них, например, был и С. М. Эйзенштейн, создавший фильм о классовой борьбе в деревне — «Старое и новое».

«Настоящая деревня была показана так:

1. Кулак — афишная тумба с антисоветскими буркалами.

2. Жена — чемпионка толщины с антисоветскими подмышками.

3. Друзья — члены клуба толстяков.

4. Домашний скот — сплошная контра...

...Этим Эйзенштейн хотел, вероятно, добиться особенной остроты и резкости и обнажить силы, борющиеся в деревне.

Но штамп оказался сильнее режиссеров, ассистентов, декораторов, администраторов, экспертов, уполномоченных и хранителей большой чугунной печати Совкино. Фокус не удался» (2, с. 465—466).

Мы уже упоминали о кампании, поднятой против Пильняка за печатание за границей повести «Красное дерево». В никогда не переиздававшемся фельетоне «Три с минусом» (Чудак. 1929. № 41) Ильф и Петров изобразили одно из таких заседаний против Пильняка как урок в гимназии:

«...На этот раз писателям был задан урок о Пильняке.

— Что будет, — трусливо шептала Вера Инбер. — Я ничего не выучила.

Олеша испуганно писал шпаргалку...

И один только Волин хорошо знал урок. Впрочем, это был первый ученик. И все смотрели на него с завистью. Он вызвался отвечать первым и отвечал битый час. За это время ему удалось произнести все свои фельетоны и статьи, напечатанные им в газетах по поводу антисоветского выступления Пильняка... Кроме своих собственных сочинений, Волин прочел также несколько цитат из „Красного дерева“.

Публика насторожилась. Одни требовали ареста Пильняка. Другие просили прочесть „Красное дерево“ целиком якобы для лучшего ознакомления с поступком писателя. Кроме того поступила записка с вопросом: „Будут ли распространяться норвежские сельди, поступившие в кооператив № 84, и по какому талону“...

Ученику Шкловскому, как всегда, удалось обмануть учителя... Легко обойдя вопрос о Пильняке, Шкловский заявил, что писателю нужна вторая профессия...

Юрий Олеша читал свою речь по бумажке.

Громовым голосом он опубликовал популярный афоризм о том, что если дать овцам свободу слова, то они все равно будут блеять.

— Пильняк проблеял, — заявил Олеша...

В общем, писатели отвечали по политграмоте на три с минусом...».

Конечно, и рецензию на фильм Эйзенштейна, и отчет о диспуте о Пильняке можно было рассматривать как сочинения, написанные с ортодоксальных позиций: как критику режиссера за неумелое изображение классовой борьбы в деревне и писателей за недостаточно энергичное осуждение политических ошибок их собрата (именно поэтому оба фельетона и были напечатаны). Но читатель, внимательный к творчеству авторов фельетона, мог бы заметить, что сами они «обманули учителя» еще радикальнее, чем Шкловский, и не только не ответили на вопрос о Пильняке, но и вообще ни разу не написали ни о коллективизации, ни о вредительстве, ни о политических ошибках своих коллег.

Более того, изобразив виднейшего рапповского критика Б. Волина в виде первого ученика, они обнаружили явную антипатию к идеологически наиболее выдержанной группе творческой интеллигенции. Критикам был посвящен и упомянутый уже фельетон «Мала куча — крыши нет»: «...Критики у нас по преимуществу действительно весьма забавные... И стоит только одному критику изругать новую книгу, как остальные критики с чисто детским весельем набрасываются на нее и принимаются в свою очередь пинать автора ногами.

Начало положено. Из разбитого носа автора показалась первая капля крови. Возбужденные критики начинают писать» (2, с. 488—489).

А вот диалог из записной книжки Ильфа 1930 г., вошедший потом в фельетон «Литературный трамвай»:

«— Вы марксист?

— Нет.

— Кто же вы такой?

— Я эклектик.

Стали писать — „эклектик“. Остановили. „Не отрезывайте человеку путей к отступлению“.

Приступили снова.

— А по-вашему, эклектизм — это хорошо?

— Да уж что хорошего.

Записали: „Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно“» (5, с. 189—190; ср.: 3, с. 174—175).

Наиболее яркое выражение этой темы — в фельетоне из «Литературной газеты» «Отдайте ему курсив» о «первом ученике» (опять «первом ученике»!), критике-зубриле, вечно твердящем некий стих, составленный по образцу тех стихов, которые облегчали в гимназии запоминание орфографических правил:

Бойтесь, дети, гуманизма,
Бойтесь ячества, друзья,
Формализма, схематизма
Опасайтесь как огня... (3, с. 160)

Там же был помещен рассказ «Идеологическая пеня», как бы сводящий воедино тему приспособленчества, трусости и готовности отмежевываться от кого и от чего угодно. Авторы предлагают «внести стройность и порядок в литотмежевательное дело». Они советуют писателям не дожидаться появления ругательных статей, а отмежевываться от своих сочинений заранее. Отмежевание должно быть введено в типовой издательский договор: «Автор признает свой роман... который он должен сдать не позднее августа 1933 года, грубой приспособленческой халтурой, где убогость формы достойно сочетается с узколобым кретинизмом содержания...»; в пьесах отмежевание производится в финале перед занавесом; поэтам надлежит отмежевываться в стихах. А те «литературные старатели», которые этого сделать не успеют, должны помещать отречения от своих литературных произведений «за плату по нормальному тарифу в отделе объявлений, между извещениями: „Пропала сука“ и „Я, такой-то, порвал связь с родителями с 18 часов 14 минут 24 мая...“» (3, с. 147).

Едва ли можно утверждать, что писатели случайно соединили эти три темы: сбежавшая сука, отречение от своего сочинения, отречение от родителей. В записных книжках тех лет Ильф выразил свое отношение к той же теме еще лапидарнее, предложив новое название известной картины Репина: «Иоанн Грозный отмежевывается от своего сына» (5, с. 187).

Актуальность фельетона «Идеологическая пеня» получила подтверждение в той самой «Литературной газете», где он печатался: в номере за 12 мая фельетону предшествовала бодрая передовица «К новым успехам», а в следующем номере редак-

ция уже отмежевывалась от своей передовицы как связанной с только что ликвидированным РАПП'ом.

Но если в «годы великого перелома» Ильф и Петров выступали не против «интеллигенции, претендовавшей на свое собственное мнение», а против интеллигентов — конформистов и трусов, то что же тогда означает «хрестоматийный пример» Васисуалия Лоханкина из «Золотого теленка»?

Как и против кого, собственно, бунтует Лоханкин в «Золотом теленке»? Васисуалий Андреевич — жилец «Вороньей слободки». Он нигде не служит, не занимается физическим трудом, не торгует на рынке и, хотя не обладает ни серьезным образованием, ни широтой интересов (обстоятельство, которое новейшие критики Ильфа и Петрова относят на счет «желчной воли соавторов»), причисляет себя к интеллигенции. С какими персонажами литературы 1920-х гг. может быть сопоставлен Васисуалий Лоханкин? Прежде всего на память приходит Алексей Спиридонович Тишин из «Хулио Хуренито» Эренбурга — он тоже велеречив, тоже неряшлив и жалок. Но Тишин, в отличие от Лоханкина, действительно находится в оппозиции к советской власти: он сочувствует интервенции, ждет «светлого дня воскресения» и в конце концов отправляется в эмиграцию. Сатирический образ интеллигента-оппозиционера создал и Н. Эрдман: в пьесе «Самоубийца» это некий Голощапов, призывавший главного героя совершить акт самоубийства «от имени русской интеллигенции».

В отличие от Тишина и Голощапова, Лоханкин вполне аполитичен. Этим он оказывается наиболее близким к другому персонажу в литературе того времени — к Мишелю Синягину из одноименной повести Зощенко, написанной в 1930 г. Как и Лоханкин, Мишель — лицо неопределенной профессии; он считает себя поэтом (это обстоятельство, однако, никогда не давало повода для обвинения Зощенко в поклепе на интеллигенцию); Мишель живет в коммунальной квартире и существует за счет родных. Как и Васисуалий, Мишель кончает тем, что укрывается под крыло своей бывшей супруги и ее нового мужа. Ни Лоханкин, ни Мишель Синягин не противоречат окружающей среде и вовсе не претендуют на собственное мнение.

Единственное, пожалуй, отличие Васисуалия Лоханкина от Мишеля Синягина заключается в том, что Мишель просто пассивен, между тем как Васисуалий возводит свою страдательную роль в принцип. Это человек, усматривающий необходимость и глубокий смысл во всем, что с ним происходит. «Бунт индивидуальности», который учиняет в романе Лоханкин, сводится к голодовке из-за ухода жены к другому и заканчивается

полной капитуляцией: «А может быть, так надо, — может быть, это искупление, и я выйду из него очищенным?..».

«Великую сермяжную правду» он усматривает в порке, которой подвергают его соседи за расточение коммунальной электроэнергии.

«А может быть, так надо», — думает он во время экзекуции. «Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва...».

Порку прерывает Остап, явившийся по объявлению, чтобы снять комнату у Лоханкина. Он осведомляется о соседях. «Прекрасные люди», — заверяет его Васисуалий.

«— Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания?

— Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда?» (2, с. 147, 155, 156).

Провиденциальный смысл Лоханкин усматривает и в стихийном бедствии — в разрушившем его дом пожаре (вызванном, впрочем, поджогом, устроенным соседями в расчете на страховку). Укрывшись в квартире своей бывшей жены, он предается размышлениям:

«— А я думаю, что, может, так надо, — сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин, — быть может, я выйду из пламени преобразившимся, а?» (2, с. 239).

Лоханкин — не оппозиционер, а напротив, убежденный конформист, и позиция этого неслужащего интеллигента в сущности соответствует универсальному штампу его чиновного собрата Полыхаева, заранее приемлющего все, «что понадобится впредь».

Такую позицию действительно не раз занимали русские интеллигенты. Создавая Лоханкина, Ильф и Петров, наверное, не думали ни о веховцах, ни о сменовеховцах. Но неуклонное «гегельянство», готовность признать разумность всего на свете и любого изменения общественного климата возникало у русской интеллигенции на протяжении ее истории постоянно. Здесь можно упомянуть даже «первого русского интеллигента» — Белинского, отдавшего дань гегельянству своей «Бородинской годовщиной». Но Белинский, как известно, вскоре распростился с «философским колпаком Георгия Федоровича» и заявил, что России нужны уничтожение крепостного права и «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства». Представители же «лоханкинского направления» в среде русской интеллигенции неизменно останавливались на признании «великой сермяжной правды» каждого исторического момента.

Ближайшая параллель Лоханкину — это, конечно, «кающиеся интеллигенты» 1920—1930-х гг., не только усматривавшие глубокий смысл во всем происходящем, но выступавшие при этом от имени самой интеллигенции с пафосом и самобичеванием. Такой была в те годы позиция Леонова, Эренбурга, Олеши. Какие конкретно прототипы могли быть у Васисуалия Лоханкина? Упоминание «сермяжной» правды свидетельствует как будто о «почвенных» корнях его мировоззрения, характерных более для Леонова, но сочетание полнейшей пассивности с мазохизмом и самобичеванием заставляет вспомнить об Олеше.[11] «Мы, писатели интеллигенты, должны писать о самих себе, должны разоблачать самих себя, свою „интеллигентность“... Взгляд мой на положение интеллигенции крайне мрачен. Надо раз навсегда сказать следующее: пролетариату совершенно не нужно то, что мы называем интеллигентностью...»[12] — писал Юрий Олеша в 1930 г. «Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это — слабость, от которой я хочу отказаться».[13] Это очень похоже на лоханкинскую манеру упиваться собственным страданием, хлестать «свое горе чайными стаканами» и на вопли писателя в фельетоне Ильфа и Петрова «На зеленой садовой скамейке»:

«— Братья, меня раздирают противоречия великой стройки.

— Десятый год они тебя уже раздирают. И ничего, потолстел...

— А все-таки они меня раздирают, и я этим горжусь. Тя-я-я-ажко мне! Подымите мне веки. Нет, нет, не подымайте! Или лучше подымите. Я хочу видеть новый мир...».[14]

Менее всего можно считать Лоханкина интеллигентом, отстаивающим собственное мнение. Скорее уже на эту роль мог

---

[11] Черты сходства между Олешей и Лоханкиным бросились в глаза и Белинкову (*Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Подгот. к печати Н. Белинкова. Мадрид, 1976. С. 658), но так как Белинков считал, что Ильф и Петров «освистывали» интеллигенцию, претендующую на собственное мнение, «охотнее и радостнее», чем Олеша, то такая сатира могла бы рассматриваться как обличение его с официальных позиций. Однако, как мы видели, в годы написания «Золотого теленка» (1929—1930) Ю. Олеша обнаруживал несравненно больший конформизм, чем Ильф и Петров: он разоблачал кулаков и попов, требовал осуждения вредителей, отвергал претензии Пильняка на свободу слова. Ни в одной из этих кампаний Ильф и Петров не участвовали.

[12] *Олеша Ю.* Тема интеллигента // Стройка (Ленинград). 1930. № 3. С. 16—17.

[13] *Олеша Ю.* Пьесы; Статьи о театре и драматургии. М., 1968. С. 268.

[14] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. С. 45.

бы претендовать другой, совсем эпизодический персонаж «Золотого теленка» — укрывшийся в сумасшедшем доме присяжный поверенный И. Н. Старохамский, выдающий себя за Юлия Цезаря. Правда, Старохамский — человек осторожный, и открыто он против советской власти не выступает, но, притворившись сумасшедшим, он обретает наконец долгожданную свободу слова:

«— Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам!..» (2, с. 190).

Любопытно, однако, что образ Кая Юлия Старохамского не вызвал протеста со стороны тех, кто защищал интеллигенцию от Ильфа и Петрова. Почему? Видимо, не только из-за недостаточно внимательного чтения «Золотого теленка». Дело здесь еще в том, что Учредительное собрание не принадлежало к числу тех ценностей, гибель которых (во всяком случае до последнего времени) склонно было оплакивать большинство русских интеллигентов. Однодневный русский парламент пребывает в традиционном историческом сознании где-то рядом с другими явлениями недолговременной русской свободы — массовыми митингами, Временным правительством, Керенским. Как ни менялись общественные взгляды и воззрения за прошедшие десятилетия, в одном сходились все: в презрении к демократическому премьеру 1917 г. «Главноуговаривающий» — в этом уничижительном прозвище целая философия истории. Власть, которая не бьет сапогом по морде, не сечет шпицрутенами, не высылает миллионы людей в Сибирь, а **уговаривает**, это, конечно, не настоящая власть. В ироническом контексте — среди воспоминаний зиц-председателя Фунта — упоминался Керенский и в «Золотом теленке»:

«—...Фунт сидел при Александре Втором „Освободителе“, при Александре Третьем „Миротворце“, при Николае Втором „Кровавом“, при Александре Федоровиче Керенском...

И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы» (2, с. 261).

Заметим все же, что, как это часто бывает у Ильфа и Петрова, текст оказывается здесь несколько двусмысленным: «присяжные поверенные» названы во множественном числе, а ведь, кроме Александра Керенского, Россией правил еще только один носитель этого звания — помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов.

Странным образом критики, обидевшиеся за Лоханкина и не заметившие Кая Юлия Старохамского, не увидели, что в «Золотом теленке» действительно есть интересовавший их герой — интеллигент-одиночка и индивидуалист, критически

относящийся к окружающему его миру. Это Остап Ибрагимович Бендер, главный герой романа.

Остап с полным основанием подсмеивается над претензиями Лоханкина на интеллигентность. Слова Лоханкина о «великой сермяжной правде», заключающейся в учиненной над ним экзекуции, вызывают у него достаточно ядовитую реакцию:

«— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

— Из пятого, — ответил Лоханкин.

— Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни?» (Там же, с. 156).

Сам Остап не только дошел до «физики» Краевича, но сохранил даже некоторые воспоминания о немецком языке («Вас махен зи? — спрашивал он немца, принявшего его за бюрократа — начальника советского учреждения. — Вас волен зи от бедного посетителя?») и о гимназической латыни; слышал он и о Гомере и Мильтоне. Он ничуть не менее интеллигентен, чем писатели, едущие в литерном поезде. Правда, Д. Заславский утверждал: «Совершенно лишним, чужим, как бы ловко он ни приспосабливался, выглядит Остап в поезде с советскими и иностранными журналистами, который идет на строительство Восточной Магистрали...»,[15] но это, по выражению Коровьева из «Мастера и Маргариты», «случай так называемого вранья». Остап чувствует себя среди советских писателей прекрасно, участвует вместе с ними в философских спорах с иностранцами, а одному журналисту, сотруднику профсоюзного органа, даже помогает как собрат и продает ему ценное пособие для писания юбилейных и табельных сочинений.[16]

Конечно, эрудиция Остапа пародийна, и застрявшие в его памяти неправильно склоняемые латинские существительные «пуэр, соцер, веспер, генер...» отнюдь не свидетельствуют о глубокой образованности. Но многие ли из послереволюционных интеллигентов могли похвастаться более серьезным знанием классических языков?

Остап не только образованнее Лоханкина. В отличие от Васисуалия Андреевича, он вовсе не склонен видеть «великую сермяжную правду» во всем, что происходит вокруг него. «У меня с советской властью возникли за последний год серьез-

---

[15] См. предисловие к Собр. соч. Т. 1. С. 15.

[16] См. об этом: *Саппак В.* Не надо оваций! // Вопросы театра. М., 1965. С. 120.

нейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Что я, каменщик в фартуке белом...» — говорит он Шуре Балаганову (2, с. 30). Эти слова весьма многозначительны, и недаром во втором издании (1933 г.) и во всех последующих (включая 5-томное Собрание сочинений 1961 г.) последнюю фразу Остапа пришлось снять.[17] Это — цитата из Валерия Брюсова:

> Каменщик, каменщик в фартуке белом,
> Что ты здесь строишь? Кому?
> — Эй, не мешай нам. Мы заняты делом,
> Строим мы, строим тюрьму...

Тот же мотив звучит и в прощании с родиной перед переходом румынской границы: «Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями...» (там же, с. 383). Интересно, что и здесь появляется мало симпатичный писателям образ «первого ученика» — носителя идеологических нормативов.

«Бунт индивидуальности» Остапа Бендера несравненно серьезнее мнимого «бунта» Васисуалия Лоханкина — фигуры эти не только не сходны, но полярно противоположны. Если у Остапа есть в «Золотом теленке» некий двойник, то это не Лоханкин.[18] Двойник Бендера — правда, сниженный и жалкий — это Михаил Самуэлевич Паниковский, «человек без паспорта». Тема Паниковского — тема «бунта маленького человека», еще один вариант «достоевской темы», намеченной в «Двенадцати стульях» в образах отца Федора и Воробьянинова.[19] «Вздорный старик» Паниковский постоянно стремится утвердить свою личность — бунт его нелеп и вместе с тем вызывает сострадание. Он не принимает бендеровского плана постепенного разоблачения подпольного миллионера, он требует немедленного раздела вытащенных им у Корейко денег:

«В углу плакал Паниковский.

---

[17] *Ильф И., Петров Е.* Золотой теленок. М., 1933. С. 33—34; 2-е изд. М., 1933. С. 33.

[18] Попытку сблизить эти два персонажа как «людей идеи» см.: *Саппак В.* Не надо оваций! С. 111.

[19] Н. Я. Рыкова, единственный критик «Золотого теленка», заметивший «сдержанный трагизм» сцены смерти Паниковского, напрасно противопоставила эту сцену описанию гибели отца Федора в «Двенадцати стульях» (см. ее рецензию на «Золотого теленка»: Звезда. 1933. № 6. С. 175) — между образами отца Федора и Паниковского, как и Воробьянинова, есть явные черты сходства.

— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят...

— Вы лучше скажите, будете ли вы служить или нет? Последний раз спрашиваю.

— Буду, — ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы» (2, с. 160—161).

Вот как описывается в «Золотом теленке» смерть Паниковского:

«...он потащился в конце колонны, стеная и лепеча:

— Подождите меня, не спешите. Я старый, я больной, мне плохо!.. Гусь! Ножка! Шейка! Фемина!.. Жалкие, ничтожные люди!..

Но антилоповцы так привыкли к жалобам старика, что не обращали на них внимания. Голод гнал их вперед...

— Что-то случилось, — сказал Козлевич...

Шофер и командор поднялись вверх.

Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука косо пересекала его грудь. Одна рука была подвернута за спину. Глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв...

Балаганов не мог отвести глаз от покойника. Внезапно он скривился и с трудом выговорил:

— А я его побил за гири. И еще раньше с ним дрался».

Далее следует сцена похорон Паниковского в яме, вымытой дождями у старой каменной плиты, и речь, произнесенная Остапом над могилой:

«— Я часто бывал несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!» (2, с. 285—286).

Ю. Щеглов связывает сцену похорон Паниковского с мотивом «мнимой респектабельности», характерной для этого образа, отмечая, что все аксессуары его похорон «имеют пародийный характер, а традиционная форма надгробной речи используется Остапом Бендером для сурового осуждения покойного».[20] Пародийность речи Остапа очевидна, но за пародийным «осудительным» смыслом здесь ощущается иной, более глубокий. Го-

[20] *Щеглов Ю.* Семиотический анализ одного типа юмора // Семиотика и информатика. М., 1975. Вып. 6. С. 193.

воря о Паниковском, Остап явно имеет в виду и себя самого. Он тоже обладает «вспыльчивым характером», делающим неразрешимым противоречие между ним и обществом. Эпитафия Паниковского — это и эпитафия Остапа Бендера.[21]

Но не следует ли из этого, что тема разоблачения интеллигента-индивидуалиста все же является основной темой «Золотого теленка», что интеллигенция, «претендовавшая на собственное мнение», «освистана» в романе не в лице Васисуалия Лоханкина, а в лице Остапа Бендера? Странным образом, однако, никто из авторов, обидевшихся на Ильфа и Петрова за Лоханкина, не захотел вступиться за «великого комбинатора» и не усмотрел в этом образе пасквиль на критически мыслящую интеллигенцию.

В чем тут дело? Можно думать, что известную роль здесь сыграли внешние черты образа, своего рода опознавательные знаки, по которым не очень внимательные читатели классифицируют литературных персонажей. Лоханкин украшен «фараонской бородкой», он размышляет о судьбах интеллигенции, поэтому он естественно воспринимается как интеллигент, хотя и окарикатуренный авторами во имя «социального заказа». Остап — «великий комбинатор», авантюрист; он рассматривается поэтому в ряду нарушителей закона, популярных в послереволюционной литературе героев-уголовников. Даже У.-М. Церер, немецкая исследовательница, не связанная необходимостью разоблачать индивидуалиста Бендера и высказавшая интересную мысль об автобиографических мотивах в теме погони Остапа «за счастьем», включила все-таки Остапа в число классических правонарушителей из литературы 1920-х гг. вместе с катаевскими растратчиками, Турецким барабаном из «Конца хазы» Каверина, Беней Криком и леоновским бандитом Митькой Векшиным.[22] Но сходства между Остапом и Митькой Векшиным не больше, чем между Ильфом и Леоновым. Конечно, дилогия об Остапе Бендере опиралась на традиции плутовского романа, но уже Виктор Шкловский, отметивший эту генеалогическую связь, справедливо включил в число предков Остапа, наряду с Лазарильо с Тормеса, Чичи-

---

[21] Черты сходства между Остапом и Паниковским отмечены У.-М. Церер, обратившей внимание, однако, не на надгробную речь, а на другие места романа (2, с. 71, 161) (*Zehrer U.-M.* «Dvenadcat' stul'ev» und «Zolotoj telenok» von I. Il'f und E. Petrov. Entstehung, Struktur, Thematik (Banstük zur Geschichte der Literature bei den Slawen. Bd 3). Gießen, 1975. S. 231).

[22] *Zehrer U.-M.* «Dvenadcat' stul'ev»... S. 245—248. Запись Ильфа в «Записных книжках»: «Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я хотел бы быть» (5, с. 198), действительно, приводит на память Остапа Бендера, но дальнейшая характеристика («беспрерывно лопочущим... вздорным болтуном») делает это сопоставление сомнительным.

ковым и Жиль Блазом, также Тома Джонса-найденыша и Гека Финна (Лит. газ. 1934. 30 апр.). Главное в образе Остапа — не его противоправные действия, а его выключенность из окружающего мира, способность взглянуть на этот мир со стороны. Вот почему среди традиционно упоминаемых двойников Бендера ближе всего к Остапу в советской литературе — несмотря на условность этого персонажа — оказывается Хулио Хуренито Эренбурга.

Образ Остапа не только не вызвал протеста со стороны защитников обиженной интеллигенции. Не менее любопытно и другое обстоятельство. Роман кончается поражением Остапа, его капитуляцией. Казалось бы, такой крах «анархического индивидуализма» должен был вызвать одобрение официальных критиков «Золотого теленка». Но что-то их в этом романе не удовлетворяло. Уже Луначарский, поспешивший опубликовать отзыв на «Золотого теленка» до завершения журнальной публикации романа, замечал, что образ Остапа Бендера — «это — только художественный прием, который немного фальшивит», «дальнейшее сочувствие к такому типу является уже элементом анархическим».[23] Более определенного отношения к Остапу требовал от авторов и Селивановский в «Литературной газете»: «Если бы Ильф и Петров положили в основу своего романа понимание Бендера как классового врага... они глубже бы взрыхлили почву нашей действительности».[24] Е. Трощенко заявила, что «авторская насмешка» над Остапом «снисходительна», а позиция их «в осмеянии своего героя «слаба и прекраснодушна», исполнена «интеллигентского гуманизма».[25]

Еще резче осудил авторов за образ Остапа Бендера А. Зорич. «Кто такой „великий комбинатор“ Остап Бендер, главный герой и **главный объект** сатиры, развернутой на страницах „Золотого теленка“?.. — вопрошал он. — Может быть, это сознательный и намеренный враг?.. Нет, для политической фигуры он явно легковесен, и никакой программы у него нет... Кто же он в таком случае?

Это **выдуманная фигура**, человек, лишенный какого бы то ни было социального лица и социальных корней...».[26]

Упреки за недостаточно последовательное осуждение Остапа Бендера высказывались Ильфу и Петрову и в 1950—

---

[23] *Луначарский А.* Ильф и Петров // 30 дней. 1931. № 8. С. 66.

[24] Лит. газ. 1932. 23 авг.

[25] *Трощенко Е.* Последние приключения анархического индивидуума // Красная новь. 1933. № 9. С. 174—175.

[26] *Зорич А.* Холостой залп: Заметки читателя // Прожектор. 1933. № 7—8. С. 23—24.

1960-х гг. — после того как запрет на их сочинения был снят. «Наделив Бендера рядом сильных положительных черт... авторы допустили серьезный идейно-художественный просчет»,[27] — писал Л. Ф. Ершов. По мнению А. Вулиса, Ильф и Петров, в «расчете (а может быть, и в надежде)» на исправление Остапа Бендера, «частенько проявляют мягкосердечие, занижают ту дозу осуждения, которой Бендер заслуживает».[28]

Очевидно, как это не раз обнаруживалось при анализе значительных литературных произведений, «Золотой теленок» имеет несколько сюжетных слоев — внешний и более глубокий. Для того чтобы разграничить эти слои, необходимо понять, что́ намеревались сказать и что́ действительно сказали авторы в своем рассказе о «печальном конце советского миллионера».

---

[27] *Ершов Л.* Заметки о сатирической прозе 20-х годов. С. 373.
[28] *Вулис А.* И. Ильф, Е. Петров. С. 223.

Глава IV

ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕДА КОМАНДОРА

Каков смысл сюжета «Золотого теленка»? Что означает его развязка? Далеко не всякое литературное произведение дает право поставить подобный вопрос. У многих художников — начиная с Шекспира и кончая Чеховым — развязка не выражает отношения автора к изображаемым событиям: проблема ставится, но не решается.

Однако любимым писателем Ильфа и Петрова (как и их современника Булгакова) был не Чехов, а Гоголь. Гоголь же склонен был к определенным решениям сюжетных коллизий: развязка «Ревизора» несомненно отражала авторское отношение к происшествию, случившемуся в уездном городе из-за Хлестакова; так же, очевидно, должен был быть построен и сюжет «Мертвых душ».

Как и Гоголь, Ильф и Петров жаждали не только бичевать зло, но и утверждать добро. Они вовсе не стремились поэтизировать «анархического индивидуума» Бендера, они хотели противопоставить ему справедливый и честный мир. Они надеялись или хотели надеяться, что такой мир будет действительно создан. Далеко не все, что происходило вокруг них, было им по душе — они не смогли, даже если хотели, сказать ни одного доброго слова о раскулачивании, об «усилении классовой борьбы» в городе. Но кое-что в программе, намеченной в 1929 г., когда начинал писаться роман, их радовало. Еще в 1920-х гг. они мечтали об индустриализации, убежденные, что техника, строительство, новые пути сообщения уничтожат нищету и тьму Колоколамска, Пищеслава и «Вороньей слободки». Недаром в «Золотом теленке» возникает старый гоголевский мотив дороги — с явным полемическим переосмыслением:

«Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, были усмирены картофельные бунты. Люди научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы — пароход и паровоз. Затрубили автомашины.

А дорога осталась такой же, какой была при Соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, осквернённых травах, валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили.

Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки, и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.

Но месячному свету уже дано новое назначение. Месяц может отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых» (2, с. 77).

Но как именно новый мир гудронных шоссе и автомобильных сирен преобразит ветхий мир собственничества, оставалось для авторов неясным. Первоначальные планы романа заканчивались упоминанием одной из первых строек пятилетки — Туркестано-Сибирской железной дороги, Турксиба. Когда эти главы составлялись, авторы на Турксибе еще не были и сами не знали, каким образом новая железная дорога поможет им развязать сюжетный узел романа. В мае 1930 г. они поехали на открытие Турксиба, а затем, в романе, отправили на открытие дороги Остапа Бендера. Поездке на Турксиб посвящены пять глав в последней части «Золотого теленка». В литерном поезде, куда проник зайцем Остап, идут споры между корреспондентом свободомыслящей австрийской газеты Гейнрихом и советскими журналистами. Гейнрих рассказывает историю о двух советских молодых людях, Адаме и Еве. Они сорвали ветку с дерева в Парке культуры и отдыха, сторож, подобно ангелу, изгнал их, и они полюбили друг друга. А затем они произведут на свет сыновей — Каина и Авеля, Каин убьет Авеля, и «ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно кипятились насчет новой жизни».

Спор о новой жизни приобретает здесь, в спародированном виде, тот космический и всеобъемлющий смысл, какой он имел в «Зависти» Олеши. Новый мир рассматривается как совершенно новый, противостоящий любви Адама и Евы и злодейству Каина. Но советские журналисты принимают вызов «наемника капитала», как иронически именует себя сам Гейнрих.

«— Все это было бы прекрасно, — сказал Паламидов, — если было бы подкреплено доказательствами...

— А у вас есть доказательства, что будет иначе? — воскликнул представитель свободомыслящей газеты.

— Есть, — ответил Паламидов, — одно из них вы увидите послезавтра, на смычке Восточной Магистрали.

— Ну-у, начинается! — заворчал Гейнрих. — Строительство! Заводы! Пятилетка! Что вы мне тычете в глаза свое железо? Важен дух!» (2, с. 307).

Авторы, очевидно, не были согласны с Гейнрихом. Они полагали, что строительство железных дорог имеет некоторое отношение к устройству человеческой жизни и к «духу». Но какое? Само по себе «железо» все-таки действительно ничего не доказывает. Железные дороги строились в России и в годы, когда Воробьянинов был предводителем дворянства и процветали оба черноморских общества «взаимного кредита». И еще какие — Великий Сибирский путь, соединивший Европу с Дальним Востоком! Значит, дело все-таки не в самом факте строительства; важны условия и задачи этого строительства, следовательно, тот «дух», который стоит за ним. Турксиб посрамляет обоих подпольных миллионеров — Корейко и получившего свой миллион Бендера — только в одном отношении. Когда заканчивается торжество по поводу открытия магистрали, они не могут уехать тем литерным поездом, которым прибыл Остап. Место Остапа в купе литерного поезда занял законный владелец, журналист Лев Рубашкин, отставший в Москве от поезда и прилетевший на самолете. На другой поезд сесть нельзя — фактически железная дорога начнет действовать только через два месяца. Специальный рейс самолета также не принимает пассажиров...

Миллионерам приходится отправляться в путь на верблюдах, но эпизод едва ли решает спор между Гейнрихом и Паламидовым. Журналист-халтурщик Лев Рубашкин, попадающий вместо Бендера в литерный поезд, никак не может считаться особо ценным членом общества, противостоящим великому комбинатору; да и вообще железные дороги и самолеты существуют для того, чтобы перевозить любых граждан, а не одних лишь журналистов.

Окончательное посрамление Остапа Бендера происходит в последних главах романа — обретенный миллион не приносит ему ни могущества, ни счастья. Почему? В ходе написания романа авторы долго искали убедительный вариант финала. На одном из листков, содержащих план романа, сохранилась запись, явно относящаяся к его развязке: «Отменят деньги». Исследовательница, обратившая внимание на этот план развязки романа, объясняла такое «размышление об исходе сюжета» тем, что на «рубеже 20-х и 30-х годов, с ликвидацией нэпа, в устах некоторых советских работников прозвучала мысль, что деньги следует отменить. Эта мысль была осуждена, объявлена беспочвенной».[1]

Мысль об отмене денег действительно была осуждена и отвергнута в 1934 г. — как раз тогда, когда было объявлено о построении социализма в СССР. Но исходила эта идея вовсе не от «некоторых советских работников». Она была провозглашена еще Энгельсом, заявившим в «Принципах коммунизма», что «когда весь капитал, все производство, весь обмен будет сосредоточен в руках нации, тогда частная собственность отпадет сама собой, деньги станут излишними...».[2] Включен был соответствующий пункт и в программу Коммунистической партии, принятую на VIII съезде в 1919 г. и сохранявшую силу до 1961 г.: «Пункт 15... Опираясь на национализацию банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расширяющих область безденежного расчета и подготовляющих уничтожение денег». Разъясняя этот пункт партийной программы, В. И. Ленин писал, что «РКП будет стремиться к возможно более быстрому проведению самых радикальных мер, подготавливающих уничтожение денег, в первую очередь замену их сберегательными книжками, чеками, краткосрочными билетами на право получения общественных продуктов и т. д. ...».[3] Поскольку в 1929 г. было заявлено именно о начавшемся строительстве социализма, реализация пункта 15 прямо ставилась в порядок дня. Разговоры об отмене денег в самое ближайшее время («через два месяца») можно найти у Ильфа и Петрова в рассказе 1929 г. «Московские ассамблеи» (2, с. 480).

Насколько это представление было в то время общепринятым, видно из повести М. Зощенко «Возвращенная молодость», где старый профессор Волосатов, готовый принять новую жизнь, не может понять только идею отмены денег: «Он никак не может отрешиться от понятия денег и никак не может

---

[1] *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 84.
[2] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М., 1955. Т. 4. С. 334.
[3] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 38. С. 100 и 122.

понять жизни, в которой деньги не будут играть той роли, какая им предназначена... Он за социализм с деньгами...». «Это мелочи! — смеется над ним его партийная дочь. — Ведь деньги — это вопрос привычки. Сознание изменит эту привычку. Или ты действительно думаешь с деньгами въехать в социализм?..».[4]

Но отмена денег не состоялась, и в романе, опубликованном в 1931 г., речь, естественно, шла о реальной обстановке тех лет. В этой обстановке миллион рублей, лежавший в чемодане у Остапа Бендера, действительно не мог обеспечить его владельцу признания и могущества. Прежде всего, это были тайные деньги — владеть такими суммами легально советский гражданин уже не мог. Именно поэтому единственная попытка Остапа Бендера поразить собеседников своим богатством оканчивается плачевно. Повторяя сцену из «Графа Монте-Кристо», в которой герой показывает банкиру Данглару миллион и этим потрясает его,[5] Остап раскрывает чемодан с миллионом перед студентами, едущими с ним в купе международного вагона. Студенты, которым Остап сперва понравился своей общительностью и остроумием, немеют от изумления и спешат покинуть миллионера (с этим, кстати, связаны, по-видимому, слова Остапа в финале: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло...»). Эпизод с миллионом часто трактуется как пример посрамления «анархического индивидуалиста» — советские люди не желают иметь с ним ничего общего. В романе сцена эта вовсе не воспринимается как торжество добродетели над пороком. Студенты, очевидно, считают, что перед ними аферист или шпион, во всяком случае подозрительная личность. Но они не задают естественных в данном случае вопросов, не разоблачают Остапа. Они просто пугаются и ретируются. Их реакция — действительно нормальная реакция советских граждан: нежелание ввязываться в неприятную историю.

Что же именно доказали Ильф и Петров сюжетом «Золотого теленка» в обоих его вариантах?

Последние главы «Золотого теленка» доказывают лишь то, что в обстановке начала 1930-х гг. большое количество советских денег (вопроса о валюте Ильф и Петров не касались — это была особая проблема в те годы) не обеспечивало их владельцу немедленного получения важнейших жизненных благ. Но, прежде всего, если деньги не принесли великому комбинатору (как и его бывшему сподвижнику Шуре Балаганову,

---

[4] *Зощенко М.* Возвращенная молодость. Л., 1933. С. 56; ср. с. 49 и 59.

[5] «Граф Монте-Кристо». Ч. III. Гл. VIII «Неограниченный кредит» (ср.: *Дюма А.* Граф Монте-Кристо. Курск, 1955. Кн. 2. С. 556).

получившему от Остапа пятьдесят тысяч) счастья, то это не значит, что они потеряли всякую ценность. И костюм «Европа-А» в мельчайшую калейдоскопическую клетку, и бриллиантовый перстень, и лаковые туфли, и роскошные обеды — все это Бендер получил за деньги. Ими же можно было оплатить и путешествие в международном вагоне, и обед в ресторане, и номер в «Гранд-отеле». Правда, здесь уже обнаруживались трудности: номеров в гостинице обычно не оказывалось. Пришлось прибегать к дополнительным мерам, знакомым великому комбинатору по его прежней деятельности: выдавать себя за другого, заранее извещая телеграммами о приезде ответственного лица. В таких случаях номера в гостиницах и места в ресторанах находились, а оплачивать их Остап мог уже наличными.

Роль наличных денег оказывалась, таким образом, ограниченной, но ограничивало ее не отсутствие хороших номеров в гостиницах или мест в ресторанах, а распределение этих или подобных благ **безналичным** путем. «Получается, следовательно, что деньги потеряли и теряют у нас смысл и значение не потому, что взамен их созданы или создаются какие-то иные мерила и коэффициенты человеческого счастья и удовлетворенности, а единственно в силу специфических условий нашего рынка и нашей обстановки», — ехидно замечал в связи с этим наиболее строгий критик «Золотого теленка» А. Зорич. Зорич, как мы уже знаем, считал книгу Ильфа и Петрова пустым «анекдотом», предрекая ей полное забвение; он был твердо убежден также, что и ситуация, нарисованная в «Золотом теленке», временна и потеряет всякий смысл, когда номеров в гостинице и товаров в магазинах будет сколько угодно, «как это обещает наш завтрашний день».[6] Как видим, критик пытался быть не только литературным, но и социальным пророком, а мы и в этом случае можем проверить, сбылось ли его предсказание полвека спустя.

Но в одном отношении А. Зорич был прав. В «Золотом теленке» действительно торжествовали не новые «мерила и коэффициенты человеческого счастья», а лишь специфические условия «рынка» и «обстановки», установившейся с 1930-х гг. Среди предварительных записей к «Золотому теленку» есть и такая: «Ввиду сходных условий с 20-м годом человек заготовил буржуйки, деревянную обувь, саночки, бензиновые и масляные светильники и т. д. Прогорел».[7] Прогорел, очевидно, потому, что условия не оказались сходными. В 1920 г. бед-

---

[6] *Зорич А.* Холостой залп: Заметки читателя // Прожектор. 1933. № 7—8. С. 24.

[7] Ср.: *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? С. 86.

ность была более или менее всеобщей, в стране свирепствовала разруха. В 1929—1930 гг. разрухи не было — нормально ходили поезда с международными вагонами разных классов, сохранялись дорогие гостиницы и рестораны. Но доставались эти блага не всем, а лишь «людям дела», по выражению Зорича. Хорошо, если этими людьми оказывались дирижер симфонического оркестра или ученые-почвоведы: можно согласиться, что они действительно были полезнее для общества, чем миллионер-одиночка. Но чаще всего это были другие — участники многочисленных заседаний и конференций, в необходимости которых авторы явно не были уверены, и командированные представители администрации.

Но если это так, то и финал романа приобретал совсем иной смысл, чем тот, который в нем усматривают обычно и который, видимо, хотели создать авторы.

Как и Павел Иванович Чичиков, главный герой «Золотого теленка» должен был потерпеть крах в своих попытках грандиозного, но не вполне нравственного обогащения. Чичиковские черты Остапа отражаются в одном из двух прозвищ, под которым он постоянно выступает в романе — «великий комбинатор» (хотя само это выражение взято, очевидно, из популярной в те годы шахматной терминологии). Но Остап явно привлекательнее гладенького Павла Ивановича: он оригинален, остроумен, даже интеллигентен — ни одной из этих черт гоголевский герой не обладал. О своеобразно романтических чертах характера Остапа свидетельствует другое наименование, также многократно встречающееся в «Золотом теленке», — «командор». Термин этот связан прежде всего с автопробегом, к которому пристроилась «Антилопа» под видом головной машины. «Командором пробега назначаю себя», — заявляет Остап в начале (2, с. 44), и дальше в романе несколько раз упоминаются «командор пробега», «командорская машина», «командорское место» (там же, с. 75, 78, 201). Однако в романе есть и еще одна мотивировка этого прозвища, связанного с фразой из предпраздничных военных приказов: «командовать парадом буду я», которую несколько раз произносит (и даже включает в телеграмму, посланную Корейко) Остап Бендер (там же, с. 74, 116, 233, 246, 347). Не вполне однозначно мотивированное в тексте, слово «командор» тем не менее хорошо гармонировало с образом героя и вызывало у читателя дополнительные, куда более возвышенные ассоциации с «Каменным гостем» и его блоковской версией — «Шагами командора»:

Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,

Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает командор...

Сцена летящего во тьме ярко освещенного автомобиля (уже у Блока несколько неожиданная для темы «Дон Жуана») появится, как мы увидим, и в «Золотом теленке» (2, с. 88—89), но Остап выступает в этой сцене уже не как командор пробега (настоящий командор — в машине), а как его поверженный соперник. И это обстоятельство побуждает читателя ассоциировать героя «Золотого теленка» не столько с командором Дон Альваром, сколько с его дерзким антагонистом. В каком-то смысле Остап может восприниматься как сниженный и пародированный Дон Жуан («Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник»).

Подобно пушкинскому Дон Гуану, претендент на роль командора обречен в «Золотом теленке» на поражение. Но само это поражение описывалось и мотивировалось в двух редакциях романа по-разному: в одном случае Остап просто признавал свою неудачу и капитулировал, в другом — решал бежать за границу.

Кто же побеждал великого комбинатора? Сравнивая между собою две версии, исследователи обычно утверждают, что замена более или менее счастливого конца (отказ от миллиона и женитьба на Зосе) явным поражением героя сделана для того, чтобы разоблачить его до конца: «Остап может сделать такой жест — оставить чемодан с миллионом на четверть часа или даже отправить его наркому финансов. Он склонен к картинным поступкам... Но отправить деньги всерьез, отказаться всерьез от миллиона — для него невозможно... Верный рыцарь золотого тельца, он не так скоро примирится с крушением своих иллюзий...».[8]

Так ли это? Вспомним, что происходит в последних главах романа — после того как Остап, разочаровавшийся в сокровище, решает отправить свой миллион народному комиссару финансов. Он встречается с Зосей и вместе с нею наблюдает различные сцены из жизни Черноморска (в первом варианте — в машине Козлевича, во втором — идя по улице). При этом он узнает, что созданное им Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт «свернуло на правильный путь»: «Остап быстро посмотрел наискось, в сто-

[8] Там же. С. 102—103.

рону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска:

ГОСОБЪЕДИНЕНИЕ РОГА И КОПЫТА

Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей».

«А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли», — говорит Остап.

Далее следует сцена объяснения с Зосей: в первом варианте счастливая, во втором — кончающаяся разрывом.

Окончательная редакция романа завершается тем, что Зося выходит замуж за «секретаря изоколлектива железнодорожных художников» Фемиди и отправляется с мужем в «Учебно-показательный комбинат ФЗУ при Черноморской Государственной академии пространственных искусств», где Остапу не дают обеда, ибо он не член профсоюза.

«— Представитель коллектива Фемиди увел у единоличника-миллионера...

И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется» (2, с. 375, 376, 378).

Вот кто победил великого комбинатора и побудил его к возвращению назад отправленной было посылки и новой отчаянной попытке реализовать свое сокровище. Силой, одолевшей Бендера, была не «Воронья слободка»: ее он презирал, и, когда один из ее обитателей попробовал «сделать Остапу какое-то въедливое замечание... великий комбинатор молча толкнул его в грудь» (там же, с. 172). Справился Остап и с единственным в романе подлинным представителем уголовного мира и стяжателем, не вызывающим у читателя, как и у авторов, никакого снисхождения, — подпольным миллионером Корейко. Но «Гособъединение Рога и Копыта» и «Учебно-показательный комбинат» оказались действительно сильнее великого комбинатора, и не одни они. Через весь роман проходит образ другого, столь же безликого, но и могучего учреждения — это «Геркулес», где служит Корейко и с которым приходится близко познакомиться и Остапу.

Тема бюрократии может считаться, пожалуй, одной из важнейших, если не самой важной темой творчества Ильфа и Петрова. Она возникает уже в «Двенадцати стульях», где описывается огромный Дом народов, сосредоточивший в себе множество ведомств и изданий (Дворец Труда на Солянке, где помещались ВЦСПС и газета «Гудок», названная в романе «Станком»). Специально этой теме был посвящен цикл «1001

день, или Новая Шехерезада», ряд рассказов и фельетонов, написанных в самые различные годы.

В чем же сущность проблемы бюрократии у Ильфа и Петрова? Начиная с 1920-х гг. слово «бюрократия» пережило в русском языке любопытную эволюцию. По своему смыслу это франко-греческое словообразование аналогично другим терминам того же типа: «аристократия» — власть знатных, «плутократия» — власть богатых, «бюрократия» — власть «бюро», канцелярии, чиновников. Так его толковали русские словари вплоть до 1930-х гг. — времени появления «Золотого теленка». «Бюрократия» в словаре Ушакова (1933) — это, прежде всего, «система управления, в которой власть принадлежит чиновникам (бюрократам) без всякого сообразования с реальными интересами масс», и лишь в последнюю очередь — «забота о формальностях... в ущерб сущности дела». После 1930-х гг. словари перестраиваются. В них появляется та диалектика, которая помогает справиться и с многими другими трудными словами. Одно дело бюрократия в «буржуазных государствах» и «классовом обществе» — там это «система управления чиновничьей администрации», «привилегированный слой господствующего класса эксплуататоров», и совсем иное у нас: здесь существует не бюрократия, а «бюрократизм», «формальное отношение к служебному делу», «пренебрежение к существу дела ради соблюдения формальностей».[9]

Ильф и Петров были свидетелями этих семантических сдвигов и стоявших за ними событий. Накануне Октября Ленин объявлял уничтожение старой государственной машины главной задачей революции; в своих последних статьях он признавал, что советский аппарат «в наибольшей степени представляет собой пережиток старого», что дела здесь «печальны, чтобы не сказать отвратительны», и что советское государство есть государство рабочее, но с бюрократическими извращениями. Задуманные Лениным органы контроля сверху явно не достигали цели; при отсутствии подлинной гласности и выборности приходилось прибегать к таким формам «непосредственной демократии», как чистка партии и советского аппарата. Чистки эти должны были происходить открыто, с тем чтобы каждый мог уличить проверяемого чиновника не только в том, что у него «родители не в порядке», но и в том, что он бюрократ, бездельник или мошенник. Что из этого выходило, лучше всего показали Ильф и Петров в небольшом фельетоне «Душа вон», опубликованном под псевдонимом Ко-

[9] См., напр.: Словарь современного русского языка. М.; Л., 1948. Т. 1; Словарь русского языка С. И. Ожегова (1952 и 1972—1975 гг.); Словарь иностранных слов. М., 1979.

перник (Чудак. 1929. № 43). Они сравнивали поведение публики при чистке с поведением толпы, наблюдающей уличную драку. «То, что вы отмежевались от своих родителей, мне известно, — говорит председатель комиссии, — и это не так важно. Расскажите нам, как вы работаете...».

«— Что же вы молчите, товарищи? — кричит председатель, обращаясь к толпе. — Разве вы не знаете, что это бюрократ?

Толпа отлично знает.

Но молчит. На всякий случай.

Мало-помалу все расходятся.

Бюрократ остается на службе...».

По первоначальному варианту вторая часть «Золотого теленка» должна была начинаться с того, что Бендер и Балаганов «попадают на чистку. Чистится ангельский гражданин. Оказывается — Корейко...».[10] И действительно, Корейко едва ли мог бояться чистки. В его социальном происхождении не было явных дефектов — он не был сыном графа или служителя культа. А о скрытых делах Александра Ивановича не стали бы говорить ни его высокопоставленные контрагенты — глава «Геркулеса» Полыхаев и Скумбриевич, ни напуганный бухгалтер Берлага. В последних главах «Золотого теленка» вновь появляется тема чистки: Скумбриевича разоблачают как бывшего совладельца торгового дома «Скумбриевич и сын». Но о мошеннических делах его и Полыхаева нет и речи, и нет никаких оснований верить, что в самой системе деятельности «Геркулеса» что-нибудь изменится.

Чем более монолитной становилась политическая власть, тем менее реальным оказывался контроль снизу — борьба со всевластием чиновников. Слишком резкие выступления против «проклятых бюрократов» вызывали подозрение в сочувствии недавно разгромленной левой оппозиции, считавшей именно «аппаратчиков» главными врагами революции. Когда Маяковский опубликовал пьесу «Баня», рапповскому критику В. Ермилову сразу же послышалась в ней «очень фальшивая „левая" нота, уже знакомая нам — не по художественной литературе». «Нестерпимо фальшивым» представлялось Ермилову то обстоятельство, что крупный начальник Победоносиков, человек «с боевым большевистским прошлым», оказывался у Маяковского «хамом», «мерзавцем» и мог даже провоцировать «жену на самоубийство».[11] Ответить Ермилову Маяковский не смог (стихотворная листовка против Ермилова, которую Маяковский предполагал выпустить во время постановки

---

[10] *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? С. 79.

[11] *Ермилов В.* О настроениях мелкобуржуазной «левизны» в художественной литературе // На лит. посту. 1930. № 4. С. 10.

пьесы в театре Мейерхольда, не была разрешена), и история эта произвела на поэта столь сильное впечатление, что он не забыл о ней в последние минуты жизни, выразив в своей предсмертной записке сожаление, что не смог «доругаться» с Ермиловым.[12]

Серьезные разговоры о бюрократии как об опасной общественной силе сменялись в печатных органах, где работали Ильф и Петров, дидактическими поучениями и «юморесками» против «бюрократизма», против неких комических фигур, украшенных торчащими из карманов авторучками и пренебрегающих «интересами дела». На первый взгляд, может показаться, что и в «Золотом теленке» речь идет о «бюрократизме» в новом, установившемся с 1930-х гг. смысле этого слова: о плохой работе учреждений, медлительности, волоките, отдельных злоупотреблениях. Действительно, Полыхаев и Скумбриевич принадлежат к тому виду ответственных работников, которых невозможно застать на месте: «они только что здесь были» и «минуту назад вышли»; немецкий специалист, выписанный из-за границы, изнемогает от отсутствия работы и не может поймать Полыхаева.

«— Бюрократизмус! — кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык...».

Это и вправду русский язык, русское понимание международного термина, установившееся в те годы. Слово «бюрократизм» так же обрусело, как до него другое иностранное по происхождению слово — интеллигенция. Ильф и Петров отлично понимали и специфический смысл такой трактовки бюрократизма, и подлинную ценность тех мер, которые предлагались для борьбы с ним:

«Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:

— Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть! Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы... И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь...» (2, с. 215).

«Что за банальный, опротивевший всем бюрократизм! — говорит Остап, противопоставляя „Геркулесу“ собственное учреждение. — В нашем Черноморском отделении есть свои слабые стороны... но такого, как в „Геркулесе“...» (там же, с. 211).

---

[12] См.: *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1961. Т. 13. С. 138; М., 1958. Т. 11. С. 350.

Ну, а если бы бюрократизм Полыхаева не был «банальным»? Если бы он исправно посещал свой рабочий кабинет? Ильф и Петров дали ответ на этот вопрос. Они предусмотрели вариант, при котором Полыхаев мог отбиться от «категории работников, которые „только что вышли", и примкнуть к влиятельной группе „затворников", которые обычно проникают в свои кабинеты рано утром, выключают телефон и, отгородившись таким образом от всего мира, сочиняют разнообразнейшие доклады» (там же, с. 219). Читатель отлично понимает, что и при таком варианте работа Полыхаева и всего возглавляемого им учреждения не принесла бы ни малейшей пользы остальному миру. Реальное производство, куда в конце концов Полыхаев отправляет жаждущего работы немецкого специалиста (немец с изумлением пишет невесте, что в «Геркулесе» это считается наказанием и называется «sagnat w butilku!»), как и темные дела Полыхаева и Скумбриевича, — это только индивидуальные и случайные дополнения к основной деятельности «Геркулеса». Подлинное его дело — борьба за занимаемое помещение и обеспечение жизненных благ для своих ответственных, полуответственных и мелких сотрудников. От конторы «Рога и копыта», созданной Остапом для легализации собственной деятельности, «Геркулес» отличается только «банальным» бюрократизмом и размерами, такими, которые впоследствии приобретет преображенное «детище Остапа» — «Гособъединение Рога и Копыта».

Тема бюрократии у Ильфа и Петрова — это не тема «бюрократизма», плохой работы отдельных бюрократов в ущерб «интересам дела», а тема «власти бюро», бесконечных и бесполезных учреждений. Уже в фельетоне «Гелиотроп» из «Новой Шехерезады», переизданном потом авторами в сборнике рассказов, фигурирует «представительство тяжелой цветочной промышленности» в Москве, двум сотрудникам которого абсолютно нечего делать. Но так как они оба дорожат этой привольной службой, то симулируют друг перед другом старательность, засиживаясь до ночи и даже до утра. В какой-то момент они не выдерживают, признаются друг другу во всем и договариваются отныне, «не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами». Но, вернувшись домой, каждый из них решает, что его коллега облечен специальными полномочиями и играет с ним «адскую игру». Они возвращаются на работу и «до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро».[13]

---

[13] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 155—157.

Вскоре был написан и другой рассказ, «На волосок от смерти», — о двух журналистах, посланных для сочинения художественного очерка в сумасшедший дом. В заведении, куда они приходят, царит тяжелая атмосфера. «Новый-то — буен!.. Одно слово — псих... — говорит швейцар сиделке. — Все пишет. Каракули свои выводит». «Он из меня все жилы вытянул, — рассказывает один больной другому. — И такая меня охватывает тоска, так хочется подальше из этого сумасшедшего дома...». «Против меня плетутся интриги... И каждое утро я слышу, как в коридоре повторяют мою фамилию...» — говорит другой (2, с. 424, 425, 426). Выйдя на улицу, журналисты обнаруживают, что попали не в сумасшедший дом, а в обыкновенное учреждение — трест «Силостан», но за недостатком времени описывают все увиденное в очерке «В мире душевнобольных», вызывающем одобрительный отзыв профессора-психиатра Титанушкина.[14]

Такое же изображение советского учреждения и всего мира бюрократии как царства абсурда и в сочинениях М. Булгакова: в «Дьяволиаде», оказавшей, возможно, влияние на «Двенадцать стульев»,[15] а затем и в «Мастере и Маргарите», начатом, как и «Золотой теленок», в 1929 г. Само собой разумеется, что такое произведение, как «Мастер и Маргарита», может рассматриваться с разных точек зрения. Нас интересует здесь лишь одна тема «Мастера и Маргариты», сближающая эту книгу с «Золотым теленком», — сатирическая. В изображении бюрократии Булгаков так же близок Ильфу и Петрову, как и в изображении «Вороньей слободки». В «Мастере и Маргарите» есть свои «Геркулесы» и «Учебно-показательные комбинаты» — Акустическая комиссия, Зрелищная комиссия, МАССОЛИТ. Столь же далекие от какого бы то ни было реального дела, они совершенно идентичны учреждениям Ильфа и Петрова. Если у Булгакова пустой костюм временно унесенного нечистой силой председателя Зрелищной комиссии Прохора Петровича налагает резолюции, которые затем вернувшийся на свое место председатель полностью одобряет, то у Ильфа и Петрова «резиновый Полыхаев» — набор резиновых факсимиле, которые в отсутствие начальника пускает в ход его

---

[14] В журнале «Огонек» (1930. № 20), где этот рассказ был впервые напечатан под названием «Я вас не укушу», к нему была присоединена смягчающая смысл концовка: «Автор со своей стороны присоединяется к мнению проф. Титанушкина, так как хорошо знает, что в „Силостане" не было чистки». Однако при первом же переиздании (в сборнике «Как создавался Робинзон») авторы эту явно чужеродную концовку убрали.

[15] Ср.: *Чудакова М. О.* Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 46—47.

секретарша Серна Михайловна (состоящая, кстати, со своим патроном в таких же отношениях, как и секретарша Прохора Петровича Алиса Ричардовна), вполне заменяет настоящего. Егор Скумбриевич использует «взаимный и всесторонний обман, который незаметно прижился в „Геркулесе“ и почему-то носил название общественной нагрузки» (эта тема отражена в рассказе Ильфа и Петрова «Здесь нагружают корабль» — 3, с. 7—12). Тем же делом занимается в «Мастере и Маргарите» заведующий городским филиалом Зрелищной комиссии.

В «Мастере и Маргарите» изображена, главным образом, одна категория бюрократии — бюрократы, ведающие искусством: в МАССОЛИТ'е легко угадывается РАПП (а может быть, и другая аналогичная писательская организация, в том числе и созданный после 1932 г. единый Союз советских писателей). Тема сращения искусства и бюрократии, появления писателей — канцеляристов и бюрократов была столь же близка Ильфу и Петрову, как и Булгакову. Деятели литературы, подобные Ухудшанскому или «писателю в детской курточке», вдохновляющемуся мыслью, что «раз бумага существует, то должен же на ней кто-то писать», фигурируют не только в «Золотом теленке». В фельетоне «Пьеса в пять минут» изображено ударничество и социалистическое соревнование среди драматургов — кто быстрее напишет пьесу (2, с. 492—495). Еще резче и острее выражена тема писателя-бюрократа, способного творить только после соответствующей резолюции и только в жанре протокола, в рассказе «Великий канцелярский шлях» (3, с. 137—143). Впоследствии фельетоны на эту тему были объединены писателями (в книге «Как создавался Робинзон») в циклах «Под сенью изящной словесности» и «Искусство для Главискусства».

Заслуживает внимания и еще одно обстоятельство: Булгакова, как и Ильфа и Петрова, интересовала не только бюрократия всех видов сама по себе, но и ее социальная функция, те блага, которые достаются этому общественному слою. К теме этой мы еще обратимся, а пока отметим, что литераторы из «Мастера и Маргариты» недаром так льнут к своему МАССОЛИТ'у: с ним неразрывно связаны «Дом Грибоедова» с его роскошным рестораном (за которым стоит реальный Дом Герцена) и дачи в Перелыгине (Переделкине), заселяющемся в те годы. И именно это обстоятельство возвращает нас к вопросу, поставленному в начале главы: кто победил Остапа Бендера. Номера в гостинице (и связанные с ними места в ресторане), которые так трудно было получить Остапу Бендеру и другим обыкновенным людям, исправно бронировались для Полыхаева и Скумбриевича, ездивших в Москву по своим слу-

жебным делам, или для служащих литераторов и деятелей «искусства для Главискусства». Общество, не желавшее, чтобы Бендер или Паниковский жили за его счет, позволяет это Полыхаеву, Скумбриевичу и другим. Но если это так, то должно ли поражение великого комбинатора в финале «Золотого теленка» по-настоящему радовать читателей романа?

Мы уже отмечали одну парадоксальную особенность построения «Золотого теленка»: сюжет романа как будто ведет к краху «анархического индивидуума»; а между тем этот «анархический индивидуум» — самая привлекательная фигура в романе и едва ли не во всей советской литературе за многие годы.

Сюжетно Остап обречен даже после победы над своим соперником, Александром Ивановичем Корейко: «...Теперь я командую парадом! Чувствую себя отлично», — хвастается Остап Шуре Балаганову после получения миллиона.

«Последние слова он произнес нетвердо.

Парад, надо сказать правду, не ладился, и великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично» (2, с. 347).

Неудача на том пути, по которому Остап следовал за Корейко, могла бы считаться заслуженной и вызвать у читателя что-то вроде злорадства. Но этого не происходит. Поражение, понесенное персонажем в ходе сюжета, далеко не всегда предопределяет наше читательское отношение к нему. Дон Гуан у Пушкина терпит заслуженное наказание за свой дерзкий и кощунственный вызов статуе, и все же мы испытываем непреодолимую симпатию к герою. Нечто подобное происходит и с Остапом Бендером. Он не только протагонист сюжета; он еще и образ, вызывающий симпатии. Почему? Прежде всего потому, что он — веселый и умный человек, вместе с нами шествующий по обществу, сложившемуся в начале 1930-х гг., и вместе с нами смеющийся над этим обществом.

Такой образ Остапа Бендера сложился у Ильфа и Петрова не сразу. Остап в «Двенадцати стульях» еще не такой, как в «Золотом теленке»: он грубее и примитивнее, это авантюрист по преимуществу, во многом схожий с Аметистовым из «Зойкиной квартиры» Булгакова.[16] Подобная эволюция в образе центрального персонажа — нередкое явление в мировой литературе: вспомним, например, как постепенно изменялись Пик-

---

[16] Ср.: *Рудницкий К. Л.* Михаил Булгаков // Вопросы театра. М., 1966. С. 135; *Лихачев Д. С.* Литературный дед Остапа Бендера // Страницы истории русской литературы. К 80-летию чл.-корр. АН СССР Н. Ф. Бельчикова. М., 1971. С. 245—248.

вик и Самуэль Уэллер в диккенсовском романе, Гек Финн в романах Марка Твена.

Уже первые критики «Золотого теленка» обратили внимание на привлекательность образа великого комбинатора, но это казалось им недостатком романа, фальшивым «художественным приемом», следствием «интеллигентского гуманизма» авторов. Этот упрек повторялся и после возрождения «Золотого теленка» в 1956 г. «Некоторое увлечение великим комбинатором... стало причиной многих недостатков романа», — заметил А. Вулис, и это высказывание приводит на память предложенную Ильфом формулу рецензии на Библию: «Наряду с блестящими местами есть идеологические срывы, например, автор призывает читателя верить в Бога» (5, с. 214). Увы, всякий поклонник «Золотого теленка» любит и командора, и эта привязанность еще опаснее, чем вера в Бога или любовь ильфовского «блудного сына» к своему отцу-раввину.

Первым, кто обратил внимание на органичность образа Остапа в «Золотом теленке», был критик В. Саппак, писавший в 1960-х гг. «Бескорыстно» борясь с Корейко за миллион, сам командор поразительно широк, не умеет и не любит считать деньги и, попав наконец в поезд, идущий на Восточную магистраль, не задумывается спрыгнуть с отходящего вагона для того, чтобы отдать покинувшим его «антилоповцам» последние рубли. Он не только благороднее и привлекательнее своих компаньонов по путешествию или жильцов «Вороньей слободки», он куда умнее и писателей из литерного поезда и своих спутников по международному вагону — студентов-практикантов.

Именно ирония Остапа скрашивает для читателей «Золотого теленка» неприглядную картину нарисованного в романе мира. В этом смысле его функции аналогичны функциям того единственного «честного лица», присутствие которого в «Ревизоре» отстаивал Гоголь: «Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех. Смех значительнее и глубже, чем думают».[17] Но в пьесе Гоголя (как и в «Мертвых душах») смех не был введен внутрь сюжета, он существовал вне его; Хлестаков невольно помогал осмеянию чиновников уездного города, но сам не способен был по-настоящему понять случившееся. У Ильфа и Петрова гоголевский смех персонифицирован, он воплощен в Остапе Бендере. Присущая ко-

[17] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1949. Т. 5. С. 169.

мандору «способность видеть реальную цену вещей», «молниеносно реагировать на пошлость», его «абсолютная реакция на халтурщиков и бюрократов, собственников и идиотов, вот эта способность к критике делом и словом, вот этот, не побоимся сказать, **талант** высмеивания, вышучивания, пародирования всего, что **действительно достойно быть высмеянным**, и составляет тот огромный положительный заряд, который несет Остап Бендер», — справедливо замечал В. Саппак. Именно в этом смысле, как нам представляется, критик и называл Остапа «отрицательным героем, выполняющим положительные функции».[18]

«Так кто ж ты, наконец?

— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Эти слова Мефистофеля у Гете служат эпиграфом к «Мастеру и Маргарите». Образ Остапа Бендера, как мы знаем, однажды уже сопоставлялся с персонажами булгаковского романа — в книге Олега Михайлова. Но Михайлов делал это с единственной целью противопоставить «денационализированных» одесситов Булгакову. А между тем сопоставление это может быть сделано и всерьез. В романе Булгакова действуют персонажи — и притом весьма важные, функции которых аналогичны функциям командора в «Золотом теленке». Это Воланд и его свита. Остап, правда, не так всесилен (и не так беспощаден), как «черный маг» и его помощники, но отношение его к Корейко и Полыхаеву такое же, как отношение воландовской свиты к Лиходееву и Семплеярову. «...Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется», — с великолепным презрением заявляет Остап разоблаченному Полыхаеву (2, с. 224). Конечно, великий комбинатор — не потустороннее существо, а человек нашего мира, но некоторое мрачное величие (чуть пародийное) присуще и ему. Вот каким он представляется Шуре Балаганову во время первой беседы в ресторанном саду: «Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем» (там же, с. 29). Здесь вспоминается даже не могущественный гаер Коровьев, а сам Воланд.

Таким образом, под внешним сюжетом в «Золотом теленке» обнаруживается другой, построенный на реальной оценке действующих лиц. История Остапа Бендера не имеет подлинного конца — такого, который казался бы читателю естественным и гармоничным. Справедливо ли, что Бендер, с его «та-

[18] *Саппак В.* Не надо оваций! // Вопросы театра. М., 1965. С. 122—123.

лантом высмеивания, вышучивания всего того, что должно быть высмеянным», «переквалифицировался в управдомы», получая должность Никанора Ивановича из «Мастера и Маргариты», а деятели типа Полыхаева или Ухудшанского продолжали процветать? Никакой «сермяжной правды» читатель в этом не ощущает.

Если формально в «Золотом теленке» здоровая советская действительность торжествовала над командором, то моральным победителем в романе оказывался скорее Остап Бендер. Именно это обстоятельство постоянно ставилось в упрек авторам «Золотого теленка»; оно же, по всей вероятности, и было главной причиной трудностей, возникших при издании романа. В 1931 г. «Золотой теленок» был напечатан в журнале «30 дней»; уже во время этой публикации начались разговоры об опасном сочувствии авторов Остапу Бендеру (о том же писал, как мы знаем, и Луначарский). По словам одного из современников, в те дни «Петров ходил мрачный и жаловался, что „великого комбинатора" не понимают, что они не намеревались его поэтизировать».[19] В декабре 1931 года вышел в свет № 12 «30 дней» с окончанием романа; наступила томительная пауза. Что происходило в 1932 г.? Об этом мы узнаем из до сих пор не опубликованного письма А. А. Фадеева. Не получая разрешения на печатание книги, Ильф и Петров обратились к А. А. Фадееву как одному из деятелей РАПП. Тот ответил, что сатира их, несмотря на остроумие, «все-таки поверхностна», что описанные ими явления «характерны главным образом для периода восстановительного» — «по всем этим причинам Главлит не идет на издание ее отдельной книгой».[20] Спустя два года, на Первом съезде писателей, М. Кольцов напомнил (ссылаясь на присутствовавших свидетелей), что «на одном из последних заседаний покойной РАПП, чуть ли не за месяц до ее ликвидации, мне пришлось при весьма неодобрительных возгласах доказывать право на существование в советской литературе писателей такого рода, как Ильф и Петров, и персонально их...».[21] РАПП была ликвидирована в апреле 1932 г., значит, в начале 1932 г. право на существование Ильфа и Петрова еще отрицалось. Действительно, в феврале 1932 г. группа сотрудников журнала «Крокодил», указывая, что «за последние годы, при обострении классовой борьбы, в среде мелкобуржуазных сатириков начался процесс разложения», заявляла, что Ильф и Петров «находятся в про-

---

[19] *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? С. 101.

[20] Письмо А. А. Фадеева от 19 февраля 1932 г. (архив А. И. Ильф).

[21] Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 221.

цессе блужданий и, не сумев найти правильной ориентировки, работают вхолостую»; соавторы противопоставлялись в этом отношении В. Катаеву и М. Зощенко, которые «добросовестно пытаются перестроиться».[22] Ардов вспоминал (со ссылкой на Ильфа), что изданию «Золотого теленка» помог Горький, который, «узнав о затруднениях, обратился к тогдашнему наркому просвещения РСФСР А. С. Бубнову и выразил свое несогласие с гонителями романа. Бубнов, кажется, очень рассердился, но ослушаться не посмел, роман сразу был принят к изданию».[23] Следовательно, и Бубнов был против; почему же он не посмел «ослушаться»? Важнейшую роль сыграла здесь, очевидно, ликвидация РАПП, отразившая очередную недолговременную «оттепель» (незадолго до этого в Художественном театре по личному распоряжению Сталина была возобновлена запрещенная в 1930 г. постановка «Дней Турбиных»).

23 августа 1932 г. Ильфу и Петрову было предоставлено место для пародийного интервью на странице «Литературной газеты», специально посвященной обоим писателям (под шапкой «Веселые сочинители»). «Правда ли, что ваш смех это не ваш смех, а их смех?» — спрашивал вымышленный интервьюер. «Не будьте идиотом!» — отвечали авторы цитатой из Бернарда Шоу, но самый вопрос и его опровержение были включены в «интервью» не случайно. В конце года издание «Золотого теленка» было подписано к печати, а в начале 1933 г. роман вышел в свет. Но вышел он как бы условно — с важными оговорками. Само собой разумелось, что история великого комбинатора не окончена. «На авторах лежит большая ответственность», — заявлял Луначарский и предостерегал их против того, чтобы оставить Остапа «плутом и повести его далее по линии разрушительного авантюризма».[24] Дилогия (или, как иронически выражались авторы, «двулогия») должна была превратиться в трилогию, благополучно сводящую все концы.

Мы уже неоднократно отмечали сходство в замысле эпопеи о великом комбинаторе с замыслом «Мертвых душ»: и там и здесь в центре талантливый авантюрист, чье путешествие по России дает повод показать всю страну. Можно думать, что и композиционное построение эпопеи должно было быть аналогичным гоголевскому плану — трехчастная эпопея с постепен-

---

[22] *Мануильский М., Бельский Я., Доро-Митницкий С.* и др. Сатира на социалистической стройке. Слово имеет «Крокодил» // Журналист. 1932. 29 февр. № 6. С. 10.

[23] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. М., 1963. С. 209.

[24] 30 дней. 1931. № 8. С. 66.

ным углублением темы и созданием, так сказать, дантовского «Рая» для всей трилогии.

Сходной оказалась и судьба обеих эпопей. «Мертвые души», как известно, были разрешены к печати с большими затруднениями: первоначально первый том был запрещен московской цензурой, и лишь вмешательство Бенкендорфа и царя привело к его выходу в свет (с небольшими купюрами). Такой же была и судьба «Ревизора» (несколькими годами ранее): «избранная публика» увидела в комедии «невозможность, клевету и фарс» и вынуждена была изменить свое отношение лишь тогда, когда убедилась в благосклонности государя к «пьеске». Из всего этого вовсе не следует делать вывод о либерализме Николая I или о том, что художественная литература не подвергалась при нем стеснениям. В те же самые годы не были допущены на сцену «Горе от ума», где Чацкому противостоял московский вельможа Фамусов, и «Борис Годунов», изображающий преступного царя. Но провинциальные чиновники из губернского N и захолустный городничий официальным иммунитетом не обладали — их можно было высмеивать.

Теми же соображениями определилось, по-видимому, и допущение к печати «Золотого теленка». «Мы не можем без самокритики. Никак не можем, дорогой Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса», — писал Сталин Горькому в 1930 г.[25] В какой степени эти слова были простым лицемерием, и в какой — мистифицированным отражением реальной политики, мы попытаемся ответить в дальнейшем изложении, а пока укажем только, что вождь народов, как и самодержец всероссийский, строго дозировал нормы допущенной самокритики, ограничивая ранг подлежащих осмеянию лиц и объем критических обобщений.

Сатира необходима, но она не должна подрывать основные устои власти и, главное, должна быть оптимистической и жизнеутверждающей. Гоголь был сатириком, но он был также патриотом и навсегда покорил сердца верных сынов отечества тройкой из «Мертвых душ»: «...Летит все, что ни есть на земли, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Давно уже ехидные люди — до революции В. В. Розанов, а в более позднее время А. Белинков и В. Шукшин — обратили внимание на то, что внут-

[25] *Сталин И. В.* Соч. М., 1949. Т. 12. С. 173.

ри этой чудной тройки сидит Павел Иванович Чичиков, но это не смущало ее поклонников: пусть Чичиков, лишь бы другие народы «посторанивались». Ильф и Петров не только заимствовали у Гоголя образ дороги; они дали свой вариант гоголевской тройки. Это — автопробег, настоящий автопробег, а не тот, который имитировали жулики — пассажиры «Антилопы»:

«Полотнища ослепительного света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями...» (2, с. 88—89).

Сцена автопробега в «Золотом теленке» не имеет столь прочных шансов на бессмертие, как гоголевская тройка: в ней нет самоутверждения перед «другими народами». Но критики, начиная с Луначарского, ее дружно одобрили — за оптимизм и противопоставление Остапу Бендеру «настоящей жизни». Заметим, кстати, что, в отличие от Гоголя, Ильф и Петров избежали некоторой двусмысленности образа, не поместив своего жулика внутрь прекрасного экипажа, а оставив его снаружи — в пыли.

Однако и этот вариант оптимистической антитезы сатирической теме заключал в себе важный пробел. Кто же все-таки сидит в автомашинах, олицетворяющих «настоящую жизнь»? В «Золотом теленке» упоминаются имена участников подлинного автопробега, занимающих командорскую машину, — некий Клептунов, профессор Песочников, товарищ Нежинский и писательница Вера Круц (2, с. 75). Увы, имена эти ничего не говорят читателю. Фамилия Клептунова напоминает интеллигентным читателям греческий глагол «клепто» (воровать) и хорошо известное слово «клептоман». Вера Круц больше всего напоминает Веру Инбер, землячку авторов, к которой и они, и другие коллеги обычно относились не очень серьезно. А профессор Песочников? Заблуждающийся ли это интеллигент из сочинений Олеши или ученый, прочно занявший место в социалистическом строительстве вроде леоновского Скутаревского (которого читатели непочтительно именовали «Скукаревским»)? Все это оставалось неизвестным.

А между тем именно от этого зависело разрешение сомнений, вставáвших еще в 1932 г.: что означает смех Ильфа и Петрова — «наш» ли это или «их» смех? Авторы искренне радовались появлению новой техники, но они, видимо, еще не решили, кто правит этой техникой, что стоит за «железом», которое тыкали в глаза свободомыслящему австрийскому корреспонденту пассажиры литерного поезда, идущего на Турксиб. Ответить на этот вопрос — прежде всего для самих себя — они и должны были в последующие годы.

Глава V

«КЛООП» И «ПОДЛЕЦ»

С конца 1932 г. положение Ильфа и Петрова в литературе упрочилось. В 1933 г. вслед за «Золотым теленком» вышел двумя изданиями сборник их рассказов «Как создавался Робинзон» (в 1935 г. он был переиздан еще раз), в том же году они написали водевиль «Сильное чувство» и комедию «Под куполом цирка», поставленную в мюзик-холле, а потом и в кино. Фельетоны соавторов, как мы уже знаем, печатались в эти годы не только в «Литературной газете» и «Крокодиле», но и в «Правде».

Почему их там печатали? Заслуживают внимания соображения по аналогичному вопросу, высказанные И. Ефимовым, обратившимся к материалам советских газет 1970-х гг. и встретившимся со сходным явлением — с весьма острой самокритикой на страницах официальной печати. И. Ефимов сумел отыскать убедительные данные о советской экономике в «Правде», «Литературной газете» и других подобных органах. Почему они были опубликованы? «Любая система пропаганды, для того чтобы действовать успешно, должна иметь, кроме набора догматов и набора лозунгов, еще и набор готовых ответов на те естественные вопросы и недоумения, которые будут возникать в человеческом сознании о расхождении догматов с реальностью», — заметил Ефимов. Он высказал мнение, что критика реальных недостатков — явление новой, послесталинской эпохи, отличающее ее от прошлых времен, когда все недостатки ставились в вину классовым врагам — нэпманам, кулакам, вредителям, диверсантам: вместо врагов и вредителей виновниками хозяйственных неурядиц стали теперь считаться «другие персонажи — отдельный безответственный и неумелый и даже (бывают и такие!) нечестный работник, в худшем случае —

отдельное предприятие, учреждение, ведомство».[1] Это справедливо, но отмеченное явление имело куда более давнюю историю, чем это представляется автору. И при Сталине виновниками неурядиц объявлялись не только враги народа и шпионы, но и отдельные нерадивые работники — кампании по разоблачению врагов перемежались кампаниями самокритики.

К 1933 г. раскулачивание в основном закончилось; кампания по борьбе с врагами народа была еще впереди. Однако положение в стране отнюдь не было благополучным: свирепствовал голод, принявший особенно острые формы на Украине, но захвативший и центральную Россию. В городах была установлена (еще с 1930 г.) жесткая и сложная система распределения продовольствия и вновь введены отмененные нэпом карточки (именовавшиеся «заборными книжками»). В этой обстановке необходима была какая-то идеологическая отдушина: в 1932 г., как мы уже знаем, была ликвидирована РАПП и несколько либерализована официальная литературная политика.

В 1934 г. общее положение с продовольствием в стране несколько улучшилось — в конце этого года была отменена карточная система. И хотя условия жизни населения не так уж сильно изменились (колхозники по-прежнему зарабатывали своим трудом скудные «трудодни», а в городах сохранилась сложная сеть «закрытых распределителей», закрытых столовых и литерного питания), новая счастливая эпоха была провозглашена торжественно и всенародно. «...Социалистическая система является теперь единственной и монопольной системой в нашей промышленности... Крестьянство окончательно и бесповоротно стало под красное знамя социализма...» — заявил Сталин в январе 1934 г. XVII съезду партии — так называемому «съезду победителей».[2] В сталинском «Кратком курсе» «победа социализма во всех областях народного хозяйства» была датирована еще более ранним временем — январем 1933 г.[3] И постепенно к этому утверждению привыкли и приняли его как бесспорный факт и сами граждане новосозданного общества, и его сторонники за рубежом, и даже значительная часть противников системы, хотя и с иной, прямо противоположной оценкой («вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс!»).

Социализм был провозглашен, но знаменитая впоследствии теория обострения классовой борьбы при социализме еще

---

[1] *Ефимов И.* Без буржуев. Франкфурт, 1979. С. 20—21.
[2] *Сталин И. В.* Вопросы ленинизма. М., 1939. С. 440, 443 и 450.
[3] История ВКП(б): Краткий курс. М., 1938. С. 305.

не существовала — ей предстояло появиться лишь три года спустя. В этой обстановке усиление дозволенной самокритики, осуждение отдельных лиц, явлений и учреждений, нарушающих гармонию наилучшего из всех возможных обществ, приобретали особое значение.

Такая задача ставилась перед писателями и на Первом всесоюзном съезде 1934 г., ставшем кульминационным моментом единения творческой интеллигенции с партийным руководством. Именно на этом съезде Олеша заявил, что к нему «вернулась молодость», ибо «люди, которые строили заводы, герои строительства, те, которые коллективизировали деревню, создали государство, социалистическую страну, родину». После этого заявления Юрию Карловичу была оказана высокая честь — поручено огласить приветствие съезда Центральному Комитету партии.[4] Другой беспартийный деятель литературы, автор еще не законченного, но уже популярного романа «Капитальный ремонт» Л. Соболев, стяжал еще больший успех, заявив: «Партия и правительство дали нашему писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать...».[5]

Но первый съезд писателей вовсе не был сплошной идиллией. Как раз на этом съезде, в основополагающем докладе Горького, был провозглашен новый обязательный для советской литературы метод — «социалистический реализм». Сурово осуждались писатели, чуждые советской идеологии. М. Булгаков упоминался исключительно в отрицательном контексте (доклад В. Кирпотина о драматургии, выступление Н. Погодина).[6]

Отнюдь не были фаворитами съезда и Ильф с Петровым. Напомнив о том, как он защищал обоих сатириков от «покойной РАПП», Михаил Кольцов не упустил случая сделать им дружеское внушение: «Книги „Двенадцать стульев“ и „Золотой теленок“ имели большой и заслуженный успех в нашей стране и за границей. Но в этих двух романах сатириками отражена почти исключительно потребительская сторона советской жизни. Но Ильф и Петров не проникли еще со своей сатирой в сферу производства, т. е. в ту сферу, где советские люди проводят значительную часть своей жизни...».[7]

Итак, двум сатирикам давалось вполне определенное задание — бичуя порок, рисовать в противовес ему настоящую,

---

[4] Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 234—236, 672.

[5] Там же. С. 203—204.

[6] Там же. С. 380, 391.

[7] Там же. С. 222—223.

светлую жизнь, сосредоточенную в сфере социалистического производства. Но готовы ли они были выполнить это задание?

В отличие от «Миши» — Булгакова, Ильф и Петров были согласны не только на крестьянскую реформу 1861 г., но и на социализм. Однако представление об этой общественной системе, существовавшее у них до конца 1920-х гг., всерьез отличалось от той реальности, которая сложилась в 1933—1934 гг. Как и большинство людей XIX и первой трети XX в., проявлявших интерес к идее социализма, Ильф и Петров подразумевали под этим словом такой строй, при котором не только не будет частной собственности, но вместе с тем «вмешательство государственной власти в общественные отношения становится мало-помалу излишним и само собой засыпает».[8] Социалистический строй рассматривался как наиболее свободный из всех общественных укладов, известных человечеству; с ним несовместимы такие явления, как цензура («призрачны все свободы, если нет свободы печати...»),[9] существование денег и материального неравенства, социальные приви- легии, уголовные преступления, тюрьмы. Но возможно ли достигнуть таких благ и свобод в одной, сравнительно отсталой стране, окруженной враждебным капиталистическим миром?

Именно этот вопрос был важнейшим предметом межпартийных дискуссий 1920-х гг. — споров о возможности построения социализма в одной стране — Советском Союзе — и о путях такого построения. Ильф и Петров несомненно были в курсе теоретических дискуссий и внутрипартийной борьбы тех лет. Беспартийные служащие, умоляющие своего партийного начальника «не вдаваться в уклон», — тема, несколько раз возникавшая в их сочинениях в «годы великого перелома». «...История безжалостно ломает всех несогласных с нею... Чувствуешь себя каким-то изгоем. И надо вам сказать всю правду. Вы меня извините, товарищ Избаченков, но нет пророка в своем отечестве, ей-богу, нет пророка... Товарищ Избаченков, не будьте пророком!.. Берегите свою партийную репутацию...»[10] — заклинают подчиненные. История партийных дискуссий тех лет выходит за пределы нашей работы. Отметим только, что до начала 1930-х гг. даже вполне советским интел-

---

[8] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М., 1961. Т. 20. С. 292.

[9] Там же. Т. 1. С. 69—70.

[10] Этот сюжетный эпизод был первоначально задуман для повести «Летучий голландец» (фрагменты опубликованы посмертно: Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 226), а затем использован для цитируемого нами рассказа «Шкуры барабанные» (Как создавался Робинзон. С. 171—172; в Собр. соч. не включен). В рассказе «Шкуры барабанные» коллизия разрешается тем, что начальник Избаченков оказывается беспартийным, и служащие успокаиваются.

лигентам была чужда мысль, будто социализм будет построен в СССР в ближайшие несколько лет. У Маяковского в «Клопе» пьяный Присыпкин засыпает и замерзает на 50 лет, а когда его размораживают, он просыпается в новом обществе, совсем не похожем на старое. Что же это за общество? Здесь (как и в другом утопическом мире будущего, вестником которого служит фосфорическая женщина в «Бане») нет уже бюрократизма, пьянства, самоубийств из-за несчастной любви и т. д. Советская власть охватывает все части света, если не весь мир: упоминаются официальные органы печати — «Известия Чикагского совета», «Римская красная газета», «Шанхайская беднота», «Мадридская батрачка», «Кабульский пионер», не говоря уже о «Варшавской комсомольской правде».[11] Но Маяковский все-таки не считал, что это — социалистическое общество. «В пьесе — не социализм, а десять пятилеток, а может быть, это будет и через три пятилетки. Конечно, я не показываю социалистическое общество».[12] Сперва мировая революция, а потом уже социализм; такая точка зрения имела на официальном партийном языке того времени вполне определенное название, и В. Ермилов недаром обвинил Маяковского (говоря о другой его пьесе — «Баня») в «очень фальшивой „левой“ ноте, уже знакомой нам — не по художественной литературе».

Высказывался и другой взгляд, возобладавший в 1927 г., согласно которому «если абстрагироваться от международной обстановки», то социализм может быть построен и в одном СССР до мировой революции — «полностью, но не окончательно» (без гарантии против возможной внешней интервенции).[13] Но если в 1927-м такая точка зрения предполагала, что русский рабочий класс, сомкнувшись с трудовым крестьянством, начнет медленное движение к социализму, то в «год великого перелома» «медленное движение» совместно с крестьянами было заменено «революцией сверху» — ссылкой миллионов «кулаков» и «подкулачников», приведшей к быстрой и всеобщей коллективизации. В основу был положен принцип волевого решения всех проблем, целенаправленного энтузиазма: «Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики».[14]

Свое отношение к самой идее такого целенаправленного энтузиазма Ильф и Петров выразили достаточно определен-

---

[11] *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 11. С. 248.

[12] Там же. Т. 12. С. 508.

[13] См.: XV конференция ВКП(б): Стенографический отчет. М.; Л., 1927. С. 441—442, 585—587; ср. с. 521—533.

[14] *Сталин И. В.* Соч. М., 1949. Т. 11. С. 58; М., 1951. Т. 13. С. 41.

но — в рассказе («сказочке») Остапа Бендера «О кошках и тракторах, или О том, как в городе настал рай», предназначенном для «Золотого теленка» («Великого комбинатора»), но не опубликованном при жизни писателей. По типу этот рассказ сходен с теми вставными новеллами, которые рассказывают австрийский корреспондент Гейнрих и сам Остап в ходе споров о социализме в литерном поезде, направляющемся на Турксиб,[15] хотя точное его место в будущем романе определить трудно. В городе, описанном Остапом, «жили, выражаясь вульгарно, идейные граждане. Они неутомимо маршировали в ногу с эпохой. Когда эти идеалисты узнали, что за две тысячи кошек можно купить трактор, они немедленно принялись за работу». Энтузиасты вылавливают всех кошек, но в результате в городе развелись мыши, «этот бич народного хозяйства». В городе появляются плакаты:

Пятилетка не пустяк,
помогай ей кажд и всяк,

призывающие ловить мышей. Граждане вылавливают всех мышей и снова меняют шкурки на трактор. Но заканчивается эта история (удивительным образом предвосхитившая известную борьбу с воробьями в другой социалистической стране тридцать лет спустя) тем, что с уничтожением мышей отпадает возможность благовидного объяснения того, почему «к концу хозяйственного года», как и в прошлые годы, «на складах местной кооперации не хватает продуктов на неисчислимые суммы». Перед идейными гражданами, стремившимися построить «рай» в своем городе, встает задача более сложная и даже более фантастическая, чем отлов всех кошек и мышей, — задача уничтожения воровства в собственном обществе.[16] «Рай» — «социализм» — метафора настолько обычная (да еще с сугубо характерными для годов «великого перелома» понятиями и реалиями — пятилетка, трактора), что, если бы авторы включили ее в роман, они дали бы весьма убедительное подтверждение мнения тех критиков, которые считали смех Ильфа

[15] У.-М. Церер, единственная исследовательница, ощутившая в этой «сказочке» пародию на пятилетку и строительство коммунизма и «острую сатиру на изображающих идеологическую выдержанность, но в действительности оппортунистических и лживых современников», без колебаний относит этот эпизод к сцене в литерном поезде (*Zehrer U.-M.* «Dvenadcat' stul'ev» und «Zolotoj telenok» von I. Ilf und E. Petrov. Entstehung, Struktur, Thematik (Banstük zur Geschichte der Literature bei den Slawen. Bd 3). Gießen, 1975. S. 62—63). Однако обращение Остапа к слушателям — «дорогие девушки и дети» — в этом случае не совсем понятно.

[16] Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 230.

и Петрова «не нашим смехом». Но текст этот опубликован не был, и авторы считались в 1932—1934 гг. подающими надежды советскими писателями, от которых требовалось только одно: не ограничиваться мраком, а искать свет там, «где советские люди проводят значительную часть своей жизни», — на социалистической стройке, заводах или в колхозах.

Творческие командировки, ознакомление с новыми индустриальными гигантами на месте стали традиционным явлением писательского быта тех лет: Валентин Катаев побывал на Магнитострое и написал «Время, вперед!», Днепрострой вдохновил Александра Безыменского на «Трагедийную ночь», Дзорагэс в Армении был отражен Мариэттой Шагинян в «Гидроцентрали».

Ильф и Петров также немало ездили по стране: в апреле 1930 г. они побывали на Турксибе, что, впрочем, как мы уже знаем, мало помогло им в разрешении сюжетного конфликта «Золотого теленка». В августе 1933 г. они с группой писателей совершили поездку по только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу. Плодом путешествия стала специальная книга под редакцией Горького, Авербаха и начальника Беломорско-Балтийского лагеря Фирина. В написании книги участвовали, наряду с Горьким и Авербахом, А. Н. Толстой, М. Зощенко, В. Шкловский, В. Катаев, Л. Славин, В. Инбер, Л. Никулин, кинодраматург Е. Габрилович, товарищи Ильфа и Петрова по «Гудку» А. Эрлих и С. Гехт, польский писатель Б. Ясенский и другие.[17] Спустя несколько десятков лет книга эта получила новую известность — как редкое в истории литературы сочинение писателей, всенародно восславивших подневольный труд заключенных. Что можно сказать в объяснение поведения людей, участвовавших в книге о Беломорканале? Для некоторых из них, возможно, самым важным было то, что среди узников канала были не только «кулаки» и «вредители», но и действительные преступники — воры, мошенники, профессиональные уголовники. Проблема перевоспитания таких людей — проблема серьезная и подлинная, и писатели, обращавшиеся к этой теме в 1920-е — начале 1930-х гг. (Г. Белых, Л. Пантелеев, Л. Сейфуллина, А. Макаренко), едва ли заслуживают осуждения. Такой подход к лагерной теме определил, видимо, поведение М. Зощенко, написавшего в «Беломорско-Балтийском канале» особую, совершенно самостоятельную главу «История одной перековки» — литературную обработку подлинного рассказа меж-

[17] Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. М., 1934.

дународного авериста.[18] Но большинство глав книги посвящено совсем иным сюжетам и написано по-иному. Это «Правда социализма» М. Горького, «Страна и ее враги» (один из авторов — Л. Славин), «ГПУ, инженеры, проект» (в числе авторов — В. Шкловский), «Чекисты» (В. Катаев, В. Шкловский и др.), «Добить классового врага» (К. Зелинский, В. Инбер, Б. Ясенский и др.), «Имени Сталина» (А. Толстой, В. Шкловский и др.) и т. д. «Практика Беломорстроя — одно из свидетельств того, что мы вступили в эпоху построения социалистического общества»,[19] — говорилось в одной из последних глав книги, посвященной XVII съезду партии и украшенной портретами Сталина, Ягоды и чекистов — руководителей строительства.

Тем более заслуживает внимания единственный известный нам пример прямого отказа от участия в написании книги. «Когда группа писателей засела по возвращении за коллективный труд о Беломорканале, — вспоминал Семен Гехт (один из авторов книги о канале), — Ильф с Петровым разумно отказались от участия в этом труде».[20] Факт этот (как мы видели и еще увидим, он был не единичным в их биографии) весьма интересен — из рассказа того же Гехта с несомненностью явствует, что и ко всей демонстрации беломорской «перековки» Ильф относился с иронией.[21]

Но не только канал, построенный трудом заключенных, не вдохновлял писателей на обращение к индустриальной тематике. Сама идея скоростного ознакомления со «сферой производства» воспринималась ими скептически. «Это было в то счастливое время, когда поэт Сельвинский, в целях наибольшего приближения к индустриальному пролетариату, занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как писал Александр Блок,

---

[18] Эта повесть под названием «История одной жизни» перепечатывалась потом в сочинениях Зощенко. См.: *Зощенко Мих.* Избр. произведения. 1923—1945. Л., 1946. С. 328—361.

[19] Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. С. 604.

[20] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. М., 1963. С. 108.

[21] С. Гехт рассказывает, как реагировал Ильф на бурное восхищение талантами и деятельностью «чекистов-строителей», которое выражал «перековавшийся» вор и аферист Желтухин:

«На одной плотине Желтухин воскликнул:

— Только советская власть смогла осуществить это грандиозное сооружение!..

Как только начальство ушло, Ильф заметил:

— Когда к этому пришли с ордером на арест, он, вероятно, воскликнул: „Только советская власть умеет так хорошо и быстро раскрывать преступления!“» (Там же. С. 109).

Любопытно, что тот же Желтухин вызвал восторженное замечание Л. Леонова: «Теперь этот переродившийся герой... может послужить мне темой персонажа нового романа» (Лит. газ. 1933. 24 авг.).

давая понять, что разговор окончен», — заметил Ильф в записных книжках (5, с. 223).

Чаще всего индустриальная тематика была элементарным идеологическим прикрытием любой темы: «Батрачка Ганна кует чего-то железного. Пролетарии говорят чего-то идеологического», — как писали Ильф и Петров в пародии на киносценарии 1920-х гг. (2, с. 456, 458). Некоторые авторы, впрочем, ухитрялись сделать производственную тематику основой сюжетного конфликта своего сочинения. Примером может служить катаевская повесть «Время, вперед!». Спор здесь идет между инженером-энтузиастом Маргулиесом и его начальником — карьеристом и приспособленцем Налбандовым. Налбандов заявляет, что «строительство — не французская борьба» и что на импортной бетономешалке нельзя делать больше замесов, чем это разрешено в приложенном к ней паспорте. Писателю Георгию Васильевичу (двойнику автора) эта проблема кажется сперва трудно разрешимой:

«—...таким образом мы быстро износим все наши механизмы... Это новое обстоятельство... Оно в корне меняет дело... Нельзя же, в самом деле, так варварски обращаться с импортным оборудованием...».

Но «друг и руководитель» писателя, молодой журналист Винкич разъясняет ему сущность проблемы:

«—...что нам важнее: в четыре года кончить пятилетку или сохранить на лишние четыре года механизм? Чем скорее разовьется наша промышленность, тем меньше для нас будет иметь значение амортизация...».[22]

Итак, скорость, гонка, «Время, вперед!». Это не оригинальная идея автора, а уже знакомая нам концепция волевого, целенаправленного энтузиазма. Дважды в романе — в начале и снова в конце — Катаев приводит цитату, хорошо знакомую читателям того времени: «...Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную... Вот почему нельзя нам больше отставать...».[23]

---

[22] *Катаев В.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1965. Т. 1. С. 308.

[23] Там же. С. 205, 206, 510—511. Ср.: *Сталин И. В.* Соч. Т. 13. С. 38—39.

Эти слова Сталина — из доклада 1931 г. «О задачах хозяйственников» — цитировались тогда во всех докладах, изучались в вузах, в школах их даже учили наизусть. И смысл их был ясен: «отсталых бьют» — «либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Кто «сомнет» — известно: «англо-французские империалисты», Антанта. И дата тоже не вызывала сомнения: всеобщий кризис капитализма уже начался, война ожидалась в ближайшие годы. Вот почему можно и нужно было пускать на износ заграничную технику, приобретенную за драгоценную валюту: за четыре года еще можно успеть, а за восемь — «сомнут».

Но увы: судьба этой сюжетной концепции оказалась столь же непрочной, как и судьба положенной в ее основу цитаты. Она быстро устарела. И дело было не только в том, что уже через несколько лет история старой России перестала изображаться в столь черных красках: Россию вовсе не «непрерывно били», а, напротив, она постоянно разбивала своих врагов — Карла XII, Мамая и немецких «псов-рыцарей». Неверными оказались и хронологические расчеты, взятые из доклада 1931 г. и положенные в основу сюжета. Бетономешалку можно было и не амортизовывать за четыре года; впереди были даже не восемь, а целых десять лет (не говоря уже о том, что и угроза возникла не так и не оттуда, где ее ждали в 1931 г.). Гнать время вперед, жертвовать качеством ради достижения рекордных сроков далеко не всегда оказывалось полезным. Но если это так, становится сомнительной и сама сюжетная схема «производственного романа», родившаяся у Георгия Васильевича — Валентина Петровича не как плод собственных наблюдений на Урале, а на основе авторитетных, но преходящих высказываний вождя.

История советского производственного романа еще не написана. Но даже самое общее ознакомление с этой литературой обнаруживает одну любопытную закономерность. Еще с 1920-х гг. индустриальный фон присутствовал во множестве произведений официально одобренной литературы; наличие его считалось достоинством, а отсутствие — серьезным недостатком. Но это был только фон или в лучшем случае литературная иллюстрация заранее заданной идеологической схемы, как у Катаева. Однако прошли десятилетия, и в советской литературе появились произведения, авторы которых действительно пришли с производства и всерьез захотели осмыслить происходящие там явления. В 1960-х гг. вышли в свет «Большая руда» и «Три минуты молчания» Г. Владимова, «Хочу быть честным» В. Войновича и другие подобные им книги. И тогда оказалось, что произведения эти вовсе не были нужны

идейным опекунам литературы — они вызвали у них не радость («наконец-то производственный роман!»), а, напротив, крайнее раздражение.

Ильф и Петров работали совсем в иных условиях, чем их собратья тридцать лет спустя, и исходили, по-видимому, из более оптимистического взгляда на положение страны. Но и они были честными писателями и задачу свою видели не в подгонке материала под заданную схему, а в добросовестном изучении окружающего их мира.

Для такого изучения им вовсе не нужно было «что-то сваривать». Существовала область, которую они отлично знали изнутри. Этой областью была массовая пресса, большая газета, с работы в которой началась их совместная трудовая жизнь, и многочисленные журналы. И первым опытом проникновения в сферу близкого им «производства», задуманным ими еще в 1929 г., должна была быть повесть о газете — «Летучий голландец». В большой профсоюзной газете «Труба» (или «Протокол»), описанной в набросках к «Летучему голландцу», легко узнать «Гудок» — газету, в которой когда-то работали Ильф, Петров, Булгаков, Катаев и Олеша и которая с 1927 г. растеряла всех этих сотрудников.

«Гудок» был органом профсоюза железнодорожников, и, работая в нем, авторы имели возможность познакомиться с деятельностью профсоюзов — организаций, смысл и назначение которых вызывали после Октября немало споров. Нужны ли в рабочем государстве организации для защиты прав и интересов рабочих? Во время дискуссии, проходившей перед самым приездом Ильфа и Петрова в Москву, столкнулись два противоположных решения этого вопроса: предлагалось «огосударствить», т. е. фактически уничтожить профсоюзы или, напротив, отдать в их распоряжение большинство обобществленных предприятий. Победила третья точка зрения — профсоюзы были объявлены «школой коммунизма» и «приводными ремнями», но реальная их роль по-прежнему вызывала постоянные недоумения.

Во всяком случае для Ильфа и Петрова тема профработы неизменно была связана с ощущением бессмыслицы и тягучей скуки. «Школу профучебы» организует в «Геркулесе» полуответственный бездельник Скумбриевич (2, с. 210); другой такой же симулянт Самецкий из рассказа «Здесь нагружают корабль» организует в своем учреждении жуткую по бессмысленности ночную «скорую помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности»: «В ночной профилакторий

никто не приходил. Там было холодно и страшно» (3, с. 11). «Превратим парк в кузницу выполнения решений съезда профсоюзов» — гласит плакат в известном фельетоне о Парке культуры и отдыха «Веселящаяся единица». В парке проектируется веселый аттракцион: шахта глубиной в тридцать метров, куда можно спустить на бадье отдыхающего пожилого рабочего, чтобы он получил в «подземном профпрофилактории» «нужные сведения по вопросам профчленства и дифпая» (там же, с. 206 и 208).

Но в «Трубе» из «Летучего голландца» можно узнать не только профсоюзную, но и любую советскую газету: «Информации абсолютно не придавалось значения. Японское землетрясение опоздало на неделю. Считали, что союзной массе это не интересно... Вообще было принято думать, что союзной массе ничего не интересно... Как выкинули сотрудника, который допустил миниатюрную ошибку в стенограмме речи миниатюрного вождя... Глухая подземная война с грамотностью. В особенности жестоко боролись в ночной редакции под грохот машин... Профавторы с длинными, абсолютно неграмотными статьями. Требовали, чтобы у них не изменяли ни единого слова». Рассказывалось в повести (как мы уже упоминали) и о типичном для печати тех лет презрении к интеллигенции — том презрении, которое критики нашего времени стали приписывать самим Ильфу и Петрову.

Газета, описанная в «Летучем голландце», напоминает не только любую газету, но и любое учреждение: «Газета приобретает черты обыкновенного учреждения, а сотрудники становятся чиновниками. До редактора никогда нельзя дорваться. Он запирается в своем кабинете, как в уборной». Проблема чиновников должна была рассматриваться и в отдельном отступлении «О чиновниках вообще, ничего не знающих». Намечена была и специальная главка:

«Черты учреждения.

Самым важным и единственно сто́ящим считалось заставлять сотрудников приходить на службу в 9 и уходить в 5. За этим строго следили. Вводили расписные книги, марки в табельных ящиках. Редактор не знал сотрудников в лицо. Он только знал, что их 34. И считал, как ослепленный Циклоп. Если не хватало, он говорил:

— Двух не хватает. Узнайте — кого».[24]

«Летучий голландец» так и не был завершен — вероятно, задуманный сюжет оказывался слишком пессимистичным для большой повести. Изучением общества через наиболее близ-

[24] Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 224—229.

кие им сферы деятельности Ильф и Петров продолжали заниматься и в своих фельетонах конца 1932 г. Фельетоны «Их бин с головы до ног» и «Как создавался Робинзон» оба очень смешные, но оба посвящены весьма серьезной теме: свободе творчества. В первом фельетоне говорящую собаку не допускают к работе в цирке из-за идеологической невыдержанности ее репертуара,[25] во втором — редактор, заказавший рассказ о советском Робинзоне, требует введения в него «широких масс трудящихся», для чего советует в конце концов превратить необитаемый остров в полуостров и выкинуть «ничем не оправданную фигуру нытика» — Робинзона (3, с. 193, 197).

Оба фельетона, как мы видим, вовсе не отвечали поставленной перед авторами задаче позитивной самокритики. Напротив, они были посвящены той проблеме, которая вставала еще при осуждении зарубежных изданий Пильняка, — об ограничении свободы творчества, или, как пренебрежительно выразился в 1929 г. Юрий Олеша, «свободе блеять» для овец. Ильфу и Петрову эти ограничения, очевидно, не казались таким пустяком. И именно поэтому у читателя обоих рассказов естественно возникает тот же вопрос, который мы уже затрагивали: как эти сочинения могли быть напечатаны («Робинзон» — даже в «Правде»)? Известную роль здесь сыграло то обстоятельство, что ни в том, ни в другом рассказе цензура не была упомянута прямо. Говорящую собаку увольнял художественный совет, а Робинзона уничтожал редактор. Под своим тогдашним официальным наименованием «Главлита» цензура упоминалась авторами лишь однажды — правда, довольно ядовито. В рассказе «Великий канцелярский шлях» писатель Самообложенский, добивавшийся творческого отпуска, чтобы прервать общественную работу и заняться литературным трудом, на всякий случай хочет попросить разрешения в Главлите. Друзья не советуют ему этого делать.

«— Это, правда, тоже не их дело, но они, понимаешь, могут не разрешить. Ты уж лучше в Главлит не подавай» (3, с. 139).

Однако цирк, литература — это все-таки искусство, а не «сфера производства». В конце 1932 г. писатели опубликовали рассказ, место действия и предмет изображения которого не могли быть отнесены к какой-либо одной «сфере». Более того — именно вопрос о месте действия и составлял главную загадку рассказа.

Вот его содержание. Где-то в Москве находится «Клоп» — «учреждение как учреждение», по словам его сотрудни-

[25] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 32—37. В Собр. соч. не включено.

ков, ничем не отличающееся от тысячи других. Но внезапно двум случайным прохожим приходит в голову мысль выяснить, что, собственно, означает и чем занимается «Клооп». Они обращаются к сотрудникам: сперва к мелким, потом к более ответственным («...У меня свои функции. А Клооп есть что? Клооп есть Клооп») и, наконец, доходят до самого председателя. Председатель Клоопа вовсе не бюрократ «банального» типа вроде редактора в «Летучем голландце» или Полыхаева; он охотно принимает любопытных посетителей, и заданный ими вопрос в конце концов заинтересовывает и его самого:

«— Понимаете, вы меня застигли врасплох. Я здесь человек новый, только сегодня вступил в исполнение обязанностей и еще недостаточно в курсе. В общем я, конечно, знаю, но еще, как бы сказать...

— Но все-таки в общих чертах?..

— Да и в общих чертах тоже...

— Может быть, Клооп заготовляет лес?

— Нет, лес нет. Это я наверно знаю.

— Молоко?

— Что вы! Я сюда с молока и перешел. Нет, здесь не молоко.

— Шурупы?

— М-м-м... Думаю, что скорее нет. Скорее что-то другое».

«— Чем же они все-таки здесь занимаются?» — смущенно шепчет в конце концов прохожий (3, с. 24—25).

Рассказ «Клооп» иногда сопоставляют с рассказом А. Аверченко «Мурка», написанным уже в эмиграции, но рисовавшим советский быт. Действительно, и у Аверченко в центре — учреждение со странным сокращенным названием, и у него это учреждение занимается неизвестно чем, в основном обеспечивая снабжение своих сотрудников. Однако у Аверченко обстановка гражданской войны, и возникновение «Мурки» тесно связано именно с обстоятельствами той эпохи. «Мурка» — это «Мурашовская комиссия», следственная группа, созданная для расследования хищений на Курском вокзале. Следователь Мурашов был вскоре расстрелян по подозрению в организации покушения на Володарского, но комиссия продолжает существовать, занимаясь уже не своим первоначальным делом, а самоснабжением.[26] Специфичность обстановки, которую описал Аверченко, ограничивает степень обобщения его рассказа. «Мурка» — явление страшное и уродливое, но

[26] См.: *Аверченко А.* Осколки разбитого вдребезги. М.; Л., 1926. С. 18—21.

все же объяснимое: возникновение его вызвано экстраординарными событиями.

Не то «Клооп». Ни происхождение этого учреждения, ни его «вызывающее название» в рассказе так и не разъясняются и разъяснения не требуют. Название «Клооп», как и название «Мурка», — аббревиатура, сокращение, но само по себе это не является чем-то необычным — аббревиатурами обозначались многие советские учреждения. «Клооп» мог быть любым предприятием — и из сферы потребления, и из столь дорогой М. Кольцову «сферы производства». Недаром в рассказе предполагается возможность того, что он изготовляет лес, а может быть, молоко или шурупы.

Самая поразительная черта «Клоопа» — его обыденность. В отличие от «Мурки», он существует — и давно уже существует — в мирное, относительно благополучное время. Существование его никого решительно не беспокоит: даже один из двух посетителей, пытавшихся узнать назначение «Клоопа», делает это только под влиянием настойчивости своего приятеля-зеваки; первоначально и он не понимает, что́ так волнует его товарища.

Кафкианская абсурдность «Клоопа» соединяется с кафкианской же обстановкой повседневности — все действуют, как всегда, и никто ничему не удивляется. Если же мы вспомним, что рассказ был опубликован в стране, и само-то название которой обычно обозначалось аббревиатурой, то поймем силу гротеска в «Клоопе» и масштаб сделанного сатириками обобщения.

Так вновь и вновь обнаруживалась коллизия, характерная для позднего творчества Ильфа и Петрова. От писателей ждали разоблачения отдельных отрицательных явлений, создания необходимой светотени для единой прекрасной картины. Они же писали правду — ту правду, которая совсем не нужна была в одноименном печатном органе. А между тем во главе центральной газеты страны стоял человек, вовсе не склонный к либерализму, — Лев Мехлис, бывший секретарь Сталина, которого еще не уничтоженные партийные вольнодумцы именовали прозвищем, полученным на прежней работе: «Мехлис, спичку!». (Это прозвище, как говорили, не раз вспоминал Ильф.) Подобно многим администраторам, выдвинувшимся в те годы, Мехлис был, по-видимому, способным организатором и хотел, чтобы его газета не уступала по литературным качествам другому печатному органу, куда был перемещен прежний редактор «Правды» Бухарин, — «Известиям». Но опасных обобщений он допускать не желал, и напечатание «Клоопа» не сошло авторам так благополучно, как прежние публикации.

Позже, в 1960-х гг., А. Эрлих, непосредственно привлекший Ильфа и Петрова к сотрудничеству в «Правде», рассказывал, что после выхода в свет «Клоопа» Мехлис вызвал его к себе и спросил, что за люди Ильф и Петров и можно ли им доверять. Разобраться в этом деле, по словам Мехлиса, поручил ему после прочтения «Клоопа» сам Сталин. Эрлих утверждал, что он дал тогда своим подопечным благоприятную характеристику, но он все же поспешил дезавуировать опасный рассказ. Эрлих опубликовал статью, в которой указал, что большинство сочинений авторов представляет собой полезную и нужную сатиру, и тут же прибавил: «К сожалению, этого нельзя сказать о фельетоне „Клооп“». Как всегда в таких случаях, критик сослался на то, что «многие читатели не поняли фельетона»: «Ошибка авторов — ошибка литературного приема. Фельетон разработан так, что типическое исключение звучит, как типическое правило. Что это за учреждение „Клооп“? Это не конкретное советское учреждение, а учреждение „вообще“».[27] Но если «вообще», то, может быть, все-таки перед нами — правило, а не исключение? Конечно, большинство сотрудников предприятий и учреждений любой сферы знает, что означает название их заведения. Но так ли уж важно для них его название и назначение? «Нужно сначала выяснить принципиальный вопрос, — восклицает председатель «Клоопа» после того, как тайна смысла собственного учреждения начинает волновать и его самого. — Какая это организация? Кооперативная или государственная?». Но уже давно этот «принципиальный вопрос» не имел и не имеет ни малейшего значения: «кооператив» или «колхоз» — такое же казенное учреждение, как и всякое другое. А лозунг «Клооповец, поставь работу на высшую ступень!» может висеть в любом из этих заведений — будь то завод, шахта, колхоз или трест, и всюду он имеет одинаковый смысл и одну и ту же нулевую ценность. «Клооповец» не заинтересован в конечных и реальных результатах своей деятельности — он заинтересован в формальном выполнении плана, одобрении начальства и особенно в том снабжении, которое получает его место службы. Вскоре после того, как посетители заходят в «Клооп», чтобы понять его назначение, они слышат крик одного из служащих «брынза, брынза!» — и все сотрудники бросаются бежать в одном направлении. «Теперь все ясно, — говорит более ленивый из пришельцев, — можно идти назад. Это какой-то пищевой трест. Разработка вопросов брынзы и других молочнодиети-

[27] *Эрлих А.* Разгром равнодушных // Художественная литература. 1933. № 5. С. 16.

ческих продуктов». Но через минуту, изучая объявления, вывешенные на стене, оба исследователя читают: «Стой! Получай брынзу в порядке живой очереди под лестницей, в коопсекторе». После этого в кабинете председателя они уже не удивляются, когда туда приносят «лопату без ручки, на которой, как на подносе, лежит зеленый джемпер». Это тоже реализация прочитанного ими объявления: «Стой! Джемпера и лопаты по коммерческим ценам с двадцать первого у Кати Полотенцевой». «Мурку», занимающуюся самоснабжением, можно было еще считать учреждением исключительным, но «Геркулесы» и «Клоопы», существующие с той же целью, — явление давнее и прочное. И именно поэтому фельетон «Клооп» не только развивает излюбленную Ильфом и Петровым тему бюрократии, но и связывает ее с другой важнейшей проблемой — с вопросом о социальной функции этого общественного слоя, о материальных средствах, которые ему достаются.

В 1930-х гг. эта тема начинает интересовать и М. Булгакова. Прежде вопрос о распределении материальных благ казался ему не только неинтересной, но и вздорной проблемой, выдуманной демагогами, подобными Швондеру из «Собачьего сердца». Привилегии, которыми пользовались не только великий хирург, профессор Преображенский, но и его могущественные пациенты — важные партийцы и противные нэпманы, не вызывали у него особого негодования. Булгакова интересовало одно — преодоление разрухи. Однако в «Мастере и Маргарите» изображена Москва не 1920-х, а середины и конца 1930-х гг.,[28] времени относительного материального благополучия столицы. И именно в этот период «победы социалистического уклада» Михаил Булгаков, как и его собратья по «Гудку», стал интересоваться вопросом о материальных благах и путях их распределения. «Люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота...» — говорит Воланд, изучая москвичей во время сеанса черной магии в Варьете. Конечно, булгаковского Сатану такой интерес к деньгам вовсе не должен был огорчить: как-никак это был тот самый персонаж, который в любимой опере писателя утверждал, что «на земле весь род людской чтит один кумир священный...». Но в сцене скандала в торгсине, когда в ответ на «глупейшую, бестактную и, вероятно, политически вредную» речь Коровьева о «бедном человеке», которому неоткуда взять валюты, «приличнейший тихий старичок, одетый бед-

[28] См. ниже, с. 316, примеч. 11.

но, но чистенько», преображается, кричит «Правда!» и начинает громить торгсиновский прилавок, тема эта уже обретает совсем иное звучание. И, что для нас наиболее существенно, наряду с проблемой наличных денег (накопление которых для персонажей «Мастера и Маргариты» оказывалось столь же неплодотворным, как и для героев «Золотого теленка») возникала тема жизненных благ, добываемых путем безналичного распределения. Умеющий и желающий «жить по-человечески» поэт Амвросий предпочитает «порционные судачки о натюрель» в ресторане «Грибоедова». «—Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в „Колизее“, — поясняет он своему приятелю. — Но в „Колизее“ порция судаков стоит тридцать рублей пятьдесят копеек, а у нас — пять пятьдесят. Кроме того, в „Колизее“ судачки третьедневочные и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в „Колизее“ виноградной кистью по морде от первого попавшегося молодого человека... Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке на общей кухне дома судачки о натюрель! Ги-ги-ги!..». Если мы вспомним, что подлинный писатель, Мастер, даже после своего чудесного освобождения из сумасшедшего дома может рассчитывать только на нищенскую жизнь в подвале со своей подругой, то согласимся, что мотив этот имеет не только гастрономическое значение.

«...обыкновенные люди... — замечает Воланд во время сеанса «черной магии», — в общем, напоминают прежних...».[29] И опять-таки для автора, как и для его героя, это наблюдение только подтверждает его взгляд на мир: Булгаков ведь не ждал грядущего великого Преображения России. Совсем иной смысл оно имело для тех писателей, кто в это Преображение верил. Мы помним, что Юрий Олеша настолько был убежден в скором исчезновении таких человеческих пороков, как зависть, корысть, ревность, честолюбие, что даже жалел об этих, воспетых классической литературой страстях. Несовместимость социализма с институтами старого общества, например с обычным семейным укладом, считалась аксиомой не только в утопиях тех лет, но и в антиутопиях. Семья уничтожена и в обществе, описанном Е. Замятиным в романе «Мы», и в «Прекрасном новом мире» О. Хаксли. Исключение составляет только Дж. Оруэлл, утопические повести которого, по существу, до последнего времени не были по-настоящему поняты и оценены литературной критикой. В мире, нарисованном Оруэллом в «1984 годе», существенны

[29] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 5. С. 123; ср. с. 57—58 и 340—341.

не только его отличия от прежнего мира, но и черты сходства, о которых не думали другие писатели. Отношения между людьми в этом мире, в общем, такие же, какие они были всегда, — они только испорчены суровым бытом тоталитарного государства. И семьи остаются такими же, как прежде, только детей, начиная со школы, обучают любить Партию и Государство больше папы и мамы и сообщать об антигосударственных высказываниях и поступках родителей своим наставникам.

Водевиль «Сильное чувство», написанный Ильфом и Петровым в 1933 г., не был ни утопией, ни антиутопией. Но действие в нем происходило в современной авторам обстановке — в обстановке строящегося или даже уже построенного социализма. А между тем картина мира, нарисованная в водевиле, производит поистине гнетущее впечатление. Отчасти это может быть связано с тем, что здесь, в отличие от романов, нет героя, выполняющего функцию Остапа Бендера — несущего ту очищающую силу иронии и смеха, которая позволяла читателю как-то подняться над бытием «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». В водевиле все действующие лица — представители одной и той же среды, той самой, которую когда-то изображал ранний Чехов, а в советской литературе лучше всего рисовал Зощенко. Никаких коренных изменений в чеховском быту мы в Москве 1933 г., изображенной в водевиле, не обнаруживаем. Недаром свадьба, изображенная здесь, показалась критикам ухудшенным вариантом чеховской «Свадьбы», где персонажи условны (в отличие от чеховских), а роль генерала играет иностранец.[30] Иностранец в водевиле действительно фигурирует, но этот мотив, уже использованный авторами в рассказе «Отрицательный тип»,[31] едва ли имеет важное значение для сюжета «Сильного чувства». Американец мистер Пип, которого гости сперва встречают с восторгом и подобострастием, оказывается безработным, приехавшим в СССР искать работу, и гости от него немедленно отворачиваются. Условность этого эпизода, обеспечившего «проходимость» водевиля, очевидна: в Советский Союз в начале 1930-х гг. могли быть приглашены иностранные специалисты для участия в строительстве, здесь жили иногда левые политические эмигранты и коммунистические функционеры, но западные безработные, «не имеющие на жизнь», запросто на поиски работы в СССР не приезжали (в рассказе «Отрицательный тип» приезд амери-

[30] *Роскин А.* Мастера фельетона // Художественная литература. 1935. № 8. С. 7.

[31] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. С. 212—217.

канца безработного Спивака мотивировался хотя бы тем, что он был выходцем из России и навещал родственников, — в водевиле такой мотивировки не было).

Но гораздо более достоверными, чем «дитя кризиса», и отнюдь не условными выглядят в водевиле советские «обыкновенные люди». Среди них «член горкома писателей» Бернардов — он не писатель, а только обедает в писательской столовой, не железнодорожник, но «числится по Энкапеэсу» и получает бесплатный проезд по железным дорогам, носит костюм, купленный «в распределителе водников за шестьдесят пять рублей», получает молоко как пожарник и ездит на передней площадке трамвая как член Моссовета. А рядом с этой проблемой ведомственного снабжения фигурирует «квартирный вопрос», сильно испортивший, по наблюдениям Воланда, души советских людей. Из-за «квартирного вопроса», собственно, и происходят основные события в «Сильном чувстве»: героиня водевиля красавица Ната, оставив первого мужа, выходит замуж за некоего Стасика. Вот как объясняет почтенная респектабельная мама Наты этот развод своей младшей дочери Рите:

«...У Стасика большая комната!

Р и т а. Все равно противно! Менять мужа из-за комнаты!

М а м а. Но какая комната!» (3, с. 420).

Обнаруживается в быту граждан нового общества и еще одна, достаточно традиционная черта. В «Золотом теленке» советские журналисты объясняли сионисту мистеру Хираму Бурману, что еврейского вопроса в СССР не существует:

«— У нас такого вопроса уже нет, — сказал Паламидов.

— Как же может не быть еврейского вопроса? — удивился Хирам.

— Нету. Не существует.

Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно.

— Но ведь в России есть евреи? — сказал он осторожно.

— Есть, — ответил Паламидов.

— Значит, есть и вопрос?

— Нет. Евреи есть, а вопроса нету» (2, с. 294).

Заметим, однако, что уже в «Золотом теленке» содержался один эпизод, ставивший под сомнение оптимистический тезис Паламидова. В «Вороньей слободке», где проживали Лоханкин и его жена Варвара, жильцы намеревались взломать дверь в комнату полярного летчика, потерпевшего аварию в Арктике.

«— Как вам не стыдно? — восклицала Варвара Лоханкина. — Ведь это герой... Вот статья. Видите? „Среди торосов и айсбергов».

— Айсберги! — говорил Митрич насмешливо. — Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Всё Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи» (2, с. 151).

Но «Воронья слободка» — это все-таки пережиток прошлого, коммунальная квартира в провинциальном городе. Однако из текста «Сильного чувства» мы узнаем, что злосчастный вопрос продолжал существовать и через три года после написания «Золотого теленка» — в социалистической Москве. Оправдывая развод Наты с первым мужем, мама приводит еще один аргумент. Фамилия первого мужа — Лифшиц:

«...Лифшиц почти еврей, Риточка, — караим!» (3, с. 419).

«Караим Лифшиц» — это старая, еще дореволюционная острота, возникшая в связи с тем, что в царской России близкие к евреям по вере караимы не подвергались ограничениям, и несомненные евреи — Лифшицы, Рабиновичи — иногда выдавали себя за караимов. Но из слов Ритиной мамы мы узнаем, что и в 1933 г. «почти еврей» оказывался не совсем желательной партией для московской молодой дамы.

Однако именно таинственный Лифшиц, появляющийся в водевиле только в последнюю минуту, и оказывается единственным героем пьесы. В течение всего действия он стоит за дверью квартиры и непрерывно пинает ее ногами, срывая торжество и мешая гостям. «Сильное чувство», давшее название пьесе, — это чувство ревности, которое испытывает Лифшиц («караимы почти турки, турки почти мавры, а мавры, сами знаете...») и которое в конце концов побеждает:

«Н а т а (*решительно*). Зовите Лифшица!..

Открывается дверь, наступает триумф Лифшица. Он идет, маленький, хилый, с бледным одухотворенным лицом. Гости выстроились шпалерами» (там же, с. 437).

Итак, побеждает старая добрая ревность, глупая и смешная, но, по крайней мере, бескорыстная и сильная. Здесь явная, хотя и скрытая, полемика с Юрием Олешей — писателем, с которым Ильф и Петров, как мы уже отмечали, спорили неоднократно. Именно Олеша — и в «Зависти», и в ее драматическом варианте, «Заговоре чувств», и в неоконченной, но очень интересной пьесе «Смерть Занда» — писал о ревности как об отмирающем чувстве. Но в пьесе Ильфа и Петрова рядом с убогим потребительством, погоней за благами, выдаваемыми привилегированным категориям граждан, элементарным бездушием (хозяева изгоняют безработного Пипа и отца Стасика, временно выпущенного из тюрьмы) и «квартирным вопросом»

(комната Стасика теряет свои достоинства, когда выясняется, что у него есть отец) единственным «сильным чувством» оказывается ревность.

Значит ли это, что к 1933 г. оба писателя полностью утратили веру в Преображение, присущую их романам 1927—1928 и 1929—1931 гг., и что они сознательно полемизировали с Олешей по этому вопросу? Трудно ответить на этот вопрос. Возможно, что они просто намеревались написать легкий водевиль, не претендовавший на видное место среди их сочинений, и изобразили в нем довольно обычную сценку из жизни московского «среднего класса». Главная их работа, которой от них ждали и которую они еще надеялись осуществить, — третий роман — была еще впереди.

Но кто будет его героем? Опять Остап Бендер? И что же с ним станет? Мы уже упоминали о путешествии Ильфа и Петрова по Беломорканалу, после которого они отказались участвовать в написании коллективного труда о канале. Но совсем избежать какого-либо отклика на эту поездку они все-таки не смогли. В номере «Комсомольской правды» (24 августа 1933 г.) была выделена целая полоса для писателей, посетивших Беломорканал. Своими впечатлениями делились Всеволод Иванов («несомненно, капиталистическая и эмигрантская пресса будет вопить, что ОГПУ под дулом винтовок и в цепях показывало „беспартийным попутчикам“ или, вернее, скрывало так называемый „чекистский ад“» и т. д.), Л. Леонов, М. Пришвин и другие. Должны были выступить и Ильф с Петровым. Их заметка была озаглавлена «Наш третий роман».

«Нас часто спрашивали о том, что мы собираемся сделать с Остапом Бендером... Мы сами это не знали...» — писали авторы.

«Останется ли он полубандитом или превратится в полезного члена общества, а если превратится, то поверит ли читатель в такую быструю перестройку?

И пока мы обдумывали этот вопрос, оказалось, что роман уже написан, отделан и опубликован.

Это произошло на Беломорском канале!..».

Есть веские основания подозревать, что эта заметка вовсе не отражала реальный творческий замысел авторов, а была лишь удобной формой отказа от решения трудного вопроса на том основании, что «роман уже написан, отделан и опубликован самой жизнью». Во всяком случае ни малейших следов работы над такой версией романа не сохранилось. В по-

следней «Записной книжке» Ильфа есть единственная запись, относящаяся к Остапу, — она предусматривает совсем иной вариант: «Остап мог бы и сейчас пройти всю страну, давая концерты граммофонных пластинок. И очень бы хорошо жил, имел бы жену и любовницу. Все это должно кончиться совершенно неожиданно — пожаром граммофона. Небывалый случай. Из граммофона показывается пламя» (5, с. 217). Но и эта запись — скорее размышление о возможности еще одной (впрочем, довольно невинной) новой комбинации, которую мог бы изобрести герой, чем план реального романа.

План третьего романа, задуманного Ильфом и Петровым еще в 1932 г. и начатого в 1933 г.,[32] явно не был связан с Остапом. Сюжет романа, для которого было придумано название «Подлец», лапидарно изложен Е. Петровым в неоконченной книге «Мой друг Ильф»: «Человек, который в капиталистическом мире был бы банкиром, делает карьеру в советских условиях».[33]

Итак — карьерист. Это, конечно, центральная фигура в том мире, который изображен в «Клоопе». Если главная цель «Клоопа» — самоснабжение, то героем его, естественно, должен был стать человек, способный на Западе накоплять деньги, а у нас — сделать карьеру.

Роман «Подлец» не дошел до нас, но отражение этой темы, а может быть, и новеллистическую версию ненаписанного романа мы обнаруживаем в опубликованном в 1935 г. рассказе «Последняя встреча» — пожалуй, наиболее смелом из рассказов Ильфа и Петрова, написанных после «Клоопа».

Рассказ, называвшийся в рукописи «Человек без профессии», начинался с того, что в фойе театра встречаются два приятеля, не видевшиеся пятнадцать лет. Один из них — военный, а другой говорит о себе:

«— Я, Леня, по другой линии.

— Но все-таки?

— Я, Леня, ответственный работник.

— Вот как! По какой же линии?..

— Да я тебе и отвечаю — ответственный работник.

— Работник чего?

— Что чего?

— Ну, спрашиваю, какая у тебя специальность?

— При чем тут специальность! Честное слово, как с глухонемым разговариваешь. Я, голубчик, глава целого учреждения».

---

[32] *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? С. 150—151.

[33] Журналист. 1967. № 6. С. 62.

Учреждение это оказывается строительным трестом, но недоразумение продолжается. Директор строительного треста — по образованию не архитектор, не экономист, ни черта не понимает в строительных материалах.

«— Позволь, ты говорил, что у тебя громадный опыт?

— Колоссальный. Ведь я на моей теперешней работе только полгода. А до этого я был в Краймолоке... Значит, в Краймолоке три месяца, а до молока в Утильсырье, а до этого заведовал музыкальным техникумом, был на профработе, служил в Красном Кресте и Полумесяце, руководил изыскательной партией по олову, заворачивал, брат, целым банком в течение двух месяцев, был в Курупре, в отделении Вукопспилки и в Меланжевом комбинате. И еще по крайней мере на десяти постах. Сейчас просто всего не вспомню...

— Не понимаю, какая у тебя все-таки основная профессия?

— Неужели непонятно? Осуществляю общее руководство.

— Да, да, общее руководство, это я понимаю. Но вот профессия... как бы тебе объяснить... ну вот пятнадцать лет назад, помнишь, я был слесаренком, а ты электромонтерничал... Так вот, какая теперь у тебя профессия?

— Чудак, я же с самого начала говорил. Ответственный работник. Вот Саша Зайцев учился, учился, а я его за это время обскакал... даже карьерку сделал.

— Есть, — сказал командир. — Теперь понятно. Карьерку!» (3, с. 53—55).

Разнообразие должностей, которые занимал специалист по общему руководству, — не индивидуальная черта данного лица. Симпатичный директор «Клоопа» тоже перешел в свое таинственное учреждение из молочного треста; сменял одно учреждение за другим и еще один персонаж из рассказов Ильфа и Петрова — «добродушный Курятников» из одноименного рассказа (основанного, по-видимому, на материалах неосуществленного «Летучего голландца»):[34] в роли редактора он развалил «профсоюзную газету», в роли директора — консервный завод, «Комнатный театр», фабрику кроватей-раскладушек и т. д. (3, с. 82—86). Такова же судьба сходных персонажей в «Мастере и Маргарите». Даже после скандала, вызванного вмешательством нечистой силы, директора Варьете Степу Лиходеева «перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином», а заведующего Акустической комиссией Семплеярова «перебросили в Брянск и назначили заведующим грибозаготовительным пунктом».[35]

---

[34] На эту же тему был написан и рассказ Е. Петрова 1932 г. «Загадочная натура» (5, с. 439—443).

[35] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 5. С. 378—379.

Принципиальная «непотопляемость», способность при любых обстоятельствах (кроме самых чрезвычайных) оставаться на поверхности — важнейшая черта того социального типа, который лишь впоследствии получил наименование «номенклатуры».

Так постепенно рождается ответ на вопрос, поставленный еще в «Золотом теленке»: кто же подлинный командор великолепной машины, «настоящей жизни», за бортом которой оставались Остап и его компаньоны? «Ветчинное рыло» — этот страшный образ, возникший у Ильфа еще в ранней «Записной книжке» (5, с. 181), реализовался в «Золотом теленке» в фигуре Корейко — вора и подпольного миллионера (2, с. 230). Но Корейко был жалок и уязвим со своим «чемоданишком», который нужно было прятать по вокзальным камерам хранения, поминутно рискуя быть пойманным и разоблаченным. Настоящее «ветчинное рыло» опиралось не на деньги, а на карьеру, оставаясь при этом почти неуязвимым и занимая почетное место в государственной командорской машине.

Хотели этого авторы или нет, но внутри созданного ими роскошного экипажа оказывался новый вариант того же Чичикова, только более современный и удачливый. «Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям... А добродетельный человек все же не взят в герои... Потому что... нет писателя, который бы не ездил на нем... Нет, пора, наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!»[36] — писал Гоголь в «Мертвых душах». Не отсюда ли и задуманное авторами название романа, в центре которого должен был оказаться не веселый авантюрист Остап Бендер, а человек, который «делает карьеру в советских условиях»?

«Клооп», водевиль «Сильное чувство» и рассказ «Последняя встреча» — таково было отражение в творчестве Ильфа и Петрова «зримых черт» нового общественного строя, установившегося в середине 1930-х гг. Случайно ли почти полное совпадение наименования «Клооп» с названием пьесы Маяковского, изображавшей счастливое общество будущего? Может быть, и случайно, но название это оказалось символическим. У Ильфа и Петрова был рассказ на другую тему — «Рождение ангела» — об обыкновенных киношниках, изготовляющих индустриальный фильм с главным положительным героем. Консультант — вундеркинд, участвующий в создании фильма, больше всего боится, чтобы фильм не походил на картины Чаплина, Довженко, Пудовкина.

---

[36] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 6. С. 223.

«— Ты, мальчик, не бойся, — успокаивает его взрослый кинематографист. — Как у Чаплина не выйдет... Не будет, как у Довженко. И как у Пудовкина не будет» (3, с. 150—151).

Такой же убедительный и вместе с тем безнадежный вывод вытекал из картины эпохи, нарисованной Ильфом и Петровым. Не выйдет, как у Фурье, не будет, как в «Принципах коммунизма», и как в мечтах Маяковского не будет. Будет не как в «Клопе», а как в «Клоопе».

Но черты нового общества были изображены авторами только в нескольких рассказах и пьесе; роман «Подлец» остался замыслом писателей. В книге «Мой друг Ильф», начатой Е. Петровым через несколько лет после смерти его соавтора с явной целью придать максимальное благообразие их совместной творческой биографии (мы еще вернемся к этой книге), неудача с третьим романом всецело объясняется внутренними творческими причинами: «...писать смешно становилось все труднее. Юмор — очень ценный материал, и наши прииски были уже опустошены».[37] Иное объяснение привел Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь», написанной тридцать лет спустя с похвальной целью рассказать (хотя бы частично) правду о прошлом. Упоминая споры о третьем романе, происходившие в Париже между соавторами, Эренбург привел слова Ильфа: «Как теперь нам писать? ... „Великие комбинаторы“ изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилия и адрес — это „уродливое явление“. А напишешь рассказ — сразу загалдят: „Обобщаете, нетипическое явление, клевета“... А стоит ли вообще писать роман?».[38]

Свой третий роман Ильф и Петров так никогда и не написали.

---

[37] Журналист. 1967. № 6. С. 61.

[38] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 182.

Глава VI

«ЛЕТИТ КИРПИЧ...»

Положение Ильфа и Петрова в середине 1930-х гг., внешне казавшееся благополучным, было в действительности очень трудным. Мы уже отмечали противоречивость их роли. Стремясь создать идеологическую отдушину, Мехлис (возможно, с благословения своего хозяина) приглашает в свою газету двух популярнейших юмористов страны. Им было разрешено бичевать «уродливые явления», избегая, однако, ненужных обобщений. А они между тем мечтали создать роман о «подлеце», делающем «карьеру в советских условиях», и писали рассказы, способные вызвать у читателя мысль о «типическом правиле».

Опасность этого пути они, конечно, сознавали, тем более что им не забыли напомнить о ней в связи с «Клоопом». Выход, который нашли сатирики, был довольно обычным: затрагивая острые сюжеты, они сопровождали их словесными оговорками, компромиссными формулами, декларациями о лояльности.

Постепенно в фельетонах Ильфа и Петрова все чаще стали появляться оговорки о частном и нетипичном характере изображаемых явлений — оговорки, над которыми сами они не раз смеялись. «Отдельные авторы отдельных книг, в единичных случаях изданных отдельными издательствами... в единичных случаях отдельные заведующие...» (3, с. 131, 165). Авторы начали сочинять оптимистические концовки и противопоставлять рисуемые ими невеселые картины чему-нибудь светлому и прекрасному. Например, в довольно ехидном фельетоне о собратьях по перу «Литературный трамвай»: «Но хорошо, что трамвай движется... и что походная трамвайная дифференциация... готова перейти в большой и нужный спор о методах ведения советского литературного хозяйства» (там же, с. 175). В другом фельетоне: «Ленин, погруженный в рабо-

ту, громадную, неизмеримую, находил время, чтобы узнать, как живут... люди, которых он видел мельком, несколько лет назад... А у этих пятидесяти человек, которые, конечно, считают себя исправными жителями социалистической страны, не нашлось ни времени, ни желания, чтобы выполнить первейшую обязанность... гражданина Советского Союза — броситься на помощь...» (3, с. 215). Еще в одном месте — о людях, пользующихся блатом: «Вырвал из плана, смешал карты, спутал работу, сломал чьи-то чудные начинания, проник микробом в чистый и сильный советский организм» (там же, с. 229). Наиболее отчетливо эта тенденция была выражена в фельетоне «Любовь должна быть обоюдной», посвященном весьма острой теме — о людях, попавших в литературу случайно, иногда по протекции, но выступающих от ее имени с заверениями о преданности власти. «Что уж там скрывать, товарищи, мы все любим советскую власть. Но любовь к советской власти — это не профессия, — заявляли авторы. — Надо еще работать. Надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила. Любовь должна быть обоюдной» (там же, с. 291—292).

Несмотря на некоторую неожиданность этого пассажа в данном контексте, он имел существенное значение. Еще несколькими годами раньше Ильф и Петров смеялись над подобными декларациями, сравнивая их с международными дипломатическими признаниями. Теперь же им пришлось письменно декларировать свою любовь к власти. Фельетон был написан в 1934 г., и мы можем сказать, пародируя авторов, что Ильф и Петров признали советскую власть вскоре после Соединенных Штатов.

Уступки выражались не только в отдельных декларациях. Среди поздних рассказов Ильфа и Петрова есть несколько таких, которые резко отличаются от всего написанного ими. Это фельетоны или, скорее, очерки, повествующие не об отрицательных, а о сугубо положительных элементах советской действительности. К числу таких «положительных» фельетонов принадлежат «Черноморский язык» («Хорошо стреляют в Черноморском флоте. То есть, когда стреляют хорошо — это у них считается плохо... Считается хорошо, когда стреляют отлично»)[1] и «М» — восторженный панегирик новому московскому метро (3, с. 354—357). Иной, но также вполне официозный характер имел фельетон «Россия-Го» — о белых эмигрантах и, в частности, о Нобелевской премии Бунина. Фе-

[1] *Ильф И., Петров Е.* Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 230.

льетон не лишен остроумия: описание лихорадочного эмигрантского ликования по поводу награждения Бунина и последовавших за этим «провинциальных парижских будней» (3, с. 343), вероятно, в какой-то степени соответствует действительности — оно во многом совпадает с тем, что писали сами эмигранты. Кроме того, Бунин мог бы, если бы захотел, ответить авторам, так что писать о нем было куда приличнее, чем ругать Пильняка. И все-таки полная «дозволенность» и даже желательность подобной сатиры на эмигрантов вызывает неприятное чувство. «...Сатира... бывает честная, но навряд ли найдется в мире хоть один человек, который бы предъявил властям образец сатиры дозволенной», — писал Булгаков в «Жизни господина де Мольера».[2] То есть предъявить, конечно, предъявляли, и не раз, но чем дозволеннее было предъявляемое, тем меньше оно имело прав называться честной сатирой, да и сатирой вообще.

К счастью, однако, «Черноморский язык», «М» и «Россия-Го» — редкое исключение в творчестве Ильфа и Петрова. Что же было главной темой их рассказов и фельетонов тех лет? Главное место в них занимала тема, давшая имя одному из фельетонов: «Равнодушие». Поводом для написания рассказа было событие, действительно происшедшее с одним из авторов. Ночью понадобилось срочно отвезти жену в родильный дом, но «ночные такси свою работу уже закончили, а дневные еще не начинали». С трудом найденный автомобиль на половине пути испортился. Герой стал ловить проезжие машины, которых было немало: «Что же вам сказать, товарищи, друзья и братья? Он остановил больше пятидесяти автомобилей, но никто не согласился ему помочь... Ни один из ехавших в тот час по Арбату не согласился уклониться в сторону на несколько минут, чтобы помочь женщине, рожающей на улице». Этот случай дал авторам повод заявить о великом и широко распространенном преступлении — равнодушии». Равнодушие проявила артель, снабдившая большой московский дом замками, отпирающимися «пером „рондо“, и простым пером, и вообще любой пластиночкой», равнодушие проявляет чиновник, украсивший московские трамваи стихотворным плакатом, призывающим пассажиров сдавать шкурки забитых ими свиней (3, с. 217—218). На ту же тему рассказ «Костяная нога» — о московском докторе, женившемся на одесситке и ставшем жертвой восстановленной в 1932—1934 гг. паспортной системы: «Любимую не прописали в доме, потому что у нее не было московского паспорта. А московский паспорт она

[2] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 4. С. 308.

могла получить только как жена доктора. Женой доктора она была. Но загс мог признать ее женой только по предъявлении московского паспорта. А московский паспорт ей не давали потому, что они не были зарегистрированы в загсе...» (3, с. 301). Та же тема — равнодушие — в рассказах «Безмятежная тумба» (там же, с. 327—333), «Чувство меры» (там же, с. 376—381). Равнодушие, великое равнодушие отражается в идиотской организации принудительного отдыха («Веселящаяся единица» — там же, с. 203—209), в превращении нового клуба в наглухо закрытое помещение, где никто ничего не делает, но зато развешено множество «политичных плакатов» («Для полноты счастья» — там же, с. 265—270), в изготовлении швейными фабриками безобразных костюмов и платьев с обязательным бантиком, делающим из девушки «фарсовую тещу» («Директивный бантик» — там же, с. 276—283), в замене нормального обслуживания на вокзалах, в гостиницах и на курортных пляжах оглушительными концертами обязательных оркестров («У самовара» — там же, с. 310—315), в отказе государственных учреждений от внутреннего ремонта квартир («На купоросном фронте» — там же, с. 346—353), в хамстве театральной администрации, аннулирующей уже купленные билеты в момент начала спектакля («Театральная история» — там же, с. 358—363).

Борьба с равнодушием — вот, пожалуй, основной пафос рассказов и фельетонов, написанных Ильфом и Петровым в последние годы их совместной работы, так же, как и большинства произведений Е. Петрова, созданных им после смерти соавтора. В связи с этим особенно удивительным представляется приведенное нами в начале книги утверждение Олега Михайлова о «моральном релятивизме» и отсутствии «ровного нравственного горения» в их сочинениях. «Равнодушие казалось нам преступлением» — эти слова Е. Петрова сделал заголовком статьи (Лит. газ. 1978. 6 дек.) к 75-летию со дня рождения Петрова его приятель Лев Славин, явно отвечая на обвинения О. Михайлова.

Были ли эти проявления равнодушия «единичными случаями», «отдельными уродливыми явлениями»? Проницательный читатель имел все основания усомниться в этом. Служащий «Клоопа», вечно призываемый «поставить работу на высшую ступень», не может не быть равнодушен к ней и ко всему, не касающемуся его лично. В фельетоне «Человек с гусем» (первоначальное название «Жизнь по блату») исследуется все более распространявшаяся в стране система блата, изображается категория людей, беспрерывно твердящих некое загадочное склонение:

«я — тебе, ты — мне, он, она, оно — мне, тебе, ему, мы — вам, они, оне — нам, вам, им».

Насколько широко распространена система блата, авторы видели уже в 1933 г., когда был написан «Человек с гусем»:

«И наверно же у нас есть домики, выстроенные по блату, против плана...

У нас есть писатели по блату! (Немного, но есть.)

Композиторы по блату! (Бывают.)

Художники
Поэты
Драматурги
Кинорежиссеры } по блату. (Имеется некоторый процент.)»

(3, с. 229—230).

Почему же, однако, это явление столь широко распространилось в советском быту? Об этом авторы прямо не говорили, хотя уже самый рассказ «Человек с гусем» начинался с весьма выразительной детали: герой хочет купить стосвечовую электрическую лампочку, в магазинах ее нет, и он, по совету своего старого друга, обращается к блату. Такой же острой необходимостью объясняется и поведение персонажа другого рассказа, некоего Посиделкина, прибегающего к сложнейшей системе знакомств и интриг для того, чтобы достать один-единственный билет в Ейск — «жесткое место для лежания». Казалось бы, проще всего обратиться в кассу, но «там билета не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами» («Бронированное место» — там же, с. 13). Наиболее скептический читатель мог бы подумать и о связи блата со всей системой, при которой привилегии, положенные по чину, становились главной основой преуспеяния. Профессиональный «ответственный работник» из рассказа «Последняя встреча», сделавший «карьерку», так же как и герой фельетона «Человек с гусем», гордится своими сокровищами: патефоном с польским танго, радио с динамиком, фотоаппаратом «Лейка» (в 1930-х гг. все это было еще роскошью!) и женой — «есть на что посмотреть». Читатель, сопоставляющий эти два рассказа, ясно понимает, что и там и здесь все получено по блату или «по сверхтвердой цене и со скидкой в тридцать процентов, так что почти ничего платить не пришлось». Это относится и к женам-красавицам: «...чудилось, что даже женились они по протекции, по чьей-то записочке, вне всякой очереди, — такие у них были подруги, отборные, экспортные, лучше, чем у других» (там же, с. 228). Но если герой «Последней встречи» (он же, очевидно, и герой ненаписанного «Подлеца») оказывается двойником героя «Человека с гусем», то ясно, что блат — это вовсе не деятельность

отдельных «приобретателей» и «идеологических карманников»: это нормальный способ существования людей, делающих «карьеру в советских условиях». «Я — тебе, ты — мне» — это просто форма безналичных расчетов между привилегированными лицами.

Однако связь между темами рассказов 1932—1937 гг. нигде не раскрывалась авторами в обобщенном виде. Формально речь шла не о «типическом правиле», а только о «типических исключениях». Предметом обличения писателей стали рядовые граждане: управляемые или управители низшего ранга.

Бичевание пороков внутри собственной среды, строгий моральный самоанализ не раз объявлялись главной задачей писателей-сатириков и вообще мыслителей, пекущихся о человеческом благе. Уже Гоголь в специально сочиненной им «Развязке Ревизора» пояснял, что город, изображенный в пьесе, это «наш же душевный город» и «сидит он у всякого из нас»: «Таким же точно образом, как посмеялись над мерзостью в другом человеке, посмеемся великодушно над мерзостью собственной, какую в себе ни отыщем!».[3]

Стремление улучшить жизнь людей не путем изменения внешних условий существования общества, а в результате работы его членов над самими собой — эту задачу накануне революции ставили «Вехи». Обращение к проблемам нравственности и индивидуальным человеческим судьбам стало популярным и в 1960—1980-х гг. Именно этот моральный пафос сближал большинство диссидентов с наиболее порядочными представителями легальной литературы и печати. Читая последние фельетоны Ильфа и Петрова, мы неожиданно находим в них темы, воскресшие в статьях некоторых публицистов «Литературной газеты» брежневских лет. Защита несправедливо обиженных, проповедь уважения к закону — таковы темы фельетонов Ильфа и Петрова «Дело студента Свераковского», «Старики», «В защиту прокурора», «Отец и сын», написанных в 1935 г. Благодаря вмешательству писателей было отменено бессмысленное и безграмотное решение судьи, обвинившего в злостном хулиганстве и осудившего на два года тюрьмы студента Свераковского из-за пустой трамвайной ссоры (3, с. 364—368, ср. с. 535). Писатели добились восстановления в институте другого студента, Окуня, которого исключили из вуза за то лишь, что его отец попал под суд (там же, с. 398—400). Блестящая статья «В защиту прокурора» была посвящена широко распространенному явлению — юридической безграмотности советских администраторов, в одном случае доведших до самоубийства студентку Пронько, объ-

[3] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 4. С. 130, 132.

явленную воровкой без всякого судебного расследования, а в другом — травивших молодого учителя, ложно обвиненного в сожительстве со школьницами. Возрождение «дикого, темного самосуда» авторы справедливо объясняли тем, что судебные учреждения, как они сдержанно выразились, «недостаточно популярны» (3, с. 389—397). Насколько острым был поднятый Ильфом и Петровым вопрос, видно уже из того, что статья «В защиту прокурора», по воспоминаниям их друзей, вновь вызвала недовольство высшего начальства и побудила Мехлиса сделать второй выговор писателям. Призывы уважать законную процедуру следствия и суда и даже находившуюся в загоне профессию защитников (их еще не разрешалось именовать старым названием «адвокаты») прозвучали несколько неловко во второй половине 1930-х гг., когда прокурорам и следователям были поручены совсем другие функции. Борьба за соблюдение юридических норм не оказалась успешной и в более далекой перспективе — недаром собратьям Ильфа и Петрова по перу пришлось вновь вернуться к тем же вопросам почти полвека спустя.

Дух реформаторства, позитивной самокритики ощущается в последней книге писателей — «Одноэтажная Америка». Написанию этой книги предшествовало путешествие по Соединенным Штатам с осени 1935 г. до начала зимы 1936 г. (для Ильфа это была вторая поездка за границу — в 1933—1934 гг. он ездил с Петровым по Европе; для Петрова, ездившего еще в 1928 г., — третья). Нельзя не признать, что критики, обвинившие авторов в отходе от славных традиций обличения капиталистической Америки (традиций Горького и Маяковского), были не так уж неправы. Стремления во что бы то ни стало «казнить ненавистью» Соединенные Штаты в книге не ощущается. Цель ее скорее конструктивная и реформаторская — стремление понять недостатки и достоинства американской жизни и заимствовать кое-какие достижения великой индустриальной державы. Авторы не описывали «страха американцев перед полицейским» (как хотелось бы их критикам) по той простой причине, что им ни разу не встретилось проявление такого страха. Критикуя общественный строй Америки, они в первую очередь обратили внимание не на силу, а на слабость государства, не способного защитить ни знаменитого летчика Линдберга, ни рядовую американку от похищения их детей бандитами.[4] Совершенно искренне осуждали авторы

[4] *Ильф И., Петров Е.* Одноэтажная Америка. М., 1937. С. 353—354. В 1939 г. история с Линдбергом была выпущена из книги, вероятно, потому, что

убожество американской массовой культуры, расизм, широко распространенный среди белого населения. До войны в Советском Союзе совсем не было негров, и в пьесе «Под куполом цирка» Ильф и Петров, которым и в голову не могла прийти мысль о возможности негрофобии на их родине, имели основания противопоставлять в этом отношении советских людей американцам. Но одним из важнейших достоинств американского образа жизни они признали «демократизм в отношениях между людьми», указав, что «нам очень помогло бы изучение американских норм в отношениях между начальниками и подчиненными». Последняя фраза смутила редактора книги уже при ее первой публикации, и ее пришлось сократить, но тема все же осталась.[5] Особенно привлекали авторов американская точность и деловитость, американский «сервис» — обслуживание любого вида потребителей: «У американского делового человека есть время для делового разговора. Американец сидит в своем офисе, сняв пиджак, и работает. Работает тихо, незаметно, бесшумно. Он никуда не опаздывает, никуда не торопится. Телефон у него один. Его никогда никто не дожидается в приемной, потому что „аппойнтмент" (свидание) назначается обычно с абсолютной точностью и на разговор не уходит ни одной лишней минуты... Когда он заседает — неизвестно. По всей вероятности, заседает он очень редко» (4, с. 440—441). Значение этих достоинств было еще раз подчеркнуто в фельетоне «Часы и люди», первоначально задуманном как главка «Одноэтажной Америки», но затем выделенном в особую газетную статью. Крупный советский хозяйственник, жаждавший использовать американский опыт, пригласил авторов к себе на определенный день и час, но о свидании забыл; на заводе, куда они пришли, не работал не только диспетчерский телефон у главного инженера, но и часы у входа; человека, который должен был показать им завод, они ждали сорок минут в полутемном коридоре; по всему заводу беспрерывно шли люди — «Гулянье было, как на Тверском бульваре в выходной день»; и т. д. и т. д. (3, с. 401—407).

Но бесхозяйственность и бюрократизм были еще не самым плохим из того, что ждало писателей на родине. Они верну-

---

Линдберг перед войной занял профашистскую позицию (*Ильф И., Петров Е.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1939. Т. 4. С. 368—369; ср.: 5, с. 426—427).

[5] Слова: «нам очень помогло бы изучение американских норм в отношениях между начальниками и подчиненными» вызвали (как и многие другие) возражения зам. редактора журнала С. Рейзина, и Евгений Петров (больной Ильф в переговорах не участвовал) предложил, прежде чем выкинуть, показать в отделе печати ЦК (об этих переговорах см.: *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 201—202). В изданиях фраза была выпущена (Знамя. 1936. № 11. С. 112; *Ильф И., Петров Е.* Одноэтажная Америка. С. 366; ср.: 5, с. 441).

лись в начале 1936 г.; Илье Ильфу, у которого во время путешествия резко обострился туберкулезный процесс, оставался после поездки всего лишь год жизни — до весны 1937 г. И год оказался нелегким во всех отношениях.

Сразу же после возвращения писатели могли убедиться в том, что период некоторых послаблений для интеллигенции, начавшийся в середине 1932 г., кончился. Уже в конце 1936 г. в «Правде» была помещена статья «Сумбур вместо музыки», в начале февраля — статья «Балетная фальшь»; обе они были направлены против Шостаковича. В марте там же были напечатаны статьи против «формалистов»-художников (В. Лебедева, А. Лентулова и др.). Слово «формализм», замелькавшее во многих статьях, получило теперь совсем иной смысл, чем оно имело в 1920-х гг. Раньше «формалистами» именовали литературоведов, считавших главным предметом своей науки изучение художественной формы произведений искусства (В. Шкловский, Ю. Тынянов), теперь этим именем клеймили самих художников, чьи творения оказывались непонятными народным массам, руководителям и, главное, самому вождю. Под удар критики попал и старый знакомый Ильфа и Петрова Михаил Булгаков. Уже много лет в театрах не ставили его новых пьес — шли только «Дни Турбиных», и только в Художественном театре. В 1936 г. ему как будто посчастливилось: после долгой и мучительной работы МХАТ показал наконец его новую пьесу «Мольер». Но уже после нескольких представлений пьесы, 9 марта, в «Правде» появилась статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», и пьеса была снята со сцены. В газетах продолжали разоблачать вредные явления в искусстве — «формализм» Мейерхольда, новые идейно-порочные сочинения Б. Пильняка. Но дело теперь не ограничивалось только «проработками» в печати или запрещением пьес и книг. В середине августа 1936 г. начался первый из больших процессов тех лет — процесс Зиновьева, Каменева и связанных с ними лиц. Как и на вредительских процессах, подсудимые полностью признавали свою вину, и на этих признаниях строилось обвинение. Но прежде такие признания избавляли жертвы процессов от смертной казни (желанием спасти свою жизнь и объясняли обычно советские граждане эти страшные самооговоры); на этот раз подсудимые были приговорены к расстрелу и казнены.

Затем мрачная тематика газетных статей частично сменилась светлой — в начале декабря 1936 г. была принята сталинская Конституция, предлагавшая советским гражданам неприкосновенность личности и демократические свободы, а наиболее активным и сознательным из них — возможность

объединяться в Коммунистическую партию (впрочем, конституционные торжества частично совпали с очередным политическим процессом, хотя и не таким крупным, как зиновьевский, — делом о вредителях и диверсантах из Кемерова, закончившимся расстрелом подсудимых). В январе 1937 г. был проведен второй процесс «троцкистско-зиновьевского блока» — на этот раз на скамье подсудимых оказались Пятаков, Серебряков, Сокольников, Радек и другие; вновь все подсудимые признали свою вину, и снова большинство из них было расстреляно. В феврале—марте 1937 г., за месяц до смерти Ильфа, состоялся пленум ЦК, на котором Сталин (в докладе «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников») заявил о неизбежности обострения классовой борьбы и усиления государства в бесклассовом обществе. Пленум исключил из партии Бухарина и Рыкова; на этом же пленуме они были арестованы.

Все это, конечно, касалось не только бывших вождей. Уже в декабре 1934 г., сразу после убийства Кирова, была расстреляна группа лиц, никак не связанных с его делом, но находившихся под следствием по обвинению в терроре; начались массовые высылки из Ленинграда дворян и других социально чуждых лиц. С 1936 г. происходили публичные осуждения и увольнения с работы и из творческих союзов бывших оппозиционеров и других идеологически вредных элементов; за увольнениями почти всегда следовали аресты. Среди исключенных из Союза писателей были прежние критики Ильфа и Петрова — Селивановский, Трощенко.

Впечатления советского гражданина, вернувшегося из-за границы в то время (чуть попозже Ильфа и Петрова), довольно выразительно передал Эренбург в своих мемуарах. Он вернулся из Испании; на вокзале его встретила дочь Ирина:

«Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: „Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны". „Что это значит?" — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: „Я так рада, что вы приехали!..".

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: „Ты что, ничего не знаешь?.."».[6]

Имело ли все происходящее прямое отношение к основным темам творчества Ильфа и Петрова, и в частности к теме последнего задуманного ими романа — к теме карьериста, «Подлеца»? Несомненно. Думать, что «великий террор» был порож-

[6] *Эренбург И.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 182.

дением злой воли всемогущего тирана, весьма наивно (особенно курьезно было, когда так рассуждали люди, считавшие себя историческими материалистами). Конечно, немало «подлецов» попало в мясорубку тех лет. Вряд ли мог уцелеть в 1937 г. герой «Бани» Победоносиков с его дореволюционным стажем и побегом из царской тюрьмы: такая же участь (по вероятному предположению А. Белинкова) ждала и Андрея Бабичева из «Зависти». Но каждое из мест, освобождавшееся заслуженными «подлецами» 1920-х гг., занимали новые «подлецы» — такие, как герой «Последней встречи» («Человек без профессии»), бывший монтер, ставший в 1930-е гг. «главой целого учреждения»; или председатель «Клоопа». Биографии деятелей этого типа поразительно сходны — все они начинали со скромной «карьерки» руководителей небольших предприятий, а в конце 1930-х гг. внезапно взмыли ввысь. Дальнейшая судьба, естественно, складывалась у разных лиц по-разному — некоторые достигли впоследствии почти космических высот, но вполне стихийным считать такой полет нельзя. Осуществить «великий террор» без сигналов снизу было бы невозможно — сигналы же кто-то должен был подавать. И именно при таких обстоятельствах «подлец» мог широко привлекать для своих целей «Воронью слободку» — ту самую, которую так горячо защищала от Ильфа и Петрова (а заодно, очевидно, и от Зощенко и Булгакова) Н. Я. Мандельштам. Где, как не в недрах коммунальных квартир, создавались самые обильные и разнообразные доносы 1930-х гг.? В «Золотом теленке» рассказывается о кляузах на полярного летчика Севрюгова, которые сочиняли жильцы «Вороньей слободки», — кляузы эти, по словам авторов, могли бы погубить летчика, будь «у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой...» (2, с. 151). Но действие «Золотого теленка» относится к началу 1930-х гг. Что было бы, если бы такая история произошла в конце 1930-х гг.? Ведь всемирная слава у полярного исследователя Р. Самойловича, погибшего во время «ежовщины», была не меньше, чем у ильфопетровского Севрюгова.

Мог ли включиться в такой симбиоз «подлеца» и «Вороньей слободки» также Васисуалий Лоханкин? Конечно, мог. Мы уже отмечали, что никаких черт оппозиционности Лоханкин не обнаруживает; его готовность видеть «великую сермяжную правду» в учиненной над ним экзекуции сближает его скорее с «кающимися интеллигентами» эпохи великого перелома. А как старательно эти «кающиеся интеллигенты» 1929—1930 гг. клеймили своих заблудших собратьев по перу и требовали осуждения вредителей, мы уже знаем.

В 1936—1937 гг. поддержка лояльной интеллигенцией мудрой политики вождя стала еще более широкой и громогласной, чем прежде. Этому отчасти содействовало то обстоятельство, что «мистика государства» уже начала обретать в конце 1930-х гг. свои традиционные исторические основы: была осуждена концепция М. Н. Покровского, враждебная русской государственности; возобновлена (под названием «Иван Сусанин») долго не допускавшаяся на сцену опера Глинки «Жизнь за царя»; С. Эйзенштейн готовил патриотический фильм об Александре Невском. Интеллигенция отнюдь не склонна была теперь к «отщепенству от государства». О великом счастье быть современником Сталина писали и говорили по случаю принятия новой Конституции А. Н. Толстой, Л. Никулин, К. Федин, М. Слонимский, В. Каверин (Лит. газ. 1936. 26 нояб. и 1 дек.). Откликнулась интеллигенция и на кампанию против формализма. Снова каялся бывший формалист В. Шкловский (там же. 15 марта), В. Катаев обличал (там же. 10 марта) критика Д. Мирского, пропагандировавшего в СССР вредное творчество Д. Джойса; В. Мейерхольд, уже начавший подвергаться нападкам, выступал в Ленинграде с обширным докладом «Мейерхольд против мейерхольдовщины», где солидаризировался, в частности, с осуждением булгаковского «Мольера» (там же. 20 марта). Не очень удачным оказалось выступление Ю. Олеши. Он признался, что его первым ощущением после прочтения статьи против Д. Шостаковича был протест, но затем он понял невозможность «несогласия со страной» и признал, что «и на отрезке искусства партия, как и во всем, права» (там же. 27 марта). «Раздавить гадину» требовали во время зиновьевского процесса писатели, и среди них Артем Веселый, Н. Огнев, А. Свирский, К. Финн (там же. 20 авг.), К. Федин, В. Вишневский, Б. Пастернак, Л. Сейфуллина, Ф. Панферов, Л. Леонов (Правда. 1936. 21 авг.). Вынесенный подсудимым смертный приговор поддержали Вишневский, Тренев, Леонов, Лахути, Луговской, Киршон, Шагинян, Инбер, Ясенский; с особыми статьями выступили А. Барто, В. Гусев и другие (Лит. газ. 1936. 27 авг.).

Не менее блестящая плеяда имен поддержала осуждение Пятакова, Радека и других в январе 1937 г. Резолюция президиума ССП была подписана, наряду с Фадеевым и Сурковым, также Вс. Ивановым, Новиковым-Прибоем, Пильняком, Треневым, Шагинян, Сельвинским, Мирским и другими. Тут же стихи В. Гусева: «Каждая пядь советской земли властно требует их расстрела!», статьи А. Н. Толстого «Сорванный план мировой войны», Н. Тихонова «Ослепленные злобой», К. Федина «Агенты международной контрреволюции», Ю. Олеши

«Фашисты перед судом народа» (концовка: «Все враги... будут уничтожены!»), М. Шагинян «Чудовищные ублюдки», Вс. Вишневского «К стенке!», И. Бабеля «Ложь, предательство, смердяковщина», Л. Леонова «Терроризм», А. Платонова «Предел злодейства», С. Маршака, А. Новикова-Прибоя, В. Шкловского, Л. Славина и многих других (Лит. газ. 1937. 26 янв.). Над многими из требовавших «раздавить гадину» уже занесен был меч, и вполне вероятно, что их усердие (как и старания остальных участников этого хора) подогревалось страхом за собственную жизнь.

Как же вели себя в этой обстановке Ильф и Петров? Последний год жизни Ильф тяжело болел, много времени провел вне Москвы — в Остафьеве, Кореизе, Малаховке, Форосе. Но, несмотря на это, ни он, ни тем более Е. Петров не были затворниками, они выступали в печати, ходили по Москве, навещали знакомых. Побывали они и у Булгакова. В дневниках Е. С. Булгаковой сохранилась такая запись за 26 ноября: «Вечером у нас: Ильф с женой, Петров с женой и Ермолинские... Ильф и Петров — они не только прекрасные писатели. Но и прекрасные люди. Порядочны, доброжелательны, писательски, да, наверное, и жизненно — честны, умны и остроумны».[7] Ермолинский вспоминал, видимо, иную встречу — с одним Ильфом, незадолго до его смерти: «В шутках их, подчас пронзительно едких, когда они начинали говорить о литературных делягах, способных на подлость, было полнейшее единодушие. Ильф был болезнен, издерган, и, странно сказать, Булгаков рядом с ним казался моложе, беззаботнее.

Именно таким я видел Ильфа вскоре после возвращения его из Америки и незадолго до смерти...

Ильф вернулся угрюмым, больным... Булгаков развлекал его, как мог.

— Вы не думайте, мне тоже удалось показать себя на международной арене... Любезный советник из Наркоминдела представил меня некоему краснощекому немцу и исчез. Немец, приятнейше улыбаясь, сказал:

— Здравствуйте, откуда приехали?

Вопрос был, как говорится, ни к селу ни к городу, но немец говорил по-русски, и это упрощало дело.

— Недавно я был в Сухуми, в доме отдыха.

— А потом? — спросил немец, совсем уже очаровательно улыбаясь.

— Потом я поехал на пароходе в Батум...

— А потом?

---

[7] Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 126; ср. с. 139.

— Потом мы поехали в Тбилиси...

— А потом? — с той же интонацией повторил немец.

— Потом... вот... я в Москве и никуда не собираюсь.

— А потом? — продолжал немец. Но тут, к счастью, промелькнул советник из Наркоминдела... И потащил меня от немца, который стоял, по-прежнему нежнейше улыбаясь, с застывшим вопросом на губах:

— А потом?

Ильф слушал с коротким смешком, непрерывно следя за рассказчиком, а затем перестал смеяться, опустил голову и произнес хмуро, повторяя интонацию немца, как только что делал это Булгаков:

— А потом! — И, посмотрев на него, добавил другим тоном: — Что все-таки потом, Михаил Афанасьевич?..».[8]

Помимо дневниковых записей Булгаковой и воспоминаний Ермолинского сохранились и записи, сделанные людьми, уже не заставшими Ильфа и Булгакова, — со слов вдовы писателя. По воспоминаниям этих собеседников, Елена Сергеевна рассказывала, что Булгаков прочел Ильфу и Петрову «Мастера и Маргариту», и они убеждали его убрать «древние главы» — в этом случае они «брались» за напечатание романа или «гарантировали» его.[9] Сомнительность этих воспоминаний 1970-х гг., не подкрепленных дневником, очевидна. При жизни Ильфа соавторы никаким влиянием в издательских кругах не пользовались; только в 1936 г. они стали печататься в «толстом» журнале («Знамя»), да и то с трудом; Ильф в 1937 г. не только не мог ни за что «браться», но сам ждал губительного «кирпича». Одно из двух: либо «брался» напечатать какие-то фрагменты из романа Е. Петров, когда он стал в 1939 г. редактором «Огонька»[10] и членом редакции «Литературной газеты», либо оба автора ни за что не «брались», а просто высказывали свое мнение о том, какие главы наверняка не могли быть напечатаны.[11] Но не менее пессимистически смотрели на напечатание романа и другие слушатели.

Но поздние воспоминания Е. С. Булгаковой, при всей их неточности, оказываются достаточно интересными. Все-таки

---

[8] Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 461—463.

[9] *Михайлов О.* Верность. Родина и литература. М., 1974. С. 174; *Шварц А.* Жизнь и смерть Михаила Булгакова. Нью-Йорк, 1988. С. 158; *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 629.

[10] В пользу этого предположения свидетельствует та же запись А. Шварца, где приводится совет одного из друзей Булгакова по поводу напечатания: «Разве отрывок в „Огоньке"; там Женя Петров, он поймет...».

[11] В своих поздних воспоминаниях Е. С. Булгакова, дорожившая памятью о Булгакове, а не о его современниках, смешивала одних с другими, приписывая Таирову то, чего он не говорил (ср.: Дневник Елены Булгаковой. С. 304—305; *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 429—430), и путая Вересаева с Бурденко (Дневник Елены Булгаковой. С. 91 и 312).

Ильфу и Петрову Булгаков решился показать свою заветную книгу, которую читал немногим. А ведь он мог бы избрать кого-либо другого, например своих собратьев по коллективу молодых писателей, привлеченных в 1920-х гг. МХАТ'ом: Леонида Леонова или Всеволода Иванова.

М. Булгаков внимательно следил за газетами тех лет — события, происходившие вокруг, отразились и в последней редакции «Мастера и Маргариты».[12] И он мог убедиться, что его собеседники не приняли участия ни в одной из кампаний 1936—1937 гг. — в отличие от большинства своих коллег, они не выступали ни против формализма, ни по поводу новой Конституции, ни, главное, в числе тех, кто требовал «раздавить» врагов народа. Так же поступили они и в 1929—1930 гг., но теперь это имело совсем другое значение, чем в годы «великого перелома».[13] Тогда они считались второстепенными писателями, и их мнения (как и мнения Булгакова) никто не спрашивал; теперь за их плечами были «Золотой теленок», фельетоны в «Правде», поездка в Америку. Выступление или невыступление в ходе кампаний 1936—1937 гг. вовсе не считалось случайным поступком, зависящим от стечения обстоятельств или настроения писателя. Недаром И. Эренбург, написавший и подписавший за свою долгую жизнь немало казенных писем и деклараций, на склоне лет с гордостью вспоминал свое неучастие в кампаниях времен «ежовщины»: «Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процес-

---

[12] Официальная советская критика утверждала, что поскольку «замысел» «Мастера и Маргариты» «полностью определился уже в 20-е годы» или в начале 1930-х гг., его не следует связывать с «печально известным 1937 годом» (*Метченко А.* Современное и вечное (О концепциях реализма) // Эстетика сегодня: (Актуальные проблемы). Сб. 2. М., 1971. С. 225; *Утехин Н. П.* Исторические грани вечных истин («Мастер и Маргарита» Булгакова) // Современный советский роман. Философские аспекты. Л., 1979. С. 196). В действительности роман (первые варианты которого относятся к 1929—1930 гг.) был начат Булгаковым заново в 1937 г., и работа над ним длилась до 13 февраля 1940 г. (*Чудакова М. О.* Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 128—140). В романе отражены прямые реалии процессов конца 1930-х гг. На балу у сатаны, среди разных злодеев, появляется «новенький», который велел своему подчиненному, с целью повредить «одному человеку», «обрызгать стены кабинета ядом» (*Булгаков М.* Собр. соч. Т. 5. С. 262). Речь идет несомненно о признании Ягоды на процессе 1938 г. в его попытке отравить именно таким образом Н. И. Ежова. Нам неважно в данном случае, верил ли М. Булгаков в самооговор Ягоды, — важно, что здесь отражается его чтение газет в эти годы.

[13] Единственное обнаруженное нами довольно общее упоминание о «кулаках» и «вредительстве» в колхозах встречается в очерке Ильфа и Петрова «Аллея побед» // Правда. 1935. 7 июля (т. е. через 5 лет после проведения коллективизации и раскулачивания).

сах, о „сталинском наркоме“... Я отвечал, что не могу, — пишу только о том, что хорошо знаю, и не написал ни одной строки».[14]

Могло ли молчание Ильфа и Петрова в самые острые моменты 1936—1937 гг. остаться незамеченным? Они работали в «Правде», новое редакционное помещение которой Ильф несколько раз изображал (в сугубо сатирических красках) в последней «Записной книжке». Это как будто ставило их в привилегированное положение, но вместе с тем делало их еще более уязвимыми. Бывший секретарь Сталина не только не склонен был защищать своих сотрудников от расправы, но проявлял по отношению к ним сугубую беспощадность. Об этом сохранились очень яркие воспоминания Михаила Кольцова, записанные его братом Борисом Ефимовым. «Откуда-то дует этакий зловещий ледяной ветерок, — говорил Кольцов брату и на вопрос, в чем это проявляется, отвечал: — Конкретно ни в чем. Но я вижу это по Мехлису... Я вижу, я чувствую это по его улыбочкам, по его безукоризненно вежливому обращению... Кстати, на днях была замечательная сценка. Мехлис зачем-то приехал в „Правду“... Сидим в моем кабинете, и он вдруг говорит: „А знаешь, Миша, надо очень и очень присмотреться к Августу. Это безусловно замаскированный враг“. Я обомлел. „Что ты, Лев? — говорю. — Август?! Этот честнейший, преданнейший большевик? Старый политкаторжанин?“ — „Да, да, Миша, — отвечает Мехлис нетерпеливо и злобно, — именно он, честнейший и преданнейший...“. И в это время в кабинет вошел... Август с газетными листами на подпись. Ты бы видел, как мгновенно и жутко переменилось лицо Мехлиса, как ласково и приветливо он заговорил: „А-а! Товарищ Август! Рад вас видеть! Как поживаете, дорогой? Как здоровье?..“. А ведь Август, видимо, уже конченый человек... Это вопрос дней... Да-а... Вот как это делается...».[15]

Мы знаем, что Ильф и Петров уже дважды вызывали недовольство Мехлиса — рассказом «Клооп» и статьей «В защиту прокурора». Положение их в конце 1936—начале 1937 г. также не было особенно прочным. В задуманных и частично написанных Евгением Петровым воспоминаниях «Мой друг Ильф» упоминается одно обстоятельство, вовсе не соответствующее общему оптимистическому тону книги. «Одноэтаж-

---

[14] *Эренбург И.* Собр. соч. Т. 9. С. 185.

[15] Михаил Кольцов, каким он был: Сб. М., 1965. С. 69—70. Упоминаемый здесь Август Потоцкий до «Правды» работал в «Гудке» и описан в воспоминаниях М. Штиха (Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове: Сб. М., 1963. С. 102—103). Слова Потоцкого (сказанные им ударившему его хулигану): «Ну, я не Христос» приводятся в ранней записной книжке Ильфа (5, с. 145).

ная Америка», написанная Ильфом и Петровым в 1936 г., была напечатана в журнале «Знамя» в № 10—11; отдельное издание еще не вышло (тираж появился в день смерти Ильфа). Неизвестно, знал ли Ильф о возможных политических обвинениях, которые предвидела и против которых предостерегала Е. Петрова редакция «Знамени» (Ильфа, по болезни, оберегали от этих переговоров), но какую-то тревожность атмосферы он ощущал. «Летит кирпич», — так, по воспоминаниям Е. Петрова, характеризовал он обстановку в последние месяцы жизни.[16] И не ошибся. 21 марта 1937 г. в «Известиях» появилась первая рецензия на книгу под достаточно определенным названием «Развесистые небоскребы». Автором был некий В. Просин — мало известная фигура в публицистике тех лет, молодой журналист, проведший несколько лет в Америке. «Советский читатель, — писал он, — хочет сравнить свои достижения, результаты побед пролетарской революции с положением своих братьев по классу». Далее упоминалась книга Б. Пильняка — одного из главных объектов газетной травли тех лет, и к ней «подверстывалась» «Одноэтажная Америка»: «И в ней, к сожалению, развесистые небоскребы. В стране имеется множество рабочих, живущих на урезанной зарплате... Где описание жизни этой части населения США?.. Почему... не показали жизни негритянского гетто — Харлема?.. Где же описание жизни американского фермера? Где картина фактического рабства и колониальной эксплуатации миллионов издольщиков — негров на хлопковых плантациях?..».[17] Особенно подозрительным показался рецензенту «Известий», как и Н. Атарову двенадцать лет спустя, американский спутник Ильфа и Петрова — мистер Адамс. Рассеянный В. Просин переименовал его в «мистера Смита» и грозно вопрошал: «Да и кто говорит устами мистера Смита?». Самым забавным в этой истории было то, что подлинный прототип «Смита»-

---

[16] Журналист. 1967. № 6. С. 63. До появления рецензии в «Известиях» рецензий на «Одноэтажную Америку» не было: были лишь читательские отклики; но даже в них Л. Никулин, характеризуя книгу как «приятную, умную и веселую», счел необходимым оговориться, что недостатком книги является «чрезмерное увлечение американским „сервисом“» (Книга и пролетарская революция. 1937. № 2. С. 121—122).

[17] Статья В. Просина имела несколько двойственный характер: наряду с весьма серьезными упреками политического характера важное место занимали в ней замечания, посвященные сугубо частным вопросам. Создавалось впечатление, что политические упреки в рецензии были заданы, а автору были более дороги его американские воспоминания. Так, Просин доказывал, что в Нью-Йорке существует не одна аптека европейского типа, как утверждали Ильф и Петров, а несколько. Вероятно, имея в виду именно эти замечания Просина, Ильф писал в последней «Записной книжке», что «нельзя относиться к Нью-Йорку так, как это сделал бы санитарный инспектор» (Л. 33).

Адамса инженер Трон, сопровождавший писателей в путешествии, был убежденным коммунистом, мечтавшим поселиться в Советском Союзе[18] (нетрудно представить себе последствия такого переселения в 1937 г.). Казалось бы, авторы легко могли избавиться от многих нареканий критики, если бы рассказали о столь прогрессивных взглядах своего спутника, но они предпочли этого не делать, ограничившись указаниями на свободомыслие м-ра Адамса, его интерес к Лиге Наций и т. д.

Статья Просина уже не могла оказать влияния на судьбу Ильфа — после напечатания этой статьи ему оставалось жить меньше месяца. Но «Летит кирпич...» — это, очевидно, не только опасение за судьбу «Одноэтажной Америки». Это вообще настроение писателя в последний год его жизни.

Но и в этой обстановке Ильф не переставал работать, печатая на машинке — почти до дня смерти — свою последнюю книгу, совершенно необычную, даже не имеющую жанрового определения. Полностью она так и не была опубликована, а с купюрами была издана несколько раз как последняя «Записная книжка» писателя. Но это не такая записная книжка, какие вел Ильф прежде, рассматривая их как заготовки к будущим рассказам и романам.

Правда, два сюжета, которые могли быть реализованы в беллетристическом произведении (в дополнение к уже упомянутому замечанию об Остапе Бендере с граммофоном), в «Записной книжке» намечены. Ильф думал рассказать о создании советского киногорода и о затеянных в связи с этим путешествиях за границу двух экспедиций в Афины и Голливуд. После ряда достаточно нелепых приключений обе экспедиции, встретившись в Париже (в публичном доме «Сфинкс»), возвращаются на родину: «Они сами вскоре не понимают уже, были ли в Афинах, ходили ли по берегу Тихого океана. Иногда только спросонок один из них заорет: „Ту дабл бэд“. И это все» (5, с. 222).

Другой сюжет, разработанный более подробно, отчасти перекликается с «Мастером и Маргаритой»: как в романе Булгакова, здесь в современную жизнь вторгаются сцены, в которых участвуют древние римляне, но сцены эти развиваются не параллельно, как в «Мастере и Маргарите», а в едином действии. Римские легионы завоевывают советскую Одессу (обычно литературоведы говорят в этом случае о нэповской Одессе, но в действительности речь идет о послеэповском времени — после отмены частной торговли, которую восстанавливают римляне) и растворяются в ней (там же, с. 226—230). Е. Пет-

[18] См.: РГАЛИ, ф. 1821, оп. 1, № 146.

ров отнесся к этому замыслу отрицательно, и Ильф, очевидно, понял его неосуществимость и ограничился набросками. Весь остальной текст «Записной книжки» не может рассматриваться как заготовки будущих сочинений. Не была последняя книга и дневником. Это замечал и сам автор:

«Если это записная книжка, то следовало бы писать подробнее и ставить числа. А если это только „ума холодных наблюдений", тогда, конечно... Начал я записывать в Остафьеве, потом делал записки в Кореизе, теперь в Малаховке» (5, с. 232).

От дневника и записной книжки последнюю работу Ильфа отличает и то обстоятельство, что ей предшествовал ряд рукописных записей и что здесь отражены не только события, происходившие во время ее написания, но и более ранние начиная с февраля 1934 г. (смерть Багрицкого).

Евгений Петров, написавший предисловие к посмертному изданию «Записных книжек», справедливо заметил, что последнее произведение Ильфа «поэтично и грустно». Конечно, в какой-то степени это было связано с болезнью автора — он подводил итоги жизни, думал о приближающемся конце:

«Такой грозный ледяной весенний ветер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло...» (там же, с. 217);

«Раньше, перед сном, являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландской битвой. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло... Теперь нет этого. Все несется в диком беспорядке, я просыпаюсь ежеминутно. Надоело...» (с. 219);

«Я сижу в голом кафе „Интуриста" на ялтинской набережной. Лето кончилось. Ни черта больше не будет. Шторм. Вой бесконечный, как в печной трубе. Я хотел бы, чтобы жизнь моя была спокойней, но, кажется, уже не выйдет. Лето кончилось, о чем разговаривать...

Осадок, всегда остается осадок. После разговора, после встречи. Разговор мог быть интересней, встреча могла быть более сердечной. Даже когда приезжаешь к морю, и то кажется, что оно должно быть больше. Просто безумие» (с. 236—237).

И все же дело было не только в собственной судьбе. У него хватало пушкинского гедонизма, чтобы радоваться окружающей «равнодушной природе»:

«Когда я приехал в Крым, усталый, испуганный, полузадохшийся в лакированном и пыльном купе вагона, была весна, цвели фиолетовые иудины деревья, с утра до ночи пищали новорожденные птички...» (с. 237);

«Севастопольский вокзал, веселый, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах» (с. 248).

И о другой весне — московской, последней в его жизни:

«Прогулка с Сашей в холодный и светлый весенний день. Опрокинутые урны, старые пальто, в тени замерзшие плевки, сыреющая штукатурка на домах. Я всегда любил ледяную красноносую весну» (с. 247);

«Сквозь лужи Большой Ордынки, подымая громадный бурун, ехал на велосипеде человек в тулупе. Все дворники весело кричали ему вслед и махали метлами. Это был праздник весны» (с. 266).

Беспросветный пессимизм обнаруживается в последней «Записной книжке» не там, где автор размышляет о неизбежной смерти, а там, где он пишет об окружающей жизни. Даже тема похорон в книжке не личная тема.

«Умирать все равно будем под музыку Дунаевского и слова Лебедева-Кумача...» — записал Ильф (Л. 14). Дунаевский и Лебедев-Кумач — создатели песен к фильму Г. Александрова «Цирк». Постановка «Цирка» касалась писателей и непосредственно: в основу фильма была положена пьеса Ильфа и Петрова «Под куполом цирка». Вернувшись из Америки в 1936 г. и увидев фильм, авторы были настолько возмущены его помпезностью, соответствующей всему духу наступавшей эпохи, и дурным вкусом режиссера, что сняли свои имена с титров фильма; не было даже упомянуто, что фильм снят по их пьесе (ср. в связи с этим запись: «В картине под названием „Гроза“ нет имени Островского...» — Л. 14). Имя Григория Александрова («Гришки»), не расшифровывавшееся в изданиях, многократно возникает в последней книге Ильфа. «Варшавский блеск. Огни ночного Ковно. Гришкино счастье», — записал Ильф, имея в виду именно провинциальность вкусов режиссера (Л. 1; ср.: 5, с. 216). Ильф сочинил даже фантастическую новеллу, связанную с популярной в те годы идеей создания «советского Голливуда» в Крыму, за которую ратовал и Александров, восхищенный Голливудом: «...Конечно, когда он приехал в Голливуд, ему там все очень понравилось... Всюду продают апельсиновый сок, дороги великолепные...» (Л. 6). В фантазии Ильфа «Гришка» первенствует в киногороде, а затем бежит в «Асканию Нова», «где его по ошибке скрестили с антилопой на предмет получения мясистых гибридов» (Л. 1).

Конечно, смысл этих замечаний не столько в досаде на Г. В. Александрова. Значение их в другом.

«Умирать... будем», а не «буду» — речь идет об обоих авторах, об итогах их писательской деятельности. Дунаевский и Лебедев-Кумач — это прежде всего официальные оптимисты тех лет, о которых не раз упоминал в своей книге А. Белинков. Именно ими был провозглашен тезис, которому предстояло «распространиться с быстротой и летучестью песни „У нас героем становится любой“».[19] Приведенные Белинковым слова — из марша «Веселых ребят»; оттуда же:

И тот кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Для «Цирка» Дунаевский и Лебедев-Кумач создали другой гимн — «Песню о Родине»: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»...

Когда режиссеру И. Таланкину понадобилось в фильме «Дневные звезды» дать предельно лаконичное и выразительное изображение 1937 г., он ограничился мгновенным показом цоколя ленинградского Большого дома на Литейном и афиши фильма «Цирк».

Очевидно, у умирающего Ильфа творения великих оптимистов уже тогда вызывали сходные ощущения. Ильфа беспокоила будущая оценка их совместной с Е. Петровым писательской деятельности — отождествление их с тем направлением искусства конца 1920-х и 1930-х гг., которое отразилось в фильмах Г. Александрова и его соавторов, музыкального и поэтического.

Если природа вызывала у больного писателя какой-то душевный отклик, то в окружающем обществе он не видел никакого источника утешения. А ведь когда-то было иначе: в прежних записных книжках Ильф весьма оптимистично описывал преобразования в Средней Азии в 1920-х гг., маневры Белорусского военного округа в 1931 г. и т. п. Теперь же он не нашел ни одного доброго слова для описания времени, которое иронически называл «эпохой благоденствия».

О самых страшных событиях, происходивших вокруг, Ильф писал мало — в годы, когда могли быть «разысканы и наказаны» даже люди, спускавшие запретные книги в собственные унитазы, приходилось быть осторожным и в личных записях. К главной теме тех лет относится лишь лаконичная фраза: «Композиторы уже ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге» (5, с. 233), да еще мрачнова-

[19] Байкал. 1968. № 2. С. 107 и 111.

тый совет сторожа при морге: «Вы мертвых не бойтесь. Они вам ничего не сделают. Вы бойтесь живых» (5, с. 236). Упоминаются также характерные фигуры того времени: братья Тур, совмещавшие, как и их соавтор Шейнин, литературную и следственно-чекистскую деятельность: «По улице шли братья Тур, низенькие, прилизанные, похожие на тель-авивских журналистов».[20]

Зато быт новой эпохи обрисован всесторонне. За последний год своей жизни Ильф ездил в разных видах транспорта и побывал во многих местах; он не раз имел возможность наблюдать жизнь различных слоев общества.

«Система Союзтранса. Толчея. Унижение. Высокомерие...» (с. 245);

«„За нарушение взимается штраф". Вот, собственно, все сигналы, которые имеются на наших автомобильных дорогах. Впрочем, попадается и такая надпись: „Пункт по учету движения". Пункт есть, учета, конечно, нет» (с. 243);

«Как только мы водворились на пароходе, обнаружилось, что повар проворовался. Составили акт... Диваны в каюте были обиты светло-коричневой акушерско-гинекологической клеенкой. Было жарко, простыни сползали, и клеенка прилипала к голому телу» (с. 259);

«...В грязи вокзала, в сумбуре широких и мрачных деревянных скамей, где храпят люди и их громадные мешки. Мешки такие большие, будто в них перевозят трупы...» (с. 243);

«Внезапно, на станции Харьков, в купе ворвалась продавщица в белом халате, надетом на бобриковое пальто, и хрипло заорала: „А ну кому ириски? Кому еще ириски? Есть малярийные капли!" Капли — это был коньяк» (с. 238);

«— Бога нет!

— А сыр есть? — грустно спросил учитель» (с. 236);

«Пошел в Малаховку покупать мисочку. В малаховском продмаге продается „акула соленая, 3 рубля кило". Длинные белые пластины акулы не привлекают малаховскую общественность. Она настроена агрессивно и покупает водку... Все-таки непонятно, откуда взялась соленая акула. Мисочки не нашел. Еще продается лещ вяленый и копченый» (с. 239—240);

---

[20] Л. 10. Эта цитата, приведенная в 1-м издании книги, привлекла внимание М. Каганской и З. Бар-Селла (*Каганская М., Бар-Селла З.* Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив, 1984. С. 131; 181, примеч. 118; ср. с. 5, 39, 40). Упоминание о тель-авивских журналистах побудило авторов высказать догадку, что Ильф мог побывать в Палестине на обратном пути из Америки. Это недоразумение. Упоминание палестинских реалий в записных книжках — отражение иронического отношения Ильфа к книге его товарища С. Гехта (5, с. 260—261; *Гехт С.* Пароход идет в Яффу и обратно. М., 1936. С. 9, 35).

«Еще продаются в продмаге мухи. На маленьком черном куске мяса сидит тысяча мух, цена за кило мух 5 рублей. Недорого, но надо самому наловить» (с. 241);

«Газетный киоск на станции Красково, широкой и стоящей между шеренгами сосен. Газет нет совсем, имеется журнал „На суше и на море“ за июнь прошлого года, хотя даже за этот год он не вызвал бы волнения... журнал „Ворошиловский стрелок“, книжка на еврейском языке, химические карандаши „Копирка“ и детские краски на картонных палитрах. Таким образом, узнать, что делается на суше, на море, на воздухе и на воде нельзя, надо для этого поехать в Москву... Да, еще продаются приборы для очинки карандашей под названием „Канцпром“. Все» (с. 249—250);

«На мутном стекле белела записочка: „Киоск выходной“. Тоска, тоска навеки» (с. 248);

«В пыли, среди нищенских дач, толстозадая лошадка везет задумчивых седоков» (с. 241).

Но дачи встречаются не только нищенские. Упоминаются и другие, роскошные, но сменившие хозяев: «Дачи имели странных владельцев: МСНХ, Бюробин. Бог знает, кто теперь на этих дачах живет. На даче Бюробина еще стоял, некогда привлекательный, торгсиновский запах настоящей олифы, настоящих белил, всего настоящего и недавно еще недостижимого» (Л. 23).

«Торгсиновский запах» — это уже прошлое, но новый зажиточный быт в Москве, в дорогих домах творчества и пансионатах — черта именно тех лет, когда девизом стали слова вождя: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Быт этот нашел отражение в последней книге Ильфа:

«Бал эпохи благоденствия. У всех есть дети, у всех есть квартиры, у всех есть жены. Все собираются и веселятся. Джина не пьют. То ли смущает квадратная бутылка, то ли вообще не любят новшеств. За стол садятся во втором часу. Расходятся под утро. Тяжело нагруженная вешалка срывается с гвоздей. В следующий раз все происходит точно так же. Джин (не пьют), вешалка (срывается), расходятся только к утру» (с. 237);

«Приап домов отдыха. Я встретил его зимой. Он был в дорогой шубе и шапке из меха черной пантеры...

Пансионат Интуриста недалеко от Болшево... Бешеное воровство. Сиделка, старая биндюжница и дура. Пансионат пришлось закрыть до срока...

Сухопарый идиот дирижировал детским оркестром. Мальчишки — фантастические дураки... Это были гордые дети маленьких ответственных работников» (Л. 33);

«В этой редакции очень много ванн и уборных. Но я ведь прихожу туда не купаться, не мочиться, а работать. Между тем работать там уже нельзя» (с. 232).[21]

Невозможность работать не только в изображенной здесь редакции «Правды», но и во всей «сфере производства», которой непосредственно занимались Ильф и Петров, — еще одна важная тема последней книги:

«Это неприятно, но это факт. Великая страна не имеет великой литературы» (Л. 29);

«Книжная инфляция, болезнь изнурительная, вроде сахарного мочеизнурения» (с. 223);

«Чувство стыда не покидает все время. Пьеса написана так, как будто никогда на свете не было драматургии, не было ни Шекспира, ни Островского. Это похоже на автомобиль, сделанный с помощью только одного инструмента — топора. Унизительно, примитивно...» (с. 245);

«Вся пьеса построена на честном слове. „Если вы мне верите, вы не станете меня спрашивать. Я говорю, что так было. Верьте мне“» (с. 254).

Но недостаточные художественные достоинства произведений искусства с лихвой восполнялись величайшим оптимизмом, присущим всем видам идеологии:

«На съезд животноводов приехал восьмидесятилетний пастух из Азербайджана. Он вышел на кафедру, посмотрел вокруг и сказал: „Это какой-то дивный сон“» (с. 233).

Конечно, «все», упомянутые Ильфом, это не вся огромная страна, а достаточно тонкий слой общества. Но жить «лучше» и «веселее» предписывалось и рядовым гражданам, в частности и колхозным «пейзанам»:

«„В колхозе огромный подъем. За зиму отпраздновали 100 свадеб. Лучшие женихи достались пятисотницам“. Известия. Боже, как все это далеко от того идеала, который рисовал нам Ванька Макарьев!» (Л. 6).[22]

Речь идет об одном из ведущих рапповских критиков И. С. Макарьеве. Что именно писал Макарьев в 1920-х и начале 1930-х гг. о семье и браке при социализме, неизвестно, но догадаться не трудно: это были, очевидно, вариации на тему известных рассуждений Энгельса о том, что уничтожение капиталистического производства «устранит все побочные экономические соображения» при заключении брака и «не

[21] Л. 11. В издании слова «не мочиться» были выпущены.

[22] В опубликованном тексте «Записной книжки» есть другое отражение этой темы: «Только некультурностью населения можно объяснить то, что в редакции еще не выбиты все стекла. Это после появления заметки о том, что „лучшие женихи достались пятисотницам“. Пропаганда пошлости» (5, с. 254).

останется никакого другого мотива, кроме взаимной склонности». Это действительно очень далеко от брака из-за комнаты в «Сильном чувстве» и распределения лучших женихов среди невест с наибольшим количеством трудодней.

Хорошо организованные браки между лучшими женихами и соответствующими невестами, как водится, дополняются неузаконенными любовными связями. Эта тема также широко отразилась в последней «Записной книжке»:

«Бесчувственная, ассирийская жажда жизни и наслаждений» (с. 263);

«„В конце концов я тоже человек, — закричал он, появляясь в окне. — Что это? Дом отдыха или...“ Он не закончил, так как сознавал сам, что это давно уже не дом отдыха, а это самое „или“ и есть» (с. 219);

«Если эти дома нельзя назвать публичными, то все-таки некоторая публичноватость в них есть. Этот дом отдыха славился на всем побережье своей развращенностью и чисто римским падением нравов. Так было из года в год. Уже и врачи махнули на это рукой...» (Л. 31);

«Дом отдыха в Остафьево, переполненный детьми и половыми психопатками, которые громко читают Баркова, брошенными женами, худыми, некрасивыми, старыми, сошедшими с ума от горя и неудовлетворенной страсти. Они собираются в кучки и вызывающе громко читают вслух Баркова. Есть от чего сойти с ума! Мужчины бледнеют от страха.

Белые, выкрашенные известкой колонны сами светятся. На соломенных креслах деловито отдыхают Саша и Джек. Брошенные жены смотрят на них с благоговением и с надеждой на совокупление. Поэты ломаются, говорят неестественными голосами „умных вещей“... Вечером брошенные жены танцуют в овальном зале с колоннами... Брошенные жены танцуют со страстью, о которой могут только мечтать мексиканки. Но гордые поэты играют в шахматы, и страсть по-прежнему остается неразделенной» (с. 234—235).[23]

«Истощенные беспорядочными половыми сношениями и абортами, смогут ли они что-нибудь написать?» (с. 233);

«Остафьево. Наконец это совершилось. К обеду она вышла еще более некрасивая и жалкая, чем всегда, но чертовски счастливая. Он же сел за стол с видом человека, выполнившего свой долг. Все это знали, и почтительный шепот наполнил светлое помещение...» (с. 219);

---

[23] Л. 13. В издании название Остафьево, слова «детьми и половыми психопатками, которые громко читают Баркова», и «на совокупление» опущены.

«На Петровских линиях учрежденческий сторож сдавал комнаты учреждения проституткам. За обыкновенную комнату он брал 3 рубля, а за кабинет начальника 5 рублей. Потом это обнаружилось, пришла милиция и забрала сторожа. Но с тех пор, когда начальник учреждения говорил, что идет к себе поработать, все со смехом отвечали, что знают, как он собирается поработать» (Л. 14);

«Ильина была типичной мещанской Мессалиной, которая обворожила подсудимого массивностью и выпуклостью своих форм» (с. 263);

«История одной жизни. Ее развратил заведующий домом отдыха. Развратил теоретически и подослал молодого человека. И только потом стал с ней жить. Зато никто бы не обвинил его в том, что он воспользовался неопытностью девушки» (Л. 27).

Говоря о временах юности Ильфа, мы уже приводили заметки из последней «Записной книжки», относящиеся к предреволюционному быту. Воспоминания эти идут вперемежку с наблюдениями над окружавшей автора действительностью, и у читателя естественно возникает мысль, что параллель эта не случайна. Круг замкнулся, и «эпоха благоденствия» 1934—1937 гг. оказалась неожиданно похожей на 1913 г. — «блестящий, пышный» предвоенный год, как назвал его когда-то М. Булгаков.[24]

Но какое же место занимали в этом мире собратья Ильфа — интеллигенты, те самые, которым присваивалась столь важная роль в предреволюционные и первые послереволюционные годы и которых так усердно защищают от Ильфа и Петрова критики последнего десятилетия?

Как и в предыдущих своих сочинениях, Ильф и в «Записной книжке» ни разу не задевает и даже не упоминает интеллигентов, претендующих на собственное мнение. Интеллигенты, о которых он пишет, — это не оппозиционеры, а прежде всего приспособленцы и стяжатели: именно в этой связи Ильф вспоминал своих собратьев по перу, занимавшихся автогенной сваркой ради «наибольшего приближения к индустриальному пролетариату». К этой же теме относятся и следующие записи:

«Оскорбленный голос писательницы: „Товарищи, дайте мне доформулировать“. Ах, какая беда, не дают доформулировать» (с. 220);

«На дискуссии он признался не только в формализме, но и бюрократизме, а также в волоките» (с. 224);

---

[24] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 4. С. 553.

«Он обещал на съезде, что родит роман и сына. Роман появился, плохой роман. А где же сын? Или вместо сына произошел аборт?» (Л. 18).

В этой последней записи речь идет о писателе А. Авдеенко, который произнес на VII Съезде советов СССР речь «За что я аплодировал Сталину?», явившуюся одним из этапов в нарастающем культе вождя: «Я пишу книги, я — писатель, я мечтаю создать незабываемое произведение... Я продолжаю свой род, он будет счастливым — все благодаря тебе, великий воспитатель Сталин... — заявил Авдеенко. — Когда моя любимая женщина родит мне ребенка, первое слово, которому я его выучу, будет: — Сталин» (Правда. 1935. 1 февр.).

«Пишет стихи, словно выбирает почетный президиум. Обязательно упомянет весь состав».[25]

Преданность вождю и почетному президиуму не оставалась невознагражденной:

«Когда я заглянул в этот список, то сразу увидел, что ничего не выйдет. Это был список на раздачу квартир, а нужен был список людей, умеющих работать. Эти два списка никогда не совпадают. Не было такого случая» (с. 262);

«„В погоне за длинным рублем попал под автобус писатель Графинский". Заметка из отдела происшествий» (с. 246);

«Уже похороны походят на шахматный турнир, а турнир на похороны... Кто Багрицкого хоронит, кто сухой паек несет...» (Л. 11);

«Художники ходят по главкам, навязывают заказы. „Опыт предыдущих лет... По инициативе товарища Беленького..." Деньги дают легко...» (с. 233);

«Литературная компания, где богатству участников придавалось большое значение... Там был один писатель, которого надо было бы провести в виконты — он никогда не ездил в третьем классе, не привелось... А занимались они в общем халтурой, дела свои умели делать...» (с. 258—259);

«Он придет ко мне сегодня вечером, и я заранее знаю, что он будет мне рассказывать, что тоже не отстал от века, что у него тоже есть деньги, квартира, жена, известность. Ладно, пусть рассказывает, черт с ним! Он лысый, симпатичный и глупый, как мы все» (с. 237);

«Я ехал в международном вагоне. Ну, и очень приятно! Он подошел ко мне и извиняющимся голосом сказал, что едет в мягком, потому что не достал билета в международный. Эта сволочь считает, что если едет в мягком вагоне, то я не буду его уважать, что ли?» (с. 232).

---

[25] РГАЛИ, ф. 1821, оп. 1, № 132, л. 15 об.

Перед нами действительно примечательное происшествие. Собеседник Ильфа, явно такой же интеллигент, как и сам писатель, и вдобавок гражданин уже официально провозглашенного бесклассового общества, был обеспокоен тем, что может потерять уважение своих собратьев, если будет ездить не в том классе, в каком ездят остальные.

И это явно не единичный факт, а некое общественное явление, беспокоившее писателя. В его последней книге появляется характерное и, на первый взгляд, довольно странное выражение «непуганые идиоты»:

«„Край непуганых идиотов". Самое время пугнуть» (с. 239), — записал он.

И в другом месте снова:

«В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».[26]

Александр Жаров, автор пионерского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи...», был действительно не в чести в те годы: для критиков он стал как бы классическим примером «мертвящего шаблона» в поэзии. Уже в начале 1936 г. в рецензии на новые сборники стихов А. Жарова и Джека Алтаузена Ю. Севрук писал: «Жаров и Алтаузен далеко отстали от уровня современной поэтической культуры. Жаров и Алтаузен утратили ту спаянность с пролетарским коллективом, которую они имели в первые годы своей литературной работы».[27] 6 марта в «Комсомольской правде» появилась редакционная статья (без подписи) «Разговор по душам», прямо направленная против Жарова, Алтаузена и других комсомольских поэтов, которые «так и не поднялись» выше своих ранних произведений: «читатель значительно вырос, а поэты, о которых идет речь, отстали». В 1936 г. Жарова ругали в «Литературной газете» еще несколько раз (15 марта, 30 июня). В начале 1937 г., во время юбилейного «пушкинского» пленума, обиженные комсомольские поэты предприняли попытку контрнаступления. Они использовали то обстоятельство, что первым, кто начал их критиковать, противопоставляя поэтам большой поэтической культуры — Пастернаку, Сельвинскому и Тихонову, был Бухарин (в докладе на съезде писателей в 1934 г.),[28] а Бухарин после январского процесса Пятакова и Радека был

---

[26] *Ильф И.* Записные книжки. С. 175 (в Собр. соч. выпущено).

[27] *Севрук Ю.* Все в той же позиции... // Книга и пролетарская революция. 1936. № 1. С. 49—52.

[28] Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 492—493.

уже обреченной фигурой. «Как это могло случиться, — вопрошал Джек Алтаузен, — что в течение долгого времени группа людей во главе с Бухариным и его подголосками подсовывали Пастернака советскому народу... дисквалифицируя и оглупляя таких поэтов, как Демьян Бедный, Безыменский... Жаров?..» (Лит.газ. 1937. 26 февр.) Но и этот аргумент не возымел действия. Всегда хорошо осведомленная партийная критикесса Е. Усиевич отвергла «подкинутую Бухариным» дилемму — «либо хорошие „аполитичные" стихи, либо „агитки" — либо Б. Пастернак, либо А. Жаров», и заявила: «Чтобы разбить и разоблачить остатки буржуазной вредительской теории, в свое время усиленно пропагандировавшейся „литвождями" из РАПП и снова подсунутой нам на Всесоюзном съезде Бухариным, следует не кидаться от псевдоаполитичного Пастернака к псевдоспециалистам по политической поэзии — А. Жарову и М. Голодному, а бороться за подлинную высокую поэзию, которая всегда будет и подлинно политической поэзией».[29] В этом же духе высказался и Фадеев, все более приближавшийся после смерти Горького к роли литературного вождя. Процитировав стихи Пушкина «Художнику», он заявил: «А что делать, к примеру, если Жаров... пишет все хуже и хуже. Трудно, входя в его мастерскую, сказать: „Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе"... Вот почему, когда я встречаюсь с Жаровым, мы в плане искусства мало что можем сказать друг другу...» (Лит. газ. 1937. 10 марта).

Ругали Жарова не только литературные вожди и критики; осуждали его и собратья-поэты — Сурков (Лит. газ. 1935. 31 дек.), Безыменский (Лит. газ. 1936. 26 янв.), А. Адалис (Лит. газ. 1936. 20 марта). Резко выступая на собрании писателей в Ленинграде против Б. Пастернака, Н. Заболоцкий пояснил в духе Фадеева и Усиевич, что критика Пастернака не означает солидарности «с Уткиным, Жаровым, Алтаузеном, которые нас мало удовлетворяют в смысле художественной ценности их произведений» (Лит. Ленинград. 1936. 26 марта).

Отвращение Ильфа к этой антижаровской кампании не свидетельствовало о том, что он был поклонником творчества или приятелем поэта. В одном из рассказов Ильфа и Петрова упоминаются стихи некоего Аркадия Парового «Звонче голос за конский волос» (3, с. 31); это явная пародия на название одного из стихотворений Жарова — «Голос за силос» (Правда. 1930. 31 июля). В заметке об Остафьеве в «Записной книжке» как раз упоминаются «Саша» (Жаров) и «Джек» (Алтаузен),

[29] *Усиевич Е.* К спорам по политической поэзии // Лит. критик. 1937. № 5. С. 77—78, 102.

которые ломаются перед благоговейно взирающими на них дамами, «говорят неестественными голосами „умных вещей“» (5, с. 234). Несомненно, прежние похвалы Жарову были Ильфу не более по душе, чем нынешняя ругань. Горькие слова о «непуганых идиотах» вызваны прежде всего тем, что Жарова раньше хвалили **все**, а теперь таким же образом ругают **все**, причем ругают за то, за что раньше хвалили. Поражала Ильфа именно **стадность** всеобщего мнения.

Не менее выразителен и образ, созданный писателем для обозначения этого единогласия. «Край непуганых идиотов», конечно, пародирует «В краю непуганых птиц» М. Пришвина. Почему Ильф вспомнил эту книгу? В 1934 г. вышло новое издание «В краю непуганых птиц», радикально отличавшееся от первого, написанного еще до революции. Издание 1934 г. было дополнено первой частью, где воспевался только что построенный трудом заключенных Беломорско-Балтийский канал и утверждалось, что «совокупность проблем» «Войны и мира» «в сравнении с тем, что заключено в создании канала, мне кажется не так уж значительной». Часть этих глав автор заполнил статистическими таблицами, «календарем строительства», «рапортом зам. председателя ОГПУ т. Ягоды».[30] Ильфа поспешная старательность старого писателя поразила тем более, что сам он (вместе с Петровым), как мы уже знаем, отверг предложение участвовать в книге, прославляющей канал.

Но почему же все-таки «идиоты» именуются «непуганными»? Граждан 1937 г. скорее можно было назвать «напуганными». Но одно не противоречило другому. Испуг перед властью парализовал все остальные эмоции; люди почти перестали думать о таких вещах, как справедливость или несправедливость своих слов и дел, о возможных упреках совести, об оценке совершенных ими поступков со стороны современников и потомков.

> Хоть есть охотники поподличать везде,
> Но нынче смех страшит и держит стыд в узде... —

эта формула совсем не действовала в то время. Общество воистину стало монолитным — каждый поступал, как все. Интеллигентов начала XX в. упрекали в «народопоклонстве», в эгалитаризме. Теперь с этими недостатками было покончено. Собратьев Ильфа нисколько не смущали пустота в продмаге

[30] *Пришвин М.* В краю непуганых птиц. Онего-Беломорский край: Очерки. М.; Л., 1934. С. 30—70.

и газетном киоске, нищета и грязь на вокзалах, железных и автомобильных дорогах, невозможность работать в литературе и искусстве. Они беспокоились о другом: не отстать от века и от других, иметь деньги, иметь квартиру, жену, известность, ездить в подобающем им по рангу вагоне поезда, выступать на писательских собраниях, разоблачая формализм и прочие идеологические пороки и стремясь обязательно «доформулировать» все до конца. Всеобщее единогласие делало это общество как бы «краем непуганых птиц», не боявшихся ни смеха над собой, ни стыда.

Как и в фельетонах «эпохи благоденствия», Ильф и в последней «Записной книжке» постоянно обращался к теме всеобщего равнодушия, но в книге, не предназначенной для печати, ему не нужно уже было делать вид, что эти факты — лишь «типические исключения»:

«Бесконечные коридоры новой редакции. Не слышно шума боевого, нет суеты. Честное слово, самая обыкновенная суета в редакции лучше этого мертвящего спокойствия. Аппарат громадный, торопиться, следовательно, незачем, и так не хватает работы. И вот все потихоньку привыкли к безделью...» (с. 231);

«Шестилетняя девочка 22 дня блуждала по лесу, ела веточки и цветы. После первых дней ее перестали искать. Мир не видел таких сволочей. Что значит не нашли? Умерла? Но тело найти надо? Почему не привели розыскную собаку? Она нашла бы за несколько часов.

...Все время передавали какую-то чушь. „Детская художественная олимпиада в Улан-Удэ", „Женский автомобильный пробег в честь запрещения абортов", а о том, что всех интересовало, о перелете, ни слова, как будто и не было никакого перелета...» (с. 262).[31]

Писатель, написавший когда-то две самых веселых книги в русской литературе, уходил из жизни, отказавшись от прежних надежд и иллюзий: во всяком случае в его последнем произведении их нет. Он был мужественным человеком и старался подавить отчаяние — пытался даже шутить по поводу собственной близкой смерти.

«За несколько дней до смерти, сидя в ресторане, он взял в руки бокал и грустно сострил:

---

[31] Речь идет, по всей видимости, о перелете С. Леваневского из США в СССР через Тихий океан летом 1936 г. (в следующем году другой полет Леваневского, через Северный полюс, кончился катастрофой, но это было уже после смерти Ильфа). Вылет Леваневского подробно освещался до 15 августа, когда начался процесс Зиновьева, но затем сообщения о перелете (в самый трудный его момент) прервались (до середины сентября).

— Шампанское марки „Ich sterbe“».[32]

Это почти цитата из воспоминаний О. Л. Книппер о смерти Чехова: «Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки: „Ich sterbe“.

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского...“, покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и скоро умолкнул навсегда...».[33]

Но сама смерть Ильфа так же не походила на смерть Чехова, как и обстановка, в которой умирали оба писателя. Всегда писавший о «хмурых людях», Чехов умер накануне тех лет, когда его герои увидели если не «небо в алмазах», то хотя бы манифест 17 октября. Последняя вещь Чехова — весенняя, почти оптимистическая «Невеста».

Ильф умирал в совсем другое время. В его записной книжке 1931 г. есть такая заметка: «Я умру на пороге счастья, как раз за день до того, когда будут раздавать конфеты» (5, с. 186). Едва ли он мог предвидеть всю дьявольскую иронию этих слов. Он действительно умер «на пороге». Конечно, репрессии 1937 г. не представляли собой чего-либо совершенно нового в жизни страны, но до этого времени они лишь изредка затрагивали писателей и касались кругов, от которых Ильф и Петров были далеки. Весенний пленум 1937 г. и арест Бухарина и Рыкова предвещали новую волну арестов, превосходившую все предшествующие.

Евгений Петров вспоминал последние минуты Ильфа, когда отчаявшиеся врачи с торопливой готовностью согласились позвать еще одного консультанта — знаменитого профессора: «И знаменитый профессор приехал, и уже в передней, не снимая галош, сморщился, потому что услышал стоны агонизирующего человека. Он спросил, где можно вымыть руки. Никто ему не ответил. И когда он вошел в комнату, где умирал Ильф, его уже никто ни о чем не спрашивал, да и сам он не задавал вопросов. Наверно, он чувствовал себя неловко, как гость, который пришел не вовремя.

И вот наступил конец. Ильф лежал на своей тахте, вытянув руки по швам, с закрытыми глазами и очень спокойным лицом, которое вдруг, в одну минуту, стало белым. Комната была ярко освещена. Был поздний вечер... За окном было черно и звездно» (там же, с. 523).

---

[32] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 210 (В. Ардов); ср. у Е. Петрова (Мой друг Ильф // Журналист. 1967. № 6. С. 63).

[33] А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 702.

Глава VII

ПЕТРОВ БЕЗ ИЛЬФА

«Записные книжки» Ильфа были опубликованы (с купюрами, как и в последующих изданиях) в 1939 г. Текст был подготовлен не Петровым, а вдовой писателя М. Н. Ильф-Файнзильберг и Г. Н. Мунблитом, но одну из вступительных статей написал Евгений Петров. Эта статья («Из воспоминаний об Ильфе») и другая под тем же названием, напечатанная к пятилетию со дня смерти соавтора, должны были, по мысли Е. Петрова, стать частями книги «Мой друг Ильф». Фрагменты из будущей книги (полностью она так и не была написана) — лучшее из того, что создал Петров после 1937 г. Его воспоминания — важнейший источник, из которого мы узнаем о работе и незавершенных планах соавторов. Но вместе с тем фрагменты эти отражали черты того времени, когда они писались. Мемуары Петрова должны были закрепить уже намечавшийся в некоторых благожелательных статьях (а также и в некрологах Ильфа) образ позитивных сатириков Ильфа и Петрова, бичевавших пережитки прошлого и славивших новое общество, — образ, который потом будет не раз возрождаться в официальных историях литературы.

«Для нас, беспартийных, никогда не было выбора — с партией или без нее. Мы всегда шли с ней. И нас всегда возмущали и смешили писатели, выяснявшие свое отношение к советской власти. И с этими писателями возились»,[1] — писал Е. Петров. Здесь, очевидно, он вспоминает уже известную нам формулу о писателях, «признавших советскую власть» позже одних держав и раньше других. Но достаточно раскрыть предисловие к «Золотому теленку», чтобы убедиться в том, что Евгений Петров совершенно изменил первоначальный смысл

[1] Журналист. 1967. № 6. С. 64.

этой формулы. В изображении Петрова они с Ильфом выглядят явно ортодоксальнее и «партийнее» смешных попутчиков, «выяснявших свое отношение к советской власти». Но в «Золотом теленке» «некий строгий гражданин из числа тех, кто признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции», выступает как раз в роли крайнего ортодокса, осуждает авторов за «смешки в реконструктивный период», испытывает желание молиться, глядя на новую жизнь, и ведет описывать в шеститомном романе «А паразиты никогда!» героя, которого считает «стопроцентным пролетарием» (2, с. 7—8).[2] И несомненно, что именно такой путь торжественного и недвусмысленного выражения лояльности постепенно стал обязательным для беспартийных писателей, к числу которых принадлежали Ильф и Петров, — недаром в 1934 г. и им самим, как мы знаем, пришлось последовать примеру «строгого гражданина» — декларативно объясниться в любви советской власти.

В воспоминаниях Е. Петров особо подчеркивал советский патриотизм Ильфа: «Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины. Когда я думаю о сущности советского человека, то есть человека совершенно новой формации, я всегда вспоминаю Ильфа... он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагодарный труд сатирика, расчищающего путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему...» (5, с. 524). Младший соавтор специально указывал, что слова о любви к советской власти в фельетоне «Любовь должна быть обоюдной» принадлежали именно Ильфу (там же). А в набросках книги, вспоминая начало творческого пути, Петров писал: «...Презрение к нэпманам и непонимание нэпа. Только любовь к Ленину, абсолютное

---

[2] Прообразом «строгого гражданина» в предисловии к «Золотому теленку» можно, очевидно, считать Вл. Лидина, о котором Ильф писал в одной из записных книжек: «Шел Лидин и вел с собой пролетария описывать» (РГАЛИ, ф. 1821, № 125, л. 76). Лидин начал свою писательскую деятельность еще до революции; после революции печатался в одном из последних независимых журналов «Вестник литературы» (1921. № 12 — «Почему молчат писатели»). Но уже с 1920-х гг. его стали включать в одну из групп «попутчиков» — вместе с Л. Леоновым, Пильняком и Фединым (*Горбачев Г.* Современная русская литература. 1928. С. 122—123). В 1928 г. Лидин сообщил, что по-настоящему писать он научился только под влиянием революции (см.: Читатель и писатель. 1928. № 44—45. С. 2), а в 1931 г. он заявил: «Когда наступила эпоха реконструкции, многие из нас оказались с отяжеленным багажом прошлого и по привычке продолжали нести его... Быть пассивным соглядатаем эпохи становится невозможным. Мир разделен на два лагеря... Были и такие попутчики, которые определяли свое творчество как борьбу с мещанством, не замечая, что сами они становятся именно писателями для мещан...» (Лит. газ. 1931. 5 авг.).

доверие к нему помогло примириться с нэпом — „Партия все знает, надо идти вместе с ней"...».[3] Можно поверить в то, что Ильф в годы нэпа сочувствовал строительству нового общества; несомненно, он не любил нэпманов — у них как-то вообще не было тогда поклонников. Но «Партия все знает, надо идти вместе с ней» — до чего ж не подходит эта великолепная фраза к сдержанному и ироническому стилю Ильфа!

В те же самые годы, когда Петров сочинял план и отдельные фрагменты книги «Мой друг Ильф», он готовил к печати также первое четырехтомное собрание сочинений, написанных вместе с Ильфом, и вынужден был редактировать его, выбрасывая все сомнительные пассажи и целые произведения.[4] Таким же образом он как бы редактировал в книге «Мой друг Ильф» и биографию — соавтора и свою.

Настроения Ильфа в конце его жизни, как мы знаем, вовсе не соответствовали той идиллической картине, которую нарисовал Петров. В последние месяцы жизни Ильф жил в ожидании «летящего кирпича», и 23 марта «кирпич» материализовался в разносной статье В. Просина. Следующий сигнал опасности прозвучал уже после смерти писателя. 13 апреля Ильф умер; на следующий день «Правда» сообщила о его смерти, а 17 апреля в той же газете было опубликовано заявление Евгения Петрова: «Ответ фашистским клеветникам». Он писал: «Фашистская газета „Ангрифф" сообщила, что Илья Ильф покончил жизнь самоубийством. Газета далее объясняет и причину: оказывается, Ильф участвовал на состоявшемся недавно общемосковском собрании писателей и в ответ на свое выступление подвергся, будто бы, резкой критике со стороны советского правительства. Мы вместе с Ильфом выступили,

---

[3] Журналист. 1967. № 6. С. 64. Характерна еще запись: «Работа в „Правде". Как писались фельетоны. Мехлис» (С. 61). Смысл этой записи раскрывается из устного рассказа Е. Петрова, приведенного А. Б. Раскиным: редактору (Мехлису) указали, что один из фельетонов Ильфа и Петрова «может читаться двояко и что печатать его не нужно было», но он «не стал каяться и причитать», а предложил им, чтобы они «завтра же» написали «хороший фельетон» (Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове: Сб. М., 1963. С. 259). Речь идет, очевидно, о «Клоопе». Но при жизни Ильфа авторы вовсе не считали «Клооп» неудачей и даже переиздавали его — только в 1939—1940 гг. Е. Петров отказался от включения «Клоопа» в Собр. соч. О Мехлисе см. выше, с. 318.

[4] Так, из заявления Остапа румынским пограничникам — «Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской Чека!» — выпущено слово «полуподвалов»: несмотря на иронический контекст, эта деталь придавала фразе опасную реальность; не включен, как мы уже отмечали, наиболее острый фельетон писателей «Клооп»; как и во всех изданиях тех лет, выпущены имена незадолго до того репрессированных лиц и т. д. (*Ильф И., Петров Е.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1938. Т. 2. С. 326; М., 1939. Т. 3. С. 202 и 268; М., 1939. Т. 4. С. 41—42; ср.: *Лурье Я.* К выходу в свет собрания сочинений И. Ильфа и Е. Петрова // РЛ. 1962. № 3. С. 239).

как известно, с обычной деловой речью, и стенографический отчет этой речи полностью опубликован в советской прессе. В противовес нынешним порядкам в Германии в нашей стране никто не подвергается гонениям за критику, как бы смела и резка она ни была... Считаю нужным сказать, что до последнего вздоха мой друг Ильф... ненавидел фашизм».

Последние слова, несомненно, соответствовали истине — Ильф ненавидел фашизм. Верно также, что он умер от туберкулеза, а не покончил самоубийством. Но, утверждая, что «в нашей стране никто не подвергается гонениям за критику, как бы смела и резка она ни была», Евгений Петров, конечно, кривил душой. Безнаказанной могла оставаться критика отдельных «уродливых явлений» — таких, как мошенники или учрежденческие бюрократы. Однако критиковать систему, вождя или высокопоставленных лиц в 1937 г. на родине Ильфа и Петрова было столь же невозможно и самоубийственно, как в гитлеровской Германии. Люди, позволявшие себе подобную критику десятью годами раньше, исчезали один за другим.

Речь, совместно составленная писателями и оглашенная Е. Петровым на заседании 3 апреля, посвященном мартовскому пленуму ЦК, опубликована; она называется «Писатель должен писать». Ее отличает обычная для авторов сдержанная и достойная манера. Ильф и Петров специально оговаривали свое нежелание называть конкретные фамилии: «Здесь не бой быков, чтобы колоть писателей направо и налево». Они вновь возвращались к старой теме «первых учеников»: «У нас в литературе создана школьная обстановка. Писателям беспрерывно ставят отметки. Пленумы носят характер экзаменов, где руководители Союза перечисляют фамилии успевающих и неуспевающих... Успевающим деткам выдаются награды... Неуспевающие плачут и ученическими голосами обещают, что больше не будут» (3, с. 413). Как реагировали вышестоящие инстанции на эту речь, мы не знаем, но какие-то слухи о литературных неприятностях, ожидавших или даже постигших авторов перед самой смертью Ильфа,[5] очевидно, дошли до немецкого корреспондента и послужили поводом к созданию версии о самоубийстве Ильфа.

Ожидали ли соавторы той же участи, которая уже постигла многих и предстояла еще бесчисленному количеству людей?

---

[5] Евгений Петров, по-видимому, помимо общего с Ильфом выступления 3 апреля выступал и один — в марте на общем собрании московских писателей. В этом случае, в отличие от 3 апреля, он называл и конкретные имена: он критиковал И. Гронского, литературного деятеля, связанного с Горьким, бывшего редактора «Нового мира», впоследствии арестованного (Лит. газ. 1937. 3 марта).

Близкие к ним люди (и среди них вдова Ильфа Мария Николаевна) подтверждали, что они об этом думали, как и большинство их собратьев. «Наша жизнь в то время была диковинной... — писал Эренбург в уже приведенных нами воспоминаниях. — В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать: по ночам дом прислушивался к шумливым лифтам».[6] А Ильф и Петров жили в том же самом доме в Лаврушинском — только вход к ним был не с улицы, как к Эренбургу, а со двора, и лифт другой. Но так же, как и все, они не могли быть уверены, что лифт как-нибудь ночью не остановится у их квартир.

Как подобные ожидания отражались на работе писателей? Нам известно, что для себя, «в стол», Ильф писал в это время поразительную по силе отрицания книгу об «эпохе благоденствия», оформленную как его записная книжка. Но в произведениях, предназначенных для печати, — и это мы тоже знаем,— соавторам приходилось идти на компромиссы и самоцензуру. Интересно в связи с этим сравнить несколько сюжетов, намеченных в последней книжке Ильфа, с фельетонами и рассказами обоих авторов, написанными на те же самые сюжеты.

Вспомним, например, с каким омерзением воспринял Ильф заметку «Известий» о том, что «лучшие женихи достались пятисотницам». Он вспомнил об идеалах, которые провозглашал когда-то «Ванька Макарьев», возмущался тем, что до сих пор в редакции газеты не побиты стекла.[7] Но в сочиненной в те же годы вместе с Е. Петровым и В. Катаевым комедии «Богатая невеста» тема эта обретает совсем иное — легкое и пародийное осмысление. Жениться на невесте с наибольшим количеством трудодней стремится бездарный кооператор и беглый алиментщик Гусаков, его обманывают, подсовывая ему вместо невесты переодетого краснофлотца, и т. д. Перед нами — классическая комедия ошибок, почти водевиль, который, вероятно, был бы достаточно смешным на сцене и на экране.[8] «Богатая невеста» Ильфа, Петрова и Катаева выгодно отличается от одноименной комедии, поставленной И. Пырьевым по сценарию Е. Помещикова: там оценка качества невест по количеству трудодней рассматривается в духе «Известий» — как

---

[6] *Эренбург И.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 185.

[7] См. выше, с. 326.

[8] *Ильф И., Петров Е., Катаев В.* Богатая невеста // Театр и драматургия. 1936. № 1.

вполне правильная (женихи-стахановцы даже отказываются на время от своих избранниц, когда тех обвиняют в низких производственных показателях).[9] Однако светлый, оптимистический дух, столь чуждый последней «Записной книжке», в равной степени свойствен обеим «Богатым невестам»: «Деревня! Колхозники! Это же богатые люди!» — восклицает сообщник Гусакова авантюрист Суслик.

По-разному трактовалась в «Записной книжке» Ильфа и в совместном творчестве писателей также тема челюскинцев. Когда ледокол «Челюскин», отправленный в 1934 г. для открытия постоянной навигации по Северному морскому пути, потерпел аварию к северу от Чукотки и пассажиры его вынуждены были высадиться на лед, большинство советских граждан искренне сочувствовало жертвам катастрофы; когда челюскинцы были спасены, все, естественно, радовались. Но стремление официальной печати и радио извлечь из этого события максимальный пропагандистский эффект вызывало несколько ироническое отношение скептических читателей и слушателей. Летчики, спасшие челюскинцев, получили специально введенные в связи с этим звания Героев Советского Союза — это было понятно; но за что были объявлены героями, возможными только в социалистическом обществе, и награждены орденами сами челюскинцы? На эту тему ходил анекдот:

«— Скажите, Рабинович, что бы вы сделали, если бы плыли на пароходе, потерпевшем крушение во льдах?

— Вылез бы на лед.

— А что дальше?

— Ну, стал бы слать радиограммы, ждать помощи...

— Рабинович, так вы же герой!».

У Ильфа в «Записных книжках» именно такое, ироническое восприятие этой темы: «История челюскинца. Он был несколько поврежден умственно, и врачи посоветовали ему путешествие. Он не только совершил его, но и получил орден» (Л. 31). Однако написанный вместе с Петровым рассказ о челюскинцах «Чудесные гости» проникнут совсем иными настроениями; действующие лица рассказа — гости из Арктики и их гостеприимные хозяева, москвичи из разнообразных учреждений и организаций — все освещены нежным, розовым светом. Редакторы двух газет — «Однажды вечером» и «За рыбную ловлю» — переманивают пришедших на банкет челюскинцев, даже грозят друг другу Комиссией партийного контроля, но все это не всерьез и кончается мирно — соперники решают обмениваться гостями: «И долго еще эти два трогательных добряка

[9] *Помещиков Е. И.* Богатая невеста // Книга сценариев. М., 1938.

производили свои вычисления и обмены. А обмен давно уже устроили без них. Героев водили снизу вверх и сверху вниз, и вообще уже нельзя было разобрать, где какая редакция» (3, с. 40).

Ту же своеобразную метаморфозу пережил и сюжет рассказа «Тоня». В «Записной книжке» он был изложен так: «Тоня, девушка, которая очень скучала в Нью-Йорке, потому что ее „не охватили". Она сама это сказала. „Неохват" выразился в том, что танцам она не обучается и английскому языку тоже. И вообще редко выходит на улицу. У нее ребенок» (5, с. 232). Как видим, никакого обличения американской действительности здесь нет; если что-то в этой истории и вызывает насмешку, то это представления самой героини о «неохвате»; казалось бы, в стране английского языка его можно было бы усвоить в нормальном общении с окружающими людьми, но эта возможность почему-то перед Тоней не возникает. Написанный на эту тему последний совместный рассказ соавторов, опубликованный после смерти Ильфа, излагает историю Тони совершенно иначе. Проблемы английского языка здесь нет: Тоня выучивается говорить по-английски, и даже довольно свободно, хотя единственной американкой, с которой ей приходится общаться, оказывается мисс Джефи, машинистка в советском посольстве. Тема поставлена более широко и обобщенно — описывается тоска, которую испытывает простая советская женщина, попавшая в капиталистическую Америку. «Тоня» — наиболее идеологически выдержанное сочинение Ильфа и Петрова; недаром в 1949 г., когда творчество этих писателей было осуждено, исключение делалось только для этого рассказа. Сочинение написано à la thèse — по твердо заданному сюжету. Тонин муж, дипломат, решает вырезать гланды, и его почти разоряет доктор-частник, представивший чудовищный счет за операцию; Тоня должна рожать, и это опять оказывается проблемой: «Почему в Москве все происходило как-то просто, даже думать об этом не надо было? Приходит время — и рожаешь» (4, с. 475). Авторы как будто забыли, что к теме «роды в Москве» они уже обращались («Равнодушие» и «Костяная нога») и тогда эта проблема не казалась им столь простой. В записи Ильфа дело происходило в Нью-Йорке, в рассказе действие перенесено в Вашингтон, благодаря чему возникает еще одна проблема — отсутствие в американской столице театров, к которым Тоня так привыкла в Москве. Даже американка Джефи признает, что «Америка очень скучная страна», но ей ехать некуда — это ее родина. В рассказе почти полностью отсутствует юмор: для «утепления» дана только сцена, когда советские инженеры отправляются в Гарлем «раз-

лагаться», но на улице, где они ожидают встретить проституток, бандитов и убийц, навстречу им неожиданно идут почтенная негритянская семья и старуха с корзиной, да еще Костя время от времени восклицает: «Тут уж я ничего не могу сказать!». В общем, можно понять запись Е. Петрова в книге «Мой друг Ильф»: «„Тоня". Рассказ в этом новом для нас жанре писался с мучительным трудом. Мы сидели на подоконнике и смотрели вниз, на Нащокинский переулок».[10]

«Я не лучше других и не хуже», — писал Ильф в своей последней книжке. И через несколько строчек снова: «Нет, я не лучше других и не хуже» (5, с. 250). Слова эти останутся верными, даже если под «другими» понимать самых больших и самых честных писателей той эпохи. Можно утверждать, что начиная с середины 1930-х гг. и кончая 1950-ми гг. этого века в Советском Союзе не было ни одного писателя или деятеля искусств, который, стремясь опубликовать свои сочинения, не шел бы на подобные уступки и компромиссы. Противопоставляя «сдавшегося и погибшего» Олешу и «освиставших интеллигенцию» Ильфа и Петрова иным, несломанным художникам, Аркадий Белинков называет имена Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Бабеля, Платонова, Замятина, Булгакова.[11] Замятина оставим в стороне — он получил возможность эмигрировать из Советского Союза в начале 1930-х гг. Поговорим об остальных. В предыдущей главе мы уже упоминали отклик Пастернака и статьи Бабеля и Платонова о процессах 1936—1937 гг. И не только в публицистике Бабель шел на компромиссы: вопреки утверждению А. Белинкова, который ставил в пример Олеше «замолчавшего Бабеля»,[12] автор «Конармии», не имея возможности писать так, как он хотел, публиковал иногда и вполне дозволенные и «проходные» сочинения (такие, например, как рассказ «Нефть» — о новом быте и социалистическом строительстве в Москве). Со стихами о Сталине выступал Пастернак:

И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин и Сталин,
И эти стихи...

(Известия. 1936. 1 янв.)

---

[10] Журналист. 1967. № 6. С. 61.

[11] *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Подгот. к печати Н. Белинкова. Мадрид, 1976. С. 572; ср. с. 611.

[12] Там же. С. 613—614.

Позже их писала и Ахматова:

И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли...».

(Огонек. 1950. № 14. С. 20)

Но Пастернака, Ахматову, Бабеля хоть изредка печатали. Любопытно, однако, что на компромиссы шли даже Мандельштам и Булгаков, которых в печать не пропускали, — шли из одной только надежды, что им удастся таким образом выйти из писательского небытия. Незадолго до второго ареста и гибели Мандельштам создал несколько вариантов оды о Сталине:

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина...
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали.
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали...[13]

Он пытался также сочинить стихи о Беломорско-Балтийском канале. А Булгаков, после долгих уговоров доброжелателей, написал в 1939 г. пьесу «Батум» — о молодом Сталине.

Значит ли это, что «все кошки серы» — все советские писатели пошли в 1930-х гг. на капитуляцию, и незачем искать различий в их гражданской позиции? Нет, совсем не значит. Как ни беспощаден был Аркадий Белинков к подцензурной советской литературе, и он признавал, что «даже истинный художник под ударами тягчайших, трагических, катастрофических обстоятельств» может «в иной кровью залитый час» цедить «сквозь зубы» казенные фразы (Белинков передавал такие фразы формулой «Собирайте металлолом!»).[14] Пьесе Булгакова о Сталине противостоит все его творчество, да и сама она была написана так, что герой ее не дал согласия на постановку. И причиной этого, вопреки утверждениям советских критиков и поверивших им эмигрантских авторов,[15] была вовсе не скромность великого человека, а, напротив, несоответствие довольно сдержанно (хотя и бледно) нарисованного образа

[13] *Мандельштам О.* Собр. соч. Paris, 1981. Т. 4, доп. С. 23—26; ср.: *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 319.

[14] *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. С. 561.

[15] См.: *Петелин А.* М. А. Булгаков и «Дни Турбиных» // Огонек. 1969. № 11. Март. С. 27; *Гуль Р.* Я унес Россию // Новый журнал. 1980. Кн. 138. С. 10.

молодого революционера уже сложившемуся к тому времени культу.[16] Мандельштам вымучивал из себя «Стансы» и оду Сталину, но им же было написано другое стихотворение о Сталине — обрекшее его на многие годы ссылки и смерть в лагере. Известны и обстоятельства, побудившие Ахматову — уже после исключения из Союза писателей в 1948 г. — написать стихи о Сталине: в лагере находился ее сын, и она надеялась таким образом помочь ему. «Не каждый человек может стать протестантом и подняться на эшафот, но каждый человек обязан быть порядочным и не помогать злодеям в их деле...»[17] — писал Белинков. Строгий судья может сказать, что Бабель, Платонов и Пастернак, печатно поддержав процессы 1930-х гг., «помогли злодеям в их деле». Но и здесь не следует спешить с осуждением. Пастернак имел возможность впоследствии рассказать о том, как была поставлена его подпись под одним из коллективных писем, осуждавших жертвы 1937—1938 гг. Несмотря на нажим официальных органов и уговоры напуганной семьи, он категорически отказался подписать письмо, а наутро увидел свою подпись под ним в «Правде». Что он мог сделать? Написать заявление с протестом? Куда? Выйти на площадь и кричать? В то время никто бы даже не узнал об этом акте самоубийства. «Несчастна та страна, которая нуждается в героях», — говорит Галилей в пьесе Бертольда Брехта.

При жизни Ильфа ни он, ни его соавтор не помогли «злодеям в их деле» даже в той мере, в какой это сделали Бабель и Платонов. Они не поддержали своими подписями ни один из политических процессов тех лет — ни в 1929—1930 гг., ни в 1936—1937 гг. Они не обличали ни кулаков, ни вредителей, не участвовали, вопреки позднейшим легендам, в травле нонконформистской интеллигенции. Как и все их собратья, они шли подчас на «внутреннюю редактуру» своих предназначенных для печати работ, но отнюдь не принадлежали к той, весьма влиятельной группе, которая подчинила «социальному заказу» свое основное творчество.

Но Ильф умер «на пороге», а не в самый разгар «великого террора». Уже после смерти Ильфа были репрессированы А. Зорич, читавший писателям выговор за «Золотого теленка»,

---

[16] *Серман И.* Последняя драма Булгакова // Russia. 1987. № 5. С. 147—156; *Чудакова М.* Первая и последняя попытка // Современная драматургия. 1988. Т. 5. С. 204—220; *Смелянский А.* Уход // Театр. 1988. № 12. С. 88—115; *Нинов А.* Загадка «Батума» // Театр. 1991. № 7.

[17] *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. С. 561.

В. Просин, бросивший в Ильфа последний «кирпич», Владимир Нарбут, поэт и директор ЗИФ'а, где печатались оба романа, критики И. Макарьев, А. Селивановский, Д. Мирский, писатели Б. Пильняк, Н. Заболоцкий, В. Киршон, Б. Ясенский, М. Кольцов, И. Бабель, друг и лучший иллюстратор Ильфа и Петрова К. Ротов, жена Э. Багрицкого — Л. Багрицкая. Арестованы были почти все дипломаты, с которыми соавторы имели дело во время путешествия, немецкие коммунисты, с которыми Ильф встречался в Остафьеве; арестованы миллионы других — не писателей, не художников, не дипломатов, а обыкновенных граждан.

Пережить все эти исчезновения и связанные с ними страхи и ожидания пришлось уже одному Петрову — без Ильфа. И Петров не выдержал.

Переломным моментом его биографии можно считать 1938 г., когда был устроен третий и самый страшный из «больших процессов» — процесс Бухарина, Рыкова, Ягоды и других. На этот процесс опять откликались писатели, и среди них не только А. Толстой, А. Фадеев, П. Павленко, Л. Леонов, Л. Соболев и т. п., но и Всеволод Иванов, Юрий Тынянов, Евгений Шварц, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, иностранцы И. Бехер, Х. Лакснесс и другие. А Евгений Петров? Он удостоился особой чести: получил возможность присутствовать на самом процессе. Он видел, как подсудимый Крестинский, дипломат и предшественник Сталина на посту генерального секретаря партии, отрекся на процессе от прежних показаний, а на вопрос Вышинского, почему же он оговаривал себя на следствии, ответил: «Вы знаете, почему я сознавался»; он слышал, как на новом судебном заседании Крестинский отказался от первого заявления и вновь признал свою вину. Для Евгения Петрова процесс Бухарина имел особое значение — ведь главный подсудимый был именно тем человеком, чье благосклонное внимание к «Двенадцати стульям» заставило критиков прервать длительное молчание о книге и заметить ее существование. «Я видел лица, покрытые смертельной бледностью, слышал слова, жалкие слова, которые, кстати сказать, даже в этот последний момент иногда вызывали у публики иронический смех...» — писал Е. Петров в «Литературной газете», и таковы были, вероятно, его действительные впечатления. Но далее: «Какое счастье, что этот тяжелый кошмар, наконец, кончился, что талантливейшему, честнейшему товарищу Ежову, которому, работая днем и ночью, задыхаясь в испарениях яда, приготовленного бухариными и ягодами, удалось схватить за горло скользкую гадину, сжать это подлое горло, швырнуть гадину на скамью подсудимых!» (Лит. газ. 1938. 15 марта)

Свою книгу об Олеше А. Белинков озаглавил «Сдача и гибель советского интеллигента». В какой-то степени сдача Евгения Петрова и его гибель как писателя определялась личными свойствами, отличавшими младшего соавтора от старшего. О различных характерах Ильфа и Петрова и спорах между ними рассказывал и Эренбург: «В воспоминаниях сливаются два имени: был „Ильфпетров". А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович был застенчивым, молчаливым, шутил редко, но зло, и как многие писатели, смешившие миллионы людей — от Гоголя до Зощенко, — был скорее печальным... А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа... Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле...

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел:

— А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибался и что в Сибири растут пальмы...».[18]

Такие же упреки Ильфа приводятся и в воспоминаниях самого Петрова: «Женя, вы оптимист собачий».[19] А в «Одноэтажной Америке» Петров даже описал ссору со своим соавтором (не указав, однако, повода, вызвавшего ее) — «с криками, ругательствами и страшными обвинениями» (5, с. 503). Константин Ротов (отбывший два лагерных срока и доживший до 1959 г.) вспоминал о разногласиях между соавторами определеннее: по его словам, оптимизм одного из авторов и пессимизм другого проявлялся и в политических взглядах. Ильф, например, не верил в правдивость показаний подсудимых на вредительских процессах.

Склонность к самообману становится одним из самых опасных человеческих свойств в трудные времена. С весны 1937 г. Евгений Петров, как и другие советские писатели, оказался под таким давлением, которого не испытывали их собратья прежде, даже в годы «великого перелома». И Петров не остановился на обязательных формулах, произнесенных «сквозь зубы», но пошел дальше по пути капитуляции. После смерти Ильфа он совсем отошел от прежних литературных жанров, перестал писать рассказы и фельетоны и выступал главным образом как очеркист. Летом 1937 г. он ездил на Дальний Восток и на Колыму;[20] осенью 1939 г. был военным корреспон-

---

[18] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 180—182.

[19] Журналист. 1967. № 6. С. 62.

[20] В очерке Н. Козлова, опубликованном в последний год правления Хрущева, после появления «Одного дня Ивана Денисовича», говорится о встрече

дентом на только что занятой Западной Украине и написал очерки «Как польские офицеры сожгли два села» и «Подлинная демократия» (о выборах в Верховный Совет от новоприсоединенных земель), в начале следующего года он отправился в той же роли на финский фронт (очерк «Подвиг орденоносной дивизии»). Уже в начале 1939 г. Сталин решил приободрить писателей, избежавших уничтожения в предшествующие годы и с тревогой ждавших дальнейших репрессий. 31 января группа «успевающих» писателей была награждена орденами; Евгений Петров попал в число получивших высшую награду — орден Ленина.[21] Вступление в партию открыло ему путь к дальнейшему продвижению.[22] Он стал редактором журнала «Огонек», вошел в редакционную коллегию «Литературной газеты» и «Крокодила». Постепенно он стал ощущать себя официальным журналистом — подобием своего предшественника по «Огоньку» и бывшего покровителя Михаила Кольцова.

Е. Петрова в 1937 г. с начальником строительства Колымы Э. Берзиным, вскоре после этого репрессированным, и с заключенными, о создании писателем «недописанной, неизданной, неизвестной книги „Остров Колыма". Многие годы пройдут, и будут лежать где-то ее листки, тянущиеся к свету...» (*Козлов Н.* Сердцем писателя // Лит. Россия. 1964. 29 мая. № 22. С. 16—17). К сожалению, другими источниками этот рассказ не подтверждается, и самый очерк имеет явные черты вымысла. Е. Петров изображен гигантом с «мощными бицепсами»; он читает свою книгу заключенным в бараке, и они всю ночь слушают «как зачарованные»: «И те, кто сейчас слушал, узнавали себя в других людях — себя и нелегкие свои судьбы...». «Видно, из политических», — решает в рассказе один из заключенных, «присматриваясь к человеку с недостриженным кончиком седых баков на худой, бледной щеке, с тонкими губами и нервным носом...».

[21] С награждением Е. Петрова орденом связан эпизод, о котором много говорили тогда в литературных кругах. Юрий Олеша был обойден наградой в 1939 г. За несколько лет до этого был снят с постановки фильм «Строгий юноша», написанный по его сценарию; писатель много пил, болезненно переживал падение своей славы. «Философ из шашлычной. Раньше зависть его кормила, теперь она его гложет» — эти слова своей знакомой внес И. Ильф в последнюю «Записную книжку» (Л. 2; ср. сокращенный текст: 5, с. 218). Вскоре после награждения Петрова пьяный Олеша подсел к нему в ресторане и потребовал, чтобы тот угостил его. Раздраженный Петров спросил, не стыдно ли Олеше угощаться за чужой счет. «Я угощаюсь за чужой счет, а ты носишь чужой орден», — ответил Олеша. Едва ли можно воспринимать это обвинение всерьез. Отход Петрова от прежних литературных жанров вовсе не доказывает, что «главным» в писательском коллективе был его соавтор; мы не знаем, смог ли бы и Ильф писать без Петрова сюжетную сатирическую прозу. Но на Петрова это обвинение несомненно произвело большое впечатление; в статье об Ильфе, написанной в 1942 г., он специально опровергал предположение, будто «все, что мы написали до сих пор вместе, сочинил Ильф, а я... был лишь техническим помощником» (5, с. 520; ср. с. 506).

[22] Дата вступления Е. П. Петрова в партию в источниках расходится: в КЛЭ (Т. 3. С. 105) назван 1939 г.; в книге Т. Н. Синцовой «И. Ильф и Е. Петров. Материалы для библиографии» — 1940 г. (С. 12).

В какой степени сам Евгений Петров ощущал происшедшую с ним метаморфозу? Люди, вспоминавшие о его редакторской и журналистской деятельности в 1937—1942 гг., пишут о нем с большой теплотой: став редактором, он не превратился в вельможу, а, напротив, старался на этом посту принести как можно больше пользы, помогал молодым юмористам (например, А. Раскину и М. Слободскому), с прежним пылом бичевал равнодушие, глупость, бюрократизм. Ничего экстраординарного он, очевидно, не ощущал и в своих корреспонденциях с Западной Украины и с финского фронта: ведь то, что он писал и говорил, говорили и писали **все**, во всяком случае все, кто мог говорить и писать в Советском Союзе.

Дважды Е. Петров пытался вернуться к сатирическому жанру. Если в его музыкальных сценариях, увидевших свет экрана («Музыкальная история», «Антон Иванович сердится»), фигурировали лишь второстепенные сатирические персонажи (шофер Альфред Тараканов, композитор Керосинов), то в сценарии «Беспокойный человек», написанном, как и два предыдущих, вместе с Г. Н. Мунблитом, но не поставленном, сатирическая тема занимала едва ли не центральное место. Действие «Беспокойного человека» развивается в обычном клубе, подобном тому, который описывался прежде Ильфом и Петровым в фельетоне «Для полноты счастья» (3, с. 265—270). Клуб новый, недавно выстроенный, но на его парадной двери приколочена надпись «Ход со двора».

Клуб, как водится, украшен плакатами: «Уважайте труд уборщиц!», «Больше внимания разным вопросам!», «Поднимем клубную работу на высшую ступень!», «Ударим по срывщикам клубной работы!». Во главе клуба стоит некий Гусаков, буфетчицей работает его жена; всеми делами заправляет жулик и вор, комендант Драпкин. Попытки новой директорши клуба, молодой выпускницы философского факультета Наташи Касаткиной, изменить положение наталкиваются на хорошо организованное сопротивление всей этой компании. Когда она предлагает снять глупые лозунги, Гусаков многозначительно возражает («после зловещей паузы»): «Надпись-то политическая». Не ограничиваясь этим, Гусаков выдвигает против Касаткиной обвинения — политические и уголовные (мотив этот стал возможным после падения Ежова, когда в печати стали обличать «клеветников и перестраховщиков»): «Гусаков, по обыкновению в подтяжках и кепке, высунув язык, сочиняет донос. Делается это при помощи на редкость невинных орудий — тоненькой школьной ручки и чернильницы-невыливайки».

Сцена писания доноса — пожалуй, самая яркая в сценарии. В основном же он представляется довольно бледным отражением фельетонов середины 1930-х гг., и прежде всего близкого по теме фельетона «Для полноты счастья». Но в фельетонах Ильф и Петров, выступая против равнодушия и глупости, высказывали свои авторские эмоции, но отнюдь не изображали зло уже поверженным и побежденным; в сценарии же добродетель наглядно и решительно торжествовала над пороком. То, что в фельетонах было только благими пожеланиями авторов, превратилось в сценарии в реальную программу Наташи Касаткиной, проводимую в жизнь под молчаливым, но внимательным руководством секретаря райкома. Горькая ильфовская фраза «Не надо бороться за чистоту. Надо подметать» в устах Касаткиной звучала лишь как осуждение глупого и обреченного на поражение Гусакова: «Он не работал, прикрывая свое безделье криками о том, что нужно работать». Говоря о снятых ею лозунгах, Наташа объясняла: «Все это я сделала сознательно и по соображениям действительно политическим. Потому что нет ничего вреднее для пропаганды коммунизма, как опошление этой пропаганды». Гусакова с позором снимали, и «опошление» тем самым прекращалось. Программа «беспокойного человека» (как именуется в сценарии Касаткина) — это, по выражению самой героини, «философия малых дел», но такие «малые дела» и решают «вопрос о том, построим ли мы коммунизм. Сделать самолет — это была половина работы. Нужно еще научить людей летать на нем». Обученная «самой высокой из наук» — философии (главными адептами которой были в то время Митин и Юдин, а главным корифеем — Сталин), героиня не хочет ждать, пока великолепный новый базис породит столь же великолепную надстройку, а стремится «бороться с людьми, которые портят нам жизнь и мешают двигаться вперед». И преуспевает в этом — если судить по сценарию.[23]

Второй раз Евгений Петров вернулся к сатире в пьесе-памфлете «Остров мира» — об английском коммерсанте-пацифисте, решившем покинуть Европу, стремительно приближавшуюся к войне, и обосноваться с семьей и слугами на необитаемом «острове мира». Дальнейший сюжет пьесы определяется тем, что на острове обнаруживается нефть и из острова мира он превращается в предмет соперничества и войны великих держав. «Мы не можем уйти от войны, а если мы уходим, мы уносим ее с собой потому, что хотим мы этого или

[23] *Петров Е., Мунблит Г.* Беспокойный человек. (Кинокомедия) // Новый мир. 1965. № 2. С. 107—150.

не хотим, а она заключена в нас самих», — произносит под занавес друг Джекобса, английский полковник, прибывающий на военном корабле (5, с. 597). Пьеса сценична, в ней есть несколько ролей, интересных для актеров, но в целом она опять заставляет вспомнить булгаковские слова о неосуществимости «дозволенной сатиры». Предметы обличения Е. Петрова находятся далеко за рубежом; о собственной стране он даже не упоминает. Впрочем, учитывая условия написания пьесы, это умолчание можно даже одобрить: если бы автор закончил пьесу темой международной пролетарской солидарности, его сочинение стало бы совсем уже убогой агиткой — вроде той, которую пародировал в 1920-х гг. Булгаков в «Багровом острове» (эту пьесу Булгакова, наверное, вспоминал Петров, когда сочинял «Остров мира»). Е. Петров как бы абстрагировался от существования Советского Союза, беря традиционный капиталистический мир в чистом виде. При этом он исходил из концепции, которую, в общем, разделяло в те годы большинство советской интеллигенции: война — порождение конкуренции капиталистических держав, продолжение их обычной политики иными средствами. Но можно ли, в свете всего опыта XX в., принять это построение без оговорок? Действительно, условия Версальского мира опровергли декларации о защите отечества как главной и единственной цели Антанты. Мир был переделен победителями — грубо и цинично. Но если экономические потребности великих держав определяли их политику после победы, то значит ли это, что и **начата** была война с прямо осознанной целью получить земли, нефть и другие богатства? Опыт мировых войн говорит о том, что такие страны, как Англия, Франция и Соединенные Штаты, развязать большую войну едва ли способны — этому серьезно препятствуют демократические институты и необходимость считаться с общественным мнением. Обе мировые войны XX в. были начаты авторитарными и тоталитарными державами. А между тем в «Острове мира» фигурирует только одна такая держава — Япония. В пьесе не упоминается не только Советский Союз, но также и Германия и Италия — страны, которые обнаружили свои агрессивные намерения еще в середине 1930-х гг., а в 1939 г. начали войну. Причину такого умолчания легко понять: пьеса написана после августа—сентября 1939 г., после соглашения с Германией и начала войны в Европе. Именно в это время В. М. Молотов докладывал на сессии Верховного Совета о заключенном с Германией договоре о дружбе и границе, осуждал Англию и Францию за их воинственность и нежелание принять мирные условия Гитлера, завоевавшего Польшу (речь на 5-й сессии Верховного Со-

вета 31 декабря 1939 г.). Философско-сатирическая пьеса оказывалась, в сущности, злободневным политическим памфлетом официозного характера.

В тот же период и под влиянием тех же политических установок была начата Е. Петровым и его большая книга, которая так и осталась незаконченной. Это роман о будущем — «Путешествие в страну коммунизма». При жизни Ильфа писатели утопий не сочиняли. Напротив, как мы видели, их произведения, написанные со времени официального провозглашения социализма в 1933—1934 гг., оказались своеобразным ответом на утопические (или антиутопические) чаяния предшествующих лет. Но «Путешествие в страну коммунизма» — это типичная утопия, роман о будущем.

Время действия романа указано точно — 1963 год (эта дата была даже одним из вариантов названия книги). В прошлом — вторая мировая война. Ныне Советский Союз — коммунистическая страна, хотя, вопреки Маяковскому, социалистическая революция в других частях света не произошла и в Америке все еще хозяйничают капиталисты — весьма отвратительные. Повествование ведется устами прогрессивного американца, вновь приехавшего в Советский Союз (в первый раз он посетил его в 1939 г.) в 1963 г. Американца зовут Юджин Питерс — тем самым он оказывается заокеанским двойником Евгения Петрова.

Советский Союз построил коммунизм, несмотря на мировую войну и капиталистическое окружение. Как ему это удалось? Прежде всего благодаря мудрой внешней политике правительства. Она, как признает в романе старый американский дипломат, «совершенно нова и оригинальна»: «В любом дипломатическом действии всегда заложены две мысли — одна явная и другая тайная... Советские дипломаты... всегда говорят, что думают, и делают то, что говорят...». «Великолепная» внешняя политика Советского Союза не встретила, однако, поддержки со стороны стран, отказывающихся «выполнять взятые на себя обязательства...». «Но Советский Союз хотел мира для своей страны, и он решил получить его без чьей-либо помощи». Как именно получил — не сказано, но одна фраза того же американского дипломата ведет нас прямо к обстановке конца 1939 г.: «Как было бы хорошо, если бы никто не мешал людям жить так, как им хочется, если бы никто не пытался их благодетельствовать... Христиане... в желании вернуть на праведный путь заблуждающихся, истребляли альбигойцев и устроили Варфоломеевскую ночь...». Это не абстрактные философские рассуждения 1963 г., а прямая реминисценция из уже упомянутой речи Молотова о советско-

германском договоре о дружбе. Осуждая Англию и Францию за выраженное ими стремление «уничтожить гитлеризм», Молотов заявил, что эти страны объявили Германии «что-то вроде „идеологической войны", напоминающей старые религиозные войны. Действительно, в свое время войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно, привели к тягчайшим для народных масс последствиям... Ничего другого эти войны не могли дать...» (Правда. 1939. 1 нояб.). Далее в романе упоминается о том, что, не вступая в войну в 1939 г., «за один только год Советское правительство воздвигло на своих западных границах, от Балтийского до Черного моря, тройную линию таких сильных укреплений, перед которыми линия Мажино казалась детской игрушкой... Защищенные превосходной армией и совершенными подъездными путями линии обороны были абсолютно неприступны... Следующим действием Советского правительства была война с Японией. Вы знаете, что эта короткая и стремительная война совершенно освободила от японцев азиатский материк, а уже в 1942 году Советский Союз мог всецело отдаться своим внутренним делам. Знаете вы и то, что, остановившись перед великой стеной на востоке, европейский фашизм обратил свои алчные взоры на Южную Америку и Азию...». Остальные детали второй мировой войны в построении Е. Петрова не вполне ясны, но можно понять, что фашизм, успевший вначале покорить всю Европу, вторгся и на американский материк (упоминается «канадский фронт», морская битва, в ходе которой погиб весь «англо-германский флот и почти весь американский»), однако в конце концов был уничтожен. Что случилось после этого с Германией и Францией, неизвестно; по-видимому (фрагменты романа изданы не полностью), там победила революция.[24]

Что касается внутренних свойств страны, увиденной Юджином Питерсом, то они, в общем, соответствуют уже сложившемуся к 1939—1940 гг. представлению о высшей фазе коммунистического общества. Деньги, которые не прекратили своего существования в 1930-х гг., теперь наконец отменены и товары раздаются бесплатно. В первое время это приводило к каким-то недоразумениям, но потом все привыкли. Любые вещи доставляются из магазинов по письменным и телефонным заявкам; заявка по прейскуранту «выполняется в течение часа, как бы сложен заказ не был». Исчезли преступления; «элементы государства... не мешают людям жить на свете»: «Из института подавления государство превратилось в институт защиты

[24] *Петров Е.* Неоконченный роман «Путешествие в страну коммунизма» // ЛН. Т. 74. Из творческого наследия советских писателей. М., 1965. С. 582—585, 591, 609.

общества». Так примерно рисовали будущее общество и старые утописты, но в одном отношении автор учел их ошибки, обнаружившиеся в 1930-х гг., — никакой революции в семейном укладе он не предвидел: «Мы говорили, что большевики уничтожат семью, а они создали семью. Мы говорим, что они уничтожат индивидуальность, а они создали ее...».

Роман о будущем — опасный жанр: люди, которым удается дожить до времени, описанного пророками, имеют возможность сопоставить их предсказания с действительностью. Такая проверка может иногда засвидетельствовать поразительную прозорливость писателя: так, Оруэлл еще в 1948 г. в романе «1984» предсказал будущую вражду между двумя социалистическими державами — Евразией и Истазией, — вражду, которая тогда казалась невероятной. Но в иных случаях проверка практикой может поставить писателя-утописта в неловкое положение.

Знакомые Евгения Петрова вспоминают: «Он очень любил делать прогнозы. И совершенно по-детски радовался, когда они сбывались. Усмехаясь, он сам называл себя „пикейным жилетом“ и по временам действительно напоминал своими пророчествами тех старичков, которых они с Ильфом некогда изобразили в „Золотом теленке“. Лучшим способом подшутить над ним в этих случаях было сделать вид, что не помнишь о его прогнозе, который сбылся. Страшно волнуясь, он начинал... упрашивать... отнестись к разговору серьезней...».[25]

Да, «пикейный жилет» в этом случае попал в самую точку. Особенно впечатляет одна деталь романа — в Советском Союзе, избежавшем войны благодаря мудрости своего правительства, никто и не вспоминает о ней в 1963 г., между тем как американцы даже двадцать лет спустя не могут забыть о вражеском нашествии: «Я не знаю семьи, где б не было покойника... Итак, разговор снова шел о войне. Положительно, мы, американцы, ни о чем другом не могли говорить. Мы носили с собой тему войны, как раненый таскает свой костыль. Неужели наше несчастное поколение обречено жить войной до конца своей жизни?».[26] Интересно также читать о всеобщем изобилии бесплатных товаров и вытекающей отсюда всеобщей честности. «Восемь правил коммуниста», в которых выражена этика коммунистического общества, начинаются словами: «1) Никогда не лги ни людям, ни самому себе. 2) Помни, что ты слуга общества...» и т. д. «Любопытно, что тут совершенно отсутствовали библейские заповеди, как, например, „не кради“, или „не убивай“, или „не пожелай чужого“, — замечает

[25] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 235.
[26] *Петров Е.* Неоконченный роман... С. 591.

Юджин Питерс. — Общество было построено так, что кража (или убийство с корыстной целью) была бы совершенно бессмысленна, а потому понятия эти умерли».[27] Время действия романа — 1963 г.; глядя из будущего, мы можем вспомнить, что ровно за год до этого, в 1962 г., в Москве состоялось судебное дело «великого комбинатора» Рокотова («Яна Косого») и после двукратного и срочного изменения законодательства был введен несколько необычный для европейского государства XX в. закон о смертной казни за незаконные валютные операции (по этому закону, принятому задним числом, Рокотов и Файбишенко были расстреляны).

Проверить, как сбылся первый и главный из его прогнозов, Евгений Петров смог 22 июня 1941 г. Укрепления, «перед которыми линия Мажино была детской игрушкой», не оказались столь неприступными, как предвещал писатель; не более месяца понадобилось гитлеровской армии для того, чтобы занять все территории, присоединенные к Советскому Союзу в результате советско-германского пакта; немцы шли к Ленинграду и Москве. После начала войны Е. Петров объявил о превращении «Огонька» в еженедельник (прежде он выходил 3 раза в месяц), и на обложке каждого номера появились надписи: «1-я неделя священной Отечественной войны», «2-я неделя...» и т. д. Идея была не очень счастливой — недели шли за неделями, и год спустя (после смерти Е. Петрова) надписи с обложки «Огонька» сняли.

Стиль и тон статей «Огонька» отражал те изменения, которые происходили во время войны в официальной идеологии. В летних номерах 1941 г. печатались статьи немецких антифашистов, была помещена сказка Е. Шварца «Чем все это кончится». В сказке, в соответствии с воззрениями, обычными до войны, резко разграничивались немецкий народ и фашисты: «Жили-были три чудовища... В жилах их текла немецкая кровь, но она была холодна, как лед... А народ, среди которого зародились чудовища, был добрый, честный, аккуратный, умный. Одно только проклятье тяготело над ним: умел этот народ слушаться... Когда выросшие на крови чудовища заорали на народ страшными голосами, лишился народ покоя на многие годы... И вот исчезли под масками живые разумные лица». А в конце происходит метаморфоза, еще более резкая, чем в финале «Дракона»: «...Стояли миллионы людей. Они срывали маски. Гневные лица, суровые лица, усталые лица, человеческие живые лица смотрели неумолимо на трех чудовищ... Раздался залп, и три чудовища, мертвые, грянулись на

[27] Там же. С. 625.

камни площади... — А теперь подумаем, как мы будем жить, сказал народ сурово...» (Огонек. 1941. № 25. С. 14). Но уже вскоре трактовка немецкой темы изменилась. В конце августа была уничтожена Автономная ССР Немцев Поволжья — советские немцы, жившие далеко от линии фронта, были обвинены в том, что они прятали в своей среде большое количество гитлеровских диверсантов, и высланы в Сибирь и Среднюю Азию. Появилось слово «фриц» — кличка, обозначающая не фашиста, а немца вообще. «Немец — это ученый зверь. Это зверь, который любит пофилософствовать...» — писал давний приятель Ильфа и Петрова Илья Эренбург: вся Германия превратилась «в скотский двор, в случной пункт».[28] Уже было многое известно о преступлениях гитлеровцев в завоеванных европейских странах. Но правда казалась недостаточно эффектной, ее стремились дополнить деталями поживописнее. Появились известия о «случных пунктах», куда немок вызывают повестками для случки, — приводились даже их письма мужьям, якобы посланные на фронт и захваченные в качестве трофеев. «На случных пунктах размножают СС — они должны заселить Россию...»[29] — писал Эренбург в другой статье. «Они говорят, что они чтут мораль. Это развратники, мужеложцы, скотоложцы. Они устроили у себя случные пункты. Это их скотское дело...».[30]

Тот же образ немца появляется и в «Огоньке». В одном из октябрьских номеров журнала был напечатан рассказ В. Катаева «Их было двое», где фигурируют два персонажа — советский летчик Вергелис (зять Катаева, один из немногих еврейских писателей, избежавших уничтожения в 1949—1953 гг.; впоследствии редактор официального журнала на идиш — «Советише Хеймланд») и сбитый им немецкий летчик Вилли Ренер. Немец соответствует новым установившимся в советской прессе стандартам: у него «тупое, жадное лицо выродка... алкоголика, садиста, психопата»; даже после катастрофы и пленения он сохраняет пьяное состояние и продолжает хвастаться своими злодеяниями. «Что я мог сказать Вилли Ренеру, этой свинье, до головокружения вонявшей водкой?» — спра-

---

[28] *Эренбург И.* Война. Июнь 1941 г.—апрель 1942 г. М., 1942. С. 21, 130.

[29] *Эренбург И.* Фашистские мракобесы. Красноярск, 1942. С. 35.

[30] *Эренбург И.* Они ответят. Улан-Удэ, 1942. С. 88 (24 октября 1941 г.). Любопытно, что в сборнике Эренбурга, вышедшем в июне 1942 г., слова: «Они устроили у себя случные пункты. Это их скотское дело», содержавшиеся в газетных публикациях, оказались выпущенными (*Эренбург И.* Война. Июнь 1941 г.—апрель 1942 г. С. 308). Но осенью 1941 г. тема «случных пунктов» была в советских газетах весьма популярной. С середины 1942 г. тема эта незаметно испарилась, и после войны при обличении фашистских преступлений об этом не вспоминали.

шивает герой (Огонек. 1941. 5 окт.). Примерно так же выглядит немец и в очерке Евгения Петрова «Военная карьера Альфонса Шоля» — «существо в ефрейторской шинели, с мозгом овцы и мордочкой хорька» (5, с. 644).

А в одном из декабрьских номеров «Огонька» был помещен своеобразный литературный монтаж. Редакция обратилась к первому роману Ремарка «На западном фронте без перемен». Те, кто любит эту книгу, несомненно, помнят, как описаны там сцены затишья между боями, когда всеобщее человекоубийство сменяется покоем, возможностью раздобыть пищу получше и удовлетворить самые простые человеческие потребности. Эти сцены — едва ли не лучшее, что есть в романе, но, конечно, такие грубые эпизоды не могут удовлетворить блюстителей общественных приличий, подобных тем, которые были когда-то описаны Ильфом и Петровым в фельетоне «Сованарыло». Редакция «Огонька» использовала эти сцены так. Тексту предшествовало введение, где говорилось: «Иногда спрашивают, как могло случиться, что немцы, которые когда-то считались культурными людьми, могли за восемь лет пребывания в гитлеровском свинарнике дойти до состояния скотов, поражающих весь цивилизованный мир своими омерзительными и гнусными преступлениями, своей дикостью, похабным обжорством, типичными чертами варваров? При этом забывают одно очень важное обстоятельство: германская армия всегда была зловонным рассадником бескультурья и подлости. Мы приводим ниже отрывки из романа германского писателя Ремарка „На западном фронте без перемен“. Ремарк хорошо знал германскую армию, и набросанный им почти десять лет назад портрет немецкого солдата времен мировой войны удивительнейшим образом похож на гитлеровских молодчиков». Далее следовали две сцены из Ремарка и краткая концовка курсивом: «Поистине: скоты! Скотами были, скотами и остались» (Огонек. 1941. № 36—37).

Когда-то Ильф и Петров гордились тем, что «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» попали в список книг, которые гитлеровцы сжигали в кострах.[31] Одним из первых в этом списке сожженных книг был роман Ремарка «На западном фронте без перемен». Знал ли редактор «Огонька» о том надругательстве над этим романом, которое было совершено в журнале? Хотелось бы думать, что это делалось без его ведома — в декабре 1941 г., как и почти во все время с начала войны, он находился на фронте.

[31] Ср.: Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 53.

В этой главе мы говорили о метаморфозе, происшедшей с Евгением Петровым после смерти его соавтора. Мы не имеем достаточных данных, чтобы сказать, в какой степени он сам ощущал эту метаморфозу. Но ход войны летом и осенью 1941 г. (а потом, после зимнего затишья, также весной и летом 1942 г.) должен был заставить задуматься даже «оптимиста собачьего», как именовал Петрова его соавтор. Приняв и одобрив «великолепную» внешнюю политику 1939 г., он, как мы знаем, построил на этой основе целую утопию. Конечно, незаконченный роман «Путешествие в страну коммунизма» мало кому был известен, но сам-то автор о нем помнил и должен был задуматься над тем, что он написал. Какую-то долю ответственности за свалившиеся на страну беды Евгений Петров, очевидно, принимал на себя: «Я всегда был честным мальчиком», — писал Петров, рассказывая о своей юности, о трудной и опасной работе в уголовном розыске.[32] По всей видимости, младший Катаев действительно отличался в этом отношении от старшего: Валентин рос циником, Евгений — идеалистом и энтузиастом. Вспоминая на склоне лет юность брата, В. Катаев склонен усматривать даже нечто роковое в его судьбе. Упомянув о том, как Евгений чуть было не утонул в детстве, он пишет: «С этого дня он был обречен. Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам... Во время финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Под Москвой он попал под минометный огонь немцев... Наконец, самолет, на котором он летел из осажденного Севастополя, уходя от „мессершмиттов", врезался в курган где-то посреди бескрайней донской степи, и он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле».[33]

Действительно, младшему брату не везло — он умер (подобно своему соавтору) сорока лет, между тем как старший брат, перевалив за восемьдесят, был здоров, бодр и продолжал писать — пожалуй, даже лучше, чем в 1930—1950-е гг., когда он стал лауреатом и ведущим деятелем литературы. Одна из поздних книг В. Катаева, «Алмазный мой венец», посвящена наиболее замечательным из его современников-писателей, и в числе их — Ильфу, Петрову, Булгакову, Бабелю, Мандельштаму, Пастернаку. Все они фигурируют под прозвищами — друг, брат, синеглазый, конармеец, щелкунчик, мулат, которые пишутся почему-то со строчной буквы. Только Маяковский, получивший прозвище Остапа Бендера из «Золотого теленка», удостоился прописной буквы — «Командор». Книга вызвала многочисленные протесты из-за фамильярности авто-

[32] Журналист. 1967. № 6. С. 61.

[33] *Катаев В.* Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона. М., 1973. С. 85.

ра, его склонности к сплетням и недоброжелательству. Однако главная черта ее — не фамильярность и злоречие, но другое чувство, некогда воспетое Юрием Олешей (Олеша, кстати, тоже фигурирует в «Алмазном венце» — под кличкой ключик), а потом немало мучившее того же автора. Зависть! Зависть к «другу», который «через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность», ко всем остальным. Валентин Катаев отлично понимал, что нарисованные им персонажи, жизнь которых по большей части сложилась несчастливо, навсегда останутся в русской литературе, что они бессмертны. А сам Катаев? Он всячески уверял себя и читателя, что и он — один из них, что в галерее скульптур, изваянных неким фантастическим скульптором из фантастического материала, будет находиться и его изображение.[34] Но верил ли он в это? Валентин Катаев обрел все земные блага, о которых мечтал: высокое положение и звание, известность, богатство, заграничные путешествия, недоступные простым смертным, но и он и читатели понимали, что его место — в первых рядах СП, а не среди бессмертных.

Да, Евгению Петрову не повезло. Обстоятельства его гибели были еще трагичнее, чем описывает Катаев. Из осажденного и обреченного Севастополя он возвращался в июне 1942 г. не на самолете, а на том же корабле «Ташкент», на котором прорвался в Севастополь. Адмирал И. С. Исаков, рассказывая об этой поездке Петрова, упоминает о потоплении шедшего впереди «Ташкента» эсминца «Безупречный»: «В озерах мазута, среди деревянных обломков плавали немногие уцелевшие моряки и армейцы. Естественное стремление остановиться, спустить шлюпки и попытаться спасти товарищей с „Безупречного“ сразу же было парализовано новыми атаками „юнкерсов“... Оставаться на месте — значило спасти десять — двадцать товарищей, но почти наверняка погубить корабль, на котором было полторы тысячи человек... Маневрировать на полных ходах и крутых циркуляциях... — это значило своими же винтами рубить тех, кто еще держался на воде. Но как бросить погибающих и уйти?.. И все же Ерошенко (командир «Ташкента».— *Я. Л.*), с болью в сердце, выходит из мазутного пятна...».[35] Устные воспоминания И. С. Исакова включали детали, отсутствовавшие в письменных. Потрясенный всем увиденным, Е. Петров, вернувшись в Краснодар, повел себя довольно необычным образом — несколько дней он пил. Только после этого он вылетел на самолете в Москву. Люди, летевшие

---

[34] *Катаев В.* Алмазный мой венец. М., 1979. С. 138—141, 151—168, 215—222.

[35] Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 317—318.

вместе с ним, были в таком же отчаянном настроении, как и писатель. Согласно рассказам нескольких пассажиров, уцелевших после гибели «дугласа», они летели низко, чтобы зенитная артиллерия не приняла их за немцев и не обстреляла. Тень от самолета падала на землю, и пасшийся там скот с испугом отбегал от этой движущейся тени. Летчика это позабавило, и он стал нарочно пугать коров. Тут-то он и врезался в курган.

А. Белинков говорил, что застрелившийся Маяковский «сразу перестает быть автором „Стихов не про дрянь, а про дрянцо“ и вновь становится автором „Облака в штанах“».[36] Вместе с обломками «дугласа» в донской степи остался лежать не сочинитель недописанного убогого романа «Путешествие в страну коммунизма» и бодрых очерков, а соавтор «Двенадцати стульев», «Золотого теленка» и «Клоопа».

Земная жизнь последнего из двух членов содружества «Ильф и Петров» окончилась. Начиналось бессмертие — на книжной полке, рядом с Диккенсом и Марком Твеном, Гоголем и Булгаковым.

---

[36] *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. С. 582.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О дальнейшей судьбе книг Ильфа и Петрова мы уже отчасти знаем — из введения к этой книге.

9 февраля 1949 г. в «Литературной газете» была помещена статья «Серьезные ошибки издательства „Советский писатель“». Упомянув лучшие книги, изданные за последние годы («Белая береза» Бубеннова, «Кавалер золотой звезды» Бабаевского, сочинения Грибачева, Симонова), авторы статьи специально остановились на других, включение которых в юбилейную серию («Библиотека избранных произведений советской литературы. 1917—1947») «вызвало у читателей законное недоумение». Главное место в этом черном списке занимали «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»: «В центре обоих произведений — образ Остапа Бендера, „великого комбинатора“, как называют его авторы, ловкого жулика, стяжателя. Тогдашняя идейная незрелость молодых писателей сказалась в том, что они любуются „героем“, пытаются сделать его интеллектуально выше окружающих. С этой целью они принизили, оглупили советских людей». Статья была неподписанной, следовательно, официальной и не подлежащей дискуссии. Последовали уже известные нам отклики: покаяние Б. Горбатова, признавшего переиздание обоих романов «грубой нашей ошибкой», выступления Н. Атарова и П. Павленко, добавивших к двум осужденным книгам «Одноэтажную Америку». Для широкого читателя Ильф и Петров перестали существовать по крайней мере на семь лет — до 1956 г.

Они разделили судьбу Ахматовой и Зощенко, торжественно и всенародно осужденных в ждановском докладе и исключенных из Союза писателей в 1946 г., участь Андрея Платонова, послевоенный рассказ которого в том же году был объявлен «клеветническим» (статья В. В. Ермилова). Вновь были обвинены в формализме Д. Шостакович и С. Прокофьев. В той же статье, где осуждалось переиздание Ильфа и Петрова,

выражалось негодование и по поводу включения в юбилейную серию «Смерти Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова — книги, заключающей в себе «антипатриотические заявления кабинетного эстета и формалиста, которым был тогда Ю. Тынянов». Имел ли этот остракизм какие-нибудь серьезные причины? Конечно, послевоенная «ждановщина» многими чертами напоминала довоенную «ежовщину»: с 1949 г. она переросла в массовую кампанию по разоблачению и последующему изъятию «безродных космополитов» (чаще всего евреев, но и других лиц, заподозренных в недостатке русского советского патриотизма); жертвами этой кампании часто оказывались, как и прежде, вполне лояльные советские граждане. Но Ильф и Петров, как и Ахматова, Зощенко и Платонов, вряд ли могут считаться случайными жертвами. Рассказ «Приключение обезьяны», за который осудили Зощенко, очень сильно и страшно изображал современное писателю общество, данное через восприятие нормального животного — обезьяны. Зоосад, где обитала обезьяна, разрушен вражескими бомбами, и зверек бежит из города: «Ну — обезьяна. Не человек... Не видит смысла оставаться в этом городе»... Она попадает в другой город, но и там не может достать еды в магазине. «Тем более денег у нее нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. Кошмар». Не спросив, «почем стоит кило морковки», обезьяна просто хватает ее: «Ну — обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия». Дома она хватает конфету у старушки: «Ну — обезьяна. Не человек. Тот если возьмет что, так не на глазах же у бабушки».[1]

Анну Ахматову не изжившие либерализма благодушные граждане 1940-х гг. могли считать лириком, не имевшим никакого отношения к политике, но в руках у руководителей, несомненно, были более убедительные материалы, доказывавшие, что бывшая акмеистка и вдова расстрелянного заговорщика не разоружилась, не осознала по-настоящему преимуществ советского строя и поддерживает отношения бог весть с кем — даже с просочившимися в Советский Союз иностранцами. А Андрей Платонов был автором ряда неизданных сочинений — читатели об этом не знали, но органы, несомненно, имели сведения.

Не внушали полного доверия и сочинения Ильфа и Петрова. Да, они написали политически выдержанную «Тоню», от Евгения Петрова остались ценные (хотя уже утратившие актуальность) военные очерки. Но читатели помнили не их, а подозрительного «свободного художника и холодного философа» Оста-

[1] *Зощенко М. М.* Избр. произведения. 1923—1945. Л., 1946. С. 206—207, 209.

па Бендера, не желавшего строить социализм и попытавшегося даже бежать за границу. А бегство за границу (да еще с отягощающей вину политической мотивировкой, цинично провозглашенной «великим комбинатором»: «Ну что ж, адье, великая страна. Я не хочу быть первым учеником... Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы...») уже с 1934 г. каралось высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией имущества.[2] Правда, в 1930 г., к которому относится действие «Золотого теленка», то же преступление наказывалось совсем не так строго: принудительными работами, или заключением на срок до 6 месяцев, или даже штрафом в 500 рублей (статья 98 УК редакции 1926 г.), но советские законы и в жизни и в литературе имели тенденцию к обратному действию. Для читателя второй половины 1930—1950-х гг. симпатичный Бендер — явный враг социалистического отечества.

Исправить романы Ильфа и Петрова, придать им черты правильной и дозволенной сатиры, расчищающей «путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему», стало теперь, когда авторов не было на свете, совсем уж невозможно. В послевоенном издании «Золотого теленка» из рассказа о Сухаревской конвенции было исключено упоминание о Республике Немцев Поволжья, где мнимый сын лейтенанта Шмидта Паниковский не сумел добиться от недоверчивых колонистов денежного вспоможения, из-за чего он и сбежал на участок Балаганова. С осени 1941 г. АССР Немцев Поволжья перестала существовать, и редакторы 1948 г. выбросили упоминание о ней, нисколько не смущаясь тем, что весь рассказ о нарушении конвенции потерял от этого смысл. Выброшен был и эпитет «эти бандиты» при упоминании о Марксе и Энгельсе: хотя эти слова принадлежали в романе персонажам, явно не вызывавшим сочувствия читателей, все равно допустить такое кощунство было нельзя. Но подобно тому, как в черноморском «Геркулесе» неподобающие надписи, оставшиеся от прежних владельцев помещения, несмотря на старания завхозов, то и дело появлялись в самых неподходящих местах, так и у Ильфа и Петрова из-под дозволенной сатиры постоянно выглядывала недозволенная. На вопрос Шуры Балаганова, встретившего Остапа-миллионера, едет ли он в Рио-де-Жанейро, Бендер неожиданно отвечал: «...заграница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не

---

[2] Постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. См.: Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. Вып. № 33. Ст. № 255. После 1934 г. соответствующая формулировка была введена и в Уголовный Кодекс (ст. 58-1а).

возвращается» (2, с. 350). В отличие от слов о Марксе и Энгельсе, этот текст не привлек внимания бдительных редакторов — и напрасно! Ужасающая актуальность слов «Кто туда попадет, тот не возвращается» оказалась еще более острой полвека спустя после выхода книги. В том же романе в споре с ксендзами за душу шофера Козлевича Остап нагло заявляет: «Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом... Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка!» (2, с. 200). Близорукие редакторы, увидевшие в разговоре Остапа с ксендзами здоровую антирелигиозную пропаганду, не ощутили опасных ассоциаций, которые вызывают слова о хлебах: давить друг друга из-за минимального количества хлеба читателям «Золотого теленка» приходилось не раз и в 1931—1932 гг., когда впервые был напечатан роман, и в 1948 г., когда он был переиздан. И даже текст отчета из рассказа «Для полноты счастья»: «Охвачено плакатами — 264 000. Принято резолюций — 143. Поднято ярости масс — 3» (3, с. 270) отражает идеологическую работу отнюдь не одного только «грязного очковтирателя» — заведующего клубом. Подобные опасные высказывания, как мы уже не раз убеждались, встречаются у Ильфа и Петрова постоянно, и мудрый вождь со своими сподвижниками знал, что он делал, изгнав их в 1949 г. из советской литературы.

Но, как и многие мероприятия тех лет, это решение было отменено во времена, которые М. А. Шолохов заклеймил как «слякотную погоду, именуемую оттепелью».[3] Воскрешение Ильфа и Петрова совершилось не сразу. В 1955 г., когда Г. Н. Мунблит, соавтор Е. Петрова по сценарию «Беспокойный человек», опубликовал его в «Новом мире» со ссылкой на то, что «экранизации „Беспокойного человека“ помешала война», критик А. Грошев сурово осудил эту публикацию. Он заявил, что сценарий 15 лет назад «не был принят к постановке», ибо в нем «наша жизнь принижена, искажена», что «необходимость заострения характера человека и отрицательных явлений жизни» понималась в «Беспокойном человеке» «как своего рода право на искажение советской действительности, на оглупление людей». В качестве идеального образца советской сатиры автор приводил фильм Г. Александрова «Волга-Волга».[4] Но предостережения А. Грошева не были услышаны. Вставал вопрос уже не о публикации

---

[3] Второй Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1956. С. 376.

[4] *Грошев А.* За дальнейшее развитие советского киноискусства //Коммунист. 1955. № 10. С. 54—55.

скромного сценария, а о переиздании обоих романов. И хотя против этого протестовал сам секретарь Союза писателей А. Сурков, называвший эти романы «путешествием Остапа Бендера в страну дураков» и причислявший их авторов к числу тех, кто «пришел к сатирическому жанру, не имея ничего за душой», и потому «пишет пасквили» (Лит. газ. 1954. 15 апр.), он также оказался бессилен. В 1956 г. вышли в свет — сразу пятью изданиями — «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Были снова изданы и «Записные книжки» Ильфа. Хотя и отредактированные, с купюрами 1948 г. и еще с новыми дополнительными, романы о «великом комбинаторе» стали выходить в свет ежегодно и повсеместно, и поколение конца 1950-х и 1960-х гг. восприняло их как свою книгу. «Как в каждой долгосрочной империи при многих периферийных языках есть один универсальный язык метрополии, так у нас языком универсальным, „всехним" были — „Двенадцать стульев" и „Золотой теленок"... Есть в этом тайна, странность, загадка...» — писала М. Каганская в статье, упомянутой нами во Вступлении.[5] Публицистка напрасно только приписывала эту всеобщую популярность исключительно 1960-м гг.: если бы ее знакомство с людьми 1930-х гг. было более обширным, она бы убедилась, что слава Ильфа и Петрова в те годы была едва ли меньшей, чем тридцать лет спустя, что и тогда их фразы и образы были своеобразным общим языком, «койнэ» молодого поколения.[6]

Но была у этой популярности — и в 1930-х, и в 1960-х гг. — одна слабая, уязвимая сторона. Ильф и Петров были юмористами, а между тем восприятие юмора вовсе не такая простая способность, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, количество людей, способных воспринимать юмор, вовсе не безгранично. И ребенок и взрослый человек рассмеется, прочитав, как «рассеянный с улицы Бассейной» надел вместо шапки сковороду, а вместо валенок — перчатки. Но уже в рассказе о бедной «Мухе-цокотухе», умоляющей друзей спасти ее от злодея-паука, слова:

А кузнечик, а кузнечик,
Ну совсем как человечек,
Скок-скок
Под кусток
И молчок...

---

[5] *Каганская М.* Наследники Толстоевского, или Шестидесятые годы // Время и мы. 1977. № 16. С. 133—134.

[6] Это относится, видимо, и к 1940-м гг. — именно в 1949 г., когда переиздание Ильфа и Петрова было осуждено, происходит действие «В круге первом», где на шарашке Маврино заключенный «Валентуля» (даже прозвище его взято у «людоедки Эллочки») Прянчиков говорит цитатами из Ильфа и Петрова.

будут восприняты не всеми детьми, да и не всеми родителями, читающими сказку. У множества людей юмор застывает на стадии насмешки над «рассеянным с улицы Бассейной». Отсюда — восприятие юмориста как клоуна, характерное для многих зрителей чаплинских фильмов, или отношение к Зощенко, не раз приводившее в отчаяние писателя: «...Неужели на мой вечер приходят только как на вечер „юмориста“? В самом деле! Может, думают: если актеры так смешно читают, то что же отколет сейчас сам автор... Ах, если бы мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесе, вечер был бы в порядке...».[7]

Человек, читающий Флобера, Томаса Манна и тем более Джойса, испытывает несравненно больше уважения к себе, чем читатель Марка Твена, Гашека или Ильфа и Петрова.[8] «Хочется иногда развлечься», — почти извиняются люди. Ильф и Петров при жизни не раз встречались с таким отношением к юмору. Это же отношение преследовало их десятилетия спустя после смерти. Что именно воспринимают и запоминают читатели в романах о «великом комбинаторе» (чаще всего романы эти читаются еще в детстве — вместе с Марком Твеном и Диккенсом)? Большинство помнит сцену с голым инженером на лестнице, шахматный турнир в Васюках, выбрасывание Паниковского из кабинета председателя исполкома. Более зрелые читатели вспоминают и воспроизводят словечки Эллочки Щукиной — «хамите, парниша», «не учите меня жить», отдельные обороты-«хохмы»: «пиво отпускается только членам профсоюза», «на блюдечке с голубой каемкой» (нередко путают — «с золотой каемочкой»), «в лучших домах Филадельфии», «командовать парадом буду я», «гигант мысли», «сбылась мечта идиота», «согласно законов гостеприимства»... Ежедневно можно увидеть в печати или услышать по радио и телевизору: «С деньгами нужно расставаться легко», «статистика знает все». «Спасение утопающих — дело самих утопающих» кажется уже народной пословицей, а не ильфовской пародией на анархистский лозунг. Формула «Заграница нам поможет», обретшая неожиданную популярность, цитируется как «любимая фраза Остапа Бендера», хотя он произносил ее лишь перед чле-

---

[7] *Зощенко М. М.* Перед восходом солнца // Октябрь. 1943. № 6—7. С. 89.

[8] Характерно в связи с этим заявление физика Л. Д. Ландау о его отвращении к юмору, не «вытекающему из ситуации», и связанной с этим нелюбви к Ильфу и Петрову, которое О. Н. Михайлов приводит как убийственный аргумент против обоих одесситов: их отвергал даже «свой» Ландау (*Михайлов О.* Верность. Родина и литература. М., 1974. С. 172). Нам, однако, представляется, что отношение Л. Д. Ландау к Ильфу и Петрову — лишь факт биографии Ландау, едва ли более интересный, чем отношение О. Михайлова и его собратьев к теории относительности.

нами «Союза меча и орала». Конечно, и такая известность писательских текстов на протяжении десятилетий — не пустяк: когда Пушкин предрекал, что половина стихов «Горя от ума» должна войти в пословицу, он предсказывал будущую славу Грибоедова. Очень немногие достигают такой популярности: кто теперь вспоминает хотя бы одну строчку из сочинений современников Ильфа и Петрова, входивших в самые почетные обоймы?

Но популярность цитат — далеко не достаточное доказательство настоящей любви к писателю. Помнит ли большинство людей, с важностью изрекающих «дистанция огромного размера», что это не просто определение большого расстояния, а отражение военной терминологии солдафона Скалозуба? Был ли бы доволен Ломоносов, если бы узнал, что его слова «Науки юношей питают» превратятся в устах кокетливых дамочек в двусмысленно-ободряющее: «Надежды юношей питают...»? Заимствованные часто не непосредственно из книги, а из обиходного словоупотребления, такие ходячие выражения легко деформируются и лишаются авторской атрибуции: Ильфа и Петрова путают с Зощенко, Чеховым, даже с Козьмой Прутковым. Прочитав цитату «И терпентин на что-нибудь полезен» на посвящении к подарочной книге, один выученик филфака и доктор филологических наук спросил: «Это из Ильфа и Петрова?».

Молодые люди, сделавшие в 1960-х гг. текст Ильфа и Петрова своим обиходным языком, далеко не всегда по-настоящему читали этих писателей. В повести В. Аксенова «Пора, мой друг, пора» фразами Ильфа и Петрова говорят мерзкие «штурмовики» — сынки начальников, избивающие героя повести. И это не единственный пример. Мода на то и мода, чтобы ее воспринимали разные люди — и чистые, и нечистые.

Снятие запрета с сочинений Ильфа и Петрова еще не сделало их официальными писателями, — напротив, неприятное сознание того, что «рядовые советские люди» не противопоставлены в их романе Остапу Бендеру и прочим сомнительным персонажам, продолжало точить душу официальных критиков и историков литературы. Но существовала формула, придуманная еще при жизни Петрова благожелательным критиком Е. Добиным — «Охотники за микробами».[9] Понимать эту формулу надо в том смысле, что мир Ильфа и Петрова — вовсе не наш прекрасный социалистический мир с Павлом Корчагиным и Павликом Морозовым, а лишь ряд искусственно

[9] *Добин Е.* Охотники за микробами — Ильф и Петров // Звезда. 1938. № 12. С. 245—263.

созданных колоний ядовитых бактерий, которых мы вместе с авторами рассматриваем в микроскоп. Остап — крупная фигура только на фоне «микромира», «маленького мира»; Ильф и Петров вовсе ему не сочувствовали — напротив, они его разоблачили, и смех их, безусловно, «наш смех», «товарищ смех», — таков был основной смысл статей Д. Молдавского, одного из зачинателей ильфопетровского «позднего реабилитанса», та же мысль в послесталинских работах Л. Ф. Ершова, в книгах других авторов. Та же тенденция господствует и в инсценировках «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» — в кино- и телефильмах, в кукольных и драматических театрах: это не про нас, это разоблачение событий давних лет, пресловутого, почти сказочного нэпа (хотя никакого нэпа в «Золотом теленке» уже нет).

И как ни натянуты такие утверждения, как ни противоречат они подлинным текстам Ильфа и Петрова, они оказали влияние на читателей. Именно вера в официозный характер творчества писателей облегчила их недолговременным поклонникам 1960-х гг. отречение от былых кумиров. Мы уже упоминали основные этапы этого посмертного низвержения Ильфа и Петрова: выступление Аркадия Белинкова (сперва в форме докладов, а затем в книге об Олеше), воспоминания Н. Я. Мандельштам, книга О. Михайлова и множество отдельных упоминаний — в разнообразных контекстах, между делом, с наиболее сильно действующими ссылками на «хрестоматийный», «общеизвестный» характер утверждаемого. Доказательств «антиинтеллигентства», «морального релятивизма» их обличители так никогда и не привели, но от этого их основной тезис оказался еще более неотразимым. Легенда нарастает с силой грибоедовской сплетни, и спорить с нею так же трудно, как с версией о безумии Чацкого:

— Кто сомневается?
— Да вот не верит...
— Вы!
Мсье Репетилов! Вы! Мсье Репетилов! что вы?
Да как вы! Можно ль против всех!
Да почему ж вы? стыд и смех.
— Простите, я не знал, что это слишком гласно...

Ильф и Петров вышли из моды. Однако имеет ли это обстоятельство какое-нибудь значение? Прежде всего — успех «в свете» вовсе не мера писательской славы и значения: книги их, как мы уже упоминали, по-прежнему выходят ежегодно и расходятся громадными тиражами, вновь и вновь переводятся во всем мире, и разговоры об их устарении стоят столько же,

сколько утверждение П. Павленко через 25 лет после смерти Чехова, что он слишком «старый» писатель. Людей, ощущающих юмор лишь как «побасенки», не убедишь никакими силлогизмами, а людей, видящих в нем путь к постижению мира, нет надобности убеждать.

Для кого же тогда написана эта книга? Она адресована тем читателям, которые любят или способны полюбить Ильфа и Петрова и которым поэтому интересно узнать о неизданных или малоизвестных произведениях писателей, об их месте среди интеллигенции 1920—1930-х гг. и об общественном смысле их творчества. Несомненно, что «ветреная мода» отвернулась от них в последнее десятилетие не так уж случайно. Смена одних общепринятых вкусов и замена их другими стоит в определенной связи с преобладающим мировоззрением общества, за вкусами — хотя этого часто не замечают их носители — стоят и некие идеи.

Почему же перелом в отношении к писателям произошел именно в конце 1960—начале 1970-х гг.? С какими идеологическими явлениями он связан? Мы упоминали уже наиболее суровых критиков Ильфа и Петрова: А. Белинкова, Н. Мандельштам, О. Михайлова. Что общего между ними? Казалось бы, ничего.

Однако в 1960-х гг. это было не совсем так и даже совсем не так. В 1962 г. начала выходить «Краткая литературная энциклопедия». Этой энциклопедии (как и выходившей параллельно с нею «Советской исторической энциклопедии») было дано необычное право — упоминать о том, что некоторые из ее персонажей были репрессированы и посмертно реабилитированы. Либеральный дух «Краткой литературной энциклопедии» ощущался, в частности, в ее первом томе, где была помещена статья о Блоке. Под статьей две подписи: «А. В. Белинков, О. Н. Михайлов».[10] Столь неожиданное для нас соавторство довольно характерно для тех лет. Позади были XX и XXII съезды и возвращение выживших лагерников, но также венгерские события и травля Пастернака за «Доктора Живаго». В этой обстановке многие интеллигенты начинали думать уже не о «восстановлении ленинских норм», а о смысле и последствиях революции. В таких размышлениях бывший зэк Аркадий Белинков, прошедший в 1940-х гг. следствие с применением физического воздействия и вернувшийся инвалидом, и вполне благополучный Олег Михайлов могли даже кое в чем сходиться. Белинков опубликовал книгу о Юрии Тынянове, включив в ее второе издание (1965 г.) такие рассуждения, ко-

[10] КЛЭ. М., 1962. Т. 1. Стб. 642—645.

торые уже с 1920-х гг. были невозможны в советской печати. Он начал работать над книгой об Олеше, прочел на разных конференциях доклады, каждый из которых казался неслыханным по дерзости. Олег Михайлов играл видную роль в подготовке собрания сочинений Бунина и включил в него отрывки из ядовитейшей статьи нобелевского лауреата «Третий Толстой» — о цинике и жулике «Алешке» Толстом, сделавшем карьеру в советской стране и хваставшемся в 1936 г. перед Буниным своим поместьем в «Царском селе» и тремя автомобилями.[11]

Пути Белинкова и Михайлова разошлись в 1968 г. — во время «чехословацкой весны». Белинков к этому времени успел напечатать в «Байкале» две части книги об Олеше, подвергся разгрому в «Литературке» и вынужден был эмигрировать. Олег Михайлов осознал свои ошибки, покаялся и стал официально признанным и постоянно печатающимся критиком.[12]

Но до 1968 г. обоих соавторов статьи о Блоке привлекали, по-видимому, сходные темы: революция и литература, взаимоотношения между интеллигенцией и властью до революции и после нее. В чем сущность концепции Аркадия Белинкова, изложенной в его книге об Олеше? Концепция эта зародилась еще в книге о Ю. Тынянове и не без влияния этого писателя: речь шла о сходстве между самодержавием в России XIX в. и системой, установившейся в той же стране с 1920-х гг. XX в. «Россией управляли не самодержцы, повинующиеся закону, хоть какому-нибудь. Россией управляли деспоты... Деспотизм отвратителен всякий... Эпоха Николая Павловича, расстреливавшего декабристское восстание, требовала, чтобы литература строго выполняла возложенные на нее обязанности...». Российскому деспотизму всегда противостояла свободолюбивая интеллигенция: «...Все надежды не продавшейся, не обманутой и не обманывающей, выстоявшей интеллигенции были связаны с революцией...». Эта часть интеллигенции «думала, что назначение революции в том, чтобы вернуть человеческим отношениям естественность, уничтожить условность и всегда связанные с нею лицемерие, ложь, бесправие...». Мерой оценки писателей, «истинной мерой человечности» в литературе служила в глазах критика «только любовь к свободе и ненависть к тирании».[13] Именно этой строгой мерой он мерил и

---

[11] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 433—445.

[12] Рассказывали, что он пустил по рукам специальное покаянное письмо (существовала и такая форма самиздата), но автору текст этого письма остался неизвестен.

[13] *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Подгот. к печати Н. Белинкова. Мадрид, 1976. С. 50, 53, 112, 175, 334, 581.

советскую литературу, обнаруживая иногда максимализм, воспитанный в нем той самой идеологией, которой он бросал вызов: либерал Боткин был в его глазах вреднее Муравьева-Вешателя, Евтушенко отвратительнее А. Маркова, Б. Слуцкий — В. Фирсова, В. Шкловский — гаже В. Ермилова. «Я знаю, что Юрий Олеша — святой и чистый человек и художник в сравнении с другими представителями творческой интеллигенции», — признавал он и объяснял, что суровый суд над писателем продиктован своего рода «методологическими соображениями: для того, чтобы все поняли, что уж если этот таков, то каковы же другие!».[14] Те же «методологические соображения» побуждали его, по-видимому, осуждать Ильфа и Петрова, с той только разницей, что сочинения Олеши он серьезно изучал, а об Ильфе и Петрове судил сугубо поверхностно — по случайным воспоминаниям о прочитанных книгах.

Как ни парадоксальны, как ни пристрастны были суждения Белинкова о конкретных авторах, работа его была продиктована настоятельным велением времени — стремлением пересмотреть взгляд на весь период русской истории после революции. Тем более заслуживает внимания судьба книги. В конце 1960-х гг. Белинков был весьма популярен в интеллигентской читательской аудитории. Второе издание исследования о Тынянове, номера «Байкала» с началом книги об Олеше переходили из рук в руки; письмо Белинкова, написанное им в 1968 г., когда он решил не возвращаться на родину, стало достоянием самиздата. Но после его отъезда за границу случилось непредвиденное: оказалось, что книга, печатание которой в СССР было прервано по независящим от автора и редакции обстоятельствам, не нашла издателя и за рубежом. Она была опубликована лишь в 1976 г. в Мадриде, через шесть лет после того, как Белинков, прожив в эмиграции лишь два года, умер.

Посмертно в 1972 г. был издан и сборник «Новый Колокол», который критик готовил в последние годы. Странное впечатление производит этот сборник. Здесь помещена статья самого Белинкова, повторяющая излюбленную мысль его предшествующих книг: «Интеллигенция всегда была и навсегда остается общественной группой, которая не может существовать без свободы духа». А рядом — статья другого автора, Тибора Самуэли, с прямо противоположной оценкой русской интеллигенции: «В области интеллектуальной, социальной, ху-

[14] Там же. С. 456—457.

дожественной, литературной, научной деятельности русская интеллигенция ничего не дала. Она породила только одно детище: русскую революцию. Этого было достаточно, чтобы изменить ход русской истории».[15] Перед нами — почти точное повторение той полемики, о которой шла речь в первой главе этой книги. Так же, как публицисты, писавшие после 1905 г., авторы, говоря об интеллигенции, подразумевают левую интеллигенцию XIX—начала XX в., но Белинков, подобно Мережковскому, сочувствует ее стремлению к «свободе духа», а его оппонент точно следует «Вехам» в осуждении интеллигентской революционности. Единственное отличие Самуэли от веховцев заключается в том, что он полагает, что стремление интеллигенции к революции изменило «ход русской истории», между тем как авторы «Вех», говоря о «русской революции», имели в виду, как мы знаем, революцию 1905 г. и считали, что «хода русской истории» интеллигенция и революция ничуть не изменили — в этом, в частности, они видели доказательство их ничтожества.

Само по себе изложение в одном сборнике двух диаметрально противоположных точек зрения как будто не должно вызывать возражений: оно могло бы даже служить доказательством широты взглядов и терпимости, достигнутой эмиграцией на Западе. Странно другое: защищая противостоящие друг другу взгляды, публицисты никак не спорят друг с другом, не приводят аргументов в защиту той или иной точки зрения. Может быть, автор второй статьи писал уже после смерти Белинкова? Но тогда ему тем более следовало объяснить, почему он так резко разошелся с ним в выводах. Вместо этого он писал так, как будто бы человека, задумавшего и начавшего это издание, не существовало на свете.

О судьбе А. Белинкова за границей и об издании «Нового Колокола» писала вдова писателя — к десятилетию со дня его смерти. Она сообщила, что Белинков хотел издавать журнал «Новый Колокол»: «Вместо журнала через два года под тем же названием вышел сборник. Составлен он был уже не А. Белинковым, а мною. Говорят, что он не прозвучал. Возможно. По мертвым колокола бьют негромко...». Так же робко, почти извинительно пишет вдова и об идеях А. Белинкова: «Десятилетний срок — большой срок, если мерить его судьбой одного человека. Время меняется. Многое из того, что было ново, теряет свою актуальность... Ты умный с того момента, как твой

[15] Новый Колокол. 1972. С. 360 и 415.

предшественник разбился о препятствие на общей дороге... Время разделяет людей не хуже, чем растяженность территорий. Поэтому отчуждаются друг от друга отцы и дети... Так очерчиваются грани между разными поколениями эмиграции, так вырастают недоумения, которые порой перерастают во вражду...».[16]

Что же произошло? С Белинковым случилось то же, что и с писателями, которых он так сурово осудил. Выражаясь высоким стилем, мы можем сказать, что историческая Немезида отомстила ему за Ильфа и Петрова. В 1968 г. читатели Белинкова готовы были принять основную идею критика: «только любовь к свободе и ненависть к тирании» служит «мерой человечности». Но люди, думающие по моде, и убеждения свои меняют с модой. С 1970-х гг. «любовь к свободе и ненависть к тирании» перестали казаться главными добродетелями. Их сменила вера, духовность, соборность, почвенность, национальные корни и другие подобные идеалы. Имена декабристов, Белинского, Герцена, Петрашевского, близкие сердцу Белинкова, не только потеряли популярность, но стали даже вызывать раздражение. В популярных воззрениях их сменили совсем иные кумиры — Н. Бердяев, С. Булгаков и П. Струве в сочетании с П. Столыпиным, «великим преобразователем России».

Общественное внимание, как мы видим, обратилось ко времени, отраженному в главе «Прошлое регистратора загса» из «Двенадцати стульев» и в последней «Записной книжке» Ильфа. В публицистической литературе последних лет не раз вставал вопрос и о политической борьбе перед революцией, о том, какое из партийных направлений отстаивало тогда наиболее разумную политику. Обсуждение этой темы описано в «Двенадцати стульях». На заседании «Союза меча и орала», собравшемся уже после того, как Остап, создавший эту эфемерную организацию, покинул Старгород, члены союза решают, кто станет во главе города, когда «все переменится». Больших разногласий среди них не возникает, но одного из членов, владельца бубличной артели Кислярского, намеченного в председатели биржевого комитета, подозревают в левизне:

«— Вы всегда были левым! Знаем вас!
— Господа, какой же я левый?
— Знаем, знаем!..
— Левый!
— Все евреи левые...
— Ночью спит и видит во сне Милюкова!

---

[16] *Белинкова Наталия.* Аркадий Белинков — 1970 год // Время и мы. 1980. № 54.

— Кадет! Кадет!

— Кадеты Финляндию продали! — замычал вдруг Чарушников, — у японцев деньги брали! Армяшек разводили.

Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:

— Я всегда был октябристом и останусь им...» (1, с. 188).

Ильф и Петров, как и большинство их читателей-современников, относились к этому заявлению иронически — и не без оснований. Даже среди цензовой общественности 1905—1917 гг. октябристы не считались образцом политической стойкости и принципиальности. Они именовали себя «Союзом 17 октября», созданным для защиты прав, дарованных манифестом 1905 г., но и на этой позиции стояли далеко не твердо. Когда первая и вторая Государственные думы, созванные в полном соответствии с этим манифестом и официальным избирательным законом, дававшим большие преимущества привилегированным слоям общества, все-таки получили — два раза подряд — левое большинство, правительство пошло на прямой государственный переворот 3 июня 1907 г. Переворот этот вызвал протесты даже в умеренных, либеральных кругах. Но октябристы не протестовали: именно «третьеиюньский переворот», сделавший избирательную систему сугубо несправедливой, дал им значительное место в третьей и четвертой думах, впрочем, достаточно безвластных. Преданность еврея Кислярского октябристам смешна еще и потому, что партия эта, как и все течения правее кадетов, признавала введенные в России еще в конце XVIII в. еврейские ограничения, не позволявшие большинству единоплеменников Кислярского поступать на общих основаниях в университеты и даже в гимназии (процентная норма), жить вне пределов черты оседлости и не допускавшие ни одного еврея на государственную службу.

Но многие ли из советских интеллигентов 1970—1980-х гг. XX в. знают, кто такие были октябристы и как относились к ним русские интеллигенты (в частности, русские писатели) между двумя революциями? Симпатии их клонятся не к левому, а, напротив, к крайне правому крылу «Союза меча и орала». «Подобно интеллигентному слесарю Виктору Михайловичу Полесову, созданному развенчанными кумирами молодежи пятидесятых годов Ильфом и Петровым, вчерашний советский человек, как правило, бывает настолько правым, что даже не знает, к какой партии принадлежит»,[17] — писал израильский публицист Н. Прат. Н. Прат, как мы видим, вовсе не склонен был вступать-

[17] *Прат Н.* Правые, левые и социализм // Время и мы. 1980. № 52. С. 108.

ся за Ильфа и Петрова и признавал их «поверженными кумирами», но в данном случае он вспомнил, и вполне уместно, именно сцену заседания «Союза меча и орала» в «Двенадцати стульях». И сравнение с «гусаром-одиночкой с мотором» справедливо, конечно, не только по отношению к многим советским евреям в Израиле, но и к значительной части публицистов «третьей эмиграции» вообще. Мало того — сравнение это применимо не к одним лишь «вчерашним» советским людям. «Растяженность территорий», о которой писала Н. Белинкова, — не препятствие идеологической моде. «Модерный консерватизм» присущ не одним эмигрантам. Охваченный новыми веяниями советский интеллигент, пребывающий на родной почве и не склонный ее покидать, уже в начале 1980-х гг. часто превосходил по «правизне» своих зарубежных собратьев — разумеется, не тогда, когда он читал на идеологических семинарах какую-нибудь дребедень, переписанную из учебников, а в остальное время: в салонных и коридорных беседах и даже в журнальных статьях.

Мода, как и положено ей, не способна остановиться на месте. Приверженцев государственности 1907—1916 гг. сменили в сердцах современно мыслящих людей их предшественники, консерваторы XIX в. — Победоносцев, Катков, Леонтьев, Данилевский, Погодин. И в родной печати, и в далеком тамиздате мы можем прочесть, например, что из-за излишнего внимания к декабристским стихам Пушкина «один из наиболее государственно мыслящих умов России, утверждавший положительную русскую культуру, автор железного стиха „Клеветникам России“... превращается в вечного лицеиста... отрицателя, всем показывающего кукиши в кармане...», что «Пушкина убили масоны», что Белинский травил Гоголя, а Радищев был в действительности не «враг рабства», а «эпигон свободомыслия» и «человек бессовестный».

Будь все эти смелые мысли следствием серьезного и самостоятельного исследования материала, неожиданность их не могла бы считаться недостатком. Даже парадоксальная идея интересна, если она оригинальна. Когда Михаил Булгаков в 1920-х гг. эпатировал коллег по «Гудку» своим консерватизмом, он заслуживал уважения уже за то, что это были его собственные, противостоящие общему мнению идеи. Совсем иначе обстоит дело с «модерным консерватизмом» 1970—1990 гг. Автор, утверждавший, что злой критик Белинский травил бедного писателя Гоголя, не знал или не хотел знать, что положение Белинского при Николае I было прямо противоположным положению его коллеги Ермилова при Сталине, что,

отправив письмо Гоголю, Белинский шел на самоубийственный риск, что его не успели арестовать только из-за внезапной смерти, что, наконец, за прочтение этого письма своим знакомым был осужден на казнь Достоевский. Всего этого автор не опровергал и не объяснял и вообще ничего не доказывал, как не приводят никаких доказательств люди, заявляющие, что Ильф и Петров очернили и оклеветали русскую интеллигенцию. Зачем нужны аргументы, примеры, обсуждение? Ведь так говорят и думают все...

«Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов...». В 1937 г., когда Ильф написал эти горькие слова, мнение, выражаемое всеми, было максимально приближено к господствующей идеологии; писатели, даже если их на мгновения и посещали сомнения, спешили уверить себя и других, что и в данный момент «партия, как всегда, права». Тогдашние «непуганые» были, как мы уже отмечали, в первую очередь все-таки напуганными, подавленными страхом, ожиданием ночного звонка и неизбежно следующей за ним гибели. Сейчас не то. Поборники сегодняшней моды могут высказывать свои воззрения, не опасаясь последствий, а в последние время и совсем свободно. Они воистину «непуганые» — не боящиеся ни возражений, ни спора, ни смеха. Движет ими, по-видимому, стремление отойти как можно дальше от прежней постылой идеологии и всеобщность высказываемых мнений. И, подобно «первым ученикам», о которых Ильф и Петров писали в 1932 г. (3, с. 160), они твердо заучили стихи-шпаргалку, перечисляющие неправильные взгляды:

Бойтесь, дети, плюрализма,
Бойтесь Запада, друзья,
Социал-демократизма
Опасайтесь как огня...

Они признают, что будущее общество должно быть демократичным, но, как разъяснял старик Чарушников, «без кадетишек — они нам довольно нагадили в семнадцатом году». Хотя эта доктрина разделяется не всеми и допускает кое-какие отклонения влево и вправо, в общем она весьма популярна.

Как такая мода влияет на отношение к авторам «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»? Белинков отвергал Ильфа и Петрова вместе со всей подцензурной советской литературой. Критики, сменившие А. Белинкова, распределяют свет и тени иначе — им близка почвенная, «коренная» (она же «по-

сконная, домотканная и кондовая») советская литература (Есенин, Леонов, Шолохов, современные «деревенщики»), но невыносима литература, как-либо связанная с интернационализмом и революцией, и заодно уже подозрительна и вся та литература до 1917 г., которая вела к революции, — даже декабристские стихи Пушкина. Однако конкретно об Ильфе и Петрове критики писали за последнее время мало. В соответствии со своей общей системой взглядов О. Михайлов отвергает Ильфа и Петрова прежде всего как представителей ненавистной ему «одесской школы»; остальные ограничиваются упоминаниями о «пасквилях на интеллигенцию».

А между тем вопрос о месте Ильфа и Петрова в истории русской культуры и литературы, конечно, заслуживает внимания. Подчеркнем еще раз: мы вовсе не стремимся здесь доказывать эстетическую ценность их сочинений. Исследование поэтики Ильфа и Петрова — особая задача: она уже поставлена и, можно надеяться, будет и далее разрабатываться. Настоящая же книга относится не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли и русской интеллигенции XX в. Именно с этой точки зрения мы хотели бы поразмыслить о значении книг Ильфа и Петрова для грядущих поколений.

Прошлое и, в частности, литература прошлых десятилетий редко интересуют нас сами по себе — чаще всего мы связывали их с будущим. «Модерный консерватизм» не просто осуждает те элементы русской культуры, которые он связывает с революцией, — он как бы вычеркивает их из истории, признавая досадным отклонением от национальных идеалов, своего рода недоразумением. Такое отношение к революции позволяет вспомнить один эмигрантский рассказ А. Аверченко — писателя, которого мы уже однажды сопоставляли с Ильфом и Петровым (когда речь шла о «Мурке» и «Клоопе»). На этот раз мы имеем в виду рассказ «Фокус великого кино»:

«— Помечтаем. Хотите?..

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину... Это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенная в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...

В Петербурге чудеса... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны... Ленин и Троцкий вышли из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон,

тут же его запломбировали — и укатили задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора!..

Быстро промелькнула Февральская революция...

— Крути, Митька, крути...

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил себе в Тюмень... Жизнь все дешевле и дешевле... А вот и ужасная война тает, как кусок сала на раскаленной плите...

— Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая...

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!..

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент всей нашей жизни!

— Митька, замри!! Останови, черт, ленту, не крути дольше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет...».[18]

Это очень заразительная, очень понятная мечта. Кто из размышлявших над историей не мечтал подобным образом исправить ее ход, остановить явное для него движение «не туда» и вернуться к лучшим временам. Аверченко, как мы видим, склонен был остановиться на манифесте 17 октября 1905 г., значительная часть нынешней интеллигенции, в отличие от Аверченко, выбрала бы столыпинские годы — время третьей думы; у Белинкова лента, вероятно, остановилась бы на Февральской революции — революции, «совершенной во имя свободы», отнюдь не обретенной в 1905 г. Могут быть предложены и другие варианты: мирная эпоха Александра III, время реформ Александра II, «прекрасное начало» дней Александра I, даже далекие времена Алексея Михайловича и Ивана III.

Все это не имеет никакого смысла, даже если понимать такое возвращение абстрактно и метафорически. Это еще более бесплодно, чем популярные рассуждения о роковых ошибках государственных деятелей — Бухарина, Керенского или Николая II. В истории нет эксперимента, она всегда пишется набело, окончательно и обжалованию не подлежит. И это понимал даже такой довольно легкомысленный и не склонный к фило-

[18] *Аверченко А.* Осколки разбитого вдребезги. М.; Л., 1926. С. 47—50.

софии человек, как Аркадий Аверченко: недаром рассказ «Фокус великого кино» заканчивается обращением к собеседнику, другому изгнаннику: «...Почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?».

Хороша или плоха русская революция, начавшаяся в 1917 г., — вся революция в целом, начиная с Февраля и включая гражданскую войну, — она совершалась в силу глубоких и веских причин: об этом свидетельствует опыт других стран, переживших подобные катаклизмы, и показания многочисленных современников, обладавших способностью наблюдать.

Здесь можно было бы упомянуть и предреволюционные рассказы Бунина и Сологуба, описавших глухую и непримиримую ненависть мужиков к «господам», и «Анну Снегину» Есенина, и воспоминания М. Зощенко о смоленских помещиках, живших в 1918 г. вблизи своих конфискованных имений и споривших о том, следует ли после победы над большевиками только «попороть» своих мужиков или также вешать их и отправлять на каторгу.[19] Подобным же образом проклинали «святого землепашца, сеятеля и хранителя» и мечтали о «вере православной, власти самодержавной» и офицеры из «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» Булгакова.[20] Когда читаешь все эти произведения, становится очевидным, что объяснять победу большевиков в гражданской войне действиями латышских стрелков, еврейских комиссаров, венгров, китайцев и других инородцев, мгновенными перебросками летучих интернациональных отрядов с одного фронта на другой — значит представлять себе историю в духе Дюма, Скриба или «мушкетерских» кинокартин. Исход войны решила лютая ненависть крестьян к «белой гвардии», превосходившая даже ненависть к Чека и продотрядам. Следует иметь в виду также, что революция, завершившаяся гражданской войной, была не только социальной, но и национально-освободительной (для многих народов России). Это отмечал даже М. Булгаков — при всей его ненависти к петлюровцам он не мог не заметить, что «богоносцы Достоевского», ненавидя «офицерню», бегали «до Петлюры». Поэтому, когда красные, одержав победу, предпочли не восстанавливать Российской державы, а создать на ее месте государство с небывалым и непонятным наименованием (допускающим, однако, беспредельное расширение), они руководствовались не «мечтательным интернационализмом», а трезвым учетом реальной действительности. Любопытно в связи с этим, что сейчас, спустя восемьдесят лет, даже люди,

[19] *Зощенко М. М.* Перед восходом солнца. С. 80—81.
[20] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 1. С. 193 и 213.

чтущие не только Бердяева, но и куда более консервативных мыслителей дореволюционной России, не склонны считать, в отличие от автора «Русской идеи», национальное самоопределение Украины и Кавказа «просто нашей болезнью и нашим несчастьем», а готовы признать такое самоопределение.

Как писатели Ильф и Петров сложились десятилетие спустя после революции — в конце 1920-х и в 1930-х гг., чуть позже М. Булгакова и М. Зощенко. «Признавать» или «не признавать» революцию было уже в то время чисто формальным (хотя и желательным для властей) актом, над которым неоднократно смеялись соавторы. Отличие их от М. Булгакова заключалось в ином: они не только понимали историческую неизбежность происшедших событий, но и связывали с ними большие надежды, а впоследствии и немалые разочарования. Им было с самого начала ясно, что мечта Аверченко в «Фокусе великого кино» бессмысленна — революция необратима. Постепенно они поняли также, что не будет и так, как мечталось Маяковскому в «Клопе» и «Бане». Будет — и долго будет — как в «Клоопе». Что же будет дальше?

Мы уже обращали внимание на сходство и различие двух важнейших образов у Гоголя и у Ильфа и Петрова — тройки в «Мертвых душах» и головной машины автопробега в «Золотом теленке». И там и здесь величественно мчащийся экипаж символичен, но у Гоголя в тройке едет заведомый мошенник и «подлец» Чичиков, и тем не менее тройка олицетворяет Россию, глядя на которую, косятся и «постораниваются» другие народы. Алогизм этого образа не смущал его поклонников: они готовы были согласиться, что родная страна «черна в судах неправдой черной», и все же считали ее Третьим Римом, Божьей страной, о судьбах которой печется сам Создатель.

Ильф и Петров явно не разделяли этого патриотического алогизма. Свое отношение к национальным утопиям они образно выразили в другом рассказе и в другом контексте:

«Несколько лет назад, когда у нас еще не строили автомобилей, когда еще только выбирали, какие машины строить, нашлись запоздалые ревнители славянства, которые заявили, что стране нашей с ее живописными проселками, диво-дивными бескрайними просторами, поэтическими лучинками и душистыми портянками не нужен автомобиль. Ей нужно нечто более родимое, нужна автотелега. Крестьянину в такой штуке будет вольготнее. Скукожится он в ней, хряснет по мотору и захардыбачит себе по буеракам. Захрюндится машина, ахнет, пукнет и пойдет помаленьку, все равно спешить некуда.

Один экземпляр телеги внутреннего сгорания даже построили. Телега была как телега. Только внутри ее что-то тихо и печально хрюкало. Или хрюндило, кто его знает! Одним словом, как говорится в изящной литературе, хардыбачило. Скорость была диво-дивная, семь километров в час. Стоит ли вспоминать, что этот удивительный предмет был изобретен и построен в то самое время, когда мир уже располагал роллс-ройсами, паккардами и фордами?» (3, с. 280).

Авторов этих строк можно с основанием обвинить в недооценке роли «национальной души» — в интернационализме, космополитизме (эти термины по существу синонимичны) и тем самым, как выражается О. Михайлов, в «денационализированности». Почвенной, но явно не годной для дела «автотелеге» они противопоставляли современный и быстроходный автомобиль. Но если этот метафорический автомобиль, в отличие от гоголевской тройки, не просто объект национальной гордости, «не роскошь, а средство передвижения», то тем более необходимо понять, куда же он несется. И кто им управляет?

Ответ на этот вопрос, как мы знаем, оставался нерешенным в «Золотом теленке». Но уже в «Клоопе», «Последней встрече» и других фельетонах образ подлинного командора машины (в отличие от мнимого — Остапа) стал вырисовываться — и образ этот оказался весьма малопривлекательным. «Человек, который в капиталистическом обществе был бы банкиром, делает карьеру в советских условиях» — эта основная тема так и не написанного романа «Подлец» имела глубочайший социальный смысл. К 1930-м гг. фигура карьериста, представителя бюрократической системы (а не просто канцеляриста — носителя «банального бюрократизма», столь охотно разоблачаемого всевозможными «Крокодилами») становится главным объектом сатиры Ильфа и Петрова. Тем самым они не только развивали мотивы Гоголя и Салтыкова-Щедрина, но и обнаруживали близость к крупнейшим сатирикам XX в. — Кафке и Гашеку.

Однако общество, складывавшееся при Ильфе и Петрове, существенно отличалось от того, которое существовало в России XIX в. и даже в Австро-Венгрии начала XX в. Во времена Гоголя, Щедрина, Кафки и Гашека бюрократия была могущественной, но единственной силой, противостоящей остальным гражданам страны. Ильф и Петров застали уже становление иной системы, где «подлец» не может стать ни банкиром, ни фабрикантом, ни помещиком. Осознавали это сами писатели,

когда формулировали идею «Подлеца», или не осознавали, но вокруг них возникало чрезвычайно простое по своей структуре общество, в котором человек, способный и склонный к стяжанию, «делает карьеру» уже потому, что для него это единственный и универсальный «путь наверх».

Каково же место интеллигенции в таком обществе?

Решение этого вопроса затрудняется тем, что само понятие «интеллигенция» является в значительной степени абстракцией. Во все времена в России, как и в других странах, существовала не единая «интеллигенция», а различные по своим взглядам интеллигенты; как справедливо заметил А. Белинков, «рядом с декабристами, Герценом, петрашевцами, всегда были люди безразличные, готовые на многое, всякие...».[21] Столь же разнообразными оставались интеллигенты и в XX в. «Вехи» и Мережковский, Белинков и его посмертный оппонент в «Новом Колоколе», говоря о русской интеллигенции, имели в виду прежде всего революционных интеллигентов XIX—начала XX в. и судили интеллигенцию, исходя из своих, тоже разных интеллигентских позиций. Вопреки критикам, Ильф и Петров, когда они писали о Васисуалии Лоханкине и интеллигентах 1930-х гг., имели в виду отнюдь не самостоятельно мыслящих, а наоборот — сугубо пассивных людей, верных адептов идеологической моды. Это явление стадности, «непуганости», особенно резко отмеченной Ильфом в последней «Записной книжке», не было особенностью только 1935—1937 гг., когда книжка писалась. В какой-то степени такая склонность была присуща русской интеллигенции во все времена. Несомненно, этот феномен имеет свое объяснение. Затрудненность, а часто и прямая невозможность легальной политической борьбы в России приводили к тому, что ее наиболее образованный слой выражал нужды и чаяния целых классов: декабристы выступали с программой, которую естественно было бы высказывать русской буржуазии, народники выступали в качестве выразителей крестьянских интересов, социал-демократы — вместо рабочих. Но такое интеллигентское «заместительство» постоянно приводило к резким перепадам в успехах и неудачах интеллигентских групп: между 14 декабря, когда сто прапорщиков едва не совершили военную революцию, годами борьбы «Народной воли» и триумфом петербургского Совета рабочих депутатов в октябре 1905 г. следовали иные годы, когда интеллигенты уходили в кружковые споры, самоанализ и самообличения. Смена декабристов «любомудрами», революционных демократов идеалиста-

[21] *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. С. 581.

ми конца XIX в., пламенных противников самодержавия «веховцами» — все это неизбежный результат исторических взлетов и падений; на всех таких «крутых поворотах» «люди безразличные, готовые на все, всякие» следовали очередному духу времени, очередной моде.

Интеллигенция никогда (даже если бы она была едина) не могла сама по себе переменить ход истории в ту или иную сторону. Но каждый интеллигент может выбрать свой путь в обществе. Он может быть с «подлецами» или против них, он может быть порядочным человеком или же «помогать злодеям в их деле». «...Таких эпох, когда люди не могут хотя бы уйти от соучастия в смертельных преступлениях, нет»,[22] — писал Аркадий Белинков. Интеллигент может, наконец, думать самостоятельно, а не быть «непуганым идиотом» и не усматривать «великую сермяжную правду» во всем, что происходит вокруг него или что говорят и думают окружающие.

Именно этому учат нас книги Ильфа и Петрова. Эти писатели не были протестантами, они не призывали к уничтожению создавшейся на их глазах социальной системы. Но они — пока они работали вместе и представляли собой единого автора — создали поразительную картину окружающего общества, которая нисколько не потеряла своей силы и яркости десятилетия спустя. Судьба писателей отличалась от той, которая выпала на долю их современника Михаила Булгакова. Кому повезло больше? Мы уже обращали внимание на сложность этого вопроса, говоря о братьях Катаевых. Ильфа и Петрова печатали при жизни, их книги недолго были под запретом. Но зато много лет спустя эти книги не стали таким ошеломляющим открытием, как «Мастер и Маргарита». Однако и к ним применимы слова Воланда у Булгакова: «...ваш роман вам принесет еще сюрпризы».[23]

---

[22] Там же. С. 561.
[23] *Булгаков М.* Собр. соч. Т. 5. С. 284.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК ТРУДОВ ЯКОВА СОЛОМОНОВИЧА ЛУРЬЕ (1921—1996) *

1939

Роль Твери в создании национального государства // Учен. зап. ЛГУ. № 36. Сер. ист. наук. Вып. 3. С. 85—109.

1941

Из истории политической борьбы при Иване III // Учен. зап. ЛГУ. № 80. Сер. ист. наук. Вып. 10. С. 75—92.

Письма Джерома Горсея // Учен. зап. ЛГУ. № 73. Сер. ист. наук. Вып. 8. С. 189—201.

1947

Английская политика на Руси в конце XVI в. // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 61. Каф. Истории СССР. С. 121—145.

Герберштейн // Дипломатический словарь. Т. 1. М. Стб. 476—477. (2-е изд. М., 1960. Стб. 361; 3-е изд. М., 1971. С. 379—380).

Деулинский договор о перемирии // Дипломатический словарь. Т. 1. М. Стб. 553. (2-е изд. М., 1960. Стб. 437; 3-е изд. М., 1971. Стб. 456—457).

1948

Новые данные о посольстве Сугорского и Арцыбашева в 1576 г. // ИЗ. Т. 27. С. 291—300.

Первые идеологи московского самодержавия. (София. Палеолог и ее противники) // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 78. Каф. Истории СССР. С. 81—106.

---

* ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36. С. 405—412; ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 47. С. 456—459 и дополнения автора и редактора.

1951

Послания Ивана Грозного. [Подгот. текста совм. с Д. С. Лихачевым]. [Пер. и коммент. Я. С. Лурье]. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л. 715 с. с ил. (Сер. «Лит. памятники»). Вопросы внешней и внутренней политики в посланиях Ивана IV. С. 468—519; Археографический обзор посланий Ивана Грозного. С. 520—576 [совм. с Д. С. Лихачевым]; разночтения. С. 577—582 [совм. с Д. С. Лихачевым].

1954

Новые списки «Царева государева послания во все его Российское царство» // ТОДРЛ. Т. 10. С. 305—309.

«Открытие Англии» русскими в начале XVI в. // Географический сборник. Вып. 3. С. 185—187.

Путешествия русских послов XVI—XVII вв.: Статейные списки. Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л. 490 с. с ил. (Сер. «Лит. памятники»). Тексты статейных списков И. М. Воронцова, И. П. Новосильцева, Ф. А. Писемского, Г. И. Микулина, Ф. Елчина, П. И. Потемкина. С. 7—315 [подгот. текста совм. с Р. Б. Мюллер]; археографический обзор. С. 347—356 [совм. с Р. Б. Мюллер]; коммент. к статейным спискам Воронцова, Новосильцева, Писемского, Микулина. С. 358—417.

1955

Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI века. Отв. ред. В. Д. Бонч-Бруевич. М.; Л. 544 с. с ил. (Музей истории религии и атеизма). [Совм. с Н. А. Казаковой]. Ч. 2. Новгородско-московская ересь конца XV—начала XVI в. С. 74—224; источники по истории еретических движений XIV—нач. XVI в., № 1—7, 11—29, 32. С. 230—276, 305—503, 510—513.

Из истории русского летописания конца XV века // ТОДРЛ. Т. 11. М.; Л. С. 156—186.

Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в.—начало XVII в. М. Гл. 1. Русское централизованное государство в конце XV и первой половине XVI в. Внешняя торговля. С. 86—92; Завершение объединения русских земель и борьба феодальных группировок за власть. С. 101—116; Внешняя политика и международное положение Русского государства. С. 147—164; Гл. 2. Укрепление русского централизованного многонационального государства. Реформы правительства Ивана Грозного 1547—1584. С. 269—277.

Рец. на кн.: Н. Н. Масленникова. Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству. Л., 1955 // ВИ. № 10. С. 143—145.

1956

Краткая редакция «Устава» Иосифа Волоцкого — памятник идеологии раннего иосифлянства // ТОДРЛ. Т. 12. М.; Л. С. 116—140.

Сочинения И. Пересветова. Подгот. текста А. А. Зимина. Под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л. 388 с. с ил. Коммент. к тексту Музейного списка Полной редакции. С. 277—327; коммент. к Сказанию о Петре воеводе Волосском. С. 350—359.

Рец. на кн.: Р. П. Дмитриева. Сказание о князьях владимирских. Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1955 // ИОЛЯ. Т. 15. Вып. 2. С. 171—177.

Рец. на кн.: Материалы по истории СССР. Т. II. Документы по истории XV—XVII вв. Отв. сост. Л. Н. Пушкарев. М., 1955. 324 с. с ил. // ИА. № 4. С. 277—281.

1957

К вопросу об идеологии Нила Сорского // ТОДРЛ. Т. 13. М.; Л. С. 182—213.

Католическая реакция и подготовка интервенции против Русского государства (конец XVI—начало XVII в.) // Ежегодник музея истории религии и атеизма. Т. 1. М.; Л. С. 350—361.

1958

Борьба церкви с великокняжеской властью в конце 70-х—первой половине 80-х годов XV в. // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л. С. 219—228.

Был ли Иван IV писателем? // ТОДРЛ. Т. 15. М.; Л. С. 505—508.

Вопрос об идеологических движениях конца XV—начала XVI в. в научной литературе // ТОДРЛ. Т. 15. М.; Л. С. 131—152.

Донесения агента императора Максимилиана II аббата Цира о переговорах с А. М. Курбским в 1569 году. (По материалам Венского архива) // Археографический ежегодник за 1957 год. М. С. 451—466.

Известие о Варфоломеевской ночи в русских «Посольских делах» XVI в. // Вопросы истории религии и атеизма. Т. 6. С. 216—230.

Какие явления гуманизма могут быть отмечены в русской литературе и публицистике в XV—XVII вв.? // IV Международный съезд славистов. Сборник ответов на вопросы по литературоведению. М. С. 56—58.

Повесть о мунтьянском воеводе Дракуле [подгот. текста, послесловие] // Русские повести XV—XVI веков. М.; Л. С. 92—97, 420—429.

Послание вельможе Иоанну о смерти князя. (К проблеме атрибуции древнерусских литературных памятников) // Slavia. Praha, ročnik XXVII, sešit 2. S. 216—225.

Хождение за три моря Афанасия Никитина. 1466—1472. 2-е изд., доп. и перераб. Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л. 284 с. с ил. (Сер. «Лит. памятники»). Подгот. текстов: Троицкий список конца XV—начала XVI в., Эттеров список XVI в., список Ундольского XVII в. С. 11—67; Афанасий Никитин и некоторые вопросы русской общественной мысли XV в. С. 126—142; археографический обзор, варианты и текстологическое примеч. С. 161—186.

1959

Московские послы во время «двенадцатой ночи» 1601 г. // Театр. № 3. С. 190.

Послания Иосифа Волоцкого. [Подгот. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье]. Отв. ред. И. П. Еремин. М.; Л. 391 с. с ил. Археографический обзор. С. 98—136 [совм. с А. А. Зиминым]; коммент. к текстам. С. 243—286 [совм. с А. А. Зиминым]; приложения. С. 289—369 [совм. с А. А. Зиминым]; Иосиф Волоцкий как публицист и общественный деятель. С. 370—374.

IV Всесоюзное совещание по древнерусской литературе // РЛ. № 3. С. 229—232.

Рец. на кн.: А. А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники. (Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI в.). Отв. ред. М. Н. Тихомиров. М., 1958 // ИОЛЯ. Т. 18. Вып. 5. С. 450—453.

Рец. на кн.: Д. С. Лихачев. Изучение древней русской литературы в СССР за последние 10 лет. М., 1955. (Доклад советской делегации на Международном совещании славистов в Белграде) // Az ó-orosz irodalom tanulmányozása a Szovjetunióban a háború utáni időszakban. Filológiai közlöny. A magyar tudományos Akademia. I. Osztályának világirodalmi folyóirata. Budapest, 1959. V évf., 1—2 szám (július). S. 218—222.

1960

Заметки к истории публицистической литературы конца XV—первой половины XVI в. 1. Геннадиевский кружок и история «Москвы — третьего Рима». 2. Мнимые послания Нила Сорского Паисию Ярославову // ТОДРЛ. Т. 16. М.; Л. С. 457—465.

Иван III // Дипломатический словарь. Т. I. 2-е изд. М. Стб. 546—547; 3-е изд. М., 1971. С. 565—566.

Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV—начала XVI века. Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л. 535 с. с ил.

Издание без текстолога. [По поводу издания Географизом «Хождения за три моря Афанасия Никитина»] // РЛ. № 3. С. 220—223.

О возникновении теории «Москва — третий Рим». (К выходу в свет второго издания книги Х. Шедер) // ТОДРЛ. Т. 16. М.; Л. С. 626—633.

Das Problem der Ideologischen Hauptrichtungen in der russischen Literatur am Ende des XV und in der ersten Hälfte des XVI Jh. // Zeitschrift für Slawistik. Berlin. Bd V. H. 3. S. 356—369.

Об умении читать разночтения // ТОДРЛ. Т. 16. М.; Л. С. 637—638 (Под псевдонимом Я. Ш. Ганелин).

1961

Истоки большой традиции. (Русское свободомыслие 14—17 веков) // Наука и религия. № 7. С. 41—45.

К вопросу о «латинстве» Геннадиевского литературного кружка // Исследования и материалы по древнерусской литературе. М. С. 68—77.

Курицын Ф. В. // Дипломатический словарь. Т. 2. 2-е изд. М. Стб. 158; 3-е изд. М., 1971. С. 158.

Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л. 130—168.

«Московский период» в «Истории русской литературы» А. Стендер-Петерсона // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л. 629—639 [совм. с М. Д. Каган].

Русско-английские отношения и международная политика второй половины XVI в. // Международные связи России до XVII в. М. С. 419—443.

1962

Выступления в прениях // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. I. Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики. М. С. 123, 176.

К выходу в свет собрания сочинений И. Ильфа и Е. Петрова. (Текстологические заметки) // РЛ. № 3. С. 236—240.

Михаил Дмитриевич Приселков — источниковед // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л. С. 464—475.

Новонайденный рассказ о «стоянии на Угре» // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л. С. 289—293.

Повесть XV века и фильмы XX века // РЛ. № 2. С. 226—228.

Роман об Александре Македонском в славянских литературах XV—XVI вв. // Программа и тезисы докл. на Всесоюзн. конф. по слав. филологии 17—22 декабря 1962 г. Л. С. 29—30.

Рец. на кн.: Дж. Феннел. Иван Великий Московский. Лондон, 1961. Fennel J. L. I. Ivan the Creat of Moscow. London, 1961 // История СССР. № 4. С. 206—210.

Ред.: Библиография русского летописания. Сост. Р. П. Дмитриева. М.; Л. 356 с.

Ред.: ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л. 608 с.

1963

Геннадий // СИЭ. Т. 4. М. Стб. 201—202.

Краткий летописец Погодинского собрания // Археографический ежегодник за 1962 год. М. С. 431—444.

О путях развития советской литературы в России и у западных славян в XV—XVI вв. // ТОДРЛ. Т. 19. М.; Л. С. 262—288.

О судьбах переводной беллетристики в России и у западных славян в XV—XVI вв. // Славянские литературы. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. София, сентябрь 1963. М. С. 71—88.

В какво се изразява взаимодействието на средновековното преводни литератури с оригиналните литератури в славянските страни (до XVIII в. включително)? // Славянска филология. Т. 2. Отговори на въпросите за научната анкета по литературознание, литературно-лингвистични проблеми, народно поетическо творчество, общославистични историко-филологически проблеми. София. Изд. на Бълг. АН. С. 97. (Материали за V Международен конгрес за славистите).

1964

К изучению классового характера древнерусской литературы // ТОДРЛ. Т. 20. М.; Л. С. 100—119.

Новые памятники русского летописания конца XV в. (К выходу в свет тт. XXVII и XXVIII Полного собрания русских летописей) // История СССР. № 6. С. 118—131.

О неизданной Холмогорской летописи. Исследования по отечественному источниковедению. Сб. статей, посвящ. 75-летию С. Н. Валка. М.; Л. С. 449—455.

О художественном значении древнерусской прозы // РЛ. № 2. С. 3—28.

От редактора // Повести о споре жизни и смерти. Исследование и подгот. текстов Р. П. Дмитриевой. М.; Л. С. 3—9 и ил.

Перед началом съемок... (О сценарии «Андрей Рублев») // Искусство кино. № 11. С. 86—90.

Повесть о Дракуле. [Исследование и подгот. текстов]. Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л. 212 с. с ил.

Ред.: Повести о споре жизни и смерти. Исследование и подгот. текстов Р. П. Дмитриевой. М.; Л. 214 с. с ил.

In legătură cu originea subiectului povestirilor din secolul al XV-lea despre Dracula (Vlad Ţepeş) // Romanoslavica. Bucureşti, 1964. Vol. 10. P. 5—18.

Une légende inconnue de Salomon et Kitovras dans un manuscrit du XV-e siécle // Revue des études slaves. T. 43. F. 1—4. Paris, 1964. P. 7—11.

1965

Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV в. [Издание подгот. М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье и О. В. Творогов]. Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л. 270 с. с ил. (Сер. «Лит. памятники»). Приложения. С. 141—144; Средневековый роман об Александре Македонском по русской рукописи XV в. С. 145—168; археографический обзор. С. 185—214; коммент. С. 218—257 [совм. с М. Н. Ботвинником].

Древнерусская литература и наши «представления о прекрасном» // РЛ. № 4. С. 3—20.

Д. С. Лихачев // СИЭ. Т. 8. М. Стб. 741.

«Собрание на лихоимцев» — неизданный памятник русской публицистики конца XV в. // ТОДРЛ. Т. 21. М.; Л. С. 132—146.

От «Белой гвардии» к «Дням Турбиных» // РЛ. № 2. С. 194—203 [совм. с И. З. Серманом].

1966

А. М. Ремизов и древнерусский «Стефанит и Ихнилат» // РЛ. № 4. С. 176—179.

Дмитрий Сергеевич Лихачев. (К 60-летию со дня рождения) // РЛ. № 3. С. 233—240 [совм. с. В. П. Адриановой-Перетц и Л. А. Дмитриевым].

Критика источника и вероятность известия // Культура Древней Руси. Сб. статей к 60-летию Н. Н. Воронина. М. С. 121—126.

Филологическая практика и философская теория // РЛ. № 3. С. 202—204.

Рец. на кн.: B. Norretranders. The Shaping of Czardom under Ivan Groznyi. Copenhagen, 1964 // История СССР. № 2. С. 200—204.

L'hérésie dite des judaïsants et ses sources historiques // Revue des études slaves. T. 45. Paris. P. 49—67.

1967

Древнерусская литература (гл. 2) // Советское литературоведение за 50 лет. М.; Л. С. 34—64.

Подвиг Афанасия Никитина. (К 500-летию его путешествия) // Изв. Всесоюзн. геогр. общества. Т. 99. № 5. С. 435—442.

Элементы Возрождения на Руси в конце XV—первой половине XVI века // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М. С. 183—211.

1968

Еще раз о Дракуле и макиавеллизме // РЛ. № 1. С. 142—146.

Изучение русского летописания // ВИД. Т. 1. Л. С. 4—32.

«Мировые сюжеты» средневековой беллетристики в русской и южнославянских литературах («Александрия» и «Стефанит и Ихнилат») // ТОДРЛ. Т. 23. Л. С. 16—26.

М. Д. Приселков // СИЭ. Т. 11. М. Стб. 572.

Религиозно-философские течения. (Разд. 3. Гл. VII. Русь XIV—XVI вв.) // История философии в СССР. Т. 1. М. С. 190—216 [совм. с Н. А. Казаковой].

Problems of Sourse Criticism (with Reference to Medieval Russian Documents) // Slavic Review. V. 27. N 1. March, 1968. P. 1—22.

1969

«Изборник». (Сборник произведений литературы Древней Руси). М. (Сер. «Библиотека всемирной литературы»). А. М. Курбский. «История о великом князе Московском». [Подгот. текста и примеч.]. С. 474—476, 762—764; Первое послание Ивана Грозного А. М. Курбскому. [Подгот. текста и примеч.]. С. 467—471, 758—761; Послание Ивана Грозного Василию Грязному. [Подгот. текста и примеч.]. С. 472—473, 761—762; Сказание о Дракуле воеводе. [Подгот. текста и примеч.]. С. 432—444, 754—756.

К проблеме свода 1448 г. // ТОДРЛ. Т. 24. Л. С. 142—146.

Национальные истоки социально-утопических идей (гл. 1) // Идеи социализма в русской классической литературе. Л. С. 19—61 [совм. с К. В. Чистовым].

Образы людей Древней Руси в фильмах С. М. Эйзенштейна. (К проблеме «древнерусского жанра» в современном искусстве). Тезисы // Совещание «Древнерусская литература и проблемы истории культуры XVIII—XX вв.». [Тезисы докладов]. Л. С. 19—20.

Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским летописям XV—XVII веков. [Издание подгот. О. П. Лихачева и Я. С. Лурье]. [Пер. греческого текста Е. Э. Гранстрем и В. С. Шандровской]. Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. Л. 251 с. с ил. (Сер. «Лит. памятники»). Троицкий список [подгот. текста]. С. 46—62; «Стефанит и Ихнилат» в русской литературе XV в. С. 158—188; разночтения. С. 218—220 [совм. с О. П. Лихачевой]; коммент. С. 221—244.

Сюжет на ранних стадиях повествовательного искусства (на материале древнерусской литературы) // РЛ. № 1. С. 44—56.

Zur Zusammensetzung des «Laodicenischen Sendschreibens» // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd 17. H. 2. Wiesbaden. S. 161—169.

Рец. на кн.: H.-D. Döpmann. Der Einfluß der Kirche auf die moskowitische Staatsidee // Zeitschrift für Slawistik. Bd 14. H. 3. S. 475—481.

1970

Истоки русской беллетристики. Л. Введение. Беллетристические элементы в историческом повествовании XIV—XV вв. (Разд. 1. Гл. VII). Переводная беллетристика XIV—XV вв. (Гл. 8). Оригинальная беллетристика XV в. (Гл. 9). Судьба беллетристики в XVI в. (Гл. 10). Заключение. С. 3—30, 263—277, 320—449, 562—574.

Историк-писатель или издатель источников? (К выходу в свет академического издания «Истории Российской» В. Н. Татищева) [совм. с Е. М. Добрушкиным] // РЛ. № 2. С. 219—224.

Проблемы изучения русского летописания // Пути изучения древнерусской литературы и письменности. Л. С. 43—48.

Холмогорская летопись // ТОДРЛ. Т. 25. Л. С. 135—149.

Рец. на кн.: Повесть о Дмитрии Басарге и его сыне Борзосмысле. Исследование и подгот. текстов М. О. Скрипиля. Отв. ред. Л. А. Дмитриев. Л., 1969 // ИОЛЯ. Т. 29. Вып. 4. С. 348—352.

Ред.: Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л. 595 с.

1971

К истории присоединения Новгорода в 1477—1479 гг. // Исследования по социально-политической истории России. Сб. статей памяти Б. А. Романова. Л. С. 89—95.

1972

Источник «Сокращенных летописных сводов конца XV в.» и Устюжского летописца // Археографический ежегодник за 1971 год. М. С. 120—129.

Устав Корнилия Комельского в сборнике первой половины XVI в. // Рукописное наследие Древней Руси. По материалам Пушкинского Дома. Л. С. 253—260.

Филофей // КИЭ. Т. 7. М. Стб. 981.

Черты Возрождения в русской культуре XV—XVII вв. (Древнерусская литература и западная «народная книга») // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. Сб. статей, посвящ. Л. В. Черепнину. М. С. 157—161.

Рец. на кн.: Н. А. Казакова. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI в. // История СССР. № 4. С. 163—167.

The London and L'vov Mss. of the Vologda-Perm' Chronicle: The Problem of Reconstructing Grand-Princely Chronicle Writing of the Early 1470s // Oxford Slavonic Papers. New Series. V. 5. P. 89—100.

1973

Истоки жанра в литературе Древней Руси // Русская повесть XIX в. Л. С. 23—34.

К изучению летописного жанра // ТОДРЛ. Т. 27. Л. С. 76—93.

Независимый летописный свод конца XV в. — источник Софийской II и Львовской летописей // ТОДРЛ. Т. 27. Л. С. 405—419.

Никаноровская и Вологодско-Пермская летописи как отражение великокняжеского свода начала 70-х гг. XV в. // ВИД. Т. 5. Л. С. 219—249.

О некоторых принципах критики источников // Источниковедение отечественной истории. Вып. 1. М. С. 78—100.

Об учебнике по истории древнерусской литературы // РЛ. № 4. С. 203—210 [совм. с Н. С. Демковой].

Подлинные и мнимые вопросы методологии изучения летописей // ВИ. № 8. С. 194—203 [совм. с Д. С. Лихачевым, В. Л. Яниным].

Проблема реконструкции недошедших сводов при исследовании летописей // Текстология славянских литератур. Л. С. 137—145.

1974

Лаврентьевская летопись — свод начала XIV в. // ТОДРЛ. Т. 29. Л. С. 50—67.

Летописание XV в. и Кирилло-Белозерский монастырь // Летописи и хроники. Сб. статей, посвящ. памяти А. Н. Насонова. М. С. 202—211.

Литература XV—XVI вв. в трудах В. П. Адриановой-Перетц // ТОДРЛ. Т. 29. Л. С. 12—17.

Новгородская Карамзинская летопись // ТОДРЛ. Т. 29. Л. С. 207—213.

Общерусский свод — протограф Софийской I и Новгородской IV летописей // ТОДРЛ. Т. 28. Л. С. 114—139.

Сергей Леонидович Пештич. (Некролог) // ТОДРЛ. Т. 28. Л. С. 422—424.

Троицкая летопись и московское летописание XIV в. // ВИД. Т. 6. Л. С. 79—106.

An Unpublished Epigram on an English Ambassador in Russia // Oxford Slavonic Papers. New Series. V. 7. P. 13—17.

1976

Академик Д. С. Лихачев. (К 70-летию со дня рождения) // РЛ. № 4. С. 251—254 [совм. с Л. А. Дмитриевым и А. М. Панченко].

В защиту академика В. Г. Васильевского (письмо в редакцию) // Юность. № 3. С. 111 [совм. с М. П. Алексеевым, Д. С. Лихачевым и др.].

Двуименные монеты Василия II и Шемяки и двоевластие в Москве // Средневековая Русь. М. С. 84—88.

Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М. Два миниатюриста XV в. (К проблеме так называемого художественного мышления Древней Руси). С. 105—111; Проблемы изучения древнерусской литературы. С. 3—23 [совм. с Л. А. Дмитриевым и А. М. Панченко].

Московская Русь в современном художественном творчестве // Север. № 1. С. 119—124. [Переизд. в сб.: В поисках и преодолении. Петрозаводск. С. 205—217] [совм. с П. М. Карпом].

Московский свод 1479 г. и его протограф // ТОДРЛ. Т. 30. Л. С. 95—113.

О шахматовской методике исследования летописных сводов // Источниковедение отечественной истории. 1975 г. М. С. 87—107.

Общерусские летописи XIV—XV вв. Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л. 283 с.

От редакции [послесловие к статье В. Л. Комаровича] // ТОДРЛ. Т. 30. Л. С. 57—59.

Первое послание Ивана Грозного Курбскому. (Вопросы истории текста) // ТОДРЛ. Т. 31. Л. С. 202—234.

Русские летописи XI—XV вв. (Материалы для описания) // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М. С. 78—139. (Ротапринт) [совм. с Б. М. Клоссом].

Сигизмунд Натанович Валк. (Некролог) // ТОДРЛ. Т. 30. Л. С. 367—368.

1977

Вторая пространная редакция Первого послания Грозного Курбскому // ТОДРЛ. Т. 32. Л. С. 56—69.

Еще раз о своде 1448 г. и Новгородской Карамзинской летописи // ТОДРЛ. Т. 32. Л. С. 199—218.

О гипотезах и догадках в источниковедении // Источниковедение отечественной истории. 1976 г. М. С. 26—55.

Полное собрание русских летописей. Т. 33. Холмогорская летопись. Двинский летописец. Л. [Сост. тома совм. с К. Н. Сербиной; подгот. текста Холмогорской летописи совм. с Ю. А. Лимоновым и З. Н. Савельевой].

Рассказ о боярине И. Д. Всеволожском и Медоварцевском летописце // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1977 г. М. С. 7—11.

Probleme der gegenwärtigen «Draculiana» // Osteuropa in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für G. Stökl zum 60 Geburtstag. Köln; Wien. 1977. S. 316—327.

Рец. на кн.: H.-J. Grabmüller. Die Pskover Chroniken. Untersuchungen zur russischen Regionalchronistik im 13—15 Jahrhundert. (Schriften zur Geschichte des östlichen Europa. Bd X). Wiesbaden, 1975. 240 s. // Russia Mediaevalis. T. 3. München. S. 83—93.

1978

«Дифференциал истории» в «Войне и мире» // РЛ. № 3. С. 43—60.

1979

Елена Ивановна, королева Польская и великая княгиня Литовская как писатель-публицист // Canadian-American Slavic Studies. V. 13. № 1—3. P. 111—120.

К истории сюжетного повествования Древней Руси. (Русский «Стефанит и Ихнилат» и грузинская «Калила и Димна») // Русская и грузинская средневековые литературы. Л. С. 129—133.

О возникновении и складывании в сборники переписки Ивана Грозного с Курбским // ТОДРЛ. Т. 33. Л. С. 204—218.

О московском летописании конца XIV в. // ВИД. Т. 11. Л. С. 3—19.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. [Текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков]. Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л. 431 с. с ил. (Сер. «Лит. памятники»). Подгот. текста посланий Ивана Грозного к Курбскому. С. 12—100, 103, 105; перевод. С. 119—180 [совм. с О. В. Твороговым]; Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси. С. 214—249; археографический обзор. С. 250—351 [совм. с Ю. Д. Рыковым]; разночтения. С. 352—376 [совм. с Ю. Д. Рыковым]; коммент. С. 377—413 [совм. с В. Б. Кобриным].

Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании XIV—XVI вв. // ТОДРЛ. Т. 34. Л. С. 96—115.

1980

История русской литературы: В 4 т. Т. 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века (Гл. 5. Литература в период образования единого Русского государства. Элементы Возрождения в русской литературе. Середина XV—XVI век. С. 185—290).

История русской литературы X—XVII вв. Под ред. Д. С. Лихачева. М. Литература второй половины XV в. Литература XVI в. С. 250—333.

Особенности русского летописания и его изучение (лекция) // Чтения по древнерусской литературе. Ереван. С. 36—57.

1981

О возможности и необходимости при исследовании летописей // ТОДРЛ. Л. Т. 36. С. 13—36.

Памятники литературы Древней Руси. XIV—сер. XV в. М. Повесть о Шевкале. [Подгот. текста, пер. и коммент.]. С. 62—65, 539—540; Рассказ о восстании в Новгороде в 1418 г. [Подгот. текста и коммент.]. С. 500—502, 591—593; Повесть об ослеплении Василия II. [Подгот. текста, пер. и коммент.]. С. 504—521, 593—598.

Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М. Повесть о битве на Липице. [Подгот. текста, перевод, коммент.]. С. 114—127, 539—541.

Русское историческое повествование и западная письменность XV—XVII вв. // ИОЛЯ. Т. 40. № 1. М. С. 66—73 [совм. с В. И. Охотниковой].

Статейный список Константина Скобельцына (публикация) // Археографический ежегодник за 1979 год. М. С. 308—314 [совм. с Н. А. Казаковой].

Рец. на кн.: Б. М. Клосс. Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. М., 1980 // История СССР. № 1. С. 173—176.

1982

Вопрос о великокняжеском титуле в начале феодальной войны XV в. // Россия на путях централизации. М. С. 147—152.

Конец золотоордынского ига («Угорщина») в истории и литературе // РЛ. № 2. С. 51—69.

Об А. А. Зимине — источниковеде и текстологе // ВИД. Л. Т. 13. С. 329—331.

О политических идеях общерусского свода 1448 года // Festschrift für Fairy v. Lilienfeld zum 65. Geburtstag / Harausgeg. v. A. Rexhauser u. K.-H. Ruffmann. Erlangen. S. 135—152.

Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV в. М. Слово о рахманах. [Подгот. текста, пер. и коммент.]. С. 174—177, 593—595; Инока Фомы «Слово похвальное». [Коммент. совм. с Н. В. Понырко]. С. 607—617; Московская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород. [Коммент.]. С. 626—636; Новгородская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород. [Коммент.] С. 636—638; Севернорусский летописный свод 1472 г. [Подгот. текста и коммент.]. С. 410—442, 638—655; Севернорусский летописный свод 1472 г. [Подгот. текста и коммент.]. С. 410—442, 638—655; «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. [Подгот. текста совм. с М. Д. Каган-Тарковской, коммент. совм. с Л. С. Семеновым]. С. 444—477, 655—663; Повесть о стоянии на Угре. [Пер. и коммент.]. С. 672—675; «Лаодикийское послание» Федора Курицына. [Подгот. текста, пер. и ком-

мент.]. С. 538—539, 675—678; Послание Геннадия Иоасафу. [Подгот. текста, пер. и коммент.]. С. 540—553, 678—684; Сказание о Дракуле. [Подгот. текста и коммент.]. С. 554—564, 684—686; Повесть о Басарге и о сыне его Борзосмысле. [Подгот. текста и коммент.]. С. 566—576, 686—688.

1983

В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. Paris: La Presse Libre. 226 с. (под псевдонимом А. А. Курдюмов).

Рец. на кн.: Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV—начала XVI в. М., 1980 // ВИ. № 1. С. 125—128.

1984

Книга о творчестве М. А. Булгакова: Рец. на кн.: Яновская Лидия. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983 // РЛ. № 4. С. 209—213.

Памятники литературы Древней Руси. Конец XV—первая половина XVI века. М. Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого. [Подгот. текста и коммент.]. С. 324—348, 703—708; Послание Иосифа Волоцкого княгине Голениной. [Подгот. текста, пер. и коммент.]. С. 350—356, 708—710; Сочинения Ивана Семеновича Пересветова: 1. Малая челобитная; 2. Большая челобитная. [Коммент.]. С. 755—763.

Unresolved Issues in the History of Ideological Movements of the Late XVth Century // Medieval Russian Culture / Ed. by H. Birnbaum and M. S. Flier. University of California Press. P. 150—171.

1985

Генеалогическая схема летописей XI—XVI вв., включенных в «Словарь книжников и книжности Древней Руси» // ТОДРЛ. Л. Т. 40. С. 190—205.

Из наблюдений над летописанием первой половины XV в. 1. Повесть о Едигее в Троицкой летописи и в своде 1412 г. (Рогожский летописец и Симеоновская летопись); 2. Русская митрополия середины XV в. и летописание // ТОДРЛ. Л. Т. 39. С. 285—304.

Исследовательские материалы для «Словаря книжников и книжности Древней Руси» // ТОДРЛ. Л. Т. 39: Авраамка. С. 18; Летописец Владимирский. С. 100; «Летописец от 72-х язык». С. 109—119; Летописец Рогожский. С. 110—111; Летописный свод Московский великокняжеский 1479 г. С. 115—117; Летописный свод Сокращенный. С. 117; Летопись Вологодско-Пермская. С. 119—120; Летопись Ермолинская. С. 123; Летопись Лаврентьевская.

С. 128—131; Летопись Львовская. С. 131; Летопись Никаноровская. С. 131—133; Летопись Новгородская IV. С. 135—136; Летопись Новгородская Карамзинская. С. 136—137; Летопись Новгородская Хронографическая. С. 137—138; Летопись Радзивиловская. С. 141—143; Летопись Симеоновская. С. 143—144; Летопись Софийская I. С. 144—146; Летопись Софийская II. С. 146—147; Летопись Тверская (или Тверской сборник). С. 147—149; Летопись Типографская. С. 149—150; Летопись Троицкая. С. 150—152; Летопись Устюжская. С. 152—153; Ионы житие. С. 201—203; Иосифа Волоцкого житие. С. 203—205; Михаила Александровича житие. С. 216—218.

Исследовательские материалы для «Словаря книжников и книжности Древней Руси» // ТОДРЛ. Л. Т. 40: Вассиан, епископ тверской. С. 55—56; Дедеркин Феофил. [Совм. с А. А. Туриловым]. С. 73—74; Иона, митрополит московский. С. 105—109; Исидор, митрополит всея Руси. С. 115—116; Феодосий Бывальцев, митрополит московский. С. 172—173; Филипп I, митрополит московский. С. 177—178.

Книгописец Ефросин и борьба против «глумов» и смеха в древнерусской письменности // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. Vol. 31—32. P. 257—266.

О путях доказательства при анализе источников (на материале древнерусских памятников) // ВИ. № 5. С. 61—68.

О так называемой «презумпции невиновности» источника // Источниковедческие разыскания. 1982. Тбилиси. С. 44—51.

Повесть о стоянии на Угре. [Пер. и примеч.] // Воинские повести Древней Руси. Л. С. 294—297, 486—487.

1986

Возрождение домыслов о сыне Соломонии Сабуровой и опричнине // РЛ. № 3. С. 114—119.

Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М. Первое послание Курбского Ивану Грозному. [Коммент. совм. с Ю. Д. Рыковым]. С. 567—568; Первое послание Ивана Грозного Курбскому. [Подгот. текста совм. с Е. И. Ванеевой, пер. совм. с О. В. Твороговым, коммент.]. С. 22—73, 570—580; Второе послание Курбского Ивану Грозному. [Коммент. совм. с Ю. Д. Рыковым]. С. 580—581. Второе послание Ивана Грозного Курбскому. [Пер. совм. с О. В. Твороговым, коммент.]. С. 79—83, 581—583; Третье послание Курбского Ивану Грозному. [Коммент. совм. с Ю. Д. Рыковым]. С. 583—586; Послание Ивана Грозного английской королеве Елизавете I. [Подгот. текста, пер. и коммент.]. С. 108—115, 586—589; Послание шведскому королю Юхану III 1572 г. [Пер. и коммент.]. С. 117—121, 589—591; Послание шведскому королю Юхану III 1573 г. [Пер. и коммент.].

С. 123—143, 591—593; Послание в Кирилло-Белозерский монастырь. [Пер. и коммент.]. С. 145—169, 593—596; Послание Василию Грязному. [Пер. и коммент.]. С. 171—173, 596—597; Послание польскому королю Стефану Баторию 1579 г. [Пер. и коммент.]. С. 175—179, 597—599; Послание польскому королю Стефану Баторию 1581 г. [Пер. и коммент.]. С. 181—217, 599—605.

Хожение за три моря Афанасия Никитина / Изд. подгот. Я. С. Лурье и Л. С. Семенов. Л. 216 с. с ил. (Сер. «Лит. памятники»). Русский «чужеземец» в Индии XV в. С. 61—87; Археографический обзор. С. 108—124; Таблица композиции «Хожения за три моря». С. 129—133.

1987

М. Булгаков в работе над текстом «Дней Турбиных» // Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. Л. С. 16—38.

История одной жизни. Paris: Atheneum. 268 с. (под псевдонимом Б. Я. Копржива-Лурье).

Михаил Булгаков и Марк Твен // ИОЛЯ. Т. 61. № 6. С. 564—571.

О мировоззрении Афанасия Никитина // Палата кънигописьнаа. 15 (16). Приложение. «Early Protestantism in Eastern Europe». Nijmwegen. August. С. 94—111.

О происхождении Радзивиловской летописи // ВИД. Л. Т. 18. С. 64—83.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л. Вып. 1: (XI — первая половина XVI в.). Летопись Лаврентьевская. С. 241—245; Летопись Радзивиловская. С. 248—251; Повесть о битве на Липице. С. 348—349.

1988

Ефросин — составитель сборников и Ефросин — игумен и писец // ТОДРЛ. Л. Т. 41. С. 347—356.

Исследовательские материалы для «Словаря книжников и книжности Древней Руси» // Там же: Повесть о Дмитрии Басарге и его сыне Борзосмысле. С. 65—67; Повесть о старце, просившем руки царской дочери. С. 92—94; Сказание о Петре, воеводе Волосском. С. 133; Стефанит и Ихнилат. С. 148—151.

Историческая проблематика в произведениях М. Булгакова (М. Булгаков и «Война и мир» Толстого) // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М. С. 190—201.

Логические основы критики источника // Источниковедческие разыскания. 1985. Тбилиси. С. 32—39.

Н. А. Казакова (1915—1984). Некролог. [Совм. с Л. А. Дмитриевым и Н. Ф. Дробленковой] // ТОДРЛ. Л. Т. 41. С. 451—452.

Об одном необыкновенном открытии // История СССР. № 4. С. 169—171.

Работа М. А. Булгакова над Курсом истории СССР. [Совм. с В. М. Панеяхом] // РЛ. № 3. С. 183—193.

Русские современники Возрождения: Книгописец Ефросин. Дьяк Федор Курицын. Л. 160 с.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л. Вып. 2. Вторая половина XIV—XVI в. Ч. 1. А—К: Авраамка. С. 5—6; Апокриф о иерействе Иисуса Христа. С. 51—52; Апокрифы о Соломоне. С. 66—68; Афанасий Никитин. С. 81—88; Беседа трех святителей. С. 89—93; Василий II Васильевич Темный. С. 109—112; Василий III Иванович. С. 112; Вассиан (в миру князь Василий Иванович Стригин-Оболенский). С. 117—118; Вассиан Рыло. С. 123—124; Вассиан Санин. С. 125—128; Вениамин. С. 133—135; Висковатый Иван Михайлович. С. 138—140; Геннадий. С. 145—146; Георгий Скрипица. С. 148—149; Герасим Поповка. С. 149—150; Геронтий. С. 163—165; Головин-Скряба Иван Иванович. С. 165—166; Дедеркин Феофил. [Совм. с А. А. Туриловым]. С. 185—186; Денис. С. 187; Елена Ивановна. С. 209—210; Ермолин Василий Дмитриевич. С. 225—227; Ефросин. [Совм. с М. Д. Каган]. С. 227—236; Житие Ионы. С. 270—273; Житие Иосифа Волоцкого. С. 273—275; Житие Михаила Александровича. С. 299—301; Иван IV Васильевич Грозный. С. 371—376; Иннокентий. С. 404—405; Иона. С. 420—426; Иосиф Волоцкий. С. 434—439; Исидор. С. 449—450; Колодынский Андрей. С. 479—480; Курицын Иван-Волк. С. 503—504; Курицын Федор Васильевич. [Совм. с А. Ю. Григоренко]. С. 504—509.

1989

Белая гвардия [статья-послесловие]. С. 563—573; [коммент. совм. с А. Б. Рогинским]. С. 573—590 // Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. М. Т. 1.

Булгаков М. А. Пьесы 20-х годов. Л. [Подгот. текста пьес]. Белая гвардия. Пьеса в 5 актах (тексты, другие редакции и варианты, примечания). С. 35—109, 351—358, 514—526; Дни Турбиных. Пьеса в 4 актах (тексты, другие редакции и варианты, примечания). С. 110—160, 359—362, 526—536.

Еще раз о Первом послании Ивана Грозного к Курбскому // ТОДРЛ. Л. Т. 42. С. 77—91.

Об исторической концепции Льва Толстого // РЛ. № 1. С. 26—43.

Полное собрание русских летописей. Л. Т. 38. Радзивиловская летопись. [Предисл., ред. совм. с М. П. Ирошниковым и М. В. Кукушкиной].

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л. Вып. 2. Вторая половина XIV—XVI в. Ч. 2. Л—Я: Летописец Владимирский. С. 17—18; «Летописец от 72-х язык». С. 21—22; Летописец Рогожский. С. 22—23; Летописи Белорусско-Литовские (западнорусские). С. 26—27; Летописный свод Московский великокняжеский 1479 г. С. 32—34; Летописный свод Московский великокняжеский кон. XV в. С. 34; Летописный свод Сокращенный. С. 34—35; Летопись Архивская (так наз. Ростовская). С. 37; Летопись Вологодско-Пермская. С. 37—39; Летопись Ермолинская. С. 42—43; Летопись Львовская. С. 44—45; Летопись Московско-Академическая. С. 45—47; Летопись Никаноровская. С. 47—49; Летопись Новгородская IV. С. 51—52; Летопись Новгородская Дубровского. С. 52—54; Летопись Новгородская Карамзинская. С. 54—55; Летопись Новгородская Хронографическая. С. 55—56; Летопись Симеоновская. С. 56—57; Летопись Софийская I. С. 57—60; Летопись Софийская II. С. 60—61; Летопись Тверская. С. 61—63; Летопись Типографская. С. 63—64; Летопись Троицкая. С. 64—67; Летопись Устюжская. С. 67—68; Летопись Холмогорская. С. 68—69; Матфей Михайлов. С. 109; Пересветов Иван Семенович. С. 178—181; Повести о нашествии Едигея. С. 197—201; Повести о присоединении Новгорода. С. 201—204; Повести о стоянии на Угре. С. 204—208; Повести о Шевкале. С. 208—209; Повесть о белом клобуке. С. 214—215; Повесть о битве на реке Воже. С. 215—217; Повесть о битве на реке Пьяне. С. 217—218; Повесть о Дмитрии Басарге и его сыне Борзосмысле. С. 236—239; Повесть о Плаве. С. 259—260; Повесть о побоище Витовта с Темир-Кутлуем. С. 260—261; Повесть о смерти Василия III. С. 277—279; Повесть о старце, просившем руки царской дочери. С. 281—283; Полубенский Александр Иванович. С. 297—299; Родион Кожух. С. 311; Савва. С. 317—318; Серапион. С. 319—320; Стефан Бородатый. С. 416—417; Стефанит и Ихнилат. С. 417—421; Траханиот Дмитрий Мануйлович. С. 435—437; Третьяков-Ховрин Иван Иванович. С. 439—441; Федор. С. 451—452; Феодосий Бывальцев. С. 456—457; Филипп I. С. 464—466.

1990

Булгаков М. А. Стенограмма (сценка): Публикация // РЛ. № 3. С. 103—104 (перепеч.: Нева. 1991. № 5).

Война и мир. Инсценир. роман Л. Н. Толстого [подгот. текста]. С. 63—121; [статья-послесловие, коммент.]. С. 606—614 // Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. М. Т. 4.

Дни Турбиных [подгот. текста]. С. 7—76; [статья-послесловие, коммент.]. С. 611—620; Иван Васильевич [подгот. текста]. С. 423—

462; [статья-послесловие, коммент.]. С. 673—680 // Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. М. Т. 3.

Иван Грозный и его время (О книге: Кобрин В. Иван Грозный) // История СССР. № 5. С. 174—177.

К истории одной дискуссии // История СССР. № 5. С. 128—133.

«Летит кирпич...» (Последние годы жизни Ильи Ильфа) // Звезда. № 4. С. 161—172.

Летописи первой половины XV в. как литературные и исторические памятники // ТОДРЛ. Л. Т. 43. С. 39—57.

На путях к державе Ивана Грозного. [Совм. с П. М. Карпом] // Историки отвечают на вопросы. М. Вып. 2. С. 40—59.

Независимость Мастера: Рец. на кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988 // Литературное обозрение. № 3. С. 60—64.

Об Устюжской летописи и ее списке в Пушкинском Доме // Древлехранилище Пушкинского Дома: Материалы и исследования. Л. С. 249—261.

50 лет книге «История русского летописания XI—XV вв.» М. Д. Приселкова. С. 59—62; 50 лет пьесе «Тень» Е. Л. Шварца. С. 132—135 // Памятные книжные даты. М.

Рец. на кн.: Cazacu Matei. L'Histoire du Prince Dracula en Europe centrale et orientale (XVe siècle). Geneva, 1988 // The Slavonic and East European Review. Vol. 68, part 3. P. 563—565.

Схема истории летописания А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова и задачи дальнейшего исследования летописей // ТОДРЛ. Л. Т. 44. С. 185—195.

Mikhail Bulgakov and Lev Tolstoy // Oxford Slavonic Papers. N 5. Vol. 23. P. 67—78.

Sind genealogische Schemata einer Textgeschichte umkehrbar? (Zum Ersten Sendschreiben Ivan IV an Fürst Kurbskij) // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Bd 44. S. 7—25.

1991

Как установилась автокефалия русской церкви? // ВИД. Л. Т. 23. С. 181—198.

Михаил Булгаков и авторы «Великого комбинатора» // Звезда. № 9. С. 168—174.

Летописные повести о победе над Новгородом в 1471 г. // ВИД. Л. Т. 22. С. 144—157.

Размышления о Ю. Домбровском // Звезда. № 3. С. 171—176.

Рукописи М. А. Булгакова в Пушкинском Доме // Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. Л. С. 175—194.

Mikhail Bulgakov between Mark Twain and Lev Tolstoy // The Russian Review. Vol. 50. P. 203—210.

1992

Иван Грозный и древнерусская литература в творчестве М. Булгакова // ТОДРЛ. СПб. Т. 45. С. 315—321.

Национализм и русская историография XX в. // Национальная правая прежде и теперь: СПб. Ч. 2, вып. 1. С. 19—40.

La culture et la littéraire de l'Etat moscovite à la fin du XVe siècle // Histoire de la littérature russe des origines aux limières. Paris: Fayard. P. 149—184.

1993

Джон Феннел (1918—1992) // ТОДРЛ. СПб. Т. 46. С. 529—532.

Житийные памятники как источники по истории присоединения Новгорода // ТОДРЛ. СПб. Т. 48. С. 192—195.

Лев Александрович Дмитриев (некролог) // Архив русской истории. Вып. 3. М. С. 272—273.

Лев Толстой и мыслители «серебряного века» // Звезда. № 7. С. 173—183.

Лев Толстой и Петр Столыпин // Звезда. № 1. С. 164—173.

После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века. СПб. 168 с.

Русь XV в.: отражение в раннем и независимом летописании // ВИ. № 11—12. С. 3—17.

Феодальная война в Москве и летописание // ТОДРЛ. СПб. Т. 47. С. 82—94.

1994

А. Солженицын — эволюция его исторических взглядов // Звезда. № 6. С. 117—125.

Библейские главы «Мастера и Маргариты» и метаморфозы их восприятия // Jews and Slavs. V. 2. Jerusalem. P. 247—252.

Булгаков М. А. Пьесы 30-х гг. СПб. Иван Васильевич. Комедия в трех действиях [подгот. текста пьесы] (тексты, другие редакции и варианты, примечания). С. 139—170, 400—409, 604—613.

Две истории Руси XV в. Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб. 240 с.

Древняя Русь в сочинениях Л. Н. Гумилева // Звезда. № 10. С. 167—177.

Духовное завещание митрополита Ионы (1452/1453—1464) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1993. М. С. 7—14.

«Жених Наташи Мандельштам». [О Ю. Ф. Полякове] // Лица. Биографический альманах. Вып. 5. М.; СПб. С. 487—491.

Из воспоминаний о А. А. Зимине // Одиссей. Человек в истории. 1993. М. С. 194—208.

О рассказах Веры Пановой // Всемирное слово. № 6. С. 36.

Судьба историка в контексте истории (С. Я. Лурье. Жизнь и творчество) // Вопросы истории, естествознания и техники. № 2. С. 3—17 [совм. с Л. С. Полаком].

Fifteenth-Century Chronicles as a source for the History of the Formation of the Muscovite State // Mediaeval Russian Culture. V. II. Berkley; Los-Angeles; London. P. 47—56.

1995

Вольнодумец. [О М. Н. Ботвиннике] // Нева. № 6. СПб. С. 168—177.

Из истории написания романа «Белая гвардия» // РЛ. № 2. С. 236—241.

Источники по истории «новоявившейся новгородской ереси» («жидовствующих») // Jews and Slavs. Vol. 3. P. 199—223.

Михаил Дмитриевич Приселков и вопросы изучения русского летописания // Отечественная история. № 1. С. 146—159.

Невская битва в русском летописании. «Швеция и Санкт-Петербург». Тезисы докладов. СПб.: Посольство Швеции в России. С. 24—27.

Переписка С. Я. Лурье с отцом об античном антисемитизме // In memoriam. Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб. С. 211—232.

Рукописи М. А. Булгакова в Пушкинском Доме (окончание) // Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. Книга 3. СПб. С. 129—149.

Скобельцын Глеб Степанович (некролог) [совм. с Г. З. Вильвовской] // СПб. Гос. университет. Из летописи математико-механического факультета. СПб. С. 35—39.

Nil Sorskij e la composizione dell'«Illuminatore» di Josif di Volokolamsk // Nil Sorskij e l'Esicasmo. Atti del II. Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa «Nil Sorskij e l'esicasmo nella storia spirituale e culturale de la Russia». Bose, 21—24 settembre 1994. Magnano.

1996

Из книги «История России в летописаниях и восприятии нового времени». Введение, Ордынское иго и Александр Невский // Звезда. № 5. С. 229—238.

Когда была написана «Книга на новгородских еретиков»? // ТОДРЛ. Т. 49. С. 78—88.

К изучению летописной традиции об Александре Невском // ТОДРЛ. Т. 50. С. 387—399.

Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Подг. к печати В. Г. Вовиной. СПб., 1996 [редактирование, предисловие, примеч.].

В печати:

М. Н. Ботвинник // Античность и мы. Petropolis. (Bibliotheca Classica Petropolitana).

Полное собрание русских летописей. Т. 40: Новгородская Карамзинская летопись. М. [редактирование, предисловие].

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БАН — Библиотека Академии наук
БСЭ — Большая советская энциклопедия
ВИ — Вопросы истории
ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины
ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва)
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗИФ — Земля и фабрика (изд-во)
ИА — Исторический архив
ИЗ — Исторические записки
ИОЛЯ — Известия Отделения литературы и языка Российской Академии наук
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук
КИЭ — Краткая историческая энциклопедия
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия
ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический институт
ЛГУ —Ленинградский университет
ЛН — Литературное наследство
МАПП — Московская ассоциация пролетарских писателей
МГУ — Московский государственный университет
ПДПИ — Памятник древней письменности и искусства
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РАПП — Российская Ассоциация пролетарских писателей
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РГБ — Российская государственная библиотека (Москва)
РЛ — Русская литература
РНБ — Российская национальная библиотека (С.-Петербург)
СИЭ — Советская историческая энциклопедия
СП — Союз писателей
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук
ФБОН — Фундаментальная библиотека общественных наук
ФОСП — Федерация объединений советских писателей
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю 3

ИСТОРИЯ РОССИИ В ЛЕТОПИСАНИИ И В ВОСПРИЯТИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ВВЕДЕНИЕ 13

Глава I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ 19

Глава II. ОБЩАЯ СХЕМА ЛЕТОПИСАНИЯ XI—XVI вв. 31

Глава III. ЛЕТОПИСНЫЕ ИЗВЕСТИЯ В НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ XVII—XVIII вв. 42

Глава IV. ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУСИ В ЛЕТОПИСЯХ И В ИСТОРИОГРАФИИ XX в. 56

Глава V. ОРДЫНСКОЕ ИГО И АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ XX в. 100

Глава VI. БОРЬБА С ОРДОЙ И ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КОНЦА XIV в.: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 131

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 169

В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ИДИОТОВ

От автора 174

ВСТУПЛЕНИЕ 175

Глава I. НАКАНУНЕ 196

Глава II. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 210

Глава III. ИНТЕЛЛИГЕНТЫ И «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 232

Глава IV. ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕДА КОМАНДОРА 254

Глава V. «КЛООП» И «ПОДЛЕЦ» 277

Глава VI. «ЛЕТИТ КИРПИЧ...» 303
Глава VII. ПЕТРОВ БЕЗ ИЛЬФА 335
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 360
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК ТРУДОВ ЯКОВА СОЛОМОНОВИЧА ЛУРЬЕ (1921—1996) 383
Список сокращений 405

Яков Соломонович Лурье

РОССИЯ ДРЕВНЯЯ И РОССИЯ НОВАЯ

(*Избранное*)

Редакторы издательства *С. А. Батюто, Е. А. Гольдич*
Художник *Ю. П. Амбросов*
Технический редактор *Н. Ф. Соколова*
Корректоры *К. Д. Буланина, И. А. Динабург*

ЛР № 061824 от 23.11.92 г.
Сдано в набор 01.09.96. Подписано к печати 01.02.97.
Формат 60 × 84$^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 25.5 + 1 вкл. ($^{1}/_{8}$ п. л.).
Уч.-изд. л. 27. Тираж 850. Заказ № 3067.

Издательство «Дмитрий Буланин»

Отпечатано с оригинал-макета
в Академической типографии «Наука» РАН.
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

Доктор филологических наук Яков Соломонович Лурье (1926—1996) — известный историк и литературовед, видный специалист в области русских литературных древностей, автор книг «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV—начала XVI в.» (М.; Л., 1960), «Общерусские летописи XIV—XV вв.» (Л., 1976), «В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове» под псевдонимом А. А. Курдюмов (Париж, 1983), книги о С. Я. Лурье «История одной жизни» от имени Б. Я. Копржива-Лурье (Париж, 1987), «Русские современники Возрождения. Книгописец Ефросин. Дьяк Федор Курицын» (Л., 1988), «После Льва Толстого» (СПб., 1993), «Две истории Руси 15 века» (СПб., 1994) и др.